# Добрые люди

# Артуро Перес-Реверте

Перевод Н. Беленькой

Грегорио Сальвадору.

А также Антонии Колино,

Антонио Минготе

и адмиралу Альваресу-Аренасу,

in memoriam.

Истина, вера, человеческий род проходят бесследно, их забывают, память о них исчезает.

За исключением тех немногих, кто принял истину, разделил веру или полюбил этих людей.

Джозеф Конрад. «Юность»

Роман основан на реальных событиях, места и персонажи существуют на самом деле, однако большая часть сюжета и действующих лиц принадлежит вымышленной реальности, созданной автором.

Представить себе дуэль на рассвете в Париже конца XVIII века не так сложно. На помощь придут прочитанные книги и просмотренные фильмы. Описать ее на бумаге сложнее. А использовать как зачин для романа по-своему даже рискованно. Задача состоит в том, чтобы заставить читателя увидеть то, что видит — или воображает — автор. Для этого надо сделаться чужими глазами — глазами читателя, а затем незаметно удалиться, оставив его один на один с историей, которую ему предстоит узнать. Наша история начинается на лугу, покрытом утренним инеем, в размытом сероватом свете; необходимо добавить сюда и туманную дымку, не слишком густую, сквозь которую в брезжущем свете рождающегося дня смутно проступают очертания рощи, окружающей французскую столицу, — сегодня большинства ее деревьев уже не существует, а оставшиеся оказались в городской черте.

Теперь представим себе персонажей, дополняющих мизансцену. В первых лучах рассвета виднеются две человеческие фигуры, слегка размытые утренней дымкой. Чуть поодаль, ближе к деревьям, возле трех запряженных лошадьми экипажей — другие фигуры: это мужчины, закутанные в плащи, в надвинутых до бровей треуголках. Их около полудюжины, однако их присутствие не так важно для основной мизансцены; так что на какое-то время мы их покинем. Куда важнее сейчас те двое, застывшие неподвижно один подле другого на мокрой траве луга. Они в облегающих брюках до колен и рубашках, поверх которых нет ни камзола, ни сюртука. Один худ, высок ростом — особенно для своей эпохи; седые волосы собраны на затылке в небольшой хвост. Другой — среднего роста, волосы завиты, уложены на висках локонами и припудрены по последней моде тогдашнего времени. Ни один из этих двоих не выглядит юношей, хотя расстояние не позволяет утверждать это с уверенностью. А посему давайте приблизимся. Посмотрим на них повнимательнее.

Предмет, который каждый из них держит в руках, — не что иное, как шпага. Похожа на учебную рапиру, если не присматриваться. А дело, по всей видимости, серьезное. Очень серьезное. Эти двое все еще стоят неподвижно на расстоянии трех шагов друг от друга, пристально глядя перед собой. Может показаться, что они размышляют. Возможно, о том, что вот-вот произойдет. Их руки свисают вдоль тела, и кончики шпаг касаются травы, покрытой инеем. У того, который пониже — вблизи он выглядит и моложе, — вид надменный, демонстративно-презрительный. Внимательно изучая соперника, он будто бы желает продемонстрировать свою стать и осанку кому-то еще, кто смотрит на него со стороны рощи, окружающей луг. У другого мужчины — он выше ростом и явно старше по возрасту — глаза водянисто-голубые, меланхоличные, они словно вобрали в себя влажность холодного утра. На первый взгляд может показаться, что глаза эти изучают человека, стоящего напротив, но, если мы заглянем в них, нам станет очевидно, что это не так. На самом деле взгляд их рассеян, отрешен. И если бы человек, стоящий напротив, пошевелился или изменил позу, эти глаза, вероятно, по-прежнему смотрели бы перед собой, ничего не замечая, равнодушные ко всему, устремленные к другим картинам, различимым только для него одного.

Со стороны экипажей, ожидающих под деревьями, доносится чей-то голос, и двое стоящих на лугу мужчин медленно поднимают свои клинки. Они коротко приветствуют друг друга — один из них подносит гарду к подбородку — и снова встают на изготовку. Тот, что пониже ростом, ставит свободную руку на бедро, принимая классическую позицию для фехтования. Другой, повыше, с водянистыми глазами и серым хвостом на затылке, выставляет перед собой оружие и поднимает другую руку, согнутую в локте почти под прямым углом. Пальцы расслаблены и устремлены чуть вперед. Наконец клинки осторожно соприкасаются, и тонкий серебряный звон плывет в холодном утреннем воздухе.

Однако настало время рассказать историю. Сейчас мы узнаем, что привело героев на этот луг в столь ранний утренний час.

## 1. Двое: высокий и толстяк

Истинное удовольствие слышать, как они беседуют о математике, современной физике, естественной истории, правах человека, а также античности и литературе, иной раз допуская больше недосказаностей, чем если бы речь шла об изготовлении фальшивых денег. Они живут тайком и умирают так же, как жили.

Х. Кадальсо. «Марокканские письма»

Я обнаружил их случайно в дальнем углу библиотеки: двадцать восемь увесистых томов в переплете из светло-коричневой кожи, слегка потертой и попорченной временем — их как никак использовали два с половиной века. Я не знал, что они там, — на этих стеллажах мне понадобилось что-то совершенно другое, — как вдруг меня привлекла надпись на одном из корешков: «*Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné»*[[1]](#footnote-1). Самое первое издание. То, что начало выходить в 1751 году и чей последний том увидел свет в 1772-м. Конечно, я знал о ее существовании. Как-то раз лет пять назад я даже чуть было не приобрел эту энциклопедию у своего друга — собирателя старинных книг Луиса Бардона, который готов был уступить мне ее в том случае, если клиент, с которым они предварительно договорились, внезапно передумает. Но, к несчастью, — или, наоборот, к счастью, поскольку цена была заоблачная, — клиент ее купил. Это был Педро Х. Рамирес, в то время редактор ежедневной газеты «Эль Мундо». Как-то вечером, ужиная у него дома, я заметил эти тома в его библиотеке — они красовались на самом видном месте. Владелец был в курсе моей несостоявшейся сделки с Бардоном и подшучивал по этому поводу. «Не отчаивайтесь, дружище, в следующий раз повезет», — говорил он мне. Однако следующий раз так и не наступил. Это большая редкость на книжном рынке. Не говоря о том, чтобы приобрести все собрание целиком.

Так или иначе, в то утро я увидел ее в библиотеке Испанской королевской академии — вот уже двенадцать лет она занимала полку под литерой «Т». Передо мной было произведение, ставшее самым захватывающим интеллектуальным приключением XVIII века: первая и абсолютная победа разума и прогресса над силами тьмы. Тома издания включали в себя 72000 статей, 16500 страниц и 17 миллионов слов, отражающих самую передовую мысль эпохи, и были в итоге осуждены католической церковью, а их авторам и издателям грозили тюремное заключение и даже смертная казнь. Каким образом произведение, столь долго входившее в «Индекс запрещенных книг», добралось до этой библиотеки, спрашивал я себя? Как и когда это случилось? Солнечные лучи, льющиеся в библиотечные окна, ложились на пол сияющими квадратами, создавая атмосферу полотен Веласкеса, а позолоченные корешки двадцати восьми старинных томов, теснившихся на полке, поблескивали таинственно и маняще. Я протянул руку, взял один том и открыл титульную страницу:

###### Encyclopédie,

###### оu

###### dictionnaire raisonné

###### des sciences, des arts et des métiers,

###### par une société de gens de lettres.

###### Tome premier

###### MDCCLI

###### Avec approbation et privilege du roy[[2]](#footnote-2)

Две последние строчки вызвали у меня усмешку. Через сорок два года после этого обозначенного латинскими цифрами MDCCLI года, то есть в 1793 году, внук того самого *roy*[[3]](#footnote-3), который дал разрешения и привилегии для публикации первого тома, был казнен с помощью гильотины «на публичной площади» Парижа во имя тех самых идей, которые, вырвавшись со страниц его же «Энциклопедии», воспламенили Францию, а вслед за ней — добрую половину мира. Странная штука жизнь, подумал я. У нее очень своеобразное чувство юмора.

Я перевернул наугад несколько страниц. Девственно-белая, несмотря на возраст, бумага казалась только что вышедшей из типографии. Старая добрая хлопковая бумага, подумал я, не подвластная ни времени, ни человеческой глупости, как отличается она от едкой современной целлюлозы, которая за считаные годы желтеет, делая страницы ломкими и недолговечными. Я поднес книгу к лицу и с наслаждением вдохнул запах старой бумаги. Даже пахнет по-особому: свежестью. Я закрыл том, вернул его на полку и вышел из библиотеки. В то время меня занимало множество других дел, но двадцать восемь томов, скромно стоящих на полке в дальнем углу старого здания на улице Филиппа IV в Мадриде среди тысячи других книг, не выходили у меня из головы. Позже я рассказал о них Виктору Гарсия де ла Конча, почетному директору, которого встретил около гардероба в вестибюле. Он подошел сам. У него было ко мне другое дело — ему для научных штудий понадобилась статья о воровском арго в произведениях Кеведо, — но я быстро перевел разговор на то, что интересовало в тот момент меня самого. Гарсия де ла Конча только что завершил «Историю Испанской королевской академии», и подобные вещи были еще свежи в его памяти.

— В каком году Академия получила «Энциклопедию»?

Кажется, вопрос несколько удивил его. Потом он взял меня под руку со свойственной ему изысканной деликатностью, которая в продолжение всего его правления без труда утихомиривала любые склоки и распри в братстве академий испаноязычного мира — так, повлиять на мексиканцев, вздумавших издавать свой собственный словарь, было сложнее, чем сплести кружево на коклюшках; не менее сложно было убедить банковский фонд профинансировать издание «Полного собрания сочинений» Сервантеса, посвященное четырехсотлетию написания «Дон Кихота». Вероятно, именно по этой причине мы переизбирали его несколько раз подряд, пока позволял возраст.

— Честно сказать, я не очень в курсе, — ответил он, пока мы шли по коридору к его кабинету. — По-моему, у нас она приблизительно с конца восемнадцатого века.

— А кто может рассказать об этом подробнее?

— А почему тебя это так заинтересовало, прости мое любопытство?

— Сам не знаю.

— Роман?

— Пока об этом рано говорить.

Он пристально посмотрел на меня своими пронзительными синими глазами. Иногда, чтобы подразнить коллег по Академии, я завожу разговор о романе. На самом деле я не собираюсь писать ничего подобного, но в шутку люблю пригрозить, что они все окажутся на его страницах. Называется он «Очищай, убивай, озаряй»: это история о преступлениях с участием призрака Сервантеса, который бродит по нашему зданию, однако видят его только консьержи. По сюжету всех членов Академии убивают одного за другим, начиная с профессора Франсиско Рико, нашего блестящего специалиста по Сервантесу. Этот будет убит в первую очередь: его повесят на шнуре для гардин в банкетном зале.

— Ты ведь не имеешь в виду этот твой роман об убийствах? Тот, где...

— Нет, не беспокойся...

Гарсия де ла Конча, человек в высшей степени деликатный и сдержанный, вздохнул с облегчением. Но облегчение это было слишком хорошо заметно.

— Мне очень понравилась твоя последняя книга, «Мурсийский танцор». Она, как бы это сказать...

Он был замечательный директор. И славный малый. Окончание фразы повисло в воздухе, предоставляя мне отличную возможность скромно пожать плечами.

— Мирской.

— Что, прости?

— Он назывался «Мирской танцор».

— Ах да... И как это я запамятовал? Даже президент появился прошлым летом в журнале «Ола!», лежа в гамаке с экземпляром твоего романа. Помнишь? В Захара-де-лос-Атунес.

— Скорее всего, журнал купила его супруга, — возразил я. — Сам-то он ни одной книги за всю жизнь не прочел.

— Дорогой мой, разве можно так говорить? — Гарсия де ла Конча улыбнулся с напускным возмущением, которого формально требовало мое замечание. — Разве можно!

— Ты видел его хоть раз в какой-нибудь культурной программе? На театральной премьере? В опере? На обсуждении фильма?

— Разве можно...

Последнюю фразу он произнес в кабинете, пока мы усаживались в кресла. Солнце по-прежнему вливалось в окна, и мне пришло в голову, что истории, которые хочется рассказать, в такие дни овладевают нами полностью и уже не отпускают. Кто знает, сказал я себе, вдруг этот случайный разговор будет мне стоить ближайших пару лет жизни? В таком возрасте сюжетов для книг больше, чем свободного времени. Выбрать один означает умертвить все остальные. Выбирать надо с осторожностью: ошибиться никак нельзя.

— И больше ты ничего не знаешь?

Он пожал плечами, вертя в руках ножичек для разрезания бумаги, сделанный из слоновой кости, — такие ножички он имел обыкновение держать у себя на столе: на рукоятке были выгравированы те же герб и девиз, что и на медалях, которые мы надеваем во время торжественных событий. Со дня своего основания в 1713 году Испанская королевская академия живет своими традициями: это включает в себя ношение галстука внутри здания, обращение друг к другу на «вы» и прочее. Дикий обычай не допускать на заседания женщин остался в далеком прошлом: их все чаще можно встретить на планерках по четвергам. Мир изменился, и наша Академия тоже. Сейчас это всего лишь приличное гуманитарное заведение, и академиками считаются лишь члены ректората. Старый образ мужского клуба, где заседают побитые молью старички-эрудиты, — не более чем избитое клише.

— Припоминаю, что дон Грегорио Сальвадор, наш декан-академик, однажды рассказывал мне про это, — немного поразмыслив, проговорил Гарсия де ла Конча. — Путешествие во Францию за книгами или что-то в этом духе...

— Странно, — удивился я. — Ты говоришь, что это случилось в конце восемнадцатого века, однако в Испании «Энциклопедия» была в то время запрещена. Да и гораздо позже тоже.

Гарсия де ла Конча наклонил голову, поставил локти на стол и посмотрел на меня поверх сплетенных пальцев. Как обычно, его глаза взирали на действия другого человека с тайной мольбой, прося об одном: чтобы их хозяину не осложняли жизнь.

— Может быть, Санчес Рон, библиотекарь, сумеет тебе помочь, — произнес он наконец. — Он занимается архивами, а в них хранятся протоколы всех заседаний от самого основания Академии. Если кто-то ездил за книгами, об этом сохранилась запись.

— Однако, если это сделали тайно, записей не осталось.

Он улыбнулся.

— Ни в коем случае, — ответил он. — Академия всегда пользовалась поддержкой самого короля и держалась независимо, хотя случалось ей пережить и трудные времена. Вспомни Фердинанда VII или диктатора Примо де Риверу, который пытался прибрать ее к рукам... Или когда во времена гражданской войны Франко приказал заполнить новыми членами пустующие места академиков-республиканцев, изгнанных из страны, однако Академия наотрез отказалась это сделать: кресла оставались пустыми, пока изгнанники не умерли или не вернулись в Испанию.

Мне пришло в голову, что история эта на самом деле гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд: наверняка в ней много превратностей и непредвиденных поворотов. А ведь это, подсказывало мне чутье, неплохой сюжет!

— Вот было бы занятно, — предположил я, — если бы книги все-таки прибыли сюда тайно.

— Не знаю. Я никогда про это не думал. Если судьба этих книг так тебя интересует, сходи к библиотекарю и попытай счастья у него... Или навести дона Грегорио Сальвадора.

Так я и сделал. К этому часу мое любопытство было возбуждено до крайней степени. Я начал с Диарио Вильянуэва, директора нашей институции. Как всякий галисиец при исполнении — кем он, в сущности, и являлся, — он задал мне сто один вопрос, не ответив при этом ни на один из тех, что задал ему я. Его тоже интересовал мой несуществующий роман об убийствах, и когда я сказал ему, что в нем погибает профессор Рико, он немедленно потребовал назначить убийцей его. Ему было все равно, чем задушить жертву — шнуром от гардин или струной от гитары.

— Ничего не могу обещать, — ответил я. — На Пако выстроилась целая очередь: все хотят быть его убийцей.

Он посмотрел на меня с мольбой, положив руку мне на плечо.

— Сделай все, что от тебя зависит. Обещаю собственноручно проставить ударения над указательными местоимениями!

Затем я отправился к Мануэлю Санчесу Рону, библиотекарю. Это был высокий худой тип с седыми волосами и умными глазами, которые смотрят на мир с холодной проницательностью. Мы стали академиками почти в одно и то же время и были приятелями. Он занимается в Академии научной работой и имеет степень профессора истории науки, однако исполняет обязанности библиотекаря. Это подразумевает ответственность за такие сокровища, как первое издание «Дон Кихота», бесценные манускрипты Лопе де Веги или Кеведо и прочие раритеты, которые хранились в подвале в несгораемом шкафу.

— «Энциклопедия» появилась в конце восемнадцатого века, — заверил он меня. — Это совершенно точно. Разумеется, она была запрещена как во Франции, так и в Испании. Однако там запрет был формальным, у нас же — абсолютным.

— Меня интересует, кто ее привез. Как он просочился сквозь фильтры своей эпохи... Как доставили эти книги в нашу библиотеку.

На секунду он задумался, покачиваясь на стуле, до половины скрытый стопками книг, которыми была заставлена вся поверхность его рабочего стола.

— Наверняка вопрос обсуждали на заседании, как и все прочие дела, — предположил он. — Вряд ли такое важное решение было принято без согласия всех академиков... Так что где-нибудь должен быть протокол, в котором это зафиксировано.

Я насторожился, как охотничий пес, учуявший дичь.

— А мы не могли бы посмотреть в архивах?

— Конечно, могли бы. Но большинство протоколов до сих пор не оцифрованы. Где-нибудь хранятся оригиналы. Настоящие, на бумаге.

— Если протоколы найдутся, мы сможем установить, когда это было. И при каких обстоятельствах.

— Почему тебя это заинтересовало? Неужели еще один роман? И на этот раз исторический?

— Пока всего лишь любопытство.

— Ладно, постараюсь тебе помочь. Поговорю со служащей архива и свяжусь с тобой. Кстати, у меня тоже есть вопрос: что ты решил насчет Пако Рико? Может, сделаешь убийцей меня?

Я простился с ним и вернулся в библиотеку, к терпкому запаху старинной бумаги и кожи. Прямоугольники солнца на полу переместились и вытянулись, готовясь вот-вот погаснуть, а двадцать восемь томов «Энциклопедии», стоящие на своих полках, погрузились во мрак. Старинная позолота тиснения на корешках уже не поблескивала, когда я провел по ним кончиками пальцев, лаская старую поблекшую кожу. Сюжет будущей истории уже сложился у меня в голове. Это произошло само собой, как обычно случается с подобными вещами. Я отчетливо увидел ее набросок со всеми коллизиями, завязкой и развязкой: серия эпизодов напоминала пустые домики, которые мне предстояло заполнить мизансценами и людьми. Будущий роман зажил своей жизнью, а его главы поджидали меня в уголках библиотеки. Тем же вечером, вернувшись домой, я уселся сочинять. И записывать.

*Их двадцать четыре, но в этот четверг присутствуют только четырнадцать.*

Их двадцать четыре, но в этот четверг присутствуют только четырнадцать. В большое старинное здание они прибыли поодиночке, а кое-кто парами, одни в повозке, другие — большая часть — пешком. В вестибюле они толпились небольшими группами, снимая плащи, пальто и шляпы, прежде чем войти в зал для заседаний и устроиться вокруг большого прямоугольного стола, покрытого кожаной скатертью с пятнами воска и чернил. Трости прислонены к креслам, носовые платки выныривают из рукавов камзолов и исчезают обратно. Принадлежащая директору коробочка с нюхательным табаком и гербом маркиза на крышке переходит из рук в руки. Апчхи! Будьте здоровы! Благодарю. Снова кто-то достает платок и чихает. Вежливый гул, состоящий из покашливаний, шепота и комментариев вполголоса на тему ревматизма, воспалений, скверного пищеварения и прочих недугов заполняет первые минуты собрания, после чего, по-прежнему стоя, все произносят молитву *Veni Sancte Spiritus*, а затем усаживаются в кресла, чья обивка заметно попорчена временем. Самому молодому из присутствующих сравнялось полвека: суконные камзолы темных тонов, несколько сутан, полдюжины припудренных — или же без следов пудры — париков, бритые физиономии, чей возраст выдают морщины и пятна старости. Внешность присутствующих соответствует скромной обстановке, освещенной восковыми свечами и масляными лампами. Портреты покойного короля Филиппа Пятого, а также маркиза де Вильены, основателя Академии, возглавляют ансамбль гардин из выцветшего бархата, старого линялого гобелена, мебели, покрытой потемневшим лаком, и стеллажей с книгами и папками. С некоторых пор, несмотря на строгую еженедельную уборку, описанные предметы покрывает толстый слой сероватой пыли, наполнившей воздух в результате усердия каменщиков: Дом Казны, где Его Величество король Карл Третий великодушно позволяет собираться членам Академии, располагается в старом флигеле нового королевского дворца, в котором ведутся ремонтные работы. В Испании XVIII века, который к этому времени перевалил уже за свою последнюю треть, даже сам испанской язык и его знатоки переживают упадок.

— Книгу! — требует Вега де Селья, директор.

Дон Херонимо де ла Кампа, театральный критик и автор пространной «Истории испанского театра» в двадцати двух томах, неуклюже поднимается со своего кресла и бредет к директору, чтобы вручить ему двадцать второй том, последний из опубликованных. С любезнейшей улыбкой директор берет у него из рук книгу и передает ее библиотекарю, дону Эрмохенесу Молине, блестящему знатоку латыни и несравненному переводчику Вергилия и Тацита.

— Академия благодарит вас, дон Херонимо, за сей труд, который пополнит нашу библиотеку, — говорит Вега де Селья.

Франсиско де Паула Вега де Селья, маркиз де Оксинага — старший шталмейстер Его Величества. Это элегантный мужчина, одетый по последней моде: его синий вышитый камзол и кафтан вишневого цвета с двумя цепочками от часов выделяются на общем фоне единственным ярким пятном. Благоразумный и осмотрительный счастливчик, он отлично знает двор, кроме того, наделен непревзойденным талантом дипломата. Кое-кто поговаривает, что, если бы его родители избрали для своего отпрыска карьеру церковника — подобно младшему брату, ныне епископу де Сольсона, — в этом возрасте он был бы уже римским кардиналом с перспективой в один прекрасный день стать папой. Что же до остального, хотя поэт он весьма посредственный — его «Письма Клоринде», написанные в юные годы, не принесли ему ни признания, ни славы, — десять лет назад маркиз успешно опубликовал книгу под названием «Беседы о многообразии мнений и равенстве людей», которая принесла ему популярность на тертулиях,[[4]](#footnote-4) где собирались сторонники прогрессивных взглядов, а заодно и неприятности с цензорами инквизиции. Не говоря уже о переписке с Руссо, которую он вел в течение некоторого времени. Все это придает налет просвещенности трудам их Ученого дома; и, как следствие, вызывает ревность в определенных кругах по ту сторону Пиренеев.

— Займемся текущими делами, — провозглашает он.

По его просьбе дон Клименте Палафокс, секретарь, докладывает собравшимся о состоянии исследований, ведущихся в Академии, о новых словарных статьях, которые будут включены в ближайшее переиздание «Толкового словаря» и «Орфографии», а также о средствах, выделенных для приобретения великолепного «Дон Кихота» в четырех томах, который только что вышел из типографии Ибарры.

— А сейчас, — добавляет секретарь, обводя собравшихся взглядом поверх очков, — как и намечалось, состоится голосование по вопросу путешествия в Париж за «Энциклопедией».

Все это он произносит по-французски с отличным произношением — известный эллинист, Палафокс является переводчиком «Поэтики Аристотеля», которую он же и прокомментировал, — взгляд его блуждает по залу, а в правой руке он сжимает перо, зависшее над протоколом, дожидаясь каких-либо замечаний собравшихся, чтобы перейти к следующей теме.

— Быть может, сеньоры академики хотели бы что-то добавить к предыдущему обсуждению? — спрашивает директор.

На другом конце стола поднимается чья-то рука. Пухлые пальцы унизаны золотыми перстнями. Пламя одной из свечей отбрасывает зловещую тень на кожаную скатерть, покрывающую стол.

— Слово предоставляется дону Мануэлю Игеруэле.

Игеруэла начинает свою речь. Это толстяк лет шестидесяти с неповоротливой шеей и гнусавым голосом, на нем камзол с фижмами и парик без следов пудры, всегда сидящий чуть набекрень, словно хозяин нахлобучил его второпях, а лицо могло бы показаться самым заурядным, если бы не глаза — живые, недобрые и умные. Он пошловатый комедиограф и посредственный поэт, зато является издателем ультраконсервативного «Литературного цензора», имеющего мощную поддержку в самых реакционных кругах церкви и знати. Со своей журналистской трибуны он яростно атакует все, что мало-мальски пахнет прогрессом и просвещением.

— Я требую, чтобы вы занесли в протокол мое несогласие с этим проектом, — заявляет он.

Директор искоса бросает взгляд на секретаря, который фиксирует происходящее. Затем чуть заметно вздыхает, с осторожностью подбирая слова:

— Видите ли, поездка одобрена руководящим советом Академии еще неделю назад... Предмет нашего сегодняшнего голосования — кандидатуры уважаемых сеньоров академиков, которые примут в ней участие.

— Тем не менее хочу подчеркнуть мое несогласие с этим безобразием. В мои руки попали статьи, посвященные трактовке понятий «Бог» и «Душа» и вызвавшие негодование теологов... Поверьте, сеньоры, чтение этих статей едва не стоило мне здоровья. Этот опус осквернит нашу библиотеку!

Вега де Селья смущенно озирается. Когда возникают вопросы, требующие публичного обсуждения, большинство академиков предпочитают отмалчиваться и ничем не выдают своих помыслов, словно обсуждаемая проблема не имеет к ним ни малейшего отношения. Уж они-то знают, в каком мире живут, и помощи от них не жди. К счастью, утешает себя директор, на прошлой неделе все удалось решить тайным голосованием: академики опустили в урну записки. Все прошло успешно. Если бы голосовали, поднимая руку, мало кто отважился бы себя скомпрометировать. Всего лишь пару лет назад некоторые из них, включая самого директора, оказались втянутыми в процесс, затеянный инквизицией из-за чтения книг чужеземных философов. И хотя официально доказать невозможно, все уверены, что доносчик — тот самый тип, который сейчас влез со своей речью.

— Обоснуйте ваше заявление, дон Мануэль. — Вега де Селья улыбается со сдержанной любезностью. — А сеньор секретарь, как обычно, зафиксирует ваши слова письменно.

Игеруэла переходит к делу, он явно в ударе. Как и в своих статьях, он описывает душераздирающие картины апокалипсиса, к которому, по его мнению, непременно приведут опасные идеи, ставшие популярными в Европе; ураган свободомыслия и разгул атеизма отравляют покой мирных людей; отвратительное безбожие подрывает основы европейских королевских домов так же, как и главное орудие революции, все эти доктрины философов с их дерзким культом разума, отравляющим порядок естественный и оскорбляющим божественный: циник Вольтер, лицемер Руссо, извращенец Монтескье, нечестивцы Дидро и Д’Аламбер, а также многие другие, чьи недостойные помыслы переполняют эту так называемую «Энциклопедию», — французское слово он с подчеркнутым презрением произносит по-испански, — которой Испанская королевская академия собирается осквернить свою библиотеку.

— Вот почему я категорически против злосчастного приобретения, — подытоживает он. — А также против того, чтобы двое достойных членов Академии ехали за ним в Париж.

Наступает тишина, прерываемая лишь шорохом пера, царапающего бумагу, — чирк-чирк, чирк-чирк. Директор, как всегда невозмутимый, обводит взглядом собравшихся.

— Кто-нибудь из сеньоров желает что-либо добавить?

Чирканье пера прерывается, однако рта никто не открывает. Большинство взглядов рассеянно блуждает в пустоте, дожидаясь, когда минует буря и снова наступит штиль. Остальные присутствующие, настроенные консервативно — это четверо членов Академии: двое из пяти священников-академиков, герцог дель Нуэво Экстремо, а также важный чиновник из Министерства финансов, — сочувственно кивают Игеруэле. И несмотря на то что голосование в прошлый четверг было анонимным, директор Вега де Селья, как и любой из собравшихся, угадывает в них тех, кто вернул свои бюллетени пустыми: элегантная манера выразить несогласие в вопросах, которые решаются голосованием. На самом деле голосов, высказавшихся против «Энциклопедии», всего шесть, включая Игеруэлу. Директор абсолютно уверен, что шестой голос принадлежит, как ни странно, носителю взглядов, полностью противоположных радикальному издателю: это академик — фрак по последней английской и французской моде, узкие рукава, пышный галстук, туго стягивающий шею, волосы без пудры, однако аккуратно завитые и уложенные на висках, — который в эту секунду, и отнюдь не случайно, тянет руку с противоположной стороны стола.

— Итак, слово предоставляется сеньору Санчесу Террону.

Все знают, что перед ними случай особенный. Хусто Санчес Террон известен всей Испании как просвещенный радикал. Уроженец Астурии, скромного происхождения, достигший всего, что имеет, усидчивой учебой и неустанным чтением, он пользуется славой человека передовых идей. Будучи государственным служащим, он опубликовал скандальный доклад о больницах, тюрьмах и благотворительных заведениях — «Трактат о бедствиях народных», гласило его название, — давший обильную пищу для разговоров. С тех пор многие кофейни и тертулии Мадрида сделались местом литературно-философских дискуссий, которые он возглавлял; надо заметить, что именно слово «возглавлять» было в его случае ключевым. Разменяв пятый десяток, ослепленный успехом, утративший способность взглянуть на себя критически, Санчес Террон превратился в позера и педанта, самовлюбленного до самого омерзительного самодовольства, — из-за нравоучительного тона его писаний и выступлений его потихоньку называли «Критик из Овьедо». И в заключение этот человек, добирающийся до новинок мысли и культуры с некоторым отставанием, частенько провозглашал то, что и так уж всем известно, и заявлял об этом с таким видом, словно именно ему мир обязан своим открытием. Поговаривают к тому же, что он готовит театральную пьесу, благодаря которой намерен навсегда закопать лежалые трупы национальной сцены. Что же касается современных авторов и философов, астуриец считает себя единственным связующим звеном между ними и отсталым испанским обществом, без зазрения совести объявляя себя светочем, предводителем и, разумеется, спасителем мира. В этой роли он не терпит вмешательства или конкуренции. Ни для кого не секрет, что вот уже много лет он работает над обширным произведением под названием «Словарь истины», где большая часть статей и комментариев, якобы составленных им самим, откровенно заимствованы у французских энциклопедистов.

— Мои замечания также должны быть внесены в протокол. — Он самовлюбленно поправляет кружева, выглядывающие из-под манжет фрака. — Я имею в виду это несвоевременное посещение Парижа. Не думаю, чтобы наша институция была подходящим местом для этой «Энциклопедии». Очевидно, что Испании необходимо возрождение, однако возрождение должно прийти благодаря светилам местных интеллектуальных элит...

— К которым я принадлежу, — тихонько вторит ему кто-то из собравшихся.

Санчес Террон прерывает речь, гневным взором пытаясь отыскать шутника; но все собравшиеся за столом по-прежнему невозмутимы и сидят с совершенно невинным видом.

— Продолжайте, дон Хусто, — требует директор, заминая неприятную ситуацию.

— Эти светочи разума и прогресса, — продолжает Санчес Террон, — наш Ученый дом не должен искать вдали от своей привычной среды. Хочу также заметить, что Испанская королевская академия призвана выпускать словари, грамматические и орфографические справочники, чтобы фиксировать, чистить и полировать испанский язык... И точка! А идеи просвещения, даже самые важные и своевременные, — пусть остаются уделом философов. — Он обводит собравшихся вызывающим взглядом. — Философы, и только они, обязаны заниматься идеями.

Все догадываются, что под словом «философы» следует понимать «мы, философы». Как гласит популярная пословица, «каждый сверчок знай свой шесток», а «Энциклопедию» предоставьте нам, ибо лишь мы знаем в ней толк и достойны ее штудировать. Едва Санчес Террон заканчивает речь, по столу пробегает несогласный шепоток; некоторые академики ерзают в своих креслах, отчетливо слышны колкости, слетающие с чьих-то уст. Тем не менее суровый взгляд директора позволяет сохранить мир и спокойствие.

— Слово предоставляется нашему библиотекарю дону Эрмохенесу Молине.

Упомянутый дон — небольшого роста толстячок с приятным лицом, в коричневом камзоле с вытертыми локтями, явно знававшем лучшие времена, — поднимает руку и, поблагодарив директора за любезность, напоминает коллегам причину приобретения библиотекой двадцати восьми томов, изданных в Париже при участии Дидро, Д’Аламбера и Бретона. Это творение, продолжает он взволнованно, даже учитывая некоторые его несовершенства, является самым блестящим воплощением достижений современной мысли: это монументальное собрание передовых знаний в области философии, науки, искусства и прочих дисциплин, которые нам известны или же с которыми нам еще только предстоит познакомиться. Без сомнения, это одно из самых мудрых и отважных творений в истории, которые способны просветить своих читателей и распахнуть двери навстречу счастью, культуре и процветанию всего человечества.

— Было бы непростительной ошибкой, — подытоживает он, — не включить ее в число произведений, которые обогатят библиотеку во имя просвещения и радости сеньоров академиков, вдохновения наших трудов и гордости всего нашего Ученого дома.

Издатель Игеруэла снова поднимает руку. Взгляд его на сей раз прямо-таки испепеляет.

— Философия, природа, прогресс, земное счастье, — перечисляет он язвительно и небрежно, — это вовсе не те явления, которые нас обогащают, напротив, мы обязаны выявить их и предостеречь от них наивные умы, главным образом те, что отважились выступать против священных основ монархии или религии... Несмотря на различия наших убеждений и даже полную их противоположность, имею честь согласиться в этом вопросе с сеньором Санчесом Терроном. — Он улыбается, покосившись на упомянутого сеньора, который в ответ сухо кивает. — С точки зрения обеих, если так можно выразиться, крайностей, мы оба единогласно осуждаем неразумный замысел... И позволю себе напомнить сеньорам академикам, что, помимо всего прочего, данная «Энциклопедия» включена в «Индекс запрещенных книг», составленный Святой инквизицией. Причем не только у нас, но и во Франции.

Все взгляды устремляются в сторону Жозефа Онтивероса, поверенного архиепископства Толедо и постоянного секретаря Совета инквизиции: ему только что исполнился восемьдесят один год, это священник с белыми волосами, слабыми коленями и быстрым умом, который вот уже три десятилетия занимает пост, соответствующий литере «R». Он со снисходительной и великодушной улыбкой пожимает плечами. Несмотря на сан, Онтиверос — человек исключительно образованный и воспитанный, к тому же лишенный предубеждений. Лучшая версия Горация на испанском языке вышла сорок лет назад именно из-под его пера — «Фавн, о нимф преследователь пугливых!» — кроме того, все отлично знают, что великолепные переводы Катулла, изданные под псевдонимом Линарко Андронио, — также его работа.

— С моей стороны, nihil obstat[[5]](#footnote-5), — говорит клирик, вызывая у сидящих за столом улыбки.

— Хочу любезно напомнить дону Мануэлю Игеруэле, — продолжает директор со свойственным ему тактом, — что разрешение церковных властей на доставку «Энциклопедии» в Академию получено благодаря соответствующему посредничеству дона Жозефа Онтивероса... Безусловно, сделано это было из лучших побуждений. Святая инквизиция пришла к выводу, что сей труд, несмотря на то что допускать к нему людей недостаточно образованных было бы неразумно, может быть изучен сеньорами академиками, не причинив вреда ни их душам, ни разуму... Не так ли, дон Жозеф?

— Именно, именно так, — подтверждает тот.

— В таком случае продолжим, — произносит директор, глядя на часы, висящие на стене. — Вы готовы, сеньор секретарь?

Палафокс перестает писать, поднимает глаза от протокола, поправляет очки на носу и обводит взглядом ассамблею.

— Переходим к голосованию. Наша задача — выбрать сеньоров академиков, которые могли бы съездить в Париж и вернуться обратно с «Энциклопедией», согласно решению, принятому нашим собранием, протокол коего я намерен зачитать вслух. Итак:

«Здесь, в Доме Казны, штаб-квартире данной институции, в соответствии с разрешением Нашего Сеньора Короля и церковных властей, собрание Испанской королевской академии большинством голосов принимает решение избрать из сеньоров академиков двух добрых людей, которые, будучи наделенными средствами и провизией, необходимыми для путешествия и проживания на чужбине, отправятся в город Париж, где приобретут полное собрание сочинений, известное под названием „Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers“, а затем доставят его в Академию, чтобы здесь, в стенах библиотеки, упомянутые книги были доступны для свободного ознакомления и штудий любого из членов данной институции».

На краткий миг все смолкают, тишину нарушает лишь астматический кашель дряхлого дона Фелипе Эрмосильи — автора знаменитого «Каталога старинных испанских авторов». Академики удовлетворенно переглядываются, большинство из них принимает торжественный вид, осознавая важность происходящего; кое-кто мрачен или выражает явные признаки неудовольствия, однако последних единицы: двое наиболее консервативно настроенных церковников, герцог де Нуэво Экстремо и высший чиновник Кабинета Финансов. Они мрачно взирают на Игеруэлу и Санчеса Террона, солидарные с их замечаниями, однако не желая усложнять себе жизнь открытым выражением недовольства.

— Еще возражения?.. Таковых не имеется? — спрашивает директор. — Тогда перейдем к голосованию. Как только что сообщил сеньор секретарь, мы должны выбрать среди наших коллег двоих наиболее достойных.

— Так и было сказано в протоколе, — подтвердил дон Грегорио Сальвадор, когда я явился к нему за помощью. — «Двоих наиболее достойных». Я в этом уверен, потому что сам держал его в руках много лет назад.

За его спиной в балконнном окне виднелись здания улицы Маласанья. Старый профессор и академик — восьмидесятилетний лингвист и декан, действительный член Испанской королевской академии — сидел на диване в библиотеке своего дома. На столике передо мной стояла чашка кофе, который только что подала одна из его внучек.

— Значит, протокол заседания все-таки сохранился? — спросил я.

Профессор энергично покачал головой. Это была голова благородной лепки, поистине патрицианская, к тому же не соответствующая возрасту: все еще густые седые волосы, смеющиеся глаза, недавняя операция по удалению катаракты вынудила его читать в очках, однако в остальном не слишком омрачала существование. Дон Грегорио Сальвадор вот уже тридцать лет неизменно присутствовал на собраниях Академии, не пропустив ни единого четверга. Это был человек исключительной ясности ума, и, что еще важнее, он знал наизусть все исторические анекдоты и старинные, давно утратившие свою значимость истории. Соавтор «Лингвистического и этнографического атласа Андалусии», который представлял собой кропотливый монументальный труд, он был единственным членом Академии, к которому почти все мы обращались на «вы», даже вне заседаний, традиционно заносящихся в протокол.

— Конечно, — отозвался он. — Все протоколы в целости и сохранности. Проблема в том, что они не оцифрованы и найти нужный не так-то просто. Представьте себе, ведь это записи заседаний, которые проводились каждый четверг в продолжение целых трехсот лет! Чтобы что-то отыскать, пришлось бы терпеливо перебирать груды бумаги.

— Можно хотя бы узнать год?

Мгновение он размышлял, поигрывая эбонитовой тростью с серебряным набалдашником. Другую руку он держал в кармане куртки из серой антилопьей кожи, накинутой поверх рубашки с галстуком, заправленной в брюки из темной фланели. Его явно не новые туфли были тщательно начищены и блестели. Дон Грегорио Сальвадор был человеком чрезвычайно щепетильным. Можно даже сказать, безупречным.

— Думаю, где-то уже после 1780-го. Когда я работал с нашим экземпляром «Дон Кихота» Ибарры, который вышел как раз в этом году, мне в руки попал протокол заседания Академии, и в нем упоминался роман, а значит, его к тому времени уже опубликовали.

— И путешествие двоих членов академии там тоже упоминается?

— Разумеется. Они должны были отправиться в Париж, чтобы добыть полное собрание. И не все коллеги одобрили их миссию. Вот и вышло что-то вроде ссоры.

— Что же это была за ссора?

Он достал руку из кармана — рука была худая, жилистая, изувеченная артрозом — и сделал неопределенное движение в воздухе.

— Трудно сказать. Как я уже упомянул, в содержание протокола я не вникал. Все это показалось мне занятным, я собирался вернуться к этой теме, но в конце концов меня отвлекли какие-то неотложные дела.

Я поднес к губам чашку кофе.

— Все это выглядит странно, не так ли? Ведь энциклопедия была запрещена в Испании. А у них все так запросто получилось.

— Не думаю, что здесь уместно слово «запросто». Полагаю, путешествие в Париж было полно злоключений... С другой стороны, Академия была особенным заведением, собравшим внутри себя интереснейших людей. — В этот миг старый академик улыбнулся. — Людей самых разных.

— И хороших, и плохих — вы это имеете в виду?

Дон Грегорио улыбнулся шире. Несколько секунд он молча рассматривал рукоятку своей трости.

— Можно и так сказать, — ответил он наконец. — В том случае, если вам точно известно, какая сторона придерживается правильных убеждений, а какая нет... Но разница между ними, конечно же, была. В Испании всяких людей хватало — и в те времена, и в любые другие. А в ту пору разногласия, которые чуть позже стали для нашей истории роковыми, постепенно приобретали четкие очертания: группа людей, преисполненных искренним энтузиазмом и вдохновением, верой в прогресс и образование, убежденных в том, что сделать человечество счастливым можно только с помощью просвещения... И другая группа, закосневшая в мракобесии и невежестве, в безразличии к современности и культуре, упорствующая в ненависти ко всему новому. Следует также учитывать всех колеблющихся, всех приспособленцев, которых обстоятельства вынудили примкнуть к порядочным людям из обоих лагерей... В те времена в стенах Академии, так же как и вне их, сплетались волокна веревки, с помощью которой нам, испанцам, в продолжение двух последующих столетий предстояло душить друг друга.

Он посмотрел на меня внимательно. Даже, можно сказать, заинтересованно. Возможно, он думал о пользе, которую я смогу извлечь для своих книг из его рассказа. В конце концов, он сам решил мне помочь.

— Вы знакомы с этой эпохой? — спросил он.

— Более-менее.

— Писатель Хулиан Мариас, некогда наш с вами коллега по Академии, отец Хавьера, много писал о ней. У него есть сборник: «Облик Испании во времена правления Карла Третьего»... Я плохо помню, но, возможно, в нем упомянуто, как именно Академия получила «Энциклопедию»... Он, между прочим, тоже по-своему страдал от преследований и доносов, когда закончилась гражданская война.

Он снова улыбнулся, на этот раз отстраненно. Может быть, погрузился в прошлое. Его ранние воспоминания — старый академик родился в 1927 году — хранили картины наших самых разнообразных, ни с чем не сравнимых Герник.

— У Испании несчастливая история, — задумчиво произнес он.

— Неужели чью-то историю можно назвать счастливой?

— Тоже верно, — заметил он. — Но нам как-то особенно не везло. Восемнадцатый век был ярким примером упущенных возможностей: читающие военные, моряки-ученые, просвещенные министры... Полным ходом шло обновление, постепенно побеждавшее самые реакционные очаги церкви и общества, в которых, как огромный черный паук, затаилось мракобесие. Старушку Европу сотрясали новые идеи...

Произнеся эти слова, дон Грегорио неспешно осмотрел стеллажи, уставленные книгами, — они виднелись повсюду, стопки книг стояли не только на полках, но везде, где можно, даже на полу, — а я следил за его взглядом.

— И не случайно, — добавил он мгновение спустя, — поездка академиков в Париж совпала с царствованием Карла Третьего. Тот период был эпохой надежды. Часть клира, пусть и меньшинство, состояла из людей образованных, носителей передовых идей. Встречались благородные люди, которые старались быть сторонниками просвещения и, таким образом, навсегда оставить в прошлом века безнадежного мрака. Испанская королевская академия, — продолжал он, — считала своим долгом внести свой вклад в эти преобразования. Если есть замечательное произведение, которое благодатно влияет на Европу, заявили они, почему бы не доставить его сюда и не изучить как следует? Достаточно того, что каждое определение нашего «Толкового словаря», по-своему великолепное, окрашено сильнейшим христианоцентризмом, Бог присутствует всюду, даже в наречиях, нисколько не мешая разуму, науке и прогрессу... Испанский язык должен быть не только благородным, красивым и звучным, но еще и просвещенным, мудрым, философским!

— Революционный подход, не так ли?

— Безусловно. В большинстве своем академики были весьма проницательны, к тому же в высшей степени нравственны. Обратите внимание на удивительные определения, которые они по мере сил вносили в «Толковый словарь испанского языка»... В конце века большинство из них были убежденными католиками, а некоторые даже священниками; однако все они единодушно приняли решение совмещать свои религиозные убеждения с новыми идеями. Они верили, что, скрупулезно описывая и фиксируя испанский язык, делая его удобнее и рациональнее, они меняют Испанию.

— Но этим все и кончилось.

Дон Грегорио приподнял трость, выражая несогласие.

— Не все, — возразил он. — Но шанс действительно был упущен. У нас так и не случилось того, что произошло во Франции: революции, которая бы перевернула вверх дном весь привычный порядок... Вольтер, Руссо, Дидро, философы, благодаря которым появилась «Энциклопедия», оставались вне ее границ или же проникали внутрь с величайшим трудом. Их наследие сначала подвергалось жестоким репрессиям, а затем утонуло в крови.

Я допивал остатки кофе. Мы сидели молча. Старик-академик снова посмотрел на меня с любопытством.

— Однако, — произнес он в следующее мгновение, — история двадцати восьми томов, которые хранятся в нашей библиотеке, поистине уникальна... Вы действительно хотите написать об этом?

Он кивнул на книги, окружавшие нас со всех сторон, будто бы в них был спрятан ключ ко всей истории.

— А почему бы и нет? Но только в том случае, если мне удастся выяснить еще что-нибудь об этом деле.

Он удовлетворенно улыбнулся. Кажется, моя идея пришлась ему по душе.

— Я был бы очень рад, потому что это достойный эпизод в истории нашей Академии. Нельзя забывать, что даже в самые мрачные времена всегда находились добрые люди, которые боролись за то, чтобы принести своим соотечественникам свет и прогресс... Однако были и такие, кто делал все возможное, чтобы им помешать.

Они поднялись со своих мест, как обычно, ровно в половине девятого и простились до следующего четверга. Зима агонизирует, однако ночь выдалась ясная и безмятежная, и между крыш виднеются звезды. Хусто Санчес Террон неторопливо шагает в сторону улицы Майор, как вдруг за его спиной слышится цокот конских копыт. Фонарь Дома Королевских Советов отбрасывает под ноги академика тень приближающегося экипажа. Экипаж настигает академика, изнутри его окликает чей-то голос. Извозчик натягивает повод, экипаж останавливается, и в окне показывается съехавший набок парик Мануэля Игеруэлы, обрамляющий его круглую, не слишком приятную физиономию.

— Садитесь, дон Хусто. Подвезу вас до дома.

Санчес Террон отказывается с презрительным высокомерием, которого даже не пытается скрыть. Он не большой любитель раскатывать по Мадриду в экипаже, говорит его гримаса, а уж тем более в обществе издателя и литератора, который распространяет мракобесие. Даже если речь идет о плохо освещенных улицах, где почти нет пешеходов, которые могли бы увидеть, как он нарушает свои суровые принципы.

— Как вам угодно, — замечает Игеруэла. — В таком случае я готов сопровождать вас пешком.

Издатель выходит из экипажа. На нем испанский плащ, шляпу он держит в руке — он редко ее надевает, поскольку мешает парик. Игеруэла отпускает возницу и как ни в чем не бывало пристраивается к Санчесу Террону. Тот шагает, сунув руки в карманы плаща, голова не покрыта, подбородок опущен на грудь. Его походка выражает значительность. Именно так выглядит он обычно во время прогулки: задумчив, самоуглублен, непроницаем. Весь его вид выдает глубокую сосредоточенность на философских размышлениях, даже когда он смотрит себе под ноги, стараясь не наступить в собачьи какашки.

— Надо остановить это безобразие, — обращается к нему Игеруэла.

Санчес Террон отвечает на его слова глубокомысленным молчанием. Он отлично понимает, что имеется в виду под словом «безобразие». На последнем голосовании — на этот раз двенадцать одобрительных голосов против шести пустых бюллетеней — среди последних был и его листок — ответственными за доставку «Энциклопедии» из Парижа в библиотеку были назначены дон Эрмохенес Молина и отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, которого все члены Академии зовут адмиралом и который занимает место, традиционно принадлежащее офицеру армии или Королевской армады, имеющему какое-либо отношение к гуманитарным наукам.

— Мы с вами, дон Хусто, во многом расходимся, — продолжает Игеруэла. — Однако в этом вопросе наши обычно противоположные взгляды совпадают. Для меня, патриота и католика, это творение так называемых французских философов является опасным и тлетворным... А вам, глубокому мыслителю, сознающему всю незрелость наивного испанского общества, очевидно, что подобное чтиво здесь и сейчас является совершенно излишним.

— Скорее преждевременным, — поправляет его собеседник тоном сухим и желчным.

— Пусть так. Преждевременным, неуместным... Называйте, как хотите. На то мы и академики, чтобы всякому явлению подбирать точное определение. Дело в том, что, и с вашей точки зрения, и с моей, Испания не готова к тому, чтобы эта гнусная «Энциклопедия» переходила из рук в руки... Вы полагаете — прошу прощения за то, что осмелился проникнуть в ваши мысли, — что идеи Дидро и его соратников, даже если они совпадают с вашими, слишком опасны, чтобы предложить их широкой публике.

Выслушав эти слова, Санчес Террон смотрит надменно, с олимпийским презрением.

— Опасны, вы говорите?

Несмотря на тон собеседника, Игеруэла не дает себя запугать.

— Именно это я и говорю: опасны и абсурдны. Чего стоит одна эта теория происхождения человека из рыб и морских гадов... Какая нелепость!

— Нелепо выражать свое мнение о том, чего не знаешь.

— Оставьте эту чепуху и перейдем к делу. Прежде всего необходимы посредники, образованные проводники, которые помогут сориентироваться в этом гигантском и сложном творении. — Игеруэла бросает на Санчеса Террона двусмысленный взгляд, полный коварства и лести. — Люди, подобные вам, чтобы далеко не ходить за примером... В Испании виноградины энциклопедического знания еще слишком зелены, чтобы давить из них вино... Я не ошибаюсь?

Улицы в этот час почти пустынны. Пуэрта-де-Гуадалахара погружена в сумерки, палатки ювелирных лавок убраны, витрины и окна замкнуты деревянными ставнями. Кошки бесшумно шмыгают среди мусорных куч, ожидающих возле порталов повозку мусорщика.

— Это Испания, дон Хусто. В наше время, прости Господи, в кого ни плюнь — все философы. Даже некоторые знакомые мне дамы чванятся, упоминая Ньютона или цитируя Декарта, а на их ночных столиках красуется Бюффон, хотя они всего лишь рассматривают картинки... Дело кончится тем, что все мы запляшем контрданс по-парижски, причесанные, как тамошние мыслители, и напудренные, что твоя мельничная мышь.

— Да, но при чем тут «Энциклопедия» и Академия?

— Вы же проголосовали против нее и против путешествия.

— Позвольте напомнить, что голосование было тайным. Не понимаю, как вы осмелились...

— Еще бы, конечно же это секрет. Но мы в Академии все знаем друг друга как облупленных.

— До чего дикий разговор, дон Мануэль!

— Позвольте не согласиться... К тому же все это касается вас в той же степени, что и меня.

Звонит колокол. Из церквушки Сан-Хинес выходят священник и служка с елеем и святыми дарами, направляясь в дом к умирающему. Оба академика замедляют шаг: Игеруэла крестится, преклонив голову, Санчес Террон поглядывает осуждающе и презрительно.

— Мое мнение вам известно, — говорит издатель, когда они продолжают путь. — Будь проклято неразумное любопытство, с которым все ожидают этот презренный сосуд бесчестия и безнравственности, оскорбляющий все исконное и достойное... Эту волну, которая захлестнет трон и алтарь, заменив их культом таких вещей, как природа и разум, кои мало кто понимает... Представляете, какими смутами и революциями чреваты эти идеи, если попадут в руки какому-нибудь мальчишке на побегушках, студенту-первокурснику или посыльному из аптеки?

— Вы, как всегда, передергиваете, — сухо возражает Санчес Террон. — Или преувеличиваете. Не стоит путать меня с вашими неотесанными читателями. Академия приобретет «Энциклопедию» исключительно для пользования самих академиков. Никто не станет передавать ее в распоряжение людей недостойных.

Игеруэла улыбается с едва заметной издевкой.

— Академиков? Сейчас не лучшее время для шуток, дон Хусто. Вы всех их отлично знаете и презираете не меньше моего: в большинстве своем это бездарные писаки и доморощенные эрудиты, которые больше всего на свете любят погреться у камелька. Библиотечные крысы, безразличные к величайшим дерзновениям нашего времени... А многие из них, ко всему прочему, еще и до крайности наивны, несмотря на преклонный возраст. Найдется ли среди них тот, кто способен проглотить Вольтера или Руссо и не поперхнуться? Какие последствия повлечет за собой эта воспламеняющая смесь в неумелых руках, вне контроля почтенных мыслителей, подобных, например, вам?

Последние слова пролились на душу Санчеса Террона животворящим бальзамом. Возразить нечего, и в ответ он только задумчиво хмурится. Тщеславие надежно уберегает его от бессовестного коварства Игеруэлы. Литератор по-прежнему шагает медленно, он мрачен и суров, руки его погружены в карманы плаща, подбородок опущен на грудь — чистейший образ прямолинейности и неподкупности. Издатель тем временем красноречиво размахивает руками, твердо решив использовать любую приманку и не упускать добычу. А убеждать он умеет.

— Достойнейший труд во благо испанского языка, вот в чем состоит наша цель, — продолжает он. — Вдумайтесь только: Сервантес, Кеведо, «Орфография», «Толковый словарь» и прочие труды Академии... Все, абсолютно все достойно наивысших похвал. Филантропия, патриотизм в высшем смысле этого слова... Но соваться в дебри современной философии — на мой взгляд, все равно что рубить сук, на котором сидишь. Вы со мной согласны?

— В каком-то смысле, — осторожно кивает собеседник.

Игеруэла удовлетворенно хихикает: он на верном пути.

— Все это не является компетенцией Ученого дома, — добавляет он, беря быка за рога. — Всему есть свои границы: сластолюбию, свободомыслию, а также человеческой гордыне. Эти границы — монархия, католическая церковь и ее неоспоримые догмы...

В этот миг Санчес Террон перебивает его, вздрогнув так, будто увидел змею.

— Опять вы про то, что презренным безбожникам место в тюрьме? Старая песня, дорогой мой. Я имею в виду вас и вашу шарманку. Дряхлые старикашки, зануды в париках, надвинутых до бровей, с длинными ногтями и в рубашках, которые меняют раз в две недели. Хватит, довольно!

Издатель благоразумно усмиряет свой пыл. Впредь он будет вести себя осмотрительнее.

— Простите, дон Хусто. Я не собирался ни обижать вас, ни спорить с вами... Ваши взгляды мне известны, и я их уважаю.

Но Критик из Овьедо завелся не на шутку.

— Да вы мать родную не уважаете, дон Мануэль... Вы — настоящий фанатик, и все, что вам нужно, — побольше хвороста, чтобы спалить всех еретиков, как сотню лет назад... Вам нужны кандалы и трибуналы, и чтобы к каждому был приставлен духовник. Ваша газетенка...

— Забудьте о ней, в самом деле! Сегодня с вами говорит не воинственный издатель, а друг.

— Друг? Что за ерунду вы несете! Вы меня за дурака принимаете?

Они остановились возле паперти Сан-Фелипе, такой оживленной днем и пустынной в этот поздний час. Напротив виднеются запертые книжные лавки Кастильо, Корреа и Фернандеса. На каменных ступенях и в порталах магазинов спят нищие, прикрытые темным тряпьем.

— Я сражаюсь с врагами человечества, даже когда мне приходится заниматься этим в одиночку, — провозглашает Санчес Террон, указывая на запертые двери книжных лавок, словно призывая их в свидетели. — Единственные мои союзники — разум и прогресс. Мои идеи не имеют ничего общего с вашими!

— Согласен, — кивает его собеседник. — Я нападал на них — и в публичных выступлениях, и письменно, я это признаю. Случалось, и не раз.

— Кто бы спорил! В вашем последнем номере, не упоминая непосредственно меня ...

— Послушайте! — Издатель решает идти напрямик. — То, что вот-вот произойдет, настолько серьезно, что я готов временно разделись ваши идеи, дон Хусто. В интересах, так сказать, общего дела. И прежде всего — ради достоинства Испанской королевской академии.

— Достоинство — не главная характеристика вашей писанины, дон Мануэль. Позвольте мне быть с вами откровенным.

Игеруэла вновь скептически улыбается.

— Сегодня я готов позволить вам все. Но, по правде сказать, мне кажется, что вам не чуждо некоторое фарисейство.

Санчес Террон резко поднимает глаза, он взбешен:

— Разговор окончен. Доброй ночи.

Литератор поспешно шагает, стремительно удаляясь. Однако Игеруэла и не думает отставать: он догоняет его и без лишних слов спокойно пристраивается рядом. Издатель дает ему возможность переменить свое мнение. В конце концов Санчес Террон сбавляет шаг, останавливается и смотрит на него.

— Ну и что вы предлагаете?

— Думаю, вы не хотите, чтобы идеи, изложенные в «Энциклопедии», превращались в балаган. Чтобы они ходили по рукам свободно и без ограничений. Коротко говоря, без вашего участия как посредника. Ваш «Словарь истины», например...

Уязвленный собеседник смотрит на него пристально, его взгляд высокомерен.

— При чем тут мой «Словарь»?

На устах Игеруэлы появляется волчья улыбка. Вот теперь он в своей стихии. Ему отлично известно, что Санчес Террон без зазрения совести обкрадывает философов, живущих по ту сторону Пиренеев.

— Не сомневаюсь, что это произведение единственное в своем роде. И, что немаловажно, оно испанское. К чему нам, испанцам, измышления презренных французишек? Даже с такими вещами, как «атеизм» и «заблуждение», мы отлично справимся сами... Не так ли?

В его голосе снова звучат ироничные нотки, но они не в силах поколебать каменное тщеславие философа.

— Что вы хотите сказать? — отзывается он.

Игеруэла непринужденно пожимает плечами.

— Предлагаю вам оливковую ветвь.

Санчес Террон смотрит на него растерянно, он скорее удивлен, чем рассержен.

— Вы хотите сказать, что у нас с вами может быть что-то общее?

Издатель показывает ему свои руки, повернутые ладонями вверх: он намекает, что ничего в них не прячет.

— Дорогой коллега, я предлагаю вам перемирие. Временный и плодотворный союз двух противоположностей.

— Ничего не понимаю. Можете объяснить поточнее?

— Эти двадцать восемь томов не должны появиться в Испании, вот что. И не должны пересечь границу. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы никакого путешествия не было.

Санчес Террон несколько секунд смотрит на него молча, нахмурившись.

— Не представляю, как это устроить. — В его голосе звучит сомнение. — Академия уже уполномочила библиотекаря и адмирала. Они говорят по-французски, серьезны, исполнительны. Оба — добрые люди, как гласит протокол. Люди достойные, честные. Ничто не помешает им...

— Вы ошибаетесь. Я вижу множество возможных препятствий. И множество сложностей.

— Например?

— Это долгое путешествие, — отвечает Игеруэла с двусмысленной ухмылкой. — Чего только не встречается на пути: границы, таможни. А сколько всяких опасностей! И тут эта «Энциклопедия», осужденная церковью, отвергнутая множеством европейских королевских домов, официально запрещенная во Франции. Издатели продают ее тайно, подпольно.

— Ну и что? — перебивает его собеседник.

— Вам, дон Хусто, отлично известны споры и разговоры, которые ходили вокруг этого произведения в Испании. Изначальная позиция Святой инквизиции и Государственного совета, вмешательство Его Величества короля, который, поддавшись дурным влияниям, одобрил эту идею...

— Что вам нужно? — Санчес Террон теряет терпение.

Собеседник невозмутимо выдерживает его взгляд.

— Ваша помощь для того, чтобы это путешествие не состоялось.

— И что от меня требуется?

— Видите ли, если за это предприятие возьмусь я один, все решат, что это дело рук ретроградов. Но, если в игру вступите вы, дело приобретет иной оборот. Мы сможем задействовать силы и ресурсы... Вы состоите в переписке с философами и французскими продавцами книг. Все это люди передовых идей. У вас друзья в Париже.

— Щипцы, вы хотите сказать?... С одной стороны, вы, с другой — я?

— Отличное сравнение. Щелкнем это дельце вместе!

Они почти уже вышли — высокомерие под ручку с подлостью — к Пуэрта-дель-Соль, оживленной даже в этот час. Дилижанс останавливается на углу улицы Постас напротив палаток с витринами, задернутыми холстом. На площади, залитой красноватым светом фонарей, виднеются пешеходы, сопровождаемые носильщиками со свертками и чемоданами. Кучка зевак толпится возле здания Каса-де-Корреос, куда в это время приносят отпечатанные листки с новостями о войне с Англией и осаде Гибралтара.

— Есть у меня кое-кто на примете, — добавляет Игеруэла. — Этот субъект отлично подойдет для нашего дела. Расскажу о нем подробнее, если вы готовы сотрудничать. Достаточно сказать, что он свободно перемещается между Испанией и Францией и ему уже приходилось выполнять деликатные поручения, к полному удовлетворению своих нанимателей.

— Разумеется, за деньги.

— А с чего бы он иначе старался? Опыт, дорогой дон Хусто, показывает, что нет более верного союзника, чем тот, кому хорошо заплатили. Никогда не доверял энтузиастам или добровольцам, которые охотно берутся за то и за се, побуждаемые голосом совести или обычным капризом, а едва ослабевает порыв, улепетывают так, что только пятки сверкают. Зато человек нанятый — не важно, что у него за идеи — будет вам предан до конца. Этот парень как раз из таких.

— Вы же не имеете в виду, что наши уважаемые коллеги...

— Конечно, нет! Как вы могли такое подумать... За кого вы меня принимаете?

Они пересекают Пуэрта-дель-Соль, приближаясь к конным экипажам, стоящим у въезда в Карретас. Санчес Террон проживает в двух шагах отсюда, возле трактира «Пресьядос». Игеруэла делает знак извозчику, и тот зажигает на экипаже фонарь.

— Никто не собирается обижать наших дорогих библиотекаря и адмирала, — уверяет издатель. — Речь идет лишь о том, чтобы им помешать. Их задача должна усложниться настолько, что они вернутся с пустыми руками... Что вы на это скажете?

— В любом случае все нужно тщательно продумать, — осторожно отвечает Санчес Террон. — Кстати, кто он, этот ваш тип?

— О, это интереснейший экземпляр, и не сомневайтесь. У него есть даже своеобразный кодекс чести. Его зовут Рапосо... Паскуаль Рапосо.

— Вы говорите, он толковый?

Нога Игеруэлы уже касается подножки экипажа. Он подносит руку к голове, чтобы поправить парик, и в лучах масляного фонаря его гнусная улыбка выглядит сусальной.

— Толковый и очень опасный, — подтверждает он. — Как и его фамилия[[6]](#footnote-6).

Знакомство с протоколами заседаний оказалось делом непростым. Они хранились за семью печатями в архиве Академии, и Лола Пеман, архивариус, утверждала, что подобная разновидность церберов идеально подходит для тех, кто стремится уберечь бумаги от желающих с ними ознакомиться. Однако в конце концов, оставив позади обычную бюрократическую волокиту, я получил доступ к оригиналам XVIII века.

— Осторожнее переворачивайте страницы. — Архивариус Лола восприняла мое вторжение как вызов. — Бумага в плохом состоянии, очень хрупкая. Можете случайно повредить.

— Не беспокойтесь, Лола.

— Так все говорят... А потом сами знаете, что бывает.

Я пристроился возле одного из библиотечных окон, где располагались ниши со столиками, за которыми обычно работали академики, получившие доступ в архив. Поистине, это была величайшая минута! Подробности каждого заседания, проходившего по четвергам, были изложены одна за другой в тяжелых томах с добротным кожаным переплетом: ясный, чистый почерк, почти как у настоящего писаря, который в один прекрасный день менялся: должно быть, один секретарь умирал и на его место заступал следующий. Почерк секретаря Палафокса был аккуратный, выразительный, легко читаемый: *Все члены Академии, собранные в штаб-квартире последней, а именно, в доме, расположенном на улице Казны...*

К моему разочарованию, протоколы не отличались излишней скрупулезностью. В те времена, несмотря на просветительскую политику правительства Карла Третьего, инквизиция все еще сохраняла могучую власть и благоразумные академики — даже в содержании протоколов угадывалась умелая рука секретаря Палафокса — по возможности старались оставлять на бумаге как можно меньше улик. Я обнаружил лишь самое первое упоминание, где обсуждалось, каким образом приобрести полное собрание «Энциклопедии» — *Члены Испанской королевской академии большинством голосов одобряют...*  — а также вторую запись, где перечислялись имена академиков, избранных для путешествия: *Поскольку некоторое время назад стало известно, что в продаже имеется полное собрание французской «Энциклопедии», Академия решила приобрести оное собрание в оригинальном издании, для чего уполномочивает сеньоров Молину и Сарате доставить его из Парижа*.

Этого было вполне достаточно, чтобы начать распутывать нити дела. В документальной книге «Члены Испанской академии» Антонио Колино и Элисео Альвареса-Аренаса я сумел отыскать биографии уполномоченных, однако о поездке в Париж не было сказано ни слова. Первым из них был библиотекарь дон Эрмохенес Молина, выдающийся преподаватель и переводчик классиков, которому в то время было шестьдесят три года. О другом мне стало известно только то, что он отставной командир бригады морских пехотинцев по имени дон Педро Сарате, прозванный друзьями адмиралом, специалист по морской терминологии и автор подробного словаря на эту тему.

Получив основные данные, я начал потихоньку продвигаться дальше: библиографические справочники, «Эспаса», Интернет, библиографии. За несколько дней мне удалось довольно правдоподобно сложить одно к другому все, что только можно было узнать о жизни этих двух персонажей. Признаться, получилось не слишком много. Оба представляли собой скромных, почтенных сеньоров. Две не слишком яркие жизни: первая, посвященная переводу и преподаванию; и вторая, протекавшая в мирной гавани, где можно было обстоятельно изучать мореходное искусство, и удостоенная в конце концов чина академика. Единственная боевая операция бригадира Сарате, о которой достоверно известно, имела место в молодости, когда он принял участие в крупном морском сражении с британской эскадрой в 1744 году. Ничего из того, что мне удалось разузнать про одного и про другого, не противоречило словам, записанным в книге протоколов секретарем Палафоксом: *два хороших человека*.

Деревянный пол поскрипывает, когда вслед за десертами слуга приносит поднос с дымящимся кофейником, водой и бутылкой ликера, а также курительные принадлежности. Предупредительный Вега де Селья, директор Испанской королевской академии, ухаживает за своими сотрапезниками лично: чашка, наполненная доверху, и рюмка черешневого ликера — библиотекарю дону Эрмохенесу Молине; мускатель на самом донышке рюмки — адмиралу Сарате, чей аскетический нрав — он едва притронулся к молодому барашку и вину из Медина-де-Кампо — известен членам Ученого дома. Все трое сидят вокруг стола в отдельном кабинете трактира «Золотой фонтан». Через открытое окно виден поток экипажей и толпы людей, которые в обоих направлениях движутся по улице Сан-Херонимо.

— Настоящая авантюра, — говорит Вега де Селья. — Не хочу преувеличивать, но благодаря ей вы удостоитесь признательности всех коллег по Академии... Вот почему я решил отблагодарить вас, пригласив на этот обед.

— Не знаю, справимся ли мы с возложенным на нас долгом, — отвечает библиотекарь.

Вега де Селья несколько суетливо машет рукой — он абсолютно во всем уверен и чрезвычайно взволнован.

— Я нисколько в этом не сомневаюсь, — восклицает он с воодушевлением. — И вы, дон Эрмохенес, и сеньор адмирал — люди незаурядные, вы обязательно справитесь... Я в этом совершенно уверен!

Произнеся эти слова, он наклоняется над столом и подносит кончик своей гаванской сигары к огоньку зажженной свечи, которую слуга принес вместе с курительными принадлежностями.

— У меня нет ни малейших сомнений, — повторяет директор, откинувшись на спинку кресла. Его улыбающийся рот выпускает голубоватое облачко дыма.

Дон Эрмохенес Молина, библиотекарь Академии — близкие друзья обычно называют его дон Эрмес, — вежливо соглашается, однако заметно, что он не слишком уверен. Это толстенький добродушный человечек небольшого роста, овдовевший пять лет назад. Блестящий латинист, преподаватель классических языков. Его перевод «Параллельных жизней» Плутарха прочно занял свое место среди лучших литературных произведений Испании. Он явно пренебрегает своим внешним видом — камзол, затертый на локтях, покрыт пятнами шоколада, а лацканы кафтана усыпаны табачными крошками, — однако добрый нрав с избытком компенсирует все эти недостатки, и друзья его любят. Будучи библиотекарем, он позволяет им пользоваться редкими экземплярами, которые принадлежат ему лично, и даже приобретает за свои деньги нужные книги в букинистической лавке, не требуя возмещения расходов. В отличие от директора и других членов Академии дон Эрмохенес не носит парика и не пудрит волосы — неровно подстриженные, но все еще темные, лишь кое-где тронутые сединой. Его густая борода — вероятно, ее пришлось бы брить дважды в день, чтобы вид был ухоженный, — делает лицо несколько мрачным, и только добродушные карие глаза, утомленные возрастом и бесконечным чтением книг, созерцают мир с лукавой искоркой и с неподдельным удивлением.

— Мы сделаем все, что в наших силах, сеньор директор.

— Не сомневаюсь, друг мой, нисколько не сомневаюсь.

— Я очень рассчитываю на нашего коллегу сеньора адмирала, — добавляет библиотекарь. — Он бывалый человек, много путешествовал. К тому же отлично говорит по-французски.

Тот, о ком идет речь, едва заметно кланяется — в кресле он сидит, как обычно, выпрямив спину, суровый и несколько чопорный, манжеты камзола касаются края стола, черный фрак безупречен, широченный шелковый галстук стянут аккуратным узлом, который словно бы заставляет алмирала еще прямее держать голову. Бросается в глаза контрастное сочетание этого вышколенного, подтянутого человека с добродушной неряшливостью библиотекаря.

— Вы тоже говорите по-французски, дон Эрмохенес, — сухо возражает он.

Смиренный библиотекарь отрицательно качает головой, а Вега де Селья, окруженный колечками дыма, бросает на адмирала проницательный взгляд. Он уважает старого моряка, однако, как и большинство академиков, предпочитает в общении с ним соблюдать некоторую дистанцию. Недаром за Педро Сарате-и-Керальто водится слава человека нелюдимого и эксцентричного. Отставной командир бригады морских пехотинцев, автор подробнейшего «Морского словаря», адмирал — высокий, худой человек все еще в отличной форме, с меланхоличным выражением лица и строгим, почти суровым образом жизни. У него умеренно длинные серые волосы, кое-где начавшие редеть, собранные на затылке в небольшой хвост, перевязанный лентой из тафты. Самая заметная черта его облика — светло-голубые глаза, водянистые и прозрачные, которые имеют обыкновение смотреть на собеседника с прямотой, иной раз тревожащей, почти неприятной для тех, кто рискнет выдерживать их взгляд слишком долго.

— Это не одно и то же, — протестует дон Эрмохенес. — Я силен главным образом в теории. Тексты, переводы, всякое такое. Латынь высосала всю мою жизнь, для других дисциплин попросту не осталось места.

— Зато вы бегло читаете Монтеня и Мольера, сеньор библиотекарь, — говорит Вега де Селья. — Почти так же хорошо, как Цезаря или Тацита.

— Одно дело — читать, другое — непринужденно беседовать на чужом языке, — робко возражает библиотекарь. — В отличие от меня дон Педро достаточно практиковался в этом деле: когда он плавал с французской эскадрой, у него была возможность как следует наговориться по-французски... И конечно, это была одна из причин, по которой его выбрали для поездки. Но я совершенно не понимаю, почему выбрали меня.

На лице директора появляется безупречно вежливая улыбка, чуть опечаленная из-за того, что приходится объяснять столь очевидные вещи.

— Потому что вы порядочный человек, дон Эрмохенес, — наконец отвечает он. — Мудрый, всеми любимый, заслуженный библиотекарь нашего Ученого дома. Человек, которому можно доверять, как и нашему сеньору адмиралу. Коллеги не ошиблись, возложив на вас свое доверие... У вас уже назначена дата отъезда?

Несколько напряженных секунд он переводит взгляд с одного на другого, каждого удостаивая равным количеством внимания с заботливой любезностью воспитанного человека. Эта незначительная особенность поведения, в которой деликатность Веги де Сельи проявляется самым естественным образом, стала причиной того, что Его Величество Карл Третий сделал его своей правой рукой в вопросах чистоты, фиксации и тщательной шлифовки кастильского языка, который называют также испанским. Поговаривают, что грудь директора вот-вот украсит орден Золотого Руна, которым его наградят за бесценные услуги.

— Организацию путешествия я доверяю моему спутнику, — поясняет библиотекарь. — Он военный, а значит, хороший стратег. К тому же никогда не теряет присутствия духа. Для меня все это сложновато.

Директор поворачивается к дону Педро Сарате.

— А вы что думаете по этому поводу, адмирал?

Тот ставит на стол два пальца, и внимательно изучает расстояние между ними, словно намечая путь корабля или подсчитывая мили на карте.

— Кратчайший путь на перекладных: из Мадрида в Байонну, а оттуда уже в Париж.

— Боюсь, это не меньше трехсот лиг...

— Двести шестьдесят пять, по моим подсчетам, — безжалостно уточняет дон Педро. — Почти месяц пути. И это только в одну сторону.

— Когда вы собираетесь выехать?

— Надеюсь, недели через две мы уже будем готовы.

— Отлично. Достаточно времени, чтобы уладить вопросы с финансированием. Вы уже подсчитали, какая сумма вам понадобится?

Адмирал достает из-за рукава кафтана листок бумаги, сложенный вчетверо, кладет на стол и разглаживает ладонью. Листок покрывают цифры, выведенные прямым, четким почерком.

— Восемь тысяч реалов понадобится на приобретение «Энциклопедии», прибавьте к этому пять тысяч на дорогу и проживание плюс по три тысячи на брата таможенных сборов. Вот тут все подробно расписано.

— Что ж, не такая большая сумма, — с явным облегчением замечает Вега де Селья.

— Надеюсь, этого хватит. Я не предвижу других расходов, кроме средств на существование. От Академии потребуется оплатить лишь самое необходимое.

— Я бы не хотел, чтобы ваш кошелек...

На лице адмирала проскальзывает искорка высокомерия, светло-голубые глаза спокойно выдерживают взгляд Веги де Сельи, а тот тем временем рассматривает маленький горизонтальный шрам, едва заметный среди морщин: он тянется от виска к левому веку его собеседника. Старый моряк никогда не говорил об этом, однако среди академиков ходит слух, что это след от ранения, полученного еще в юности во время морского сражения при Тулоне.

— Не возьмусь судить о кошельке дона Эрмохенеса, — говорит адмирал, — однако мой кошелек — это мое личное дело.

Вега де Селья посасывает кончик сигары и смотрит на библиотекаря, который отвечает ему любезной улыбкой.

— Я полностью доверяю расчетам моего коллеги, — говорит тот. — Адмирал привык жить в спартанских условиях, как настоящий моряк, но и я довольствуюсь в жизни не многим.

— Как вам угодно, — сдается директор. — В ближайшие дни наш казначей выдаст вам средства для путешествия. Одна часть этих денег будет в наличных — это на дорогу, другая — в виде кредитного письма для одного парижского банкира: банк Ванден-Ивер, им можно доверять.

Указательный палец адмирала поднимается над столом и зависает над листком с расходами, будто прицеливаясь.

— Разумеется, мы отчитаемся за все, что потратим во время поездки, до последнего реала. — В его тоне слышится превосходство. — И подтвердим соответствующими чеками.

— Прошу вас, дорогой друг... Не вижу необходимости заходить так далеко, я полностью вам доверяю.

— Я готов повторить свои слова, — настаивает адмирал со свойственной ему холодностью: его указательный палец все еще целится в листок с расходами так, словно они составляют предмет его гордости. Вега де Селья замечает, что его ногти, в отличие от грязных и отросших ногтей неряхи библиотекаря, коротко подстрижены и тщательнейшим образом ухожены.

— Как хотите, — замечает он. — Однако есть одна деталь, которую необходимо учитывать: обычные перекладные вам не подходят, мало какой дилижанс проделает полностью весь путь, к тому же дороги ужасны. Ехать же верхом на мулах, позвольте заметить, вам пристало еще меньше... Да и кому из нас такое подходит!

Робкая шутка вызывает у дона Эрмохенеса добродушную улыбку, однако адмирал по-прежнему невозмутим. На самом деле Педро Сарате ведет себя с тщательно скрываемым кокетством, даже в том, что касается возраста. Несмотря на свою все еще отличную фигуру, на красивую одежду, которая сидит на нем ловко, как перчатка на руке, и на весь его холеный вид, академики понимают, что ему никак не меньше шестидесяти — шестидесяти пяти лет, хотя точный возраст не известен никому.

— Обратную дорогу, — произносит адмирал, — может осложнить груз. Двадцать восемь томов в кожаном переплете — довольно тяжелая ноша. Придется доставать специальный транспорт; кроме того, учитывая особенность этого груза, таможни и прочее, будет весьма неразумно везти его без присмотра.

— Разумеется, нужно будет воспользоваться каретой, — поразмыслив, предлагает Вега де Селья, — которая предназначалась бы только для вас. И пожалуй, лошади вместо мулов: у них мягче шаг, и они быстрее... — В этот миг он морщится, вспомнив о расходах. — Впрочем, не знаю, удастся ли это обеспечить.

— Не беспокойтесь. Мы обойдемся обычными перекладными.

Директор мгновение размышляет.

— У меня есть английский экипаж, — заключает он. — Отлично подходит для конной тяги. Если хотите, можете им воспользоваться.

— Очень щедро с вашей стороны, но мы обойдемся чем-нибудь попроще... не так ли, дон Эрмохенес?

— Конечно, разумеется!

Директор отмечает, что каждый из двоих академиков ведет себя на свой манер. Библиотекарь относится к тяготам путешествия с присущим ему добродушным смирением, подшучивая надо всем, и в первую очередь — над собой, ни в какой ситуации не теряя юмора и оптимизма. Адмирал же, стойкий и подтянутый, явно тяготеет к жесткой военной дисциплине как к лучшему средству против бесконечного пути на перекладных, убогих постоялых дворов, глиняных горшков с пересохшей треской и фасолью, ядовитой пыли и прочих тягот путешествия.

— Думаю, вам понадобится сопровождающий.

Дон Эрмохенес смотрит на него с недоумением.

— Кто, простите?

— Слуга... Человек, который возьмет на себя бытовые заботы.

Они с недоумением переглядываются. Вега де Селья знает, что дон Эрмохенес, ведущий крайне убогое существование, живет под присмотром старухи служанки, питаясь ее же скверной стряпней, — старуха прислуживала в доме еще во времена, когда была жива супруга библиотекаря. Дон Педро Сарате — полная его противоположность. Женат он не был. Покинув Королевскую армаду, живет в обществе двух сестер, старых дев примерно одного возраста и похожих внешне, главное дело жизни которых — забота о брате. По воскресеньям можно увидеть, как все трое прогуливаются под вязами Прадо, неподалеку от их дома на улице Кабальеро-де-Грасия. Эти самоотверженные женщины, верные сестринскому долгу, очень гордятся тем, что никто в Академии не одевается с такой безукоризненной и сдержанной элегантностью, как их брат: темные камзолы — они сами готовят выкройки и зорко присматривают за портным, — как правило, из тонкого сукна синего, серого или черного цвета, отлично подогнаны под высокую, стройную фигуру адмирала. Его жилеты и брюки могут смело соревноваться с платьем любого французского аристократа, чулки безукоризненны — без единой морщины и следов штопки, а гладкость рубашек и галстуков заставила бы побледнеть от зависти самого герцога Альбу.

— Я мог бы приставить к вам кого-то из моих личных слуг, — предлагает Вега де Селья.

— А жалованье? — беспокоится дон Эрмохенес. — Видите ли, не знаю, как сеньор адмирал, а я...

Адмирал смущенно хмурится. Очевидно, в силу характера и воспитания он не любит рассуждать о деньгах; однако, несмотря на безупречный вид, их у него не так много. Веге де Селье известно, что дон Педро Сарате и его сестры, не имея наследства или личного имущества, живут на сбережения и пенсию отставного бригадира. В несчастной Испании, полной несправедливости и задержанных выплат, отставные морские офицеры и военные часто умирают в нищете и даже зарплату им выдают нерегулярно.

— Это мой домашний слуга. Я уступлю его вам. Временно.

— С вашей стороны это просто замечательно, сеньор директор, — растроганно бормочет дон Эрмохенес. — Вы очень любезны. Но, мне кажется, в этом нет необходимости... А вы что думаете, сеньор адмирал?

Дон Педро качает головой.

— Думаю, это роскошь, без которой мы вполне можем обойтись, — сухо отвечает он.

— Что ж, навязывать не буду, — соглашается Вега де Селья. — Однако возницу и экипаж я вам все-таки дам. Подыщем кого-то, кому можно доверять. Надеюсь, с этим вы спорить не будете.

Дон Педро вновь соглашается, на сей раз не произнося ни слова. Спокойный, серьезный, он так же непроницаем и непостижим, как обычно; однако на лице появляется меланхоличное выражение. Возможно, думает директор, такова его манера выражать озабоченность. Речь идет о долгой дороге, полной непредвиденных опасностей. Странная и одновременно благородная авантюра в духе эпохи: доставить источник знания, мудрость века в скромный уголок Испании, в Королевскую библиотеку. И все это предстоит сделать двум добрым людям, решительным и бесстрашным, которые отправятся в путь по Европе, с каждым днем все более беспокойной, где старые престолы внезапно сделались шаткими и все меняется слишком быстро.

## 2. Опасный человек

Любое заимствование делалось с величайшими предосторожностями, особенно когда дело касалось доктрины и политики. Все стремились сохранить многочисленные привилегии, а также соблюсти идеологические традиции, которые не сочетались с новым миром, сиявшим все ярче.

Ф. Агилар Пиньяль. «Испания в эпоху просвещенного абсолютизма»

В романе я всегда стараюсь осторожно обращаться с мизансценой, даже если описание ее занимает всего несколько строк. Правильная мизансцена придает особое настроение персонажам и событиям, а иной раз и сама становится событием. Если не злоупотреблять описательными подробностями, светлый или пасмурный день, открытое или закрытое пространство, ощущение дождя, сумрака, близости ночи, вторгаясь в действие или в диалог, помогают сделать пространство романа более реальным. По сути, речь идет о том, чтобы читатель увидел то, на что намекает автор: сцену и ситуацию. Чтобы ему по возможности передалось видение того, кто рассказывает историю.

Итак, я описывал Мадрид последней трети XVIII века. Я уже рассказывал про эту эпоху в одном из своих предыдущих романов. Поэтому, прежде чем поместить героев в нужную мизансцену, я уже знал, как ее лучше обставить. Мне были знакомы обычаи и нравы той поры, включая языковые обороты и особенности разговорной речи, кроме того, в моем распоряжении были подробные справочники: произведения Кадальсо и Леандро Фернандеса де Моратина, сайнеты[[7]](#footnote-7) Рамона де ла Круса и Гонсалеса де Кастильо, мемуары и путевые заметки с подробными описаниями людей, мест и памятников той эпохи. Что касается городской структуры, расположения улиц и зданий, с этим также особых проблем не было. В моей библиотеке имеется два замечательных раритета, к которым я уже прибегал однажды, описывая восстание против наполеоновских войск 2 мая 1808 года. Один из них — карта Мадрида, опубликованная в 1785 году картографом Томасом Лопесом: предмет удивительной точности — мы редко по достоинству оцениваем мастерство того периода, когда спутниковая фотография не существовала, — сопровожденная подробным перечислением улиц и зданий. Другой назывался «План города Мадрида, а также Мадридского двора», он был опубликован Мартинесом де ла Торре и Асенсио в 1800 году, его мне когда-то много лет назад подарил букинист-антиквар Гильермо Бласкес. Это последнее произведение, помимо развернутого плана города, который, собственно, и давал ему название, включало в себя семьдесят четыре небольшие гравюры, в мельчайших подробностях описывающие каждый квартал.

Имея под рукой столь богатый материал, было несложно найти Дом Казны, в котором располагалась Испанская королевская академия в период приобретения «Энциклопедии»: это был флигель, примыкавший к зданию Королевского дворца, интерьер которого в те времена еще не был до конца оформлен. Сейчас Дома Казны уже не существует, его снесли в 1910 году для строительства площади Орьенте; но в Интернете я отыскал несколько вертикальных проекций, выполненных безвестным французским архитектором и хранившихся в Национальной библиотеке. Вооружившись всем этим, а заодно прихватив с собой копии еще кое-каких чертежей, я отправился в этот квартал, чтобы соотнести нынешнюю топографию с прошлой. Я подолгу гулял в тех местах, стараясь воссоздать облик здания, в котором сотрудники Академии собирались на протяжении сорока лет, пока в 1793 королевским декретом им не выделили другую резиденцию, на улице Вальверде. Я представлял, как почтенные мудрецы той эпохи входят в старинный особняк или выходят из него, и наметил приблизительный маршрут, которым Мануэль Игеруэла и Хусто Санчес Террон, два академика, решившие, при всем различии во взглядах, совместно препятствовать покупке «Энциклопедии», продолжали свою ночную прогулку по улице Майор до Пуэрта-дель-Соль, покуда первый убеждал второго в необходимости тайно объединить усилия против поездки в Париж.

Но есть еще один сюжетный поворот, чью мизансцену я должен обозначить прежде, чем следовать дальше: речь идет о беседе Игеруэлы и Санчеса Террона с опасным человеком, однажды уже упомянутым мельком в этой истории, а именно — с Паскуалем Рапосо, которому суждено будет сыграть в дальнейшем развитии событий важную роль. В соответствии с сюжетом, это должно было произойти в особенном месте, чья атмосфера поможет раскрыть кое-какие особенности этого персонажа. В итоге я решил поместить всех троих в типичном заведении того времени: в кофейне, чей дух напоминал «Новую комедию» Моратина, однако оснащенную дополнительными залами, где играли в бильярд, карты и шашки. Заведение должно было располагаться в центре города; изучив карту, я остановился на улицах между Сан-Хусто и площадью Конде-де-Барахас, в самом сердце так называемого — его границы довольно-таки расплывчаты — Мадрида-де-лос-Астуриас. Затем я отправился дальше, чтобы осмотреться уже на месте: все соответствовало как нельзя более точно. И там, перед одним из старинных зданий, которое прекрасно могло существовать во времена моих событий, я представил себе одного из персонажей, который шел на условленную встречу скрепя сердце.

Заведение, которое разыскивает Хусто Санчес Террон, расположено в темном глухом переулке, неподалеку от Пуэрта-Серрада. Кое-где сушится белье, развешанное на веревках, натянутых между балконами, и ручеек грязной воды бежит прямо по центру каменной мостовой. Главный фасад здания ничем не примечателен, однако Санчес Террон сам настоял, чтобы встреча проходила в скромном месте, скрытом от чужих глаз. Вот почему, нахмурив брови и прибавив шаг, философ и академик проходит последний участок пути, толкает приоткрытую дверь, проникает внутрь и морщится: пахнет застарелой сыростью и табачным дымом. В конце темного коридора слышен гул голосов и звяканье бильярдных шаров. Луч солнца, проникающего в крошечное окошко, расположенное под самым потолком, освещает человека, который поджидает, сидя в кресле и листая «Ежедневные новости», у стола, на котором стоит чашка с пригубленным шоколадом и блюдечко с бисквитом.

— Вы, как всегда, пунктуальны, дон Хусто, — говорит Мануэль Игеруэла вместо приветствия, опуская в карман кафтана часы, с которыми только что сверился.

— Перейдем сразу к делу, — отвечает Санчес Террон, который чувствует себя здесь неуютно.

— Всему свое время.

— Верно, но у меня его не так много.

Улыбаясь, Игеруэла делает заключительный глоток шоколада, а издатель все еще по-деловому стоит, не желая садиться.

— Ревматизм, — жалуется Игеруэла, отодвигая чашку. — Посидишь некоторое время неподвижно, а потом шагу не ступить... Это вы у нас всегда как огурчик. В пупырышках.

Санчес Террон нетерпеливо машет рукой.

— Избавьте меня от пустой болтовни. Я пришел не для того, чтобы беседовать о здоровье.

— Конечно, разумеется, — насмешливо улыбается Игеруэла. — Еще чего не хватало.

Он с преувеличенной любезностью кивает в сторону коридора, и оба академика молча направляются в сторону зала, расположенного в глубине кофейни. По мере их продвижения голоса слышатся громче. Наконец они оказываются в просторном помещении, разделенном на две части: первую занимают два бильярдных стола, вокруг которых расхаживают несколько субъектов с киями в руках, ударяя по мраморным шарам; в другой, потеснее, расположенной на возвышении, стоят столы, занятые игроками и зеваками. Посыльный в фартуке расхаживает с кофейником и кувшином горячего шоколада, наполняя чашки. Посетители читают газеты, большинство курят трубки и сигары, окна замкнуты, и в густом, отяжелевшем воздухе стелется серый туман.

— Ecce homo, — говорит Игеруэла.

Он кивает подбородком на один из столов, за которым играют в карты. Один из игроков — человек лет сорока, с кудрявыми волосами и густыми черными бакенбардами от висков до самого рта; он резко поднимает голову, заметив их приближение. Затем кладет на место коня кубков[[8]](#footnote-8), обменивается парой слов со своими приятелями, встает и идет навстречу прибывшим. Он невысок ростом, широкоплеч, на нем камзол из коричневого сукна, широкие замшевые штаны, вместо гольфов и уличной обуви — деревенские сапоги с гамашами. Игеруэла знакомит их друг с другом.

— Дорогой дон Хусто, позвольте представить вам Паскуаля Рапосо.

Человек по имени Рапосо с некоторой развязностью протягивает руку — сильную, шершавую лапу, такую же смуглую, как задубевшая кожа его физиономии, — однако Санчес Террон ее будто бы не замечает: его руки по-прежнему сложены за спиной, и он только сдержанно кивает — этот жест больше напоминает пренебрежение, чем приветствие. Ничуть не опечалившись, Рапосо секунду внимательно смотрит на него своими темными, почти приветливыми глазами, затем переводит взгляд на собственную руку, зависшую в пустоте, словно недоумевая — что в ней такого неприличного, затем подносит ее к жилетке: рука застывает, уцепившись большим пальцем за карман.

— Идите за мной, — говорит он.

Оба академика следуют за ним и оказываются в небольшой нише, где стоит стол, покрытый зеленой скатертью, на которой лежит скомканная и засаленная колода карт. Рядом стоят стулья, на которые рассаживаются пришедшие.

— Ну, говорите.

Может показаться, что Рапосо обращается к Игеруэле, однако разглядывает он при этом Санчеса Террона. Тот сухо пожимает плечами, передавая инициативу своему приятелю. В обществе таких, как вы, сообщает его взгляд, я — гость случайный.

— Мы с доном Хусто, — вступает Игеруэла, — решили прибегнуть к вашим услугам.

— На тех условиях, которые мы с вами обсуждали несколько дней назад?

— Разумеется. Когда вы будете готовы?

— Когда скажете. Думаю, все зависит от даты отъезда этих ваших сеньоров.

— По нашим данным, они отправляются в путь в следующий понедельник.

— На перекладных?

— Академия выделила им карету... Лошадей будут менять на постоялых дворах, которые попадаются на пути.

Повисает молчание. Рапосо берет со стола карты и рассеянно их тасует. Санчес Террон следит за его пассами: карты мелькают беспорядочно, однако всякий раз у Рапоса в пальцах оказывается туз.

— Вы должны следовать за ними, — продолжает Игеруэла. — Разумеется, очень осторожно... Вы будете один?

— Да. — Рапосо выкладывает на скатерть трех валетов подряд и недоуменно смотрит на колоду, словно спрашивая ее, куда подевался четвертый. — И большую часть времени в седле.

— Сеньор Рапосо был солдатом, — объясняет Игеруэла Санчесу Террону. — Служил в кавалерии. Потом недолгое время работал на полицию, когда изгоняли иезуитов. А с другой стороны...

Тут Рапосо внезапно поднимает одну из карт — тройку бастос[[9]](#footnote-9), чтобы перебить излишнюю болтовню издателя. Дружелюбное выражение физиономии, испаряющееся так же внезапно, как и появляется, смягчает резкость его движения.

— Сомневаюсь, что сеньору интересна моя биография, — говорит он, поглядывая на Санчеса Террона. — Вы явились беседовать не обо мне, а о деле. Об этих путешественниках.

— Дорога туда менее важна, чем обратно, — поясняет Игеруэла. — Достаточно не терять их из виду... Настоящая работа начнется уже в Париже. Надо будет сделать все возможное, чтобы помешать им. Эти двадцать восемь томов ни в коем случае не должны пересечь границу.

На лице Рапосо расплывается довольная улыбка. Он только что добавил четвертого валета — валета бастос — к остальным трем.

— Вот теперь дело другое, — говорит Рапосо.

Повисает пауза. На этот раз после недолгого колебания слово берет Санчес Террон.

— Насколько я понимаю, у вас есть надежные связи в Париже.

— Я провел там какое-то время... Неплохо знаю город. И его опасности.

Услышав последнее слово, философ заморгал.

— Физическая неприкосновенность обоих путешественников, — уточняет он, — задача первостепенная.

— Неужто первостепеннее первостепенной?

— Разумеется!

Глаза Рапосо, обрамленные с двух сторон пышными бакенбардами, медленно, задумчиво соскальзывают с игральных карт и рассматривают перламутровые пуговицы на камзоле Критика из Овьедо. Затем по пышному галстуку поднимаются к его глазам.

— Вас понял, — невозмутимо произносит он.

Санчес Террон внимательно наблюдает за выражением его лица. Затем оборачивается к Игеруэле и угрюмо смотрит на него, требуя разъяснений.

— Однако это, — добавляет тот, — не исключает чрезвычайных мер в том случае, если вы, сеньор Рапосо, сочтете необходимым к ним прибегнуть.

— Чрезвычайных мер? — Рапосо пощипывает бакенбарду. — А, ну да.

Академики переглядываются: Санчес Террон — недоверчиво, Игеруэла — умиротворяюще.

— Было бы идеально, — намекает издатель, — если бы упомянутые меры вынудили этих двух сеньоров отказаться от своей затеи.

— Меры, вы говорите, — бормочет Рапосо, словно не до конца понимая значение этого слова.

— Точно так.

— А если обычных мер окажется недостаточно?

Игеруэла съеживается, как каракатица, — не хватает только чернильного облака.

— Не понимаю, куда вы клоните.

— Все вы отлично понимаете. — Рапосо засовывает валетов обратно в колоду и осторожно ее тасует. — Расскажите лучше, как мне действовать, если, несмотря на все меры, эти кабальеро все-таки достанут свои книги?

Игеруэла открывает рот, собираясь ответить, но Санчес Террон опережает его.

— В этом случае мы вам даем карт-бланш, чтобы самому решать, каким способом их отобрать.

Если первоначально моральное превосходство философ собирался оставить за собой, ему это не удалось. Рапосо смотрит на него с откровенным презрением.

— Карт-бланш — это значит белое письмо, так?

— Так.

— А насколько белое?

— Белоснежное...

Рапосо искоса посматривает на Игеруэлу, желая убедиться, что тот слушает внимательно. Затем выкладывает колоду на скатерть.

— Белоснежные письма нынче недешевы, сеньоры.

— Все расходы будут покрыты, — заверяет его издатель. — За вычетом суммы, которую вы уже получили.

Он сует руку во внутренний карман камзола и достает мешочек — в нем спрятаны 6080 реалов, отчеканенных в девятнадцати унциях золота, — и протягивает Рапосо. Тот взвешивает мошну на ладони, не открывая, и с невозмутимой наглостью смотрит сперва на одного академика, затем на другого.

— Расходы-то небось на двоих?

Санчес Террон беспокойно ерзает на стуле.

— Не ваше дело, — отрезает он недовольным тоном.

Рапосо удовлетворенно кивает, убирая кошелек.

— Вы правы. Не мое.

Снова повисает пауза. Рапосо молчаливо разглядывает обоих, в его глазах заметен странный игривый блеск.

— А в карты вы играете? — внезапно интересуется он. — В поддавки или еще во что-нибудь?

— Я играю, — выдавливает из себя Игеруэла.

— А я — ни в коем случае, — презрительно заявляет Санчес Террон.

— В карточной игре либо выигрываешь, либо проигрываешь... Главное — одни карты всегда нападают на другие... Вы слышите меня?

— Да...

Рапосо ставит локти на стол, смотрит на колоду, затем снова поворачивается к философу. В это мгновение Санчесу Террону кажется, что у Рапосо на боку под камзолом торчит рукоять кинжала.

— А что, если из-за непредвиденных обстоятельств, которые случаются сплошь и рядом, с одним из этих людей, а может и с обоими, случится какая-нибудь неприятность?

На этот раз пауза затягивается. Первым, благодаря своему привычному цинизму, ее прерывает Игеруэла.

— Насколько серьезная?

— Понятия не имею. — Рапосо уклончиво улыбается. — Обычная неприятность. Из тех, что случаются в долгих и опасных путешествиях.

— Все мы в руках Божьих.

— Или в руках судьбы, — важно ответствует Санчес Террон. — Законы природы неумолимы.

— Вас понял. — В глазах Рапосо снова вспыхивает игривая искорка. — Законы природы, говорите...

— Вы совершенно правы.

— Валеты, короли и прочее... Либо ты сам завидуешь, либо завидуют тебе.

— Надеюсь, мы друг друга понимаем.

Рапосо вновь сосредоточенно щиплет бакенбарды.

— Есть одна штука, которую я всегда хотел узнать, — произносит он, поразмыслив. — Вы ведь ученые по языку или что-то в этом роде, верно?

— Верно, — соглашается Санчес Террон.

— Вот о чем я давным-давно размышляю... Когда слово начинается на звонкий звук, например «ж», то как пишется приставка — «без» или «бес»? «Безжалостные» или «бесжалостные»?

А в это время у себя дома на улице Ниньо дон Эрмохенес Молина, библиотекарь Испанской королевской академии, собирается в дорогу. Небольшой сундук и старенький чемодан из картона и потертой кожи стоят раскрытые в спальне возле кровати. Помощница по хозяйству уже уложила в их недра белое постельное белье, просторный халат, ночной колпак и сменные туфли из бычьей кожи, купленные специально в дорогу. Гардероб не слишком изыскан: гольфы заштопаны, рубашки изрядно потерты на рукавах и воротнике, а шерсть, из которой связан колпак, скорее вентилирует, нежели греет. Доходы старого преподавателя и переводчика с латыни в Мадриде той эпохи — впрочем, как и любой другой — не позволяют особых излишеств, а расходы — уголь, воск и масло, все, что обогревает, кормит и освещает, арендная плата и разные налоги, не говоря уже о табаке, книгах и других пустяках, — съедают подчистую все скудные средства, которые водятся в доме.

— Стол накрыт, дон Эрмохенес, — зовет хозяйка, просунувшись в дверь.

— Иду.

— Второй раз суп греть не буду, — ворчливо добавляет хозяйка: на службе у дона Эрмохенеса и его покойной супруги она состоит уже пятнадцать лет.

— Сказал же, сейчас приду.

Дон Эрмохенес неторопливо складывает кафтан и чулки и кладет их в сундук. Сверху, старясь не помять рукава и фалды, пристраивает сильно потертый камзол из коричневого сукна. На спинке одного из кресел висят черный плащ на шелковой подкладке, солнечный зонтик из тафты и шляпа из бобрового меха с круглыми полями, смутно напоминающая церковное облачение; а на комоде ждут своей участи прочие скромные предметы, которые будут сопровождать своего владельца в дороге, как то: гигиенические и бритвенные принадлежности, два карандаша и тетрадь, старенькие карманные часы на цепочке, табакерка с крышкой, покрытой глазурью, ножик с костяной ручкой и Гораций, изданный на двух языках в формате ин-октаво.

Уложив камзол в сундук, библиотекарь на миг замирает, погружаясь в раздумья. Иногда — как, например, сегодня — мысли о путешествии приносят досаду и преждевременную усталость, густую и вязкую, как похлебка, ожидающая на столе в гостиной. И еще — глубочайшую тревогу. Дон Эрмохенес до сих пор не понимает — все объясняют этот отъезд его природной добротой, однако доброта тут ни при чем, — как он мог, почти не сопротивляясь, согласиться на поручение своих коллег по Академии, и теперь ему предстоит долгий путь, полный тягот и лишений, в чужую страну. У него нет ни энергии, ни физической выносливости для подобного подвига, тяжко вздыхает библиотекарь. Он никогда не мечтал о путешествиях за пределы Испании, исключением была лишь Италия, колыбель романских языков, которым он посвятил всю свою жизнь и свои труды; однако ему так и не представилась возможность совершить желанное паломничество: увидеть Флоренцию и Неаполь, посетить Рим и побродить среди его камней, пытаясь уловить отзвук прекрасного языка, из которого позднее, переплавленный в алхимическом тигле времени и истории, получился испанский язык, и на нем заговорили народы, проживающие на берегах всех океанов. Дон Эрмохенес ни разу в жизни не выезжал из Испании, да и по ней путешествовал не слишком много: Алькала и Саламанка, где он учился в юности, Севилья, Кордова, Сарагоса. Вот и все. Не так много. Большую часть своей жизни он портил себе глаза в тусклом мерцании сальной свечи, корпя над старыми текстами, пачкая пальцы чернилами и покусывая кончик пера. *Что касается Фемистокла, то его род был не настолько знатен, чтобы способствовать его славе* ... И так далее.

И все же есть на свете одно завораживающее слово, одно-единственное ни с чем не сравнимое название: Париж. Брезжащее в конце утомительной дороги, которую академик предчувствует впереди, это имя в последнее время превратилось в притягательную цель для тех, кто, подобно дону Эрмохенесу, улавливает пульс мира — в Испании чаще всего заглушаемый из соображений осмотрительности, — который меняется; просвещения, которое ставит разум выше старых догм и озаряет путь, каковой приведет человечество к счастью и процветанию. Вдовец шестидесяти трех лет, утративший добродетельную супругу, которая скончалась из-за болезни, смирившись по-христиански со своей участью, библиотекарь Академии свято верит в эту иную, лучшую жизнь; его религиозная вера простодушна и не ставит перед ним неразрешимых сомнений, что происходит с некоторыми его знакомыми — характерная болезнь нынешнего века, — которые чрезмерно смущают собственную душу. Библиотекарь Королевской академии верит, что Бог — творец и мера всех вещей; однако книги, среди которых прошла его жизнь, привели его к выводу о том, что человек обязан добиться своего благополучия и спасения уже на этой земле, в течение земной жизни, проведенной в гармонии с естественными законами природы, а не откладывать эту полноту для какого-то другого, внеземного существования, которое якобы компенсирует страдания, пережитые в земной жизни. Сочетать эти две веры не всегда просто; однако в моменты наибольших сомнений простодушная религиозность дона Эрмохенеса помогает возвести надежные мосты между разумом и верой.

В этой ситуации Париж выглядит настоящим вызовом. Манящим, соблазнительным опытом. В этом городе, превратившемся в безусловный центр просвещения, вступившего в битву с мракобесием, в котел, где сгущаются сливки человеческого интеллекта и современной философии, сегодня развязывается гордиев узел, распадаются верования, еще недавно казавшиеся несокрушимыми, ведутся споры обо всем, что существует между небом и землей. Даже священный принцип французской монархии — и, как логическое продолжение, всех, кто стоит у власти, — не остается вдали от этой свистопляски убеждений и идей. Посмотреть на все это вблизи, прикоснуться собственными пальцами к полнокровной вене, где пульсирует новый мир, пожить хотя бы несколько дней в лихорадке города, в чьих салонах, кружках и кофейнях, от подсобок лавочников до королевских приемных, все это копошится, движется, шелестит — вот он вызов, перед которым даже тихий от природы нрав дона Эрмохенеса не может устоять.

— Я ж вам сказала: суп вот-вот простынет. И больше говорить не буду!

— Иду, иду, Хуана. Не ворчи, пожалуйста... Я уже иду.

Подняв глаза, библиотекарь видит в окошко спальни женский монастырь босоногих тринитариев, расположенный в конце улицы. Каждого, кто выглянет в это окошко, думает он, непременно охватывает глубочайшая меланхолия. Затхлая, угнетенная, темная страна, которой так необходимы свежие идеи, способные осветить ее будущее, копит большую часть своих застарелых болезней по ту сторону кирпичных стен. Сам Мигель де Сервантес, вознесший на недостигаемую высоту не только испанскую, но и всю мировую литературу, покоится где-то здесь, в общей могиле. Его обратившиеся в пыль останки со временем затерялись. Он умер в бедности, всеми покинутый, преданный забвению современниками после тяжелой и несчастливой жизни, так и не насладившись успехом, который принесла ему бессмертная книга. Тело Сервантеса доставили из его скромного дома, расположенного в двух кварталах отсюда, на углу улицы Франкос и Леон, без сопровождения и каких-либо почестей и похоронили в темном углу, память о коем утеряна. Забытый своими современниками и восстановленный в правах намного позже, когда за границей уже превозносили и вовсю издавали его «Дон Кихота», и ни надгробье, ни даже скромная надпись не запечатлела его имени. Только благодаря времени, дальновидности и благоговению верных читателей — в том числе иностранцев — Сервантесу были возданы почести и слава, которых соотечественники лишили его при жизни и к которым до сих пор большая часть неотесанной Испании, любительницы боя быков, комедий и щегольства, остается совершенно равнодушной. Печальный символ, эти безымянные кирпичные стены словно бы огораживают всю темную нацию, спящую на обломках своего прошлого, убийственно благодушную пленницу самой себя. Горький посмертный урок — вот что воплощает собой эта забытая могила. Могила доброго человека, воевавшего простым солдатом при Липанто, плененного в Археле, прожившего тяжелую жизнь, которому суждено было написать самый гениальный роман всех времен и народов.

— Вот что, дон Эрмохенес. Вы либо садитесь за стол, либо я немедленно выливаю суп обратно в кастрюлю!

С покорным вздохом академик поворачивается спиной к окну и направляется по коридору в столовую, где напротив стеллажей с бесчисленными книгами стоит раскрашенная алебастровая фигурка Пресвятой Девы. Перед Девой крошечным бледным огоньком горит свеча, приклеенная к подсвечнику.

Рассказать подробно о таком персонаже, как отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, оказалось сложнее, чем о библиотекаре. Вначале мне стоило немалых трудов раздобыть какую-либо информацию о нем, за исключением краткого — в пару строк — упоминания в книге Сисиньо Гонсалеса-Альера об испанских морских офицерах эпохи Просвещения. В итоге, раздобыв еще кое-какие сведения, я смог сопоставить данные и частично воссоздать его биографию. Речь идет о скромной, умеренной жизни; ничего выдающегося, чем можно было бы украсить послужной список, в ней не случалось. Этот академик не был выдающейся фигурой среди просвещенных офицеров своего времени. Мне удалось выяснить, что, согласно некоторым данным, он был холост — морские боевые офицеры в то время должны были получить особое дозволение, чтобы жениться, и этот факт был бы обязательно отмечен в офицерских регистрах, — а также то, что он проживал в доме на улице Кабальеро-де-Грасия, угол улицы Алькала. Его единственное боевое действие, о котором имелось упоминание, — участие в тяжелейшем морском сражении у мыса Сесие напротив Тулона в составе эскадры маркиза де ла Виктория, 22 февраля 1744 года в возрасте двадцати шести лет в чине старшего лейтенанта на борту корабля «Король Филипп» со ста четырнадцатью пушками. С этого дня профессиональная деятельность дона Сарате в рядах Королевской армады протекала довольно-таки неопределенно: сначала Академия гардемаринов в Кадисе, затем бюрократическая работа в секретариате морского флота, вплоть до полной отставки в звании бригадира.

Благодаря изучению текстов, я нашел в архивах Академии еще кое-какие сведения об адмирале, помимо его морской карьеры. Почти с самого основания Испанская академия по традиции предпочитала иметь среди своих членов представителя вооруженных сил, безразлично, сухопутных или морских, чтобы он ориентировался в словарных терминах, связанных с военной службой. Такие упоминания очень часто встречались в то время, когда война — Великобритания была постоянным врагом Испании в продолжение всего восемнадцатого века — занимала в повестке дня обычное место. В этом смысле деятельность дона Педро Сарате была достаточно активной, поскольку его имя фигурировало на карточках со словами, включенными в издания «Словаря» 1793 и 1791 годов, все они касались военной лексики. Однако самым важным трудом его жизни был «Морской словарь», первый в своем роде, выпущенный в Испании после нескольких кое-как составленных справочников по морскому делу и словарей менее значительных. Экземпляр этого словаря я держал в своих руках, перелистывая его за одним из рабочих столов нашей библиотеки: формат ин-кварто, отличная полиграфия, отпечатано в Кадисе в 1775 году. А несколькими днями позже, обедая в Ларди с моим другом адмиралом Хосе Гонсалесом Каррионом, директором Морского музея Мадрида, я попросил его рассказать подробнее о книге и ее авторе. Книга дона Педро Сарате, объяснил он, — это типичный классический труд. Она рассказывала о военном деле, была совершенно необходима для своей эпохи, и только через полвека ее превзошел «Испанский морской словарь» Тимотео О’Сканлана.

— Прежде всего нужно помнить, что Сарате сотрудничал с Хуаном Хосе Наварро, маркизом де ла Виктория, который командовал испанской эскадрой во время битвы с англичанами при Тулоне... В 1756 году Наварро закончил великолепный альбом крупного формата, посвященный военно-морской науке, который так и не был опубликован, пока не так давно мы не выпустили факсимильное издание. В некоторых заметках, посвященных этому произведению, присутствуют письма и отчеты, подписанные Педро Сарате-и-Керальто. Почти все они имеют отношение к военной терминологии, которой тот интересовался.

Он нагнулся к портфолио, прислоненному к одной из ножек кресла, вытащил пластиковую папку и положил передо мной на скатерть. В папке обнаружились какие-то ксерокопии.

— Тут все, что мне удалось отыскать о твоем бригадире — или адмирале, как вы зовете его у себя в Королевской академии. Включая рекомендацию для получения звания лейтенанта фрегата, подписанную собственноручно маркизом де ла Виктория, а также его весьма любопытное письмо о преимуществах и лаконизме морской терминологии... Все это дополняет образ твоего героя.

— Испанская королевская академия сделала его своим членом в 1776 году, — заметил я. — Он занял место генерала Осорио, который представлял сухопутные войска.

— В таком случае даты совпадают: словарь Сарате вышел годом раньше, и интерес выглядит вполне логичным. Его величайший вклад состоял в том, что впервые был опубликован систематический компендиум, отлично выстроенный, включающий всю военно-морскую терминологию... К тому же он сопроводил каждое слово эквивалентом из двух других языков, содержащих военно-морскую лексику — французского и английского. Это произведение соответствовало духу просвещенной морской армии в период ее обновления, в то время одной из лучших в мире: вышколенной, энергичной, организованной, современной... Величайшее научное и культурное достижение.

— Морские офицеры, которые читали, — провокативно заметил я, — а заодно и сами писали книги.

Гонсалес Каррион расхохотался.

— Сейчас такие тоже есть, — сказал он. — Хотя, конечно, их меньше. Дело в том, — добавил он, — что во второй половине восемнадцатого века после реформы маркиза де ла Энсенады наш морской флот значительно улучшился и выглядел непобедимым. Американские колонии исправно поставляли материалы, позволяющие спускать на воду великолепные корабли с самым современным военным оснащением, а в академии гардемаринов в Кадисе офицеры Королевской армады получали элитное научное и военное образование; чего не скажешь про матросов, рекрутированных насильно, скверно оплачиваемых и не имеющих повода стараться в несправедливой системе, где предпочтение всегда отдавалось аристократам, которые отнюдь не всегда были на высоте. В библиотеке Морского музея хранилось множество важнейших произведений испанских морских офицеров того времени: правила и регламенты, различные карты, морские справочники, учебники и трактаты по навигации. Добрая сотня трудов, важнейших для морского дела и науки в целом. Это были просвещенные морские офицеры, служившие во времена надежды, — подытожил мой собеседник. — Их уважали даже враги... Когда Антонио де Ульоа возвращался из экспедиции, снаряженной французским правительством для измерения градуса меридиана в Перу, и англичане захватили его в плен, в Лондоне его приняли со всеми почестями и сделали членом научных сообществ. — В этот миг он умолк, с задумчивым видом созерцая свою тарелку. — Однако все закончилось через несколько лет в Трафальгарском сражении: люди, корабли, книги... А затем началось то, что началось.

Он потыкал вилкой фасолины, лежавшие на тарелке, но так и не съел ни единой. Казалось, собственные слова отняли у него аппетит.

— Сарате, игравший весьма скромную роль, был, тем не менее, просвещенным морским офицером, — произнес он после секундного молчания. — Одним из тех, кто способствовал тому, чтобы военный флот был по-настоящему современным и соответствовал вызову, принятому испанской империей, которая по-прежнему простиралась по обе стороны Атлантического и Тихого океанов. Это был человек образованный, искренний, порядочный, как и многие из тех, кто так и не получил официального признания, погиб в неравной битве или окончил свои дни в нищете, получая скудное жалованье или не получая вообще ничего... Потому что страна, в которой он жил, не желала меняться. Слишком много существовало темных сил, которые тянули в противоположную сторону.

Он снова замер, все еще держа вилку в руке. Потом положил ее на край тарелки и потянулся к рюмке с вином.

— Но они попытались. — Он сделал глоток и посмотрел на меня, печально улыбаясь. — По крайней мере, эти замечательные люди попытались что-то изменить.

*Поскольку Академией ранее уже был выпущен «Толковый словарь», который демонстрирует все величие, красоту и богатство испанского языка, и учитывая тот неоспоримый факт, что морской флот и мореплавание — двигатели торговли и прогресса, я решил по опыту просвещенных наций составить еще один словарь, гораздо более скромный, всецело посвятив его искусствам и наукам, связанным с морем; моей целью было не изобретение новых терминов, но точное и правомерное заимствование слов у наших писателей-классиков, а также иллюстрирование словарных статей ясными и наглядными примерами их употребления, равно как и использование повседневной речи простых людей, чья деятельность напрямую связана с морем, и таким образом делая сей словарь удобным и практичным в использовании...*

Дон Педро Сарате-и-Керальте, отставной командир бригады морских пехотинцев Королевской армады, откладывает перо и перечитывает последние строки, завершающие краткий пролог, который будет сопровождать новое издание «Морского словаря». Ему вполне хватает света масляной лампы, стоящей на столе в кабинете: несмотря на возраст, он сохраняет отличное зрение, и для того, чтобы видеть вблизи, очки ему не требуются. Наконец, удовлетворившись написанным, он вытряхивает немного песка из песочницы, чтобы подсушить чернила, складывает листок бумаги вместе с другими четырьмя листками, завершенными ранее, и запечатывает сургучом. Затем обмакивает перо в чернильницу, пишет адрес: типография Аадемии гардемаринов, Кадис, — и кладет конверт в центре стола. Прежде чем встать из-за стола, он бросает последний взгляд вокруг себя, чтобы убедиться, все ли в порядке. Этот заключительный штрих — обычай, который, несмотря на прошедшие годы, так и остался в его повседневной жизни. Помимо собранности, свойственной морскому офицеру, а также ставшей следствием постоянного риска, к которому он привык в юности, когда каждое плавание подразумевало вероятность того, что возвращения не будет, адмирал сохранил строжайшую дисциплину, касавшуюся мелочей: оставлять вещь на своем месте, чтобы, вернувшись, ее легко можно было найти или чтобы ее без труда обнаружил тот, кто придет следом, и, вероятно, после окончательного исчезновения хозяина будет вынужден взять на себя ответственность за нее.

Небольшой, скромный кабинет соответствует общей атмосфере дворянского дома, достойного и без лишних претензий. Свет лампады освещает несколько практичных предметов мебели из красного дерева и ореха, ковер посредственного качества, дубовые полки с книгами и открытками, изображающими морские сражения. На главной стене над камином, который никогда не разжигают и на чьей полке в стеклянном футляре красуется модель арсенального корабля с семьюдесятью четырьмя пушками, стоят рядком шесть больших цветных гравюр в рамках, представляющих морское сражение при Тулоне между испанской и английской эскадрами. Дон Педро Сарате бросает беглый взгляд на гравюры, затем выходит в коридор и неторопливо движется к прихожей. Подошвы его только что начищенных старых и удобных английских туфель поскрипывают на деревянном полу. Сестры Ампаро и Пелигрос уже там. На них домашние халаты, украшенные бантами и лентами, седые волосы чинно убраны под накрахмаленные чепчики. Они напоминают брата худобой и высоким ростом, особенно Ампаро, старшая сестра; однако главное сходство — водянистые глаза бледной голубизны, которая будто бы растворяется при дневном свете, что придает обеим до такой степени «не испанский» облик, что кое-кто из соседей называет сестер Сарате «англичанками». Тихие, замкнутые, верные своему долгу старые девы, тридцать лет своей жизни они посвятили благополучию адмирала. С тех пор как он оставил морскую службу, они заботились о нем так же, как когда-то о старике отце; как заботилась бы мать, которую все трое рано утратили. Обе сестры живут исключительно ради заботы о брате, их отвлекает только религия, все предписания которой они тщательно исполняют, ежедневная месса да чтение нравоучительных книг.

— Слуга уже забрал вещи, — говорит Ампаро. — Экипаж ждет на улице.

Она взволнована, а вторая сестра и вовсе едва сдерживает слезы. Тем не менее обе чопорны, сдержанны: семейная гордость не позволяет излишеств. Обе знают, почему уезжает адмирал. По их личному мнению, высказанному чуть ранее за столом в гостиной, ничего хорошего от Франции ждать нельзя, кроме всяких вредных философов и прочих дебоширов, не достойных одобрения духовников, — однако гордость от того, что их дон Педро — член Испанской королевской академии и что именно его Академия выбрала для командировки за границу, некоторым образом меняет порядок вещей. Если их брата так высоко оценили, ничего скверного путешествие не сулит. Но дело не только в этом. Ничто не должно препятствовать просвещению народов — наоборот, ему следует только способствовать. А раз уж речь идет о просвещении, не важно, куда собрался дон Педро — в Париж или в Константинополь. В конце концов, их духовники, какой бы святой жизни они ни придерживались и сколько бы божественной благодати ни стяжали, тоже могут изредка ошибаться.

— Мы положили в корзину холодную телятину и две ковриги, — говорит старшая сестра, передавая брату пальто с широкими лацканами, мастерски скроенное из плотного темно-синего сукна. — А еще две оплетенные соломой бутылки пахарете... Как ты думаешь, этого достаточно?

— Не сомневаюсь. — Дон Педро надевает камзол, скроенный по-английски, наподобие фрака, и погружает руки в рукава пальто. — В гостиницах и на постоялых дворах всего достаточно.

— Быть такого не может, — сомневается Пелигрос, которая ни разу в жизни не выезжала за пределы Фуэнкарраля.

Секунду адмирал гладит увядшие щеки своих сестер. Одно-единственное легчайшее прикосновение к каждой — беглое, чуть неуклюжее проявление нежности.

— Не беспокойтесь ни о чем. Это очень комфортное путешествие. Будем сидеть себе безмятежно в частном экипаже, нам его выделил сам директор Академии, этот экипаж — его собственность... Кроме того, дон Эрмохенес Молина — человек хороший, надежный. Да и слуге тоже можно доверять.

— Не знаю. — Старшая сестра морщит нос. — Мне он показался развязным. И физиономия бесстыжая!

— Так это и неплохо, — успокаивает ее адмирал. — Для нашего предприятия как раз подходит кучер, который много путешествовал и хорошо знает жизнь.

— В молодости ты тоже путешествовал. И тоже хорошо знаешь жизнь.

Адмирал рассеянно улыбается, застегивая пальто.

— Возможно, Ампаро... Но это было так давно, что я уже все позабыл.

Младшая сестра подает ему черную треуголку, чей фетр только что тщательно вычищен и выглядит безупречно. В углублении, подбитом овчиной, дон Педро замечает иконку Святого Христофора, покровителя путешественников.

— Будь очень осторожен, Педрито.

Детским именем Педрито они называют его только в исключительных случаях. Последний раз это произошло два года назад, когда адмирал три недели пролежал в постели с тяжелым воспалением в груди и его лечили пиявками, микстурами и хирургическими пластырями, а сестры по очереди дежурили возле его изголовья, не отходя ни днем ни ночью, с четками в руках и молитвами Пресвятой Деве на устах.

— Письмо, которое я оставил, нужно будет отправить в Кадис. Бросьте его в почтовый ящик.

— Обязательно.

Адмирал выбирает себе трость среди дюжины других тростей, стоящих на подставке. Серебряная рукоятка, красное дерево. Внутри спрятана шпага — пять пядей отличнейшей толедской стали.

Повернувшись к сестрам, он замечает в глазах у обеих тревогу, хотя ни одна, ни другая не произносят ни слова: они много раз видели, как он выходит на прогулку с этой тростью в руках. Трость-клинок — не более чем средство предосторожности, разумное в нынешние времена. Да и во все прочие тоже.

— У меня в спальне, в тайнике хранятся кое-какие деньги. Вдруг вам понадобится...

— Не понадобится, — перебивает его старшая сестра — в ее голосе звучит упрямая нотка. — В этом доме всегда обходились тем, что есть.

— Я вам привезу кое-что из Парижа. Шляпку или шелковую шаль.

— Вряд ли они лучше наших мантилий, — возражает Пелигрос, чей патриотизм уязвлен. — Их привозят с Филиппин, а эти острова принадлежат Испании... Что мы будем делать с французскими платками?

— Ладно, поищу что-нибудь другое.

— А лучше не трать деньги на всякие глупости, — наставляет его Ампаро. — И главное — будь осторожен.

— Мы едем за книгами, а не на военную кампанию.

— Все равно: никому не доверяй! Деньги спрячь подальше. И будь осторожен с едой. Они там во все добавляют много жира и сала, а это вредно для желудка...

— Они там улиток едят, — мрачно замечает младшая сестра.

— Договорились, — успокаивает их адмирал. — Никаких улиток, никакого сала. Только чистейшее оливковое масло, клянусь!

— Оно точно есть в Париже? — беспокоится Пелигрос. — А на постоялых дворах?

Дон Педро улыбается нежно и терпеливо.

— Я в этом совершенно уверен, сестренка. Не переживай.

— Одевайся теплее, — настаивает Ампаро. — И не забывай менять носки, если промочишь ноги... Мы тебе положили шесть пар носков. Говорят, во Франции проливные дожди.

— Непременно, — вновь успокаивает ее адмирал. — Ни о чем не беспокойтесь.

— Ты взял с собой микстуру, которую тебе приготовил аптекарь? Тогда следи, чтобы флакон был накрепко закупорен. И не забудь его где-нибудь. У тебя всегда были слабые легкие.

— Из рук не выпущу!

— А главное, поосторожнее с француженками, — добавляет Пелигрос как более решительная.

Ампаро вздрагивает и смотрит на нее с осуждением.

— Господи, сестра...

— А что такого? — возражает Пелигрос. — Разве ты не знаешь, что про них говорят?

— Интересно, где ты все это слышала? И вообще, повторять такие вещи нескромно для христианки.

— Причем тут скромность? Они — те еще штучки, эти француженки.

Старшая в ужасе осеняет себя крестным знамением.

— Боже правый... Пелигрос...

— Я знаю, что говорю. Там все женщины — философы, или как их там. Сидят в специальных модных салонах и болтают с мужчинами про философию... А в один прекрасный день начинают шляться по кофейням. Не говоря уже обо всем остальном!

Адмирал смеется, заслонив лицо шляпой. Короткий серый хвост на затылке перехвачен черной лентой из тафты.

— Об этом точно можете не беспокоиться. У меня такой возраст, что мне не нужны ни француженки, ни испанки.

— Это тебе так кажется, — возражает Пелигрос. — Там кавалеры очень нужны, правда, Ампаро?.. А для своих лет ты еще очень даже ничего.

— Разумеется, — соглашается Ампаро. — Там такие нарасхват.

В первых лучах солнца, вытянув под столом ноги и засунув руки в карманы, Паскуаль Рапосо сидит в кабачке «Сан-Мигель» перед кувшином вина, прямо напротив открытой двери. Он наблюдает за двумя мужчинами, которые о чем-то беседуют, стоя на противоположной стороне улицы возле экипажа, запряженного четырьмя лошадьми. Один из них, высокий и худой — темное пальто, треуголка, в руке трость, — только что вышел из ближайшего портала и подошел к другому, низенькому и полному, в испанском плаще и бобровой шляпе. Кучер пристраивает последние пожитки на крыше экипажа: это бородатый тип неотесанного вида, закутанный в плотный тяжелый плащ. От опытного глаза Рапосо, привыкшего подмечать детали, необходимые для его ремесла, — другие глаза, более неспешные и менее зоркие, однажды раскаиваются, не заметив эти крошечные, но весьма красноречивые подробности, — не ускользнуло ни ружье в чехле, пристроенное на облучке, ни коробка с пистолетами, которую кучер держал под мышкой, вынося из дома багаж, и которую сунул в глубь экипажа прежде, чем приладить сверху сундуки и чемоданы.

В свои сорок три года, подточенный тяжелыми испытаниями, нося над левой почкой застарелый рубец от удара кинжалом и узнав не понаслышке каторгу Сеуты, Рапосо по-прежнему жив, благодаря неусыпному вниманию именно к таким мелочам. Семь лет армейской службы, которую он давно уже заменил деятельностью совсем иного свойства, как нельзя более способствовали его зоркости, точнее сказать, стали основой для того, что наслоилось позднее. Привычки и острый глаз — вот что его спасало. Для бывшего кавалериста существование представляло собой неустанное бегство от возмездия. Выживанием любой ценой в условиях различных пейзажей и ремесел, ни одно из которых не было простым. Наоборот: все были тяжелые, опасные и рискованные.

Двое мужчин уселись в экипаж и закрывают дверцы, а кучер пристраивается на облучке. Щелкает хлыст, и лошади трогаются с места, неторопливым шагом увлекая за собой экипаж в сторону Сан-Луиса. Оставив на столе монету, Рапосо встает, не спеша натягивает свою марсельскую куртку с украшениями из бархата и надевает андалузскую шляпу, залихватски надвинув ее на лоб. Хорошенькая молодая особа с волосами соломенного цвета и мантильей на голове, выйдя из ближайшей церкви, проходит мимо него, цокая каблуками. Рапосо с невозмутимой наглостью заглядывает ей в глаза и галантно отступает, позволяя пройти мимо.

— Благословен тот священник, который крестил вас, красавица.

Женщина удаляется, не обращая на него внимания. Ничуть не обиженный ее презрением, Рапосо провожает ее взглядом, щелкает языком и в некотором отдалении шагает за экипажем вдоль улицы Кабальеро-де-Грасия. В этом нет особой необходимости, потому что за эти часы бывший кавалерист уже навел справки и знает, каким путем покинет Мадрид маленькая экспедиция членов Академии. Но на всякий случай лучше перестраховаться. Ему известно, что они движутся в сторону дороги на Бургос, предполагая покинуть город через ворота Фуэнкарраль или Санта-Барбара. Рапосо отлично знает этот маршрут, все его постоялые дворы и гостиницы; учитывая время суток, необычайно сухую погоду и добрые восемь или десять часов пути в приличном темпе, путешественники, по его расчетам, проедут на следующий день Сомосьерру, остановившись, по всеобщему обыкновению, на ночлег в постоялом дворе Хуанильи. Там он и предполагает их догнать, прежде чем они начнут третий этап своего пути. Он поедет не спеша, верхом на коне, это превосходное животное он приобрел три дня назад: буланый жеребец-четырехлеток среднего роста, здоровый и крепкий, способный преодолеть большое расстояние или, по крайней мере, добрую его часть. Как запасной вариант, в случае необходимости можно будет приобрести другого коня или взять на постоялом дворе. Что же касается снаряжения для этого четырехнедельного путешествия в Париж, старый добрый опыт приучил Рапосо довольствоваться лишь самым необходимым: кожаный кофр, притороченный к седлу, сумка с провизией, закапанная воском шинель на случай холодов, одеяло из Саморы, скатанное в рулон и пристегнутое ремнями, да старая кавалеристская сабля, спрятанная внутри свернутого одеяла. Все это заранее подготовлено и упаковано в гостинице на улице Пальма, где он проживает, согревая в холодные ночи дочку хозяйки, — сама же хозяйка лелеет глупую надежду, что однажды они поженятся, — а тем временем конь его, сытый и вычищенный под седло, поджидает в конюшне у ворот Фуэнкарраля.

— Черт подери, Паскуаль, вот так сюрприз! Лопни мои глаза!

Несвоевременность встречи не стирает улыбку с физиономии Рапосо. В его рискованном ремесле улыбка является одним из правил, до тех пор пока в определенный момент не превратится в кровожадный оскал. На этот раз его приветствовал старый приятель, с которым они когда-то вместе обстряпывали темные делишки в районах Баркильо и Лавапиес: цирюльник с косицей, заплетенной на цыганский манер, и сеткой для волос на голове, его заведение расположено на этой улице; этот тип не только ловко бреет бороды клиентам, но и неплохо обращается с гитарой, а также отлично пляшет фанданго и сегидилью.

— Заходи, старик! Приведу в порядок растительность у тебя на лице, а заодно поболтаем. За счет заведения, так сказать.

— Я спешу, Пакорро, — извиняется Рапосо. — Занят.

— Да это всего минута! Есть одно дельце, которое тебе непременно понравится. — Цирюльник заговорщицки подмигивает. — Как раз по твоей части.

— По моей части много чего.

— Тут дело особое: пахнет анисом и кунжутом и само говорит: скушайте меня! Помнишь Марию Фернанду?

Рапосо насмешливо кивает.

— Ее помню не только я, а еще половина Испании.

— Так вот: возле нее вертится один тип. Богатенький пижон. Маркиз или что-то в этом роде. А может, и не маркиз он вовсе никакой, может, все наврал.

— И что?

— Парнишка обожает вырядиться как попугай и таскать ее с собой по притонам. Там-то мы с ним и подружились. А потом мне пришло в голову, что можно было бы как-нибудь его разыграть с этой девушкой.

Последнее слово вызвало у Рапосо кривоватую усмешку.

— Мария Фернанда не была девушкой даже в утробе матери.

Цирюльник мигом соглашается.

— Верно, но пижону про это ничего не известно. А значит, из него можно вытряхнуть хорошенькую сумму... Можешь сыграть оскорбленного брата?

— У меня сейчас дела поважнее.

— Ясно. Очень жаль... С навахой в руках ты выглядишь очень внушительно, надо заметить. Да и без навахи тоже.

Рапосо пожимает плечами, прощаясь с приятелем.

— Как-нибудь в другой раз, Пакорро.

— Ну, ежели так, давай в другой раз.

Рапосо удаляется прочь от цирюльни, в то время как карета академиков катит по улочкам Сан-Луиса. Он ускоряет шаг, чтобы их нагнать, и обнаруживает, что они повернули направо. Очевидно, направляются к воротам Фуэнкарраль, как и предполагалось. Значит, самое время вернуться в гостиницу, собрать вещи, проститься с дочерью хозяйки и забрать коня из стойла.

— Подайте, Христа ради. — Дорогу ему преграждает хромой нищий, показывая культю вместо руки.

— Пошел вон!

Заглянув в его зверскую физиономию, нищий испаряется с поразительным проворством: был — и пропал. Глядя, как удаляется экипаж, Рапосо озабоченно пощипывает бакенбарды. В этот миг его мозги представляют собой сложнейшую и точную схему, на которой отмечены лиги и мили, трактиры, гостиницы, постоялые дворы. Дороги, которые бегут параллельно, обгоняя друг друга или пересекаясь. Он усмехается, обнажив клыки. Сейчас он похож на хищника. Для человека, подобного ему, чья работа — видеть, как убивают людей, или же убивать их собственноручно, большая часть вещей утратила свое первоначальное значение и мало что кажется важным или преисполненным смысла. Зато он по собственному опыту знает, что люди делятся на две основные группы: те, что совершают подлость, побуждаемые врожденной порочностью, ради выживания или же по причине трусости, и те, кто, подобно ему, совершают подлость, оплаченную по предварительной договоренности. Другое ценное приобретение — это уверенность в том, что в несправедливом мире, который ему довелось как следует изучить, существуют только две возможности пережить несправедливость, совершается ли она по воле людей или богов: сносить покорно и терпеливо или же заключить с ней союз и действовать заодно.

## 3. Диалоги на постоялых дворах и в пути

Законы физики и опыт — вот на что следует ориентироваться человеку. Именно их следует учитывать в первую очередь, размышляя о религии и морали, законодательстве и политическом правлении, науках и искусстве, наслаждениях и невзгодах.

Барон Гольбах. «Система природы»

Задумав воссоздать путешествие из Мадрида в Париж, я столкнулся с некоторыми техническими сложностями. Дело в том, что сами условия подобных перемещений были совершенно иными: то, что сейчас представляет собой шоссе и автобаны, в XVIII веке было скверными грунтовками, изъезженными колесами повозок и истоптанными копытами, а в иные сезоны по ним и вовсе невозможно было проехать. В то время путешествие было синонимом приключения. Даже система постоялых дворов, гостиниц и почтовых станций — дежурных пунктов, где меняли запряженных в повозку лошадей, — не была достаточно отлаженной, какой сделалась столетием позже. Одной из причин беспокойства просвещенных монархов, подобных Карлу Третьему, было создание надежной сети сообщения, которая могла бы гарантировать безопасность поездок и больший комфорт для путешественников.

Несмотря на то что отпечатанные в типографии справочники дорог существовали уже века назад, во времена, о которых идет речь, учитывая моду на путешествия и любознательность, присущую самому веку, подобный вид путеводителей стал в высшей степени популярным: их издавали в виде брошюр, где описывались перемещения между европейскими столицами или маршруты в глубь страны, а расстояние указывалось в лигах — пять с половиной километров, именно столько обычно преодолевалось за час — между одной почтовой станцией и другой; таким образом, владеющий справочником путешественник мог заранее продумать каждый отрезок пути, имея в виду, что общий маршрут, который он преодолевал за сутки, не превышал, как правило, шести, максимум десяти лиг.

В моей библиотеке и раньше имелись образцы таких путеводителей, несколько других я приобрел специально, чтобы написать эту книгу. Среди испанских наиболее толковым оказался путеводитель Эскрибано, изданный в 1775 году, французская же часть пути с дорогами и почтовыми станциями была отпечатана в виде справочника в Париже в типографии Жайо в 1763 году. Кроме того, мне понадобились карты, где были бы обозначены дороги, населенные пункты и города той эпохи; как-то раз на аукционе антикварных книг мне посчастливилось раздобыть одну такую карту, на редкость большую и тяжелую, выполненную испанцем Томасом Лопесом, который подробнейшим образом нанес на нее всю Испанию конца XVIII века. С французской же частью пути помогла разобраться одна старинная приятельница, продавец антикварных книг Мишель Полак; в своей парижской лавочке, которая специализировалась как раз на морских и сухопутных справочниках, она откопала экземпляр «*Nouvelle carte des postes de France»*[[10]](#footnote-10).

— У меня есть кое-что интересное для тебя, — сообщила она по телефону.

Через четыре дня я прибыл в Париж. На самом деле я готов был воспользоваться любым предлогом, чтобы вновь оказаться в пестрой пещере чудес, расположенной на улице Эшоде, где книги стоят на полках и громоздятся стопками на полу вокруг электрической печки: всякий раз я с ужасом думаю, что когда-нибудь она подожжет весь магазин.

— Неужели тебя наконец-то заинтересовала суша? — пошутила она, завидев меня в дверях.

— Времена меняются, — ответил я.

Это была старая шутка. Вот уже сорок лет я покупал в этой лавочке книги по мореходству и картографии XVIII — ХIX веков, сначала у ее отца — в то время Мишель была хорошенькой девушкой, — а затем у нее самой, когда семейный бизнес перешел в ее руки. Благодаря ее профессиональной помощи среди многочисленных трактатов по навигации я отыскал свою любимую «*Cours élémentaire de tactique navale dédié à Bonaparte»*[[11]](#footnote-11) Раматюэля, которой пользовались французские моряки во время Трафальгарского сражения: она понадобилась мне для романа, опубликованного в 2005 году и посвященного именно этому историческому эпизоду.

— А вот и твоя карта, — сказала Мишель.

Карта лежала передо мной, ее размер составлял приблизительно пять пядей на четыре. Абсолютно чистая, в отличном состоянии, подклеенная новенькой тканью: «*Dediée* à *son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc. Bernard Jaillot, géographe ordinaire du Roy»*[[12]](#footnote-12).

— Отпечатано в 1738 году, — уточнила Мишель, указав на табличку.

— А для моего времени она не устарела?

— Не думаю. В ту эпоху мир менялся не с такой быстротой, как теперь... Вряд ли за какие-то пятьдесят лет могли произойти существенные изменения.

Я взял лупу, которую она мне протянула, и сразу нашел главную дорогу, по которой следовали мои академики, миновав Байонну. Дорога была отмечена пунктиром: Бордо, Ангулем, Орлеан, Париж. Каждая почтовая станция обозначалась маленьким кружком. Это была чрезвычайно подробная карта.

— Потрясающе! — сказал я.

Мишель согласно кивнула.

— О да. Не то слово. Берешь?

Я положил лупу прямо на карту, сглотнул слюну, чтобы скрыть волнение, и посмотрел прямо в глаза Мишель.

— Надо подумать.

Она улыбнулась так, что у меня мороз пробежал по коже. Я уже говорил, что мы познакомились сорок лет назад. На моих глазах она прямо-таки вцепилась в бизнес. Отчасти я ей в этом помогал, как один из старых клиентов.

— Сколько, — спросил я, — ты предполагаешь получить за эту вещь?

Вернувшись в Мадрид и развернув перед собой карту, я продолжил поиски следов моих героев. Помимо всего прочего нужны были специальные тексты — современники академиков, с помощью которых я мог бы больше узнать о местах, по которым пролегал их путь. К счастью, XVIII век изобиловал подобными произведениями: перемещения вошли в моду среди интеллектуальной элиты и многие путешественники публиковали путеводители, справочники и мемуары. Искать не пришлось, у меня имелись подробные сборники Круса, Понса и Альвареса де Кольменара, а также другие записки о путешествиях по Испании и Франции; среди них надо отметить две книги мемуаров — «Путешествие по Испании в эпоху Карла Третьего» Джозефа Таунсенда (1786—1787) и «Европейское путешествие» маркиза де Уреньи (1787—1788), которые вполне удовлетворяли мои запросы и, как я выяснил позже, были просто бесценны по части мелких деталей:

*Дорога широка и хорошо утоптана, ее покрывает красная глина. Общим счетом протяженность ее составляет семь лиг, однако имеется отрезок скверной дороги по причине излишней каменистости* ...

Таким образом, я сумел приступить к той части повествования, когда мои герои уже находились за пределами Мадрида: наметить их маршрут, перечислить названия почтовых станций и постоялых дворов, где путники останавливались на ночь. С помощью воображения проследовать по местам, которые Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина, преследуемые злодеем Паскуалем Рапосо, миновали во время своего путешествия. Пройти за ними по пятам и лучше понять значимость их предприятия. Однако даже для такой мелочи, как описание экипажа, в котором путешествовали академики, требовались все новые и новые сведения. Мне нужна была дорожная карета, крытая, надежная и выносливая. В мемуарах Уреньо я обнаружил упоминание о так называемой берлинке, от которой едва не отказался, когда в издании словаря 1780 года обнаружил, что речь идет исключительно о двухместном экипаже, в то время как для моей книги нужен был экипаж четырехместный. В конце концов, перерыв всю свою библиотеку, а также Интернет, я пришел к выводу, что наименование «берлинка» получали и экипажи большей вместимости, и даже отыскал несколько иллюстраций. Вот почему я решил использовать именно этот термин. Итак, четырехместная берлинка, выкрашенная в черный и зеленый, оборудованная на английский манер с таким расчетом, чтобы можно было впрягать в нее четырех коней, с устроенным наверху багажником для поклажи и облучком, где сидит кучер, любезно предоставленный маркизом де Оксинагой. И вот в этой довольно-таки тряской повозке с раздвижными окошками, наглухо запертыми, чтобы внутрь не набилась дорожная пыль, на потертых кожаных подушках один напротив другого, перебрасываясь время от времени словечком, читая, задремывая, а то и просто молча рассматривая невеселый пейзаж пустынной сьерры, едут наши путешественники — адмирал и библиотекарь.

— Что это за звук? Это, случайно, не волки? — спрашивает дон Эрмохенес, поднимая голову.

— Все может быть.

Рессоры монотонно поскрипывают, пока экипаж, плавно покачиваясь из стороны в сторону, катится по ровной дороге, если же под колесо попадет камень или оно подскакивает на кочке, рессоры издают резкий раздражающий скрежет. Библиотекарь листает старые номера «Исторического и политического Меркурия», «Литературного критика» или «Мадридской газеты», в то время как дон Педро Сарате смотрит в окошко, рассеянно любуясь орлами и грифами, реющими над гранитными скалами или елями, которыми изобилует пейзаж ущелья Сомосьерры.

— Темно, ничего не вижу, — жалуется библиотекарь.

Адмирал приоткрывает шторы, закрепляя их ремешками, чтобы его спутнику было светлее, однако очень скоро его любезность оказывается бесполезной. Низкое солнце прячется за деревьями, растущими вдоль дороги, подкрашивая алым выцветшие небеса над заснеженными вершинами гор, которые все еще виднеются вдалеке. Устав напрягать зрение, дон Эрмохенес откладывает журнал на подушку. Затем снимает пенсне, поднимает глаза и встречает взгляд дона Педро, ответив ему доброжелательной улыбкой.

— Как странно, сеньор адмирал. Просто удивительно... Мы с вами столько лет встречаемся в Академии и ни разу не перекинулись даже парой слов... И вот мы здесь, вдвоем, в этой странной авантюре.

— Для меня большое удовольствие, дон Эрмохенес, — откликается его попутчик, — находиться в вашей компании.

Библиотекарь машет рукой.

— Пожалуйста, зовите меня, как все, дон Эрмес.

— Я бы никогда не осмелился...

— Прошу вас, сеньор адмирал. Я уже привык. Это дружеское обращение, и я хочу, чтобы вы тоже звали меня так. Нам ведь придется провести вместе несколько недель. И многое разделить друг с другом.

Адмирал размышляет, словно вопрос действительно представляется ему крайне важным.

— Дон Эрмес, вы говорите?

— Именно.

— Договорились. Но у меня условие: вы тоже будете называть меня как-нибудь иначе. «Сеньор адмирал» звучит слишком пышно для обычного попутчика. Прошу вас, зовите меня моим обычным именем.

— Вы меня смущаете. Среди остальных членов Академии ваше воинское звание — это что-то такое...

— Вот и отлично, — перебивает его дон Педро. — Зовите меня просто адмирал. Без «сеньора». Очень вас прошу.

— Хорошо.

Экипаж слегка накренивается, на мгновение притормаживает, а затем, дернувшись, продолжает движение. Дорога взбирается вверх по склону, и снаружи, с облучка, доносится голос кучера, подгоняющего лошадей, и свистящие удары хлыста. Дон Педро указывает на «Литературного критика», который отложил библиотекарь.

— Удалось найти что-нибудь достойное внимания?

— Так, пустяки. Все как обычно... Яростная защита корриды и свирепая критика свежей статьи, которую юный Моратин написал под псевдонимом.

Адмирал невесело усмехается.

— Не та ли это статья, где критикуют риторику и педантизм испанских авторов, предлагая более современный подход? Та, что в Академии выиграла конкурс и получила нашу премию?

— Она самая.

Адмирал отмечает, что в свое время прочитал эту статью с большим удовольствием и даже был одним из тех, кто голосовал за награждение автора. У Моратина были свежие, яркие идеи, а сам он принадлежал к числу образованных молодых людей с отличным вкусом, которые боролись с варварством невежественных глупцов: привыкшей к пошлости публики, наводняющей театры, где ставят грубые сайнете о торговках зеленью и их простецких ухажерах или трагедии, полные сказочных чудес, чудовищных бурь, кровавых убийств, великих князьях Московии и башмачниках, которые в последнем акте внезапно оказываются сыновьями короля.

— И вы говорите, «Критик» его разгромил? — подытоживает он.

— В пух и прах... Вы же знаете, наш приятель Игеруэла не жалеет сил.

— Что же ему не понравилось?

— Все как обычно, — библиотекарь покорно машет рукой. — Традиционные испанские ценности и так далее. Старая песня: заграничные веяния губят исконный дух нашего народа, обычаи, религию и прочее, прочее.

— Печально. Мы, испанцы, по-прежнему главные враги самих себя. Собственными руками закручиваем фитиль повсюду, где замечаем свет.

— Да, но наше путешествие доказывает обратное.

— Это путешествие, простите мою нескромность, всего лишь незначительная капля в море всеобщего равнодушия.

Библиотекарь смотрит на своего приятеля с неподдельным удивлением.

— Вы не верите в будущее, адмирал?

— Не особенно.

— Зачем же вы тогда согласились?.. Почему участвуете в этой авантюре?

Наступает тишина, прерываемая скрипом рессор, топотом конских копыт и щелканьем хлыста. В следующее мгновение на лице дона Педро появляется странная улыбка: печальная, самоуглубленная.

— Когда-то давно, в юности, я сражался на борту корабля... Мы были окружены англичанами, и у нас не было ни малейшей надежды на победу. Тем не менее никому не пришло в голову спустить флаг.

— Это называется героизм, — с восхищением произносит библиотекарь.

Влажные голубые глаза смотрят на него без всякого выражения.

— Нет, — отвечает адмирал. — Это называется стойкость. Уверенность в том, что, победим мы или проиграем, каждый делает то, что обязан делать.

— Но и гордость здесь тоже присутствует, полагаю. Или я ошибаюсь?

— Гордость, дон Эрмес, если приправить ее крупицей разума, может стать такой же полезной добродетелью, как и все прочие.

— Какие верные слова! Надо запомнить.

Адмирал снова смотрит в окошко. Света становится все меньше. Совершенно прямая дорога бежит по склону вниз, лошади приободрились, и повозка катится легко и быстро.

— Апатия и покорность — вот наши национальные основы, — произносит он в следующее мгновение. — А заодно нежелание усложнять себе жизнь... Нам, испанцам, нравится чувствовать себя чем-то вроде несовершеннолетних. Такие понятия, как терпимость, разум, наука, природа, мешают нам спокойно спать в любимую сиесту... Стыдно сказать, но мы, подобно индейцам или африканцам, последними получаем новости и знания, которые излучает просвещенная Европа.

— Полностью с вами согласен, — отзывается библиотекарь.

— Мало того, любой внутренний импульс мы с готовностью превращаем в боевое копье, в повод для разногласия: этот автор — экстремадурец, тот — андалусиец, а тот и вовсе валенсиец... Сколько же не хватает нам для того, чтобы быть цивилизованной страной, укрепленной духом единства, подобно другим нациям, которые также, надо заметить, загораживают нам солнце... Уверен, это не лучший способ указывать, как мы имеем обыкновение, где чья родина. В этом смысле лучше похоронить ее в забвении, чтобы каждый приличный человек в первую очередь называл себя испанцем.

— В этом вы тоже отчасти правы, — соглашается библиотекарь. — И все же, мне кажется, вы несколько преувеличиваете.

— Преувеличиваю? Давайте вместе рассудим, дон Эрмохенес... Дон Эрмес. Взгляните сами... У нас нет своих Эразмов, не говоря уже о Вольтерах. Максимум, чего мы достигли, — это падре Фейхоо.

— Уже не мало.

— Но и падре Фейхоо не отказывается от католической веры и преданности монархии. В Испании нет ни оригинальных мыслителей, ни философов. Вездесущая религия не дает им расцвести. И свободы тоже нет... Когда она доносится извне, ее пробуют кончиками пальцев, чтобы не обжечься...

— Конечно, адмирал, вы правы. Но вы произнесли слово «*свобода* », а это палка о двух концах. На севере Европы свободу понимают совершенно иначе. Убеждать наш темный и дикий народ в том, что он может стать хозяином самого себя, — совершенно бредовая затея. Подобные крайности подвергают сомнению правление королей. Да и короли не захотят бросаться в пропасть реформ, если там их ждет могила.

— Не будете же вы рассуждать про священный характер трона, дон Эрмес...

— Ни в коем случае. Но я хотел все же напомнить об уважении, которое он заслуживает, несмотря ни на что. И мне странно спорить об этом с вами, королевским офицером.

Адмирал улыбается — спокойно, почти любезно. Потом, наклонившись, дружески хлопает библиотекаря по колену.

— Одно дело, когда человек в случае необходимости отдает жизнь, видя в этом свой долг, и совсем другое — когда он себя обманывает, рассуждая о королях и правительствах... Верность не отрицает трезвого, критического отношения к действительности, дорогой друг. Уверяю вас, на борту королевских фрегатов мне доводилось видеть такие же недостойные вещи, какие случаются и на суше.

Солнце уже скрылось, и в небе разлилось едва заметное сияние. Мертвенный серовато-голубой свет все еще позволяет различать контуры пейзажа и обрисовывает смутные силуэты обоих путешественников, сидящих внутри экипажа.

— Я всего лишь старый офицер, который любит книги, — продолжает адмирал. — На испанском языке мне доводилось читать про всякое — хороший вкус, просвещение, науку и философию, однако я ни разу нигде не встречал слово «свобода»... А век наш таков, что прогресс и свобода идут руку об руку друг с другом. Никогда ранее свет просвещения не был столь ярок и не озарял будущее с такой силой, а все благодаря самоотверженности новых философов... Тем не менее мало кто в Испании позволяет себе нарушить границы католической догмы. Возможно, кое-кто и мечтает об этом, однако не осмеливается выступить публично.

— Эта предусмотрительность вполне логична, — возражает библиотекарь. — Вспомните судьбу несчастного Олавиде.

— Об этом я и говорю. Просто плакать хочется. Интендант, горячо преданный реформистским идеям нашего короля Карла Третьего, а затем трусливо покинутый монархом и его правительством...

— Ради бога, адмирал. Я совершенно не собирался касаться этой темы. Давайте не будем обсуждать короля.

— Почему не будем? Все рано или поздно упирается в эту фигуру. Как ни крути, именно король приказал Олавиде подготовить реформы, а затем передал его в руки инквизиции. Этот приговор покрыл нас стыдом перед всеми культурными нациями, и всему виной зависимость и полная подчиненность светских властей по отношению к властям церковным... Просвещенный король, подобный нашему, на которого возлагают столько надежд, не имеет права, поддавшись угрызениям совести, довериться инквизиции.

Лишь смутные очертания собеседников проступают в этот поздний час в сгустившихся сумерках. Внезапно раздается скрежет, экипаж подскакивает, содрогнувшись с такой силой, что путешественники едва не валятся один на другого. Темная ночная дорогая таит в себе неведомые опасности. Библиотекарь приоткрывает окошко и боязливо выглядывает наружу.

— Вы несправедливы, — говорит он, вновь поворачиваясь к адмиралу. — Прогресс не может быть достигнут одним прыжком: это процесс постепенный. По личным убеждением, далеко не каждый из нас мечтает о падении трона или исчезновении религии... Я, как вы знаете, сторонник просвещения, но не готов перешагнуть через католическую веру. Сияющей целью всегда должна быть вера.

— Целью должен быть разум, — упрямо возражает адмирал. — Мистерия и откровение несравнимы с наукой. Иначе сказать, с разумом. А свобода связана с ним теснейшим образом.

— Опять вы про свободу. — Библиотекарь вновь осторожно высовывает голову в окошко. — Упрямый вы человек, дорогой друг...

— Сам Сервантес говорил устами своего Дон Кихота: свобода — самый прекрасный дар из всех существующих... «Я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными»... Что вы там так упорно высматриваете?

— Какой-то огонек вдалеке. Наверное, постоялый двор, где мы проведем ночь.

— Это было бы очень вовремя! У меня уже поясницу ломит из-за этой тряски. А ведь это только начало.

Днем позже Паскуаль Рапосо передает служке повод своего коня, снимает поклажу и, стряхивая пыль с одежды, входит в гостиницу, расположенную на другом берегу реки Арлансы, где напротив большого натопленного камина за тремя столами, не покрытыми скатертью, рассевшись по лавкам, ужинают постояльцы. Один из столов, за которым прислуживает служанка, занимают двое кучеров — один из них тот, что прибыл с академиками. За другим сидит дюжина погонщиков — Рапосо еще раньше приметил у коновязи мулов и тюки с барахлом, сваленные на дворе под присмотром одного из погонщиков, — которые едят и пьют, громко о чем-то споря. За третьим, чуть в отдалении, расположилась публика поприличнее: двое путешественников, преследуемых Рапосо, а также дама, рядом с которой сидит молодой кабальеро. За этим столом прислуживает лично сам хозяин гостиницы. Заметив Рапосо, он устремляется к нему с не слишком гостеприимным видом.

— Свободных мест нет, — хмуро сообщает он. — Все битком набито.

Вошедший спокойно улыбается. На лице, все еще покрытом дорожной пылью, сверкают белоснежные зубы.

— Не беспокойтесь, дружище. Как-нибудь обойдусь... Сейчас все, что мне нужно, — это горячий ужин.

Его кажущаяся беспечность успокаивает хозяина.

— Это пожалуйста, — говорит он уже чуть любезнее. — У нас есть жаркое из говяжьей головы и поросячьи ножки.

— А вино какое?

— Вино домашнее. Пить можно.

— Отлично, меня все устраивает.

Хозяин гостиницы придирчиво разглядывает нового гостя с головы до ног, пытаясь определить, за какой стол его усадить. На госте коричневый дорожный костюм с марсельским плащом, замшевые штаны и краги. Он мог бы сойти за охотника, однако от внимания хозяина не ускользнула завернутая в одеяло сабля, которую гость вместе с остальными вещами оставил у дверей. Рапосо избавляет хозяина от необходимости что-то решать и усаживается за стол к погонщикам мулов; заметив его, те смолкают, однако без возражений пускают незнакомца за свой стол.

— Всем добрый вечер.

Расопо достает нож с костяной рукояткой, который висел у него сбоку на поясе, открывает его с громким щелчком и режет ржаную ковригу, лежащую на столе. Затем протягивает руку к кувшину, предложенному одним из погонщиков, и наливает себе вина. Служанка ставит перед ним дымящееся блюдо с едой, аппетитной на вид.

— Приятного аппетита, — поизносит кто-то за столом.

— Спасибо.

Рапосо берет оловянную ложку и с наслаждением ест, неторопливо пережевывая пищу. Погонщики возобновляют прерванный разговор. Кто-то курит, пьют все до единого. Обсуждают животных, пошлины и сборы, которые имеют обыкновение взимать возле мостов и сторожевых башен, затем плавно переходят к спору о достоинствах тореро Костильяреса в сравнении с Пепе-Ильо. Рапосо уплетает свой ужин молча, не принимая участия в общей беседе и украдкой поглядывая на двоих академиков, сеньору и юношу, сидящих за дальним столом. Последние, без сомнения, путешествуют во втором дорожном экипаже, который Рапосо заприметил возле постоялого двора. А кучер их, должно быть, тот парень, который сидит за соседним столом, рядом с извозчиком академиков. Женщина среднего возраста, на вид привлекательная, а сидящий рядом юноша имеет с ней очевидное сходство. Оба, в особенности женщина, беседуют со своими сотрапезниками, однако слов их Рапосо не слышит.

— А что, эти сеньоры действительно занимают все комнаты? — спрашивает он служанку, когда та приносит еще вина.

Девушка отвечает утвердительно. Два пожилых кабальеро занимают одну комнату, женщина и юноша спят каждый в своей спальне. Судя по всему, заключает она, это мать и сын, а направляются они в Наварру. В другой комнате спят двое извозчиков; а большую, где имеется шесть тюфяков, занимают погонщики. Чтобы остановиться на ночь, Рапосо лучше договориться с погонщиками насчет места или ночевать в конюшне.

— Спасибо, детка. Я что-нибудь придумаю.

Вытирая тарелку кусочком хлеба, ястреб изучает свою добычу. Низенький и плотный — это, несомненно, и есть тот самый дон Эрмохенес Молина; сейчас он любезно беседует с сеньорой и юношей. Заметно, что оба, в особенности женщина, весьма довольны компанией, которой их наградило путешествие. Библиотекарь на вид приятный, внимательный, мирный и необидчивый; он принадлежит к тем людям, которые располагают к себе с первого взгляда. Второй, бригадир или адмирал Сарате, почти не участвует в разговоре: он лишь кивает или отпускает короткие замечания, когда сотрапезники с ним заговаривают. Высокий, худой, седые волосы собраны в небольшой хвост, которые обычно носят морские офицеры, он сидит на самом краю лавки, руки прижаты к столу; держится напряженно и прямо, словно на военном смотре. Внимательно прислушивается к разговору за столом, изредка вмешиваясь воспитанным тоном, чуть меланхоличным или же рассеянным.

— Дружище, вы не передадите мне подсвечник?

По просьбе Рапосо один из погонщиков протягивает ему латунный канделябр с наполовину сгоревшей свечой. Поблагодарив погонщика, Рапосо вытаскивает из кармана пачку с четырьмя сигарами, сует одну в рот и подносит ее кончик к пламени свечи. Затем откидывается назад, выпускает облако дыма и рассматривает стол, за которым сидят двое кучеров. Он уже знает, что кучера академиков зовут Самарра и что он, как и берлинка, принадлежит маркизу де Оксинага, который приставил его к путешественникам в качестве сопровождающего. Готовясь к отъезду из Мадрида, Рапосо собрал о нем кое-какую информацию: сорок лет, безграмотный, со следами оспы на лице. Никому не известный, неотесанный, он привык к дальним дорогам и их перипетиям и на редкость неуклюж, если только не сидит на своем облучке, держа в руках вожжи и хлыст. Без сомнения, там, у себя наверху, он отлично владеет ружьем, который везет с собой в чехле.

— Это в дубраве, не доезжая до почтовой станции Милагрос и реки Риаса. Мимо не проедете.

— Не там ли, где деревянный мост?

— Нет, ближе... В ущелье, которое ведет к переправе.

Рассказ одного из погонщиков привлекает внимание Рапосо. Грабители, повторяет погонщик. А служанка горячо кивает головой. В этих краях орудует целая шайка, на дороге к Аранда-де-Дуэро. Неделю назад напали на путешественников. Поговаривают, они до сих пор подстерегают в засаде. Надо быть начеку.

— Главное — путешествовать не поодиночке, — уверяет погонщик. — Собрать как можно больше людей.

Рапосо в последний раз смотрит на стол, где сидят академики, которые все еще беседуют с сеньорой и ее сыном. Затем просит служанку наполнить флягу водой, а кувшин вином; когда та выполняет просьбу, подзывает хозяина таверны, спрашивает, сколько должен за ужин, стойло и овес для коня, платит две песеты, желает погонщикам мулов доброй ночи, прихватывает свои вещи и выходит вон, в темноту, где некоторое время стоит неподвижно и курит, пока дотлевающая сигара не обжигает пальцы. Тогда он бросает ее на землю, давит башмаком, шагает в сторону стойла и бегло осматривает коня, проверяя, не опухают ли ноги и в порядке ли подковы. Затем, отыскав спокойное место подальше от животных, хорошенько взбивает стог сена, сверху постилает шинель и укладывается спать.

Холодно, а в черные отверстия незастекленных окон того и гляди влетит сыч. После похода в уборную, которая располагается во дворе гостиницы, усевшись на своем ложе — скверный тюфяк, набитый козьим пухом, сквозь который все равно чувствуются доски, — дон Эрмохенес Молина бормочет вечерние молитвы — наскоро, почти не разжимая губ. На нем ночная рубашка и колпак. При свете маленькой лампы, откуда не только капля за каплей сочится масло, но и поднимается дым, висящий пеленой под потолком, библиотекарь наблюдает, как его спутник, который уже улегся и укрылся одеялом, листает страницы книги, читаемой урывками, «*Lettres а une princesse d’Allemagne»*[[13]](#footnote-13), Эйлера, трехтомник ин-октаво. Уже вторую ночь они делят одну комнату на двоих, однако вынужденное сожительство по-прежнему стесняет обоих. Вежливость и исключительная предупредительность делают более-менее сносными обременительные бытовые мелочи совместного путешествия: раздеваться, слышать чужой храп, умываться над лоханью или пользоваться ночным горшком с деревянной крышкой, притаившимся в углу комнаты.

— Какие славные люди, эта сеньора и ее сын, — говорит библиотекарь.

Дон Педро Сарате кладет книгу на краешек одеяла, заложив пальцем страницу.

— Молодой человек неплохо образован, — соглашается он. — А она очень милая женщина.

— Очаровательная, — кивает дон Эрмохенес.

Эта случайная встреча на постоялом дворе — большое везение, думает библиотекарь. Приятный совместный ужин, затем — оживленная беседа за столом. Дама из хорошей семьи, вдова полковника артиллерии Кироги, сопровождает своего сына, офицера действующей армии, к невесте, проживающей в Памплоне. Юноша собирается просить ее руки, а матушка их благословит.

— Возможно, мы встретимся по дороге, — добавляет библиотекарь. — Я бы не отказался поужинать с ними еще раз.

— В любом случае мы все вместе отправимся караваном до Аранда-де-Дуэро.

Дон Эрмохенес чувствует легкое беспокойство, что не мешает ему продолжить беседу.

— Как вы думаете, эти разбойники действительно опасны? Честно сказать, кресты, которые иногда встречаешь на обочине, в память о погибших путниках, отнюдь не успокаивают...

Адмирал секунду размышляет.

— Уверен, все будет хорошо, — заключает он. — Тем не менее стоило бы принять некоторые меры предосторожности. Путешествовать всем вместе, экипаж за экипажем, мне кажется правильной идеей.

— К тому же у нас есть двое слуг, вооруженных ружьями...

— Не забывайте и о юном Кироге, который, без сомнения, тоже сумеет защититься. Да и у нас с вами имеются пистолеты. Завтра перед выездом я их заряжу.

Мысль о пистолетах тревожит библиотекаря еще больше.

— Признаюсь, дорогой друг, я совсем не боец...

Адмирал снисходительно улыбается.

— Так и я не боец, если рассудить. Слишком давно не держал в руках пистолета. Однако, уверяю вас, в случае необходимости вы станете таким же точно бойцом, как и любой другой... Иногда жизнь поворачивается так, что волей-неволей берешься за оружие.

— Надеюсь, оно все-таки не понадобится.

— Я тоже на это надеюсь. Так что спите спокойно.

И дон Эрмохенес укладывается спать, натянув одеяло до самого подбородка.

— Бедная Испания, — расстроенно бормочет библиотекарь. — Стоит отъехать на несколько лиг от города — и оказываешься среди дикарей.

— В других странах не лучше, дон Эрмес... Просто здесь неприятные мелочи кажутся еще неприятнее, потому что это — родная страна.

Похоже, адмирал решил в этот вечер отказаться от чтения. Он помечает страницу закладкой и откладывает книгу на столик возле кровати. Затем устраивает голову на подушке. Дон Эрмохенес тянется к фитилю, но на полполпути его рука замирает.

— Позволите мне дерзкое замечание, дорогой адмирал?.. Пользуясь, так сказать, вынужденной близостью, в которой мы оба оказались?

Светлые глаза его собеседника, которые кажутся еще светлее при свете близко стоящей лампы, высвечивающей на его скулах крошечные красноватые сосуды, смотрят внимательно, с легким удивлением.

— Разумеется, позволяю.

Мгновение дон Эрмохенес размышляет. Затем решается.

— Я заметил, что вы — человек не слишком набожный.

— Вы имеете в виду религиозные обряды?

— Пожалуй... Ни разу не видел, что бы вы молились, вам это вроде бы и не нужно. Я задаю этот вопрос, потому что сам делаю это постоянно и мне не хотелось бы раздражать вас своими привычками.

— Своими предрассудками, вы хотите сказать?

— Не издевайтесь, пожалуйста.

Адмирал смеется от души, внезапно отбросив свою постоянную серьезность.

— Ни в коем случае. Простите. Я просто немного пошутил.

Дон Эрмохенес качает головой, терпеливо и доброжелательно.

— Сегодня, остановившись ненадолго размять ноги, мы с вами разговорились о вещах несовместимых... Таких, например, как разум и религия, помните?

— Да, я хорошо помню тот разговор.

— Так вот, мне бы очень не хотелось, чтобы вы относились ко мне как к лицемеру. Признаюсь, иногда у меня тоже случаются проблемы с совестью, потому что я оказываюсь на границе дозволенного с точки зрения христианской доктрины...

Адмирал поднимает руку, явно собираясь привести какой-нибудь весомый аргумент, но взвешивает свои слова и возвращает руку на одеяло.

— Если бы речь шла о ком-то другом, я бы назвал это лицемерием. — Тон у него мягкий, доброжелательный. — Я имею в виду тех, кто похваляется слепой верой в догмы, а сами потихоньку почитывают Руссо... Но вас-то я знаю, дон Эрмес. Вы человек честный, порядочный.

— Уверяю вас, дело не в лицемерии. Это сложный, болезненный конфликт.

— Свойственный другим, более культурным странам...

Адмирал не заканчивает фразы, его лицо принимает кроткое выражение. Однако патриотизм библиотекаря уязвлен.

— Культурным элитам, вы хотели сказать... — возражает он. — А кто-то все невзгоды тащит на себе. Как вы только что обмолвились, простой народ есть повсюду.

— Я имел в виду другое. — Адмирал указывает на книгу, лежащую на столике: — Только организованное, сильное государство, покровительствующее художникам, мыслителям и философам, способствует материальному и духовному прогрессу своего народа... Но это не наш случай.

Размышляя над этой горькой истиной, оба академика пребывают в молчании.

Сквозь оконные ставни слышен далекий лай собаки. Затем вновь наступает тишина.

— Я погашу свет? — спрашивает дон Эрмохенес.

— Как хотите.

Приподнявшись на локте, библиотекарь задувает лампу. Дымный запах потухшего фитиля заполняет сумерки комнаты.

— Их еще называют просвещенными, — раздается голос адмирала. — Я имею в виду нации, которые культивируют свой дух. А те, чьи обычаи соотносятся с разумом, называют цивилизованными... В противоположность варварским нациям, где главенствуют грубые и пошлые вкусы простого народа, которому они тем самым угождают, одновременно обманывая его.

В темноте дон Эрмохенес внимательно слушает его слова.

— Согласен.

— Отлично. Дело в том, что религия и есть главная форма обмана, изобретенная человеком. Насилие над здравым смыслом, доходящее до абсурда. — Тон дона Педро вновь становится насмешливым. — Что вы, например, думаете, дорогой друг, о полемике по поводу ширинки на брюках? Вы действительно считаете, что церковник должен вмешиваться в работу портного?

— Ради бога, адмирал... Не напоминайте мне про это смехотворное недоразумение, прошу вас. Не расстраивайте меня.

Оба от души смеются, пока библиотекарь не захлебывается приступом кашля. Обсуждаемая всеми заграничными газетами французская мода на единственное отверстие в мужских штанах, иначе говоря ширинку, которая пришла на смену двустороннему отверстию с застежками справа и слева, то есть традиционному, встретила в Испании яростное противостояние со стороны церкви, которая объявила ее аморальной и противоречащей добрым обычаям страны. В конце концов вмешалась даже инквизиция, издавшая указ, зачитанный в различных церквях и суливший наказание портным и их клиентам, следующим заграничной моде.

— История с ширинкой — наглядный пример того, чем мы являемся и чем нас заставляют быть, пусть даже это всего-навсего анекдот, — говорит адмирал. — Куда хуже рабство и обращение с темнокожими рабами, продажа публичных должностей, цензура в отношении книг, коррида и публичные казни, превращающиеся в общественный спектакль... Нам в Саламанке нужно меньше докторов богословия и больше агрономов, торговцев и морских офицеров. Нужна такая Испания, где бы наконец поняли, что швейная игла сделала для человеческого счастья больше, чем «Логика» Аристотеля или полное собрание сочинений Фомы Аквинского.

— Согласен с вами, — кивает библиотекарь. — Просвещение, без сомнения, должно стоять во главе угла. Именно оно будет тем механизмом, который так необходим новому человеку.

— Ради него мы с вами и едем в такую даль, дон Эрмес... Трясемся в проклятой повозке, снедаемые клопами, расчесывая укусы вшей, спим на тюфяках, которые смутили бы самого Юпитера. Чтобы от себя лично вложить в этот механизм, о котором вы говорите, крошечный винтик.

— А заодно купить в Париже пару штанов с этими новомодными ширинками!

Оба опять смеются. Как и в прошлый раз, библиотекаря сотрясает новый приступ кашля. Не обращая на него внимания, он некоторое время все еще хрипловато посмеивается, уставившись взглядом в окружающие их со всех сторон тени.

— Доброй ночи, адмирал.

— Доброй ночи.

Мадрид, Аранда-де-Дуэро, Бургос... В ближайшие дни, освоившись как-как с картами и путеводителями по дорогам XVIII века, я более тщательно продумывал маршрут моих академиков, отмечая постоялые дворы и почтовые станции, а также расстояние в лигах между одной точкой и другой. Затем все это я перенес на карту Томаса Лопеса, а в заключение сравнил с современным путеводителем. Большая часть нынешних дорог совпадала со старинными: шоссе и автобаны в несколько полос пришли на смену старым грунтовым колеям, разбитым колесами и подковами, однако сама дорога в большинстве случаев оставалась той же самой. Кроме того, я заметил, что некоторые второстепенные трассы в точности повторяют старые, и отмеченные на них топонимы совпадают с теми, что указаны на картах XVIII века: постоялый двор Педресуэлы, Кабанильяса, гостиница Фонсиосо... Моим задумкам больше всего соответствовали наименее людные дороги. Несмотря на асфальт и современные указатели, они сохранили очертания, оставшиеся с тех времен, когда, прокладывая их, в первую очередь выбирали ровную, надежную поверхность, учитывая изгибы речного русла, а также мосты, переправы, ущелья и теснины. За два с половиной века эти участки мало изменились, заключил я, сравнивая карты. Следуя им, я смог бы увидеть или же с максимальной убедительностью воссоздать те самые пейзажи, которые библиотекарь и адмирал созерцали в продолжение своего путешествия. Таким образом, я сунул в сумку пару старинных путеводителей, современную карту автомобильных дорог, фотоаппарат и блокнот и отправился осматривать эти места, которые в наше время представляют собой окрестности автотрассы А-1, связывающей Мадрид с французской границей.

И все-таки кое-чего недоставало, чтобы свести концы с концами. В моей библиотеке имелся довольно обширный раздел, посвященный XVIII веку, включавший современные книги, мемуары, биографии и трактаты. Так, одна из этих книг — мне ее посоветовал дон Грегорио Сальвадор — «Как выглядела Испания во времена правления Карла Третьего» философа Хулиана Мариаса — помогла воссоздать облик мира в том виде, в каком застали его мои герои во время своего путешествия в Париж. Мои записные книжки были полны эскизов и наблюдений, и картина мира того времени в целом была мне ясна; однако не хватало последнего важнейшего штриха: подтверждения того, что моя историческая картина действительно верна. В связи с этим я позвонил Кармен Иглесиас и пригласил ее пообедать.

— Скажи мне все, что ты думаешь о Карле Третьем и его поражении, — попросил я.

— Насколько подробно?

— Представь, что перед тобой твой самый тупой студент.

Она расхохоталась.

— Тебе нужна точка зрения пессимиста или оптимиста?

— Мне нужна объективная оценка.

— Что ж, при нем было много положительного, как тебе известно.

— Сегодня меня в первую очередь интересует отрицательное.

Ее лицо сделалось серьезным.

— Новый роман?

— Может быть.

Она снова засмеялась. Мы познакомились с Кармен двенадцать лет назад. Это была женщина миниатюрная, элегантная и дьявольски образованная. Помимо всего прочего, графиня. В молодости была восприемницей принца Астурийского. Кроме того, написала полдюжины серьезных книг на политические темы и стала первой женщиной, занявшей место директора Королевской исторической академии. Перед этим внушительным зданием, выходящим на угол Уэртас и Леон, я прождал ее целое утро после того, как мы побеседовали по телефону. Был чудесный теплый день. Мы собрались немного прогуляться, а потом зайти в ресторан «Винья-Пе» на площади Святой Анны.

— Карл Третий был хорошим правителем, насколько это оказалось возможно.

Мы направлялись в сторону улицы Прадо, неподалеку от этих мест обитал когда-то библиотекарь дон Эрмохенес Молина. Этот квартал, который называли Лас-Летрас, имел богатую историю: справа от нас находился монастырь, где покоились останки Сервантеса, а буквально в нескольких шагах когда-то стоял дом, где жили Гонгора и Кеведо. Чуть в отдалении жил и умер автор «Дон Кихота». Разумеется, ни один из этих домов не уцелел. И только дом Лопе де Веги, также стоявший по соседству, сотрудники Испанской королевской академии в последний момент сумели уберечь от сноса.

— А образ просвещенной монархии, — поинтересовался я, — соответствует действительности или нет?

Ответ Кармен был уклончив, как я и предполагал.

— Только в определенном смысле, — сказала она. — Карл Третий не был сторонником прогресса в современном понимании этого слова; однако он прибыл из Неаполя и был образованным человеком, который умел окружить себя адекватными людьми, разумными министрами, исповедующими современные взгляды... Поэтому его деятельность часто соответствовала передовой философии того времени. Некоторые провозглашенные им законы отличались удивительной смелостью и обогнали даже Францию.

Я уже начинал улавливать оттенки ее видения как историка, ее недомолвки и намеки.

— Разумеется, всему виной ограничения, — заключил я. — Одна церковь чего стоила. Не говоря обо всем остальном.

Она засмеялась и взяла меня под руку.

— Дело не только в столкновениях с церковью. Карл Третий был одним из королей, движимых наилучшими намерениями, которых, однако, в значительной степени тормозила их же собственная религиозность... В итоге реакционные силы получили очень выгодного союзника. Они не могли удержать прогресс, однако с успехом совали ему палки в колеса.

— В любом случае это было время надежды.

— Несомненно.

— Складывается впечатление, что вопрос о том, с чем именно связывали эти надежды — с верой или с просвещением, — так и остался без ответа.

Кажется, Кармен меня поняла.

— Испанию XVIII века, — добавила она, — тормозила не только церковь, но и традиции, и всеобщая апатия. Тормозило общество само по себе. В стране, где знать не платила налогов, труд считался проклятием и к верхушке общества имел право принадлежать лишь человек, ни один из предков которого не занимался физическим трудом, естественной тенденцией были беззаботность и безразличие, а также полное нежелание что-либо менять.

Я остановился, глядя на нее. За ее спиной располагалась лавочка, где продавались старинные гравюры: на витрине были выставлены литографии и большие, подробные географические карты. Одна из них была картой Испании, и я, не в силах побороть искушение, блуждал по ней рассеянным взглядом, стараясь проследить маршрут, которым мои академики двигались в сторону границы.

— Ты хочешь сказать, что в нашей стране никому всерьез не приходило в голову подвергнуть сомнению существующий порядок? И виной тому — не только трусость, но и лень? Мне казалось, у нас тоже были сторонники просвещения.

Она выпустила мою руку. Пожала плечами, держа у груди свою сумочку.

— По сравнению с другими странами Европы просвещения у нас практически не было, потому что никогда не существовало организованного кружка философов или же авторов политических трактатов, где бы свободно обсуждались новые идеи. В нашей стране слово «просвещать» заменили словом «разъяснять», куда более умеренным. Поэтому в просвещенной Европе Испания не существовала самостоятельно, она была лишь эхом, отражающим чужие звучания. Положа руку на сердце, мы даже с большой натяжкой не можем сравнивать Фейхоо, Кадальсо или Ховельяноса с Дидро, Руссо, Кантом, Юмом или Локком... Наше просвещение запнулось на полпути.

— Любопытно, что ты про это заговорила. Вот уже несколько недель подряд читаю тексты обо всем, что касается той эпохи, и нигде ни разу я не встречал слова «свобода» в положительном значении.

— А еще ты вряд ли найдешь хотя бы строчку, которая осуждала бы королевскую власть. И это при том, что почти полвека назад во Франции барон Гольбах написал: *«* Мог ли народ, находясь в трезвом рассудке, доверить тем, кто все за него решает, право делать себя несчастным?»

— Теперь я понимаю, — заключил я. — Король с наилучшими намерениями, просвещенные министры, и при этом на каждом шагу красная черта, которую нельзя переступать.

— Пожалуй, это неплохое определение. Считаные испанцы осмеливались переступить границы католической догмы и традиционной монархии. Кое-кто этого желал; однако, как я уже говорила, мало кто решался.

Мы продолжили нашу прогулку. На площади Святой Анны все столики открытых кафе были заняты, стайка детей играла на огороженной детской площадке. У подножия статуи Кальдерона де ла Барки сидел аккордеонист, наигрывая «Танго старой гвардии». На противоположной стороне площади возвышался бронзовый памятник Гарсия Лорки с голубем в руках: поэт словно бы замер в растерянности, ожидая расстрельного залпа.

— Образованная Испания относилась к этому очень осмотрительно, — подытожила Кармен. — Надо учитывать, что, по сравнению с Францией, она была слабая, почти анемичная.

Я оглядел площадь, мое внимание задержалось на детях, качавшихся на качелях. Затем я перевел взгляд на взрослых, сидевших за столиками баров.

— Скорее всего, Испании не хватало гильотины, — проговорил я. — Я имею в виду то, что символизирует собой эта штуковина.

— Не шути так грубо.

— Я говорю всерьез.

Кармен взглянула на меня заинтересованно и в то же время возмущенно. Однако над моими словами задумалась.

— Если иметь в виду символ, то, пожалуй, ты прав, — согласилась она. — Здесь, в Испании, не было революции идей, которая затем проложила бы дорогу прочим революциям... Прибавь к этому то, как глубоко укоренились наши призраки, каким темным был из-за них XVIII век и чем сегодня мы обязаны людям, которые боролись в ту пору, когда последствиями их борьбы были не газетная статья или комментарии в социальных сетях, а изгнание, бесправие, тюрьма или смерть.

Они разговаривают о том же: об Испании возможной и невозможной. Пока берлинка, подскакивая на ухабах, катится на север, рессоры ее скрипят из-за скверной дороги, а внутрь забивается едкая дорожная пыль, вылетающая из-под колес едущего впереди экипажа, — этот участок пути они преодолевают в компании сеньоры и ее сына, молодого военного, с которыми познакомились на постоялом дворе, — дон Эрмохенес Молина и дон Педро Сарате дремлют, читают, рассматривают пейзажи, снова и снова возвращаясь к своему бесконечному разговору.

— Да вы никак чешетесь, дон Эрмес?!

— Представьте себе, дорогой адмирал. Какие-то мелкие твари, не знаю, к какому зоологическому виду они принадлежат, кусали меня всю ночь.

— Какое невезение! К счастью, я был избавлен от этой напасти.

— Должно быть, я им больше приглянулся.

Двое мужчин, которые за годы, проведенные в стенах Академии, обсуждали друг с другом разве что лингвистические понятия или же обменивались обычными вежливыми фразами, сходятся все ближе, узнают друг друга все лучше, постепенно сближаясь — если это слово уместно — так, что между ними устанавливаются взаимопонимание и даже начатки дружбы — пока еще смутная, едва различимая для обоих, прочная связь, с каждым днем все более тесная, из тех, что свойственны благородным душам, когда им вместе приходится сносить непредвиденные обстоятельства, невзгоды или испытания.

— О чем вы думаете, адмирал?

Дон Педро медлит, рассматривая пейзаж за окошком. На коленях у него покоится открытая книга Эйлера, которую он перестал читать уже довольно давно.

— Я думаю о том же самом, о чем мы с вами беседовали накануне вечером. Представьте себе, что бы было, если бы преподавание естественных наук оставило позади обучение схоластике, которое, за редким исключением, царит в наших университетах? Представьте себе Испанию, которая вместо толпы теологов, адвокатов, писарей и знатоков латыни внезапно начинает готовить математиков, астрономов, химиков, архитекторов и естествоиспытателей?

Библиотекарь кивает, вид его выражает удовлетворение, не лишенное однако тени сомнения.

— Даже если в стране есть мыслители, философы и ученые, это еще не означает, что в ней непременно появляются достойные правители, — возражает он.

— Да, вероятно. Но если эти образованные люди свободно действуют и выражают свое мнение, народ сможет защитить себя от плохих правителей или от церкви.

— Опять вы за свое. — Дон Эрмохенес досадливо машет рукой. — Не трогайте церковь, умоляю вас.

— Как же, позвольте, ее не трогать? Математика, экономика, современная физика, естественная история — все это глубоко презирают те, кто умеет выдвинуть тридцать два силлогизма, является ли чистилище газообразным или же твердым...

— Не преувеличивайте, дорогой друг. Церковь тоже уважает науку. Хочу вам напомнить, что первыми Колумба поддержали монахи-астрономы и настоятель монастыря Ла-Рабида.

— Одна ласточка весны не делает, дон Эрмес. Даже двадцать ласточек, к сожалению, бессильны что-либо изменить. — Адмирал закрывает книгу и кладет ее рядом с собой на сиденье. — Через два с половиной века после Колумба Хорхе Хуан, образованный морской офицер, с которым мне посчастливилось некоторое время общаться, рассказывал, что когда он и Антонио де Ульоа вернулись из экспедиции, снаряженной французским правительством для измерения градуса меридиана в Перу, они были вынуждены скрывать в своих рассказах о путешествии многие научные открытия, потому что цензоры от церкви сочли бы их противоречащими католической догме. Мало того, их заставили объявить систему Коперника *«ложной гипотезой* »... Все это мне кажется совершенно неприемлемым. С каких пор наука должна идти на поводу у очередного епископа?

Библиотекарь добродушно посмеивается.

— Раз уж речь зашла о морских офицерах, меня не удивляет, что в вас пробуждается дух офицера Королевской армады.

— Единственное, что во мне пробуждается, дон Эрмес, это здравый смысл. Когда на корабле мне приходилось измерять высоту звезд с помощью октанта, потому что днем солнце скрывалось за облаками, «Отче наш» мне был абсолютно ни к чему... В открытом море на помощь приходят только морские карты, лоция, компас и знание астрономии, а вовсе не молитвы.

Экипаж останавливается. Приоткрыв окошко, библиотекарь высовывает голову наружу, чтобы понять, что происходит.

— Я не отрицаю, что отчасти вы правы. Я вполне это признаю... Но прошу и вас уважать мою точку зрения.

— Как вам угодно, — соглашается адмирал. — Но если мы сумеем вырваться на волю из западни предрассудков, наш век справедливо назовут веком просвещения или философии... Я уверен, что прежде, чем подойти к концу, этот век увидит, как человечество избавится от перипатетических и богословских тонкостей и потратит свое драгоценное время на что-нибудь более стоящее. Им на смену придут нужные и полезные науки; и вместо бесконечных ежедневных месс, увеселительных пьесок, корриды, кастаньет, бахвальства и воплей по любому поводу у нас появятся астрономические обсерватории, физические лаборатории, ботанические сады и музеи естественной истории... Чем вы там любуетесь?

— Что-то случилось. Второй экипаж тоже остановился.

Они открывают дверцу и выглядывают наружу. Молодой Кирога высадился из повозки и направляется к ним.

— У нас сломалось колесо, — сообщает он. — Кучер пытается его починить, а ваш отправился ему на помощь.

— Что-то серьезное?

— Пока не понятно. Возможно, повреждена ось.

— Вот незадача... А как чувствует себя ваша матушка?

— Хорошо, спасибо.

Академики высаживаются из берлинки. Адмирал прикладывает козырьком руку ко лбу, пряча глаза от нестерпимо яркого света, и обозревает пейзаж. Дорога бежит по каменистому урочищу, а чуть в отдалении виднеется ущелье, поросшее дубами, среди которых затесалось несколько ракит и олив. Позади на холме возвышаются развалины какого-то замка, от которого уцелели только башня, почти полая внутри, и фрагмент стены.

— С вашего позволения, мы воспользуемся случаем и поприветствуем вашу матушку.

Офицер одобрительно кивает. Его волосы не припудрены, под треуголкой с галуном — единственная деталь в его гражданском обличье, которая выдает военного, поскольку он действительно является поручиком испанских гвардейцев — приятное лицо с правильными чертами, подрумяненное солнцем и свежим воздухом. На вид ему около двадцати трех или двадцати пяти лет.

— О, она будет рада поговорить с кем-то кроме меня.

Каждый берет свою шляпу, и все трое направляются к повозке, юный Кирога описывает свои опасения по поводу колеса: видимо, выскочили болты, в результате разболталась ступица и повредился обод. Деревянный мост над рекой Риасой пришел в негодность, проехать по нему в карете невозможно, а плохо отремонтированное колесо не позволит им пересечь реку через брод, расположенный чуть дальше.

— Возможно, это не единственная проблема, — произносит адмирал, все еще осматривая окрестности.

Проследив направление его взгляда, юноша все понимает.

— Скверное место, — соглашается он, понизив голос. — Под открытым небом и в двух лигах от Аранды... Вас, я так понимаю, беспокоит дубовая роща?

— Да.

— Вы имеете в виду разговоры на постоялом дворе? — беспокоится библиотекарь.

— Именно, — соглашается адмирал. — Разве вы забыли, дон Эрмес, что мы едем вместе с поручиком и его сеньорой матушкой именно по этой причине? Чтобы быть в большей безопасности.

— Вот так неприятность! Однако нас — пятеро мужчин, включая двоих кучеров... Это не так уж мало, не правда ли?

— Все зависит от количества разбойников, если таковые действительно где-то бродят. К тому же у нас всего два ружья, которые захватили с собой возницы, да мои дорожные пистолеты.

— Прибавьте к ним мои два, — уточняет юный Кирога. — А также мою форменную саблю.

Адмирал обеспокоенно вздыхает.

— Видите ли, с нами ваша матушка, и, если возникнут неприятности, отбивать атаку будет чрезмерным риском... Это означает подвергнуть ее крайне неприятным потрясениям.

Юноша улыбается.

— Ничего подобного. У этой дамы характер будь здоров. Будучи супругой военного, она еще и не такие передряги видала.

Беседуя, они доходят до второго экипажа, где оба кучера заняты починкой колеса. Самарра объясняет причину поломки: как они и опасались, ступица поврежденного колеса разболталась, и обод развалился; кроме того, повреждена еще и задняя ось. Если им не удастся ее починить, экипажу вместе с кучером придется остаться, а всем остальным продолжить путь в берлинке до Аранды-де-Дуэро, где можно будет достать инструменты и новое колесо. Однако все это возможно лишь в том случае, если дон Педро и дон Эрмохенес не будут возражать.

— Нам с матушкой не хотелось бы задерживать вас или причинять беспокойство, — извиняется молодой офицер.

— Ради бога, поручик. Вы нас нисколько не побеспокоите.

Вдова Кирога уже вышла из экипажа и прогуливается вдоль обочины, где растут маки и душистый табак. Ее черное платье, которое она до сих пор носит для соблюдения траура, привносит в окружающий пейзаж мрачную нотку, которую, однако, смягчает ее приветственная улыбка академикам.

— Досадное происшествие, — вежливо произносит адмирал, одновременно с библиотекарем снимая шляпу.

Вдова спешит их разуверить. Ее не особенно тяготят неудобства, свойственные долгой дороге, к которой она привыкла за годы жизни с покойным супругом.

— Кучер говорит, что, скорее всего, нам придется добираться до Аранды всем вместе...

— Мы вам готовы предложить наш экипаж и с удовольствием проделаем этот путь в вашем обществе, сеньора.

— Боюсь, не будет ли тесновато? Однако нам с сыном тоже будет очень приятно продолжить беседу с вами.

Она смотрит на них обоих, однако обращается к адмиралу. Под фетровой шляпой с кружевами и лентами блестят большие глаза, очень темные и живые. Вдове около сорока пяти, и ее не назовешь ни привлекательной, ни дурнушкой; тем не менее у нее отличная фигура, и она все еще сохраняет бодрость и свежесть. Дон Эрмохенес неторопливо отмечает все это, а также и то, что спутник его держится чуть скованнее, чем обычно; не ускользает от него и поспешное движение, которым он украдкой поправил галстук, когда они направились в сторону сеньоры, учтивые манеры и прямая осанка, и небрежность, с которой он держит шляпу, уперев другую руку в бедро, обтянутое фраком, аккуратнейшим образом скроенным сестрами по английским журналам мод: безупречная современная вещь, сидящая на бывшем моряке как влитая, подчеркивая молодецкую стать, все еще свойственную его фигуре, несмотря на возраст, о котором — с невинным и извинительным, по мнению добродушного библиотекаря, кокетством — дон Педро Сарате старательно умалчивает, тем не менее, по некоторым обмолвкам, возраст исчисляется не менее чем шестью десятками.

— Мы можем все вместе прогуляться вдоль обочины, — предлагает вдова. — Здесь неподалеку река, а времени у нас, как мне кажется, более чем достаточно.

— Отличная мысль, — вторит ей дон Эрмохенес; хотя его беспечная улыбка увядает, когда он замечает обеспокоенные взгляды, которыми обмениваются адмирал и молодой Кирога.

— Я не уверен, что это хорошая затея, матушка, — отзывается последний.

— Почему? Ведь мы...

Сеньора умолкает, повнимательнее всмотревшись в лицо своего сына. Тот, хмурясь, рассматривает растущую неподалеку дубовую рощу, от которой в этот момент отделяется полдюжины человеческих фигур, все еще едва различимых.

— Вы стреляете метко? — спрашивает молодой Кирога.

Дон Эрмохенес сглатывает слюну, заметно стушевавшись.

— Стреляю? Даже не знаю, что вам на это ответить...

— Сеньоре лучше всего вернуться в экипаж, — невозмутимо замечает адмирал, — а мне — сходить за пистолетами.

Сидя у подножия замка в тени его пустой крепостной башни, на чьей обветшалой кровле аисты свили гнездо, прислонившись спиной к остаткам полуразвалившейся стены, Паскуаль Рапосо, отгоняет мух и грызет кусок сыра, затем откупоривает зубами пробку и добрым глотком опустошает бутыль вина, стоящую у него в ногах рядом с дорожной сумой. Потом отщипывает немного табака, измельчает ножом и, аккуратно завернув в полоску бумаги, заминает по краям. Проделав все это, он достает щепотку трута, огниво и кремень, поджигает самокрутку и неторопливо, с наслаждением курит, долгим невозмутимым взглядом наблюдая за тем, что происходит в двухстах варах от него внизу по склону. Эта высота — удобный пункт наблюдения, откуда можно следить, ничем себя не выдавая, за дорогой, где стоят два экипажа, ближайшей дубовой рощей и берегом реки, которая течет чуть в стороне. В центре скалистого урочища виднеется полудюжина людей: отделившись от опушки леса, они широким полукругом неторопливо приближаются к дороге. Они находятся еще слишком далеко, чтобы рассмотреть их как следует, однако опытный глаз Рапосо подмечает, что в руках у них не что иное, как ружья и мушкеты. Путники меж тем отступают обратно к экипажам, а сеньора скрывается в берлинке. Возницы достали ружья и очевидно собираются защищать второй экипаж. Юный кабальеро держит в одной руке саблю, в другой — пистолет. Академиков Рапосо не видит, потому что в эти мгновения их заслоняет карета, однако он почти уверен, что они тоже вооружены.

Бандиты приблизились к экипажам, и один из них поднимает руку, словно приказывая путникам вести себя спокойно. С ленивым любопытством Рапосо вытаскивает из котомки сложенную подзорную трубу, раздвигает ее и подносит к правому глазу, отодвинув на затылок шляпу. Труба позволяет лучше рассмотреть человека, который поднял руку. Его внешний вид годится для книжной иллюстрации: разбойничья шляпа с остроконечным верхом, кожаная куртка и штаны, на плече — короткий мушкет. Его товарищи, определяет Рапосо, чуть сдвинув трубу, также являют собой спонтанное воплощение собственного ремесла: пестрые платки, береты и живописные шляпы с высокой тульей, почерневшие бородатые физиономии, короткие ружья, ножи и пистолеты, заткнутые за кушак. Они не похожи на селян или пастухов, когда те в периоды нужды, не слишком для них редкие, промышляют милостыней или разбоем, нападая на путников, которым не посчастливилось повстречаться им на дороге. Люди, вышедшие из дубовой рощи, гораздо опаснее. Ни дать ни взять готовая добыча для виселицы.

Экипажи и путники все еще находятся варах в тридцати от приближающихся разбойников. Рапосо переводит объектив подзорной трубы на кучеров, которые прячутся за поврежденной каретой. В пятнадцати шагах от них, за другим экипажем укрылись двое академиков и юный кабальеро. Последний притаился за дверцей берлинки, чтобы защитить женщину, сидящую внутри, и уверенное спокойствие, с которыми он сжимает саблю и пистолет, не оставляет сомнений в том, что он сумеет ими воспользоваться. Из двоих академиков Рапосо лучше виден тот, что пониже и покруглее. Он явно не в своей тарелке: без сюртука, в камзоле и жилете, одной рукой вцепился в колесо, словно стараясь удержаться на ногах, другой сжимает пистолет, изо всех сил прицеливаясь, однако со стороны вид у него такой, словно он держит морковь. Второй академик переместился чуть в сторону, и объектив позволяет рассмотреть его лучше. Неподвижный, мрачный, серьезный, он защищает вторую дверцу берлинки, держа пистолет как самый обычный предмет: рука опущена, дуло смотрит в землю. Свободная рука аккуратно одергивает фрак, чьи длинные фалды падают на темные брюки и серые гольфы, зрительно еще больше удлиняя его долговязую худую фигуру.

— Ну-ну, — мурлычет Рапосо сквозь зубы. — Похоже, мои куропатки в обиду себя не дадут.

Он опустил подзорную трубу, чтобы хорошенько затянуться самокруткой, и в этот миг внизу гремит выстрел. Рапосо поспешно подносит трубу к правому глазу. Первое, что он видит, — лежащий на земле разбойник, тот самый, что поднимал руку. Гремят новые выстрелы, холмы отражают эхо, и пороховой дым окутывает облачком скалы урочища и дорогу. Рапосо быстро переводит объектив с одной фигуры на другую, наблюдая обрывочные фрагменты мизансцены: разбойники, палящие из ружей и мушкетов, возницы, защищающие сломанную карету, юный кабальеро стреляет, а затем невозмутимо перезаряжает пистолеты. Долговязого академика объектив позволяет рассмотреть в подробностях: прямой, напряженный, он делает три шага, хладнокровно вытягивает руку, как в тире во время упражнений, стреляет и, сохраняя спокойствие, отступает; затем делает шаг в сторону второго академика, забирает у него пистолет, который тот судорожно сжимает в руке, так и не произведя ни единого выстрела, делает несколько шагов по направлению к разбойникам и снова стреляет, не обращая внимания на свистящие вокруг пули.

Рапосо кладет подзорную трубу на землю и, зажав в пальцах дымящуюся сигару, с увлечением досматривает финальную сцену: лежащий на земле бандит внезапно вскакивает и, прихрамывая на одну ногу, бежит вдогонку за своими подельниками, которые что есть мочи удирают обратно к дубовой роще. Возчицы издают радостные вопли, юный кабальеро и толстенький академик заглядывают в берлинку, чтобы проверить, как чувствует себя сеньора. Чуть в стороне, на обочине дороги застыл долговязый, сжимая в руке разряженный пистолет и глядя, как улепетывают бандиты.

Повозка катится по скверной узкой колее вдоль бесконечных виноградников, оставив позади отвесные берега реки, которую они пересекли некоторое время назад. Кучер Самарра сидит на облучке, в берлинке едут четверо пассажиров. Адмирал и дон Эрмохенес из уважения к гостям занимают сиденья против движения экипажа; вдова Кирога и ее сын сидят на лучших местах. Все обсуждают подробности происшествия: сеньора то распахивает, то закрывает веер, непринужденно что-то рассказывая; несмотря на происшествие, она явно не утратила присутствие духа. Юный поручик также сохраняет отличное настроение, свойственное его возрасту и званию. В отличие от них дон Эрмохенес до сих пор находится под впечатлением: он еще не оправился от потрясений.

— Вот они, плоды неумелой политики, — рассуждает библиотекарь. — Законов, которые никто не соблюдает, завышенных налогов, отсутствия элементарной безопасности, из-за которых нам стыдно смотреть в лицо цивилизованного мира, отсутствия земельного статута, каковой помог бы привести в порядок всю эту Испанию латифундий, которой владеют четверо богачей, максимум — два десятка... Все это заставляет выходить на промысел огромное количество отчаявшихся, контрабандистов и всякого рода злоумышленников, которые ставят нашу жизнь под угрозу, как, например, сегодня.

— Испанская знать заслужила свои привилегии, — возражает юный Кирога. — Восемь веков борьбы с маврами, сражений в Европе и Америке вполне оправдывают ее существование... По моему мнению, заслуг достаточно.

— Заслуги, вы говорите? — вежливо осведомляется дон Эрмохенес. — В прежние времена знать собирала собственную армию, чтобы послужить королю, а сегодня ей самой прислуживает целая армия лакеев, цирюльников и портных... Да и сами вы пример противоположного, дорогой поручик. Ваш отец был достойным военным, так же, как и его сын, который только что доказал свою доблесть на деле. Но какое отношение, скажите, имеет тот или иной дворянин к подвигам, которые в одиннадцатом веке совершил какой-нибудь испанский гранд? Чем обязан своему прадеду герцог Такой-то, владелец бескрайних земель, при том, что сам он не только не способен обращаться со своими угодьями как положено, но даже и знать про них ничего не желает, и нужны они ему только лишь для того, чтобы оплачивать карету, запряженную четверкой лошадей, ложу в театре, почаще появляться в королевских загородных дворцах и прохлаждаться на бульваре Прадо, хорошенько выспавшись в сиесту?

— Пожалуй, вы правы, — подтверждает вдова Кирога.

На губах дона Эрмохенеса появляется кроткая, печальная улыбка.

— Прав, к сожалению. Потому что мне вовсе не хочется быть правым. Дело в том, что все это, моя госпожа, происходит в Испании, где землю все еще пашут доисторическим плугом, в котором нет ни лемеха, ни ножа, ни отвала, а без них сопротивляемость почвы сильно возрастает, и это затрудняет работу буйволов... Или ждут неделями ветра, чтобы провеивать пшеницу, понятия не имея о том, что Реиселиус давным-давно изобрел веялки и их вовсю используют в других странах.

— И осуждают некоторые наши церковники, — добавляет дон Педро Сарате.

Все переводят взгляд на него. До этой минуты он почти все время молчал, не участвуя в разговоре, словно находился где-то далеко.

— Не стоит возвращаться к этой теме, дорогой друг, — умоляет библиотекарь. — Не думаю, что в присутствии сеньоры...

— Ничего подобного, — перебивает его вдова, внимательно глядя на дона Педро. — Было бы очень интересно выслушать мнение сеньора адмирала.

— Мне нечего сказать, — отвечает тот. — Кроме того, что это современное изобретение, о котором говорит дон Эрмохенес, церковь раскритиковала.

— Неужели? А по какой же причине?

— Потому что это мешает людям терпеливо ждать, пока Божественное Провидение пошлет долгожданный ветер.

Молодой человек хохочет.

— Ничего себе! Как обычно, все дело в посредничестве. Кое-кто желает сохранить монополию.

— Луис, прошу тебя, — с упреком обращается к нему мать.

— Ваш сын прав, уважаемая сеньора, — произносит адмирал. — Не ругайте его из-за нас... Он сообразительный молодой человек и попал прямо в цель. К сожалению, проблема стара как мир.

Дон Педро осторожно рассматривает молодого офицера, обращая внимание на его сапоги из отлично выделанной испанской кожи, фиолетовый шелковый платок, повязанный на шею поверх ворота рубашки, замшевые брюки и замшевый же пояс, облегающий туловище под камзолом с дюжиной серебряный пуговиц. Как не похож, заключает адмирал, этот юноша на франтов и дамских угодников с нарисованными на щеке родинками и напудренными кудельками, напоминающими цыплячий пух, которые наводняют тертулии и театральные премьеры; не похож он и на тех, кто из глупого бахвальства братается с кем попало, разряжается в пух и прах, нацепляя сетку на голову, и сходится, пускаясь во все тяжкие, с темными людишками в цыганских трактирах и тавернах, где тореро устраивают гулянки до утра.

— Вероятно, вы много читаете, молодой человек?

— Так, кое-что. К сожалению, не столько, сколько хотелось бы.

— Надеюсь, вы не бросите это занятие. В вашем возрасте чтение означает будущее.

— Не уверена, что книги в большом количестве так уж полезны, — возражает мать.

— Ваши опасения напрасны, дорогая сеньора, — отзывается дон Эрмохенес. — Нынешний избыток чтения, который кое-кто в Испании по-прежнему считает пороком, даже женщинам и простолюдинам несет свет просвещения, каковой раньше доставался исключительно образованным людям. — Он поворачивается к дону Педро в поиске поддержки. — Вы так не считаете, адмирал?

— Это наша надежда, — отзывается тот, поразмыслив. — Просвещенные и отважные юноши — такие, как наш поручик. Читающие полезные книги. Это и есть те люди, которые рассеют церковный туман.

Услышав последнее, мать осеняет себя крестным знамением, однако сын лишь усмехается. Дон Эрмохенес снова вмешивается в разговор: ему хочется разрешить новое недоразумение.

— Церковь церкви рознь, дорогой адмирал...

Адмирал подмигивает ему с чуть заметным лукавством.

— Вы отлично знаете, что именно я имею в виду.

— Ради бога, адмирал... Не стоит снова затевать это разговор.

— Не сердитесь, что я упомянул церковь, дорогая сеньора, — просит адмирал, обращаясь к вдове, которая перестает обмахиваться веером и смотрит прямо ему в глаза. — Я не собирался углубляться в эту тему. Когда я говорю с вашим сыном, я имею в виду прежде всего новых испанцев, которые не должны оставаться рабами старого мира... Или военных, таких как он, отважных и в то же время подкованных в различных светских дисциплинах, которые читают книги и разбираются в геометрии и истории.

— Или моряков, — великодушно уточняет молодой Кирога.

— Разумеется. Просвещенных моряков, которые содействуют развитию торговли, исследуют границы мира и занимаются различными науками. И открывают тем самым двери просвещению и будущему.

— Людей высоких духовных устремлений, которые при этом не перестают быть патриотами, — подытоживает дон Эрмохенес.

— Именно так... Одним словом, молодых испанцев, способных просветить свой век и призванных изучать предметы, которые бы удовлетворяли физические или моральные потребности своих соотечественников.

— Меня тронули ваши слова, сеньор адмирал, — признается молодой Кирога.

— И меня тоже, — вторит ему сеньора.

Дон Педро снисходительно машет рукой. Но он явно польщен.

— Именно так, по моему убеждению, выглядит патриотизм, необходимый юным офицерам, — продолжает он. — Это не тот патриотизм, что привычен салонным шутам, которые свято убеждены, что любовь к родине состоит исключительно в том, чтобы тщательно замалчивать ее пороки и с готовностью принимать любую ее низость, не различая при этом никакого иного света, кроме огонька своей сигары, таскать сабли по трактирам, громко вопить, плясать менуэт так, будто они берут приступом Маон, и презирать тех, кто усердствует днями и ночами, чтобы уяснить, как с помощью часов измерить долготу в открытом море или сочинить трактат по инженерному делу...

— Вы, вероятно, не знаете, — подсказывает дон Эрмохенес, — что именно адмиралу мы обязаны созданием прекрасного и очень практичного «Морского словаря». И это помимо его деятельности в Испанской королевской академии.

— Да что вы говорите, — восхищается вдова, переводя взгляд с одного академика на другого. — Вы состоите в ассамблее ученых, не так ли? Я имею в виду ту самую, которая занимается чистотой испанского языка.

— Язык мы скорее фиксируем, нежели очищаем, — уточняет библиотекарь. — Наша задача — по возможности отслеживать использование испанского языка его носителями и, приходя им на помощь с «Толковым словарем», «Орфографическим справочником» и «Академической грамматикой», разъяснять, какие пороки его уродуют... Но в конечном счете хозяин языка — это народ, который на нем говорит. Слова, которые сегодня кажутся неблагозвучными из-за своего иностранного или простонародного происхождения, со временем воспринимаются иначе, став принадлежностью обычного языка.

— А если это произойдет, что будете делать вы и ваши друзья?

— Разъяснять языковые нормы, опираясь на наших лучших авторов. Их безукоризненный испанский мы используем, чтобы фиксировать слова. Тем не менее, если неправильное использование языка распространяется повсеместно, нам остается лишь смириться со свершившимся фактом... В конце концов, всякий язык — это живое существо, находящееся в постоянном развитии.

Молодой Кирога слушает библиотекаря с большим интересом.

— Вы хотите сказать, что, если бы не усилия Академии, мы бы оказались в скверном театрике, который ставит Лопе де Вегу или Кальдерона?

— Ваше замечание доказывает, что у вас хороший вкус, — качает головой польщенный дон Эрмохенес. — И в целом вы правы. Однако лучше сказать, это была бы смесь архаичной бессмыслицы и вульгарных жаргонизмов.

— Вырождающийся язык, на котором говорят как попало, — уточняет адмирал.

— Вот почему, — продолжает библиотекарь, — мы в своей работе стараемся усовершенствовать кастильский язык и очистить его от всего дурного. Зафиксировать лучшие примеры использования, чтобы он звучал чище, красивее и точнее.

— А поездка во Францию как-то с этим связана? — интересуется вдова Кирога.

— В некотором роде. Мы должны изучить кое-какие книги... Раздобыть материалы, необходимые для нашего «Толкового словаря»...

Дон Эрмохенес внезапно умолкает, не зная, стоит ли вдаваться в подробности, и в конце концов в поисках поддержки поворачивается к адмиралу.

— Нас интересует этимология некоторых франконизмов, — уклончиво отвечает тот.

— Вот именно: этимология.

Сеньора обмахивается веером: ученая беседа пришлась ей по душе. Возможно, все дело в этом скромном доне Педро Сарате, на которого по-прежнему направлено ее внимание.

— Просто невероятно, — возражает вдова. — Ваша работа доказывает глубокую любовь к нашему языку... Должно быть, Его Величество всячески вам покровительствует.

Академики переглядываются: дон Эрмохенес — сконфуженно, адмирал — иронично.

— Определенная симпатия со стороны короля, вероятно, существует, — говорит адмирал, едва скрывая улыбку. — Что же до королевских денег, то это дело другое.

Молодой Кирога смеется, восхищенно качая головой.

— Ваша деятельность, господа, достойный пример служения родине.

— Что ж, я рад, что военный смотрит на это дело именно так.

Молодой человек ударяет себя ладонью по лбу, словно внезапно его осенила некая мысль.

— Как это я сразу не вспомнил, — говорит он. — Черт подери!

— Луис, прошу тебя, — останавливает его сеньора.

— Извините, матушка... Просто я только что сообразил, что видел в Военной академии «Морской словарь» сеньора адмирала. Я даже выписывал оттуда какие-то сведения; но до сих пор не связал книгу с именем автора.

Дон Педро Сарате уклончиво машет рукой: это жест благородного безразличия.

— Речь, дорогой мой поручик, идет прежде всего о книгах, — говорит он. — И не важно, кем они написаны: мной или кем-то другим... Важно то, что благодаря нашей приятной беседе стало ясно, что вам они не чужды. А возвращаясь к прежнему разговору, можно утверждать лишь одно: никто не станет мудрецом, предварительно не посвятив чтению по крайней мере час в день, не имея своей собственной, пусть даже самой скромной библиотеки, не найдя учителей, которых уважает, и не умея быть достаточно смиренным, чтобы задавать вопрос и внимательно выслушивать ответ, а потом уметь воспользоваться этим ответом... И стараться, чтобы о нем никогда не говорили того, что Сократ сказал о Евтидеме и что применимо ко многим нашим соотечественникам: «Я никогда не утруждал себя поисками мудрого наставника и всю жизнь старался не только ни у кого ничему не учиться, но даже хвастался этим».

— Точно! Об этом предупреждал меня покойный отец.

— Даю слово: именно так все и было, — решительно кивает вдова Кирога.

— Приятно такое слышать, потому что это и означает «быть просвещенным». Кое-кто считает, что просвещенный человек — это тот, кто плохо отзывается о самой Испании, а не об ее истинных бедах: в недоумении выгибает брови, издевается над собственными дедами, делает вид, что начисто вдруг позабыл родной язык, нашпиговывая его итальянизмами и галлицизмами, превратившимися в подобие жаргонных словечек — *toeleta, petivú, pitoyable* y *troppo sdegno*, которых он нахватался от парикмахеров, учителей танцев, оперных певичек и поваров — всех тех, кого с некоторых пор сделалось модным усаживать с собой за один стол... И все это при том, что науки подвергаются преследованию, тех, кто ими занимается, презирают, а на философа, математика, серьезного поэта смотрят как на клоуна или балаганную обезьянку, которую любой удалец может забросать камнями.

— Сдается мне, мы подъезжаем к Аранда-де-Дуэро, — объявляет дон Эрмохенес, который приоткрыл окошко и высунул голову.

Все также переводят взгляд в окошко. Колеса берлинки внезапно начинают грохотать, словно экипаж въехал на мощеную мостовую центральной улицы города; а закатное небо, чей красноватый оттенок на глазах темнеет, заволакивают над крышами домов густые тучи. Городок небольшой: две или три тысячи обитателей, пара монастырей и церковных колоколен. На площади, где останавливается экипаж, обнаруживаются трактир и гостиница вполне приличного вида, возле которой путники высаживаются и делают несколько шагов, разминая затекшие ноги, пока кучер выгружает багаж. Дон Эрмохенес вызывается сопровождать вдову Кирога, а поручик и адмирал идут в аюнтаменто, чтобы сообщить о нападении разбойников в дубовой роще. Когда они покидают аюнтаменто, стоит уже глубокая ночь. Шагая вдоль крытой галереи в сторону фонаря, освещающего ворота гостиницы, — единственного в окрестностях источника света, — Кирога и адмирал встречают одинокого всадника: отпустив повод коня, всадник не спеша пересекает площадь и исчезает в густом, непроглядном сумраке.

## 4. О кораблях, книгах и женщинах

Не так давно было признано, что слово «случайность» означает всего лишь наше неведение относительно причин некоторых явлений и что случайностей становится все меньше по мере того, как развивается человеческий разум.

Антуан Депарсьё. «О вероятной продолжительности человеческой жизни»

Солнце еще не закатилось, когда я уселся за столик открытой веранды на центральной пощади Аранда-де-Дуэро. Попросил кофе, открыл пару книг, развернул карту, которую всюду таскал с собой в дорожной сумке, и убедился в том, что до сих пор все в точности совпадало с путеводителями восемнадцатого века: трактиры и постоялые дворы Милагроса и Фуэнтеспины, старый мост через Дуэро, виноградные поля. Даже шоссе, которое шло от трассы А-1 и вело в город, полностью повторяло очертания старой дороги, заезженной колесами и затоптанной подковами. Некоторое время я сидел за столиком, что-то отмечая и просматривая краткую запись, которую маркиз де Уренья сделал в дневнике своего путешествия по Европе в 1787 году:

*В Аранде имеются две приходские школы, два мужских монастыря и два женских. Условия не слишком отличаются от Сеговии, постоялый двор скромный, а трактир скудный...*

Главная площадь Аранды за два века, прошедших с тех пор, как сюда прибыли академики, изменилась до неузнаваемости; тем не менее свою форму она сохранила, на ней уцелело несколько старинных зданий и добрая часть галереи, под сводами которой в тот далекий вечер дон Педро Сарате и молодой Кирога возвращались из аюнтамьенто и повстречали Паскуаля Рапосо. Мне предстояло воссоздать атмосферу, чтобы правдоподобно описать такие сцены, как, например, дружеский ужин и приятная беседа, между адмиралом, доном Эрмохенесом, вдовой и ее сыном. Любой из нынешних баров и ресторанов мог находиться на том же самом месте, которое занимали «скудный» трактир и «скромный» постоялый двор — определения, которые в XVIII веке были синонимами скверного, грязного и нищего. Что касается временного пристанища моих ученых мужей, я решил обустроить его в одном из зданий с колоннами, самом старом из всех: я осмотрел его, и оно показалось мне подходящим; его широкие ворота в иное время наверняка вели во внутренний двор, где располагались конюшня и коновязь. С этого места, глядя на противоположную сторону площади, я увидел бар, где запросто мог располагаться трактир, упомянутый Уреньей.

Рассказ маркиза об интерьере постоялого двора не содержит упоминаний о какой-либо мало-мальской роскоши. Без сомнения, на этом постоялом дворе всякому существующему неудобству нашлось бы свое место. Заметки о путешествиях по Европе изобилуют подробными описаниями, поэтому несложно было представить на первом этаже широкий и устойчивый дубовый стол, не покрытый лаком, стоявший рядом с закопченным камином, плетеные стулья с неудобными спинками, подвешенную к потолку люстру с оплывшими желтыми свечами, кухню, куда лучше не заглядывать. На стене возле двери, ведущей в кухню, висит гитара, принадлежащая хозяину постоялого двора, скрипучая деревянная лестница ведет в верхние комнаты, свежевыбеленные, но с вечным дефицитом одеял и соломенных тюфяков. Подробное описание вшей и клопов я решил отложить на другой раз, потому что более всего их водилось в придорожных постоялых дворах, где останавливались погонщики и проезжающие мимо кавалеристы. Именно в тот день, к счастью для моих путешественников, мужиковатая служанка проветрила помещение и протерла теплой водой с добавлением золы — «щелок», указывается в «Толковом словаре испанского языка», выпущенном Королевской академией, — полы в комнате постоялого двора Аранды, придав ей вполне жилой и в целом удовлетворительный вид. А в кухне, где за три реала можно было заказать фунт баранины, за пять кварто — хлебную ковригу, а за восемь — квартильо вина, для вновь прибывших кипел на огне целый горшок с мясом, фасолью и салом.

— Пахнет, как в раю, — замечает дон Эрмохенес, повязывая на шею салфетку.

Служанка приносит дымящийся горшок, из которого все сидящие за столом наполняют свои миски горячим и аппетитным жарким. Прежде чем приняться за еду, вдова Кирога произносит краткую молитву, благословляющую трапезу, по окончании которой все осеняют себя крестным знамением, за исключением адмирала, который лишь уважительно склоняет голову. В столовой они сидят одни, потому что кучер Самарра ужинает в кухне, а пара экстремадурских торговцев, которые сидели за этим столом, когда появились наши путешественники, закончила ужин и удалилась. Эмоции пережитого дня пробудили аппетит, и ужин протекает в приятном молчании, прерываемом шуточными упоминаниями утренней перестрелки, обменом любезностями и почтительным вниманием к сеньоре, которая с радостью позволяет ухаживать за собой: сын подливает ей вино, разбавляя его водой, а дон Эрмохенес подкладывает ей в миску лучшие ломтики баранины и отрезает куски хлеба. Адмирал ужинает молча, о чем-то размышляя, вежливо прислушиваясь к разговору и время от времени вставляя короткие, точные замечания. Он улавливает внимательные взгляды, которые вдова, сидящая напротив, украдкой устремляет на него, поднося ко рту ложку или отвечая на чей-нибудь вопрос.

Ужин заканчивается, сидящие за столом придвигают стулья поближе к пышущему жаром камину, и начинается тертулия. Ее немногочисленные участники все еще взбудоражены недавними приключениями и понимают, что уснуть быстро им не удастся. Молодой Кирога просит у матери позволения закурить, достает трубку и раскуривает табак, пристроив вытянутые ноги на каминной решетке, а затем, с наслаждением выпуская дым, принимается расхваливать с точки зрения военного хладнокровие, проявленное доном Педро Сарате во время встречи с разбойниками.

— Сдается мне, сеньор адмирал, подобные потасовки случались у вас и раньше.

Адмирал загадочно улыбается, глядя на догорающие в камине угли.

— Это вы, друг мой, держались храбро и решительно, — высказывает он ответный комплимент. — Всякий бы подтвердил, что и вам доводилось принимать участие в перестрелках.

— К сожалению, до сегодняшнего дня ни разу не доводилось. Впрочем, если речь идет о привычке к оружию и стрельбе, в моем случае это вполне естественно: обе эти вещи предусматривает королевская служба.

— Как было бы славно, — упрекает его мать, — если бы служба у Его Величества потребовала бы от тебя чего-то иного. Как ужасно вырастить сына для того, чтобы однажды его призвали на войну... В моей жизни с твоим несчастным отцом и так было достаточно горя.

В ответ молодой человек беспечно хохочет, покуривая трубку.

— Матушка, прошу вас. Держите себя в руках... Что подумают сеньоры?

— Не беспокойтесь об этом, поручик, — успокаивает его дон Эрмохенес. — Нам можно доверять. Вы — юноша с хорошим вкусом, высоким духом и развитой речью. А матушка — она всего лишь матушка.

Наступает молчание, будто бы слова библиотекаря заставили всех задуматься. В камине тлеет полуобгоревшая головешка, гостиная постепенно заполняется дымом. На глазах у вдовы выступают слезы, она машет веером, чтобы разогнать дым. Адмирал наклоняется, берет щипцы и отбрасывает дымящую головешку в глубь камина. Вернувшись в прежнее положение, он снова встречает взгляд вдовы Кирога.

— Вы участвовали в морских сражениях, сеньор адмирал? — спрашивает она.

Адмирал отвечает не сразу.

— Случалось.

— Давно?

Горящие угли озаряют сидящих, подсвечивая лицо адмирала и делая заметными красноватые сосуды у него на щеках.

— Очень давно... Вот уже тридцать лет я не ступал на борт корабля. Большую часть жизни я был теоретиком... Сухопутным моряком.

— Не таким уж сухопутным, — перебивает его дон Эрмохенес. — Просто адмирал — человек скромный и не признает своих заслуг. Прежде чем взяться за штудии и «Морской словарь», он принимал участие в нескольких важных морских операциях.

— Например? — с интересом спрашивает вдова, оставляя в покое веер.

— Взять хотя бы битву при Тулоне, — горячится библиотекарь. — Вот уж где англичане получили по заслугам! Не так ли, дорогой адмирал?

Вместо ответа адмирал улыбается, все еще перекладывая щипцами головешки в камине.

Молодой Кирога, который уже докурил свою трубку, убирает ноги с решетки и с изумлением смотрит на адмирала.

— Вы правда были в Тулоне, сеньор адмирал? В сорок четвертом? Господи... Там была настоящая заваруха, насколько мне известно. Славная битва!

— Вас тогда и на свете не было.

— Ну и что? Каждый испанец знает, как было дело. А вы в то время, наверное, были еще совсем молоды.

Адмирал невозмутимо пропускает мимо ушей намек на возраст и в ответ лишь пожимает плечами.

— Я был старшим лейтенантом на борту 114-пушечного «Короля Филиппа».

Молодой Кирога присвистывает от восхищения.

— Насколько мне известно, этому кораблю досталось в битве больше других.

— Он всего лишь был одним из многих... Дон Хуан Хосе Наварро поднял на нем штандарт, вот англичане и набросились.

— Расскажите. Пожалуйста, — просит мать.

— Нечего рассказывать, — скромно качает головой адмирал. — Во всяком случае, лично обо мне. Я командовал второй батареей; занял свое место на нижней палубе в начале битвы, это было около часу пополудни, а на верхнюю поднялся в конце, когда было уже темно.

— Должно быть, было ужасно, да? — перебивает его молодой Кирога. — Столько часов на нижней палубе, всюду дым, взрывы, треск... Простите за нескромный вопрос, но этот шрам у вас на виске, вы его получили в том сражении?

Адмирал пристально смотрит на юного офицера, водянистые глаза делаются будто бы еще прозрачнее.

— Вам хочется, чтобы так оно и было?

— Видите ли... — Кирога колеблется, он смущен. — Даже не знаю, что сказать... По моему мнению, это была бы славная отметина.

Повисает пауза.

— Славная, вы говорите?

— Именно.

— Я совершенно согласна с таким определением, — подтверждает сеньора, несколько уязвленная скептическим тоном адмирала. — Заявляю это как супруга и мать военных.

Дон Эрмохенес, внимательно наблюдающий за доном Педро Сарате, замечает улыбку на его сухих, тонких губах. А может, это всего лишь отблеск огня, упавший ему на лицо.

— Ситуация была не из самых приятных, если вы это имеете в виду, — говорит адмирал. — Жаркий был денек, и пришлось нам несладко: три английских корабля подошли почти вплотную и открыли огонь.

Произнеся эти слова, он умолкает, глядя на угли.

— В целом вы правы, — вздохнув, добавляет он через минуту. — Славных отметин в тот день было получено более чем достаточно.

Воображая сцену сражения, юный Кирога вторит адмиралу с пылкостью и энтузиазмом.

— Я всегда восхищался моряками, — признается он. — Сам я привык к войне на твердой земле, и меня поражает, что люди способны выносить подобные тяготы, холод и неуверенность, к тому же в открытом море ориентироваться приходится по звездам или солнцу... К естественной жестокости океана, бурям и штормам добавляются еще и испытания войны... Я видел морские битвы только на гравюрах, но в море это, должно быть, и вовсе нечто чудовищное.

— Всякая война такова, будь она на море или на суше. Уверяю вас, поручик, даже самый умелый художник не в силах передать на своей гравюре реальность морского сражения.

— Да-да... Понимаю, что вы хотите сказать. И все-таки слава...

— Поверьте, второй батарее «Короля Филиппа» не досталось и крупицы этой славы.

*Сеньору Мануэлю Игеруэле, проживающему в Мадриде.*

*Выполняя ваши указания насчет регулярных отчетов, пишу это письмо в Аранде-де-Дуэро. Прибыл я сюда нынче ночью, преследуя двоих кабальеро, которых вы знаете. Все это время я старался держаться на некотором расстоянии от них. К счастью, погода стоит отличная, нет ни дождя, ни грязи. Путешествие протекает по намеченному плану, за исключением некоторых происшествий, которые, однако, не слишком задерживают продвижение путников и не наносят вреда их здоровью. Я имею в виду столкновение с разбойниками (которое произошло по отнюдь не зависящим от меня причинам) в окрестностях реки Риасы. Вместе со своими двумя товарищами, занимавшими второй экипаж и сопровождавшими их в поездке, они встретились с бандитами лицом к лицу. В результате злодеи были обращены в бегство (после небольшой перестрелки, во время которой долговязый академик проявил хладнокровие, которого я от него никак не ожидал). Их спутники — сеньора, про которую говорят, что она вдова, и ее сын, офицер, — едут в Памплону в собственном экипаже. Из-за поломки колеса они направились в Аранду в сопровождении наших двоих путешественников. Сейчас все они проживают на постоялом дворе, где в настоящий момент ужинают. Сам я на всякий случай разместился в гостинице напротив (цены бесстыжие, а кормежка дряннее некуда). Как сообщил конюх с постоялого двора, сеньора и ее сын останутся в Аранде, где будут дожидаться починки своего экипажа. Наши же двое завтра продолжат свой путь. Выезд намечен на восемь утра. Сдается мне, планы их не изменились и они отправятся в Байонну, а оттуда — в Париж, как вы и толковали мне в Мадриде.*

*Буду писать вам с дороги и обо всем докладывать (как мы и договаривались). В первую очередь о важных происшествиях, если таковые случатся. Если вам понадобится выслать мне дополнительные инструкции или сообщить что-то срочное до тех пор, пока я не покинул Испанию, можете воспользоваться конным посыльным (если, конечно, расходы покажутся вам разумными), он сможет догнать меня на одном из постоялых дворов, в которых я буду останавливаться по пути. Насколько мне известно, самые надежные из них — постоялый двор Хромого в Бургосе (меня там хорошо знают) и гостиница Бривьески или Мачина в Ойярсуне (в них меня тоже знают). Последняя расположена почти что на границе с Францией. Если в ближайшее время я не получу новых инструкций, буду следовать старым.*

*Передаю вам привет (который распространяется также и на другого кабальеро, вашего друга).*

*В ожидании распоряжений.*

Паскуаль Рапосо

Рапосо складывает листок с письмом, надписывает адрес и, поднеся баночку с сургучом к свече, аккуратно его запечатывает. Завтра он передаст письмо посыльному, заплатив полтора реала, чтобы тот с первой же почтой отправил его в Мадрид. Затем убирает письменный прибор и допивает последний глоток скверного вина, оставшегося в кувшине на столе. Ужин, как Рапосо только что указал в письме Игеруэле, съеденный в этой самой комнате часом ранее, — подавшая его служанка, плохо отмытая, но с соблазнительными формами, смазливой мордашкой, к тому же не слишком старая, позволила потискать себя, прежде чем удалилась, — был весьма скромный, к тому же не слишком вкусный: половина пересушенной курицы, которая была цыпленком во времена царя Гороха, да два яйца, снесенные, должно быть, этой самой курицей в далекие дни ее юности. У Рапосо еще не закончились кое-какие припасы — пара кусков черствого хлеба и немного сыра, служившие закуской к вину. Беспорядочная жизнь, которую он вел, сколько себя помнит, сперва в качестве солдата, затем человека, готового на все, однажды сильно осложнилась из-за испорченного желудка; и теперь, если в продолжение некоторого времени ему в желудок ничего не попадает, тупая, тянущая боль расстраивает в конце концов все его планы. Потирая рукой живот под расстегнутой рубашкой, надетой поверх штанов, — шерстяные носки он тоже так и не снял, поскольку, стащив сапоги, обнаружил, что пол ледяной, а никакой циновки на нем не предусмотрено, — Рапосо смотрит на серебряные часы с цепочкой, лежащие на столе: французский заводной механизм отличного качества, личный трофей, доставшийся ему после одного давнего дельца, уже почти забытого: бывшему владельцу эта безделушка больше уже никогда не понадобится. Затем встает и подходит к окну с открытыми ставнями. Через толстое оконное стекло Рапосо бросает взгляд на другую сторону улицы, пустынной и окутанной мраком. Гостиница, где остановились остальные путешественники, также погружена в сумерки, которые рассеивает лишь фонарь над воротами, чей жалкий огонек, кажется, вот-вот погаснет. Машинально пощипывая бакенбарды, Рапосо вспоминает стычку, произошедшую сегодня днем вдали от этого места, а также долговязого субъекта, именуемого адмиралом, который с таким спокойствием разрядил пистолеты, и на его лице появляется задумчивая улыбка. Кто бы мог подумать, размышляет Рапосо: почтенный сеньор ученый, знаток испанского языка. Какие все-таки удивительные сюрпризы преподносит жизнь! Даже о священнике не станешь утверждать, что он не твой отец.

В дверь стучат — даже, скорее, скребутся, — и улыбка на лице Рапосо меняется. Теперь она выглядит заговорщицкой, предвкушающей скорые удовольствия. Не заботясь о внешнем виде, он направляется к двери и распахивает ее. За дверью стоит все та же служанка, на ней ночная рубаха, голова не покрыта, на плечи накинута вязаная шаль, в руке — подсвечник; верная обещанию, данному час назад, она точна, как двенадцать ударов, которые в это мгновение отбивают часы аюнтамьенто. Рапосо отступает на шаг, служанка неслышно проникает в комнату и задувает свечи на подсвечнике. Без каких-либо вступлений и лишних слов Рапосо протягивает лапу и хватает ее за грудь, увесистую и горячую под грубой тканью рубахи. Затем указывает на стол, где одна на другой лежат две серебряные монеты. Служанка все понимает, хихикает и позволяет его руке делать все, что ей заблагорассудится.

— Только в губы не целуй, — говорит она, когда он подходит ближе.

От нее пахнет долгим рабочим днем, усталостью, грязью и потом. Запах возбуждает Рапосо, и он подталкивает ее к кровати. Уже в постели она задирает рубаху, обнажая бедра, и он трется о ее голые ляжки, устраиваясь поудобнее и расстегивая штаны.

— Внутрь не кончай, хорошо? — шепчет служанка.

На губах Рапосо появляется жестокая лисья улыбка.

— Не беспокойся, — отвечает он. — Я ничего там не оставлю, даже если ослепну от вина.

Вечеринка затянулась дольше обычного, ибо означала прощание: они допоздна болтали возле камина, потом юный Кирога попросил у хозяина гитару и, к удивлению ученых мужей, некоторое время развлекал всю компанию довольно сносной игрой. Не в силах более бороться с усталостью и утомлением, дон Эрмохенес и дон Педро поднимаются наверх и в относительно интимной обстановке, которую обеспечивает тростниковая ширма, обтянутая безвкусно размалеванным холстом, раздеваются, чтобы улечься спать.

— Какие очаровательные люди донья Асенсьон и ее сын, — говорит дон Эрмохенес. — А как замечательно молодой человек играет на гитаре, не правда ли? Я буду по ним скучать.

Адмирал не отвечает. Он снимает камзол и аккуратно вешает его на спинку стула. Затем расстегивает жилетку и заводит часы. Скудный свет двух свечей на латунном канделябре освещает половину его лица, удлиняя тени на смуглых щеках.

— Что-то мне подсказывает, дорогой адмирал, — продолжает дон Эрмохенес, — что сеньора тоже будет вас вспоминать.

— Не говорите ерунды.

— Я совершенно серьезно. Все мы взрослые люди, наученные опытом, и умеем читать по глазам. По-моему, вы покорили ее сердце.

Тени, падающие на лицо адмирала, складываются в неясную гримасу.

— Ложитесь спать, дон Эрмохенес. Время позднее.

Библиотекарь покорно удаляется за ширму, прихватив с собой ночную рубашку, и начинает раздеваться.

— Ничего странного тут нет, — настаивает он. — Почтенная вдова вовсе не стара. Да и вы хоть куда в свои...

Он на секунду смолкает, высунувшись из-за ширмы, ожидает, пока адмирал закончит фразу. Но адмирал не реагирует. Всякий раз, когда речь заходит о его возрасте, он упрямо отмалчивается. Сейчас он сидит на постели в брюках и рубашке, развязывая ленту, которая стягивает его волосы.

— Кроме того, — дон Эрмохенес снова высовывается из-за ширмы, — ваша манера держаться не оставляет равнодушным.

— Моя манера?

— Именно, мой друг. Вы всегда такой серьезный. Такой сдержанный и осмотрительный!

— Даже не знаю, как на это реагировать, сеньор библиотекарь.

Дон Эрмохенес, уже в ночной рубашке до колен и колпаке, выносит из-за ширмы сложенную одежду.

— О, это лучший комплимент в мире! Взгляните на меня: росту никакого, пузатый, физиономию приходится брить дважды в день. Просто чудо, что моя покойная благоверная согласилась выйти за такого замуж! Не сразу я ее уговорил. А сейчас я еще к тому же и стар, страдаю подагрой и другими напастями. Вы же, наоборот...

Адмирал поглядывает на него насмешливо, с некоторым любопытством. Не проронив ни слова, достает из чемодана ночную рубашку и направляется за ширму.

— Позволите задать вам один нескромный вопрос, дорогой друг? — говорит библиотекарь. — Благодаря тому, что мы друг друга все равно не видим?

Адмирал замирает на полдороге и вопросительно смотрит на него.

— Задавайте.

— Вы никогда не думали о том, чтобы жениться?

Повисает пауза. Адмирал погружается в себя, будто бы действительно размышляет над заданным ему вопросом.

— Было дело, — отвечает он наконец. — В молодости.

Библиотекарь молчит, дожидаясь, что адмирал добавит что-нибудь еще. Но тот больше ничего не произносит, только пожимает плечами и исчезает за ширмой.

— Должно быть, все дело в морских плаваниях, — гадает дон Эрмохенес, рассматривая свои ноги, обутые в тапки. — Личная жизнь плохо сочеталась с длительными отлучками и прочим, что предполагает ваше ремесло...

С другой стороны разрисованного холста слышится голос адмирала:

— Я плавал очень недолго и почти всю свою жизнь прожил в Кадисе и Мадриде. Так что дело не в этом.

Снова повисает тишина. В конце концов адмирал появляется в ночной рубашке. В таком виде, думает дон Эрмохенес, он кажется еще более худым и высоким.

— Наверное, я никогда этого всерьез не хотел, — добавляет адмирал. — Эгоистические потребности семейной жизни по части уюта и обустройства дома всегда удовлетворяли мои сестры. По различным причинам они тоже не смогли или не захотели выйти замуж. В итоге посвятили жизнь целиком заботам обо мне.

— А вы свою — заботе о них?

— Видимо, да.

— Значит, это вопрос верности. К тому же обоюдной.

Адмирал снова пожимает плечами.

— Пожалуй, вы несколько преувеличиваете.

— Может быть. В любом случае брак нужен мужчине не только для...

Библиотекарь смолкает, пристыженный пристальным взглядом адмирала.

— Простите, — бормочет он. — Должно быть, я слишком далеко зашел со своими вопросами...

— Ничего страшного. Наше путешествие обещает быть долгим. И узнавать друг друга — вещь естественная.

Искренняя улыбка адмирала способна разрядить любую напряженность. Это ободряет дона Эрмохенеса, пробуждая в нем даже некоторый азарт.

— Не сомневаюсь, что в юные годы, когда вы кочевали из порта в порт, у вас было много возможностей...

Адмирал чуть слышно смеется, ничего не отвечая. Странный смех, подмечает библиотекарь про себя. Он как будто не имеет отношения к разговору.

— Вы, конечно, были очень привлекательным молодым офицером, — продолжает дон Эрмохенес. — Простите, что я это вам так прямо говорю, но в вас и сейчас чувствуется молодцеватость, несмотря на... гм, возраст... Достаточно вспомнить, какими глазами смотрела на вас вдова Кирога, пока ее сын, этот замечательный юноша, играл на гитаре. После утренней перестрелки сеньора с вас просто глаз не сводила. Я убежден, что...

Внезапно он осекается, удивившись собственной храбрости, и лишь моргает, словно в произнесенных только что словах библиотекарю померещилось нечто необычное, ему не свойственное.

— Любопытно, сеньор адмирал, — произносит он в следующий миг, — я ни разу в жизни не говорил о женщинах. Ни с кем, никогда. Во всем виноваты дорога и сегодняшнее приключение, вот я и разговорился. Простите меня, прошу вас. Я и сам понимаю, что это не слишком уместный разговор для двоих ученых Испанской королевской академии.

На губах адмирала вновь появляется улыбка — на этот раз мягкая, снисходительная.

— А почему бы и нет?

— Видите ли, вопросы, которыми мы занимаемся...

Адмирал поднимает руку, словно стараясь предупредить новое недопонимание.

— О, об этом не беспокойтесь. Было бы слишком обременительно проделать расстояние почти в двести лиг, беседуя исключительно о залогах, спряжении и словообразовании в алфавитном порядке.

Оба от души смеются. Пока адмирал укладывается спать — жесткий колючий матрас хрустит под тяжестью его тела, — библиотекарь просит прощения, берет ночной горшок, стоящий в углу комнаты, и вместе с ним скрывается за ширмой. Слышится звон струйки, бьющей в фаянсовое дно.

— Есть вещи, которые извечно свойственны женщинам, — говорит адмирал. — Они являются частью их природы.

Библиотекарь появляется из-за ширмы с горшком в руке. Он заинтригован.

— Какие именно вещи вы имеете в виду?

— Вы много лет были женаты и знаете это лучше меня.

Библиотекарь ставит горшок на пол и, проходя мимо открытого чемодана дона Педро, замечает один из трех томов Эйлера.

— Позволите мне взглянуть?

— Разумеется.

Дон Эрмохенес берет книгу, надевает пенсне и ложится в кровать: «*Lettres а une princesse d’Allemagne»*, отпечатано в Санкт-Петербурге в 1768 году.

— Уверяю вас, я никогда не думал о женщинах с этой точки зрения, — произносит он, листая книгу. — Моя супруга была святая.

— Я другое имел в виду. И я не сомневаюсь, что именно таковой она и была.

— Благодарю...

— Понимаете, это совсем про другое...

Он умолкает, будто бы подбирая слова, которые даются ему с трудом.

— Это словно недуг, которым страдает большинство из них, — наконец произносит он. — Смесь предчувствий и глубокой печали... Не знаю, как выразить, сложно сформулировать.

— В моей бедной покойной жене я не замечал ничего похожего. Только раз в месяц несколько сложных дней, вы меня понимаете. Вот, собственно, и все.

— Возможно, вы просто не обращали внимания. Слишком много места в вашей жизни занимала латынь, дон Эрмес. А заодно и книги.

— Может, так оно и было. В конце концов, *aliquando dormitat Homerus...*[[14]](#footnote-14) Так, по-вашему, это присуще им всем?

— По крайней мере, тем из них, кто поумнее, а также некоторым другим, которые таковыми не являются. Однако последние не осознают того, что с ними происходит. Что-то вроде болезни в скрытой форме.

Библиотекарь с комичным беспокойством ощупывает себя поверх одеяла.

— Болезнь, вы говорите? Надеюсь, она не заразна.

— В том-то и дело. Если подойти слишком близко, можно заразиться.

— Вот уж не думал, что вы мизогин, дорогой друг. Даже учитывая вашу холостяцкую жизнь.

— Вы ошибаетесь, я вовсе не таков. Мы имеем в виду разные вещи... Так или иначе, лучше быть начеку. Мало какие супружеские союзы следуют разумному, заранее продуманному плану. И ничего хорошего в итоге не получается.

Повисает тишина. Адмирал протягивает руку, чтобы погасить свечи, и замечает, что дон Эрмохенес по-прежнему лежит с открытой книгой. Однако смотрит не в книгу, а на него.

— Поэтому вы к ним не приближаетесь?

— Что значит не приближаюсь? Меня дома ждут две женщины.

— Вы понимаете, что я имею в виду.

Ответа не последовало. Положив голову на подушку, адмирал рассматривает тени на потолке.

— Я скучаю по моей жене, — продолжает библиотекарь. — Она была хорошим человеком, и мне ее не хватает. Но сейчас припоминаю, что иногда она действительно надолго умолкала. Словно бы чувствовала себя одинокой даже рядом со мной.

— Все женщины таковы... Что же касается молчания, подозреваю, что они нас осуждают, оттого и молчат.

— По-вашему, это молчание — осуждающее? — Дон Эрмохенес приподнимается на локте, он заинтригован. — Над этим стоит поразмыслить.

— Боюсь, что большая часть их вердиктов колеблется от сострадания к презрению...

— Вот как... Никогда не рассуждал с этой точки зрения... Никогда.

Библиотекарь рассеянно блуждает взглядом по открытой странице: «Без сомнения, Богу было бы несложно умертвить тирана, не дожидаясь того, что он причинит страдания добрым людям...» — переводит он вслух. Затем отрывает глаза от книги, по-прежнему указывая пальцем на строки.

— Вот он, иной век, — задумчиво заключает он. — Вот-вот наступит новая эра... Просвещение многое изменит. И женщин в том числе.

Адмирал лежит на спине, он уже укрыт одеялом и выглядит спящим. Но внезапно слышится его голос:

— Без сомнения. Не знаю только, поможет ли это излечить их болезнь или всего лишь облегчит симптомы.

В Бривьеске я решил сойти с основной трассы, поскольку, сравнив старые путеводители с современной картой автомобильных дорог, обнаружил, что маршрут шоссе N-1 совпадает со старой королевской дорогой, соединяющей Бургос и Виторию. Небо загораживали низкие тучи, которые вскоре пролились проливным дождем, сделавшим линию горизонта неразличимой и превратившим поля в непролазную грязь. Я оставил автомобиль у мотеля, чтобы выпить кофе, пока погода не улучшится, и некоторое время просидел в крытой галерее, изучая карту, перечитывая собственные записи в блокноте и размышляя об одном отличном упражнении, соединяющем литературу с жизнью: оно заключается в том, чтобы посещать места, описанные в книгах, и, вооружившись воспоминаниями о прочитанном, встраивать в них реальные или вымышленные сюжеты, а также настоящих или придуманных персонажей, которые населяли эти места в иные времена. Города, отели, пейзажи наполняются новым, волнующим смыслом, когда некто приносит в голове прочитанную книгу. Все меняется: так, совсем иначе видится Ла-Манча, если человек прихватил с собой «Дон Кихота»; Палермо, если он прочел «Леопарда»; Буэнос-Айрес, если в памяти живы Борхес и Бьой Касарес; или же прогулка по Гиссарлыку, который когда-то был городом под названием Троя, не говоря уже о сознании того, что у тебя на ботинках — та же пыль, по которой Ахиллес некогда тащил труп Гектора, привязав его к своей колеснице.

Это касается не только уже существующих книг, но и тех, которым только еще предстоит быть написанными: в этом случае путешественник сам населяет реальное место объектами своего воображения. Со мной такое случается довольно часто, я принадлежу к тому виду писателей, которые предпочитают располагать свои мизансцены в реальных местах. Не знаю большей радости, чем обозревать эти места, наподобие охотника или лиса, выслеживающего добычу, пока в твоей голове рождается история; проникать внутрь здания, разгуливать по улице, размышляя: это место как раз мне подойдет, возьму-ка я его к себе в книгу. Представлять, как твои персонажи располагаются на том же месте, где стоишь ты, садятся там, где ты сидишь, глядя на то, что ты рассматриваешь. По сравнению с актом писательства эти приготовления кажутся еще более возбуждающими и плодовитыми — настолько, что их последующая материализация с помощью чернил и бумаги или же на экране компьютера может показаться обычной формальностью и даже чем-то обременительным. Ничто не может сравниться с чистым первоначальным импульсом, с предвкушением, с первым ударом сердца будущей книги, когда автор еще только приближается к истории, которую ему предстоит рассказать, как к человеку, в которого он недавно влюбился.

Иногда, причем довольно часто, это приближение может быть опосредованным. Может оно быть и совершенно случайным. Нечто подобное произошло со мной в то утро, на постоялом дворе неподалеку от Бривьески, пока я смотрел на дождь. Письмо, написанное Паскуалем Рапосо академикам Игеруэле и Санчесу Террону, стало причиной новой встречи этих почтенных академиков в Мадриде, и я раскидывал умом над тем, где именно могла бы произойти эта встреча. В голову приходили различные кофейни или ночная прогулка по городу, во время которой состоялся их разговор; на следующий день я решил поместить их в Королевскую академию в Доме Казны, где они могли бы встретиться по окончании очередного собрания в один из четвергов; или же вовсе где-нибудь на бульваре Прадо. Однако за столиком мотеля мне пришла в голову другая идея. Незадолго до этого я прошагал некоторое расстояние под дождем, и обувь моя была перепачкана грязью. Это были туристические ботинки превосходной кожи из Вальверде-дель-Камино: вот уже много лет я ношу одну и ту же модель, которую покупаю в небольшом магазине товаров для конного спорта и верховой езды в мадридском Растро. И вот я машинально рассматривал эти ботинки, размышляя о том, что, вернувшись в отель, надо будет хорошенько их почистить, затем мои мысли плавно переместились в будущее, когда мне придется приобрести новую пару в том же магазине, где я их обычно покупаю, то есть в Растро. Тут я вспомнил, что в XVIII веке этот ныне популярный район-рынок, где покупают и продают различные вещи, бывшие в употреблении, был злачным местом, активно посещаемым жителями Мадрида. У меня в распоряжении имелось много бытоописательной литературы, рассказывающей о той эпохе и описывающей различные документальные подробности, начиная от периодики и заканчивая авторами-однодневками, такими, как сочинитель сайнете Рамон де ла Крус или хронист XIX столетия Месонеро Романос, чей очерк об одной из небольших площадей Растро — в наше время она называется Каскорро, — а также улицы Рибера-де-Куртидорес отлично подходил для описания этого квартала в том виде, в каком он пребывал в восьмидесятых годах предыдущего столетия: «Центральный рынок, где выставляют на продажу всякую утварь, мебель, одежду и рухлядь, попорченную временем, обойденную судьбой или же украденную у законных владельцев». Вот я и решил, что Игеруэла и Санчес Террон, два злоумышленника, договорившиеся о том, что «Энциклопедия» ни в коем случае не должна оказаться в стенах Испанской королевской академии, встретятся на сей раз в каком-нибудь уголке Растро. И разумеется, в дождливый день.

Над площадью льет проливной дождь. Вода скапливается в парусиновых навесах над лавками, переливается через край, просачивается сквозь швы, заплаты и отверстия. Монотонная дробь дождя, барабанящего о каменную мостовую, кажется бесконечной. Однако завсегдатаям этого места в голову не придет отсиживаться в четырех стенах: публика всех сортов и мастей, от респектабельных граждан до горничных, лакеев и карманных воришек, пусть менее изобильная, чем в погожие воскресенья, вооружившись зонтиками, плащами, шляпками, накидками и клеенчатыми дождевиками, прохаживается вдоль рядов и с любопытством заглядывает под парусину торговых палаток, расположившихся в зданиях вокруг рынка.

В крытой галерее перед букинистическим развалом, чей пол обильно посыпан опилками, случайно сталкиваются Мануэль Игеруэла и Хусто Санчес Террон. Последний отчаянно торгуется за старенький томик «Оракула новых философов», предлагая четыре реала против десяти, потребованных хитрюгой букинистом, проходимцем с бакенбардами, вороватыми глазенками и грязными пальцами.

— Две песеты накину — не больше, — напирает Санчес Террон.

— Один дуро, меньше не возьму, — артачится продавец.

— Держите ваш дуро, — неожиданно вмешивается Игеруэла, протягивая на ладони серебряную монету.

Букинист как ни в чем не бывало протягивает книгу новому покупателю. Это экземпляр в потертой обложке, зачитанный до дыр. Санчес Террон, не на шутку уязвленный, зыркает на Игеруэлу с подозрением.

— Не знал, что вы стоите сзади.

— Я вас заметил, но не хотел мешать. Надо же, как вы отчаянно торговались!

Санчес Террон с осуждением смотрит на книгу в руках своего коллеги.

— Надо заметить, очень некрасиво с вашей стороны.

Игеруэла смеется и вручает ему книгу:

— Это вам, дружище. Маленький презент.

Санчес Террон смотрит на него с хмурым удивлением.

— Но ведь эта книжонка не стоит целого дуро!

— Какая теперь разница? Сделайте милость, примите ее от меня.

Санчес Террон все еще сомневается: на его лице изображается надменное презрение.

— Это был с моей стороны не более чем минутный каприз, поверьте... Затхлый консерватизм автора...

— Бросьте, дружище, — перебивает его Игеруэла. — Берите книгу — да и дело с концом.

Санчес Террон берет у него из рук книгу с таким видом, словно делает одолжение, и сует в карман пальто. Оба шагают под навесами лавок, уворачиваясь от струек воды, льющихся сверху. Игеруэла кутается в черный плащ, застегнутый на все пуговицы, на голове у него круглая клеенчатая шляпа, а Санчес Террон, чья голова не покрыта вовсе, с помощью солнечного зонтика спасает от дождя свое элегантное, сшитое на французский манер пальто с длинными фалдами, зауженное на талии.

— Как наше с вами дело?

— Вы имеете в виду Париж? — безжалостно отзывается Игеруэла.

Санчес Террон недовольно поджимает губы.

— Разве есть что-то другое, где бы наши с вами интересы совпадали?

Издатель отвечает не сразу. Он посмеивается сквозь зубы: уязвленный тон коллеги его забавляет.

— Я получил новости от нашего третьего путешественника.

— Да? И что же?

— В четверг у меня не было возможности обсудить это с вами в Академии. Слишком много ушей вокруг. Кроме того, мне пришлось уйти пораньше.

— Дорога проходит без приключений?

— По крайней мере, ничего такого, что бы их задержало. Даже встреча с грабителями не помешала.

— Господи... Что-то серьезное?

— Думаю, нет. Похоже, адмирал весьма преуспел в военной службе. Отлично стреляет и все такое.

— Адмирал? Кто бы мог подумать!

— Представьте себе. Наш пострел везде поспел.

Академики бредут между рядами, заваленными обрезками текстиля, и развалами старьевщиков, стараясь не задевать людей, которые ищут под навесами укрытие от дождя, а заодно глазеют на ветхую мебель, драгоценности сомнительной подлинности, ржавые шпаги, тарелки с отбитыми краями и сервизы, в каждом из которых чего-нибудь не хватает.

— У меня есть друг в Совете Кастилии, — сообщает Санчес Террон. — Имя его значения не имеет.

Игеруэла смотрит на него с любопытством.

— И что сообщил вам этот друг?

Санчес Террон объясняет в нескольких словах. Поездка в Париж за «Энциклопедией» породила при дворе множество слухов, и не все они положительного свойства. Кое-кто и вовсе считает, что это дурной пример. И что Академии, имеющей поддержку короля, не следует лезть в философские дебри. Два дня назад архиепископ Толедский сделал несколько замечаний как раз на этот счет. Видимо, это стало причиной непродолжительной беседы короля и архиепископа, а также маркиза де Каса Прадо, который тоже подвернулся под руку.

— Эти двое, — подытоживает Санчес Террон, — а они с вами одного поля ягода, иначе говоря, у них те же устарелые взгляды, что и у вас, дон Мануэль, сделали весьма смелый заход: намекнули королю, что было бы неплохо приостановить это дело...

— И кто же это сказал? — оживляется Игеруэла.

— Прямо ничего сказано не было. Король внимательно выслушал обоих, а затем заговорил о чем-то другом.

— Очень неблагоразумно с его стороны.

— Возможно. Тем не менее дело обстоит именно так.

— А инквизиция?

— Вы же слышали на собрании дона Жозефа Онтивероса, постоянного секретаря Совета... С его стороны, nihil obstat. Да что там: он собственной рукой подписал разрешение на доставку «Энциклопедии» из Франции!

Игеруэла щелкает языком и качает головой.

— Дрянные времена... Святой инквизиции — и той нельзя доверять.

— Мне есть что на это сказать, однако лучше я промолчу.

На лице Игеруэлы появляется кривоватая наглая улыбка.

— Вот это мне по душе, дон Хусто, — иронизирует он. — Оберегайте меня, как я того заслуживаю... Будьте добрым малым и уважайте наше перемирие.

Санчес Террон рассеянно заглядывает в каморку торговца тряпьем, где высятся горы поношенных камзолов, обшитых тесьмой, пожелтевших кружев, съеденных молью или вышедших из моды шляп. Пахнет гнилью и тленом, и сырость, царящая в помещении, отнюдь не облагораживает тяжелого запаха испарений.

— А не могли бы вы в этом вашем «Литературном критике»...

Колючий взгляд Игеруэлы не дает Санчесу Террону закончить фразу.

— В моей презренной бумажонке, — с сарказмом перебивает его издатель, — которую ваши собратья по убеждениям шпыняют за отсталость и обскурантизм? И который вы сами как-то раз на тертулии в Сан-Себастьяне обозвали «позорным памфлетом»? Как видите, мне все отлично известно!

— Да, — высокомерно соглашается Санчес Террон. — Именно о нем и речь. Так вот: не могли бы вы упомянуть про наше с вами дело, воспользовавшись чьим-нибудь авторитетным мнением?

Практичный Игеруэла вмиг усмиряет свой гнев, будто свечу задувает. Выходит у него это вполне естественно.

— Что вы имеете в виду?

— Точно пока не знаю. Достаточно было бы мнения пары епископов, герцога де Орана или же самого маркиза де Каса Прадо... Кого-то, кто имеет вес при дворе, а заодно не чужд вашим взглядам и убеждениям.

Издатель предостерегающе поднимает указательный палец с грязным ногтем.

— Я не имею права заниматься такими вещами, — заявляет он. — Одно дело — моя позиция как издателя, другое — как ученого... Выступать на заседании Академии против этого бреда с доставкой «Энциклопедии» — это одно, а открыто нападать на почтенную организацию, к которой мы с вами оба принадлежим, — совсем другое. Мы собственными руками дадим оружие нашим общим врагам!

Санчес Террон надувается, как индюк.

— Значит, на вашей совести...

Собеседник перебивает его с едкой улыбкой:

— Если уж мы заговорили о совести, могу предложить вам то же самое, сеньор философ. Действуйте самостоятельно, обнародуйте все это в каком-нибудь печатном органе или в общественном месте. Не бойтесь запятнать себя. Заявите во всеуслышание, что свет новой культуры должен распространяться исключительно через просвещенных граждан — таких, как вы. Потому что мед существует не для ослиных утроб.

— Не говорите чушь!

— Хорошо, не буду. Но я вас понимаю, и вы меня тоже отлично понимаете.

Их беседу прерывает какой-то жутковатый на вид цыганистый малый в мокром буром плаще. Откуда-то из складок этого плаща он извлекает четыре серебряных столовых прибора, замотанных в дерюгу, и сует академикам под нос, требуя за них сто двадцать реалов. Его жена больна, объясняет он, и, чтобы поправить ее здоровье, приходится продавать эти бесценные сокровища.

— И что, тяжело больна? — насмешливо спрашивает Игеруэла.

Мошенник с готовностью крестится:

— Клянусь честью моей матери.

— Вот как... А ну-ка, убирайся отсюда, пока я не кликнул гвардейца!

— Я всего лишь нищий погонщик, ваша светлость, — мямлит мошенник.

— Пошел прочь, я сказал.

Академики продолжают свой путь, пересекают какой-то проулок, аккуратно обходя лужи. Санчес Террон, который держит над головами обоих зонтик, поворачивается к Игеруэле.

— Думаете, мы найдем способ помешать парижскому делу?

— Вы имеете в виду Паскуаля Рапосо? Не сомневаюсь. Этот человек отлично знает и город, и жителей этого города. На редкость смышленый малый... Я имею в виду, что в своих грязных делишках он ориентируется превосходно.

Они остановились под арками крытой галереи, где берет начало уходящая вниз улица Рибера-де-Куртидорес. Рядом с магазином, где выставлены пустые рамки, а также выцветшие или ободранные картины, притулилась еще одна букинистическая лавочка. Игеруэла отряхивает воду с плаща и шляпы, его приятель складывает мокрый зонтик.

— В четверг, — говорит Санчес Террон, — в Академии, когда мы обсуждали подробности этой поездки, директор упомянул кое-что, чего я не знал: адмирал и библиотекарь везут с собой подписанное им лично рекомендательное письмо для нашего посла в Париже, графа де Аранда.

Новость явно не нравится Игеруэле.

— Плохо дело, — говорит он. — Аранда — вольтерьянец, безбожник и большой любитель новой философии.

— Такой же, как я, вы хотите сказать.

Издатель устремляет на него грозный взгляд.

— На надо путать мух с котлетами, дон Хусто... Мы сейчас говорим о другом.

— А я и не путаю, — важно отвечает Санчес Террон, уязвленный сравнением. — Я лишь уточняю. Вы же знаете, что мы с графом де Аранда во многом совпадаем...

Игеруэла нетерпеливо поднимает руку, предлагая вернуться к основной теме.

— Сейчас это роли не играет... Важно то, что посол, без сомнения, пойдет им навстречу и обеспечит свою поддержку. И тогда наш человек Рапосо уже не сможет ничего сделать... Для такого пройдохи, как он, это недостижимые высоты.

Они перебирают книги, пробегая глазами названия, оттиснутые на выцветшем корешке, и осматривая потрепанные переплеты. По большей части это религиозные сочинения. Среди ветхих томов с недостающими страницами — полуразвалившийся, изъеденный мышами и сыростью «Марк Аврелий» де Гевары.

— Но кое-какие козыри есть и у нас, — сообщает Санчес Террон. — Я немного знаком с Игнасио Эредиа, личным секретарем Аранды. Он посылал мне книги, и мы переписываемся.

Игеруэла вновь бросает на него заинтересованный взгляд.

— Вы думаете, он как-нибудь поможет застопорить дело этих двоих в Париже?

Санчес Террон долистывает книгу, у которой отсутствует приблизительно треть страниц, и с досадой кладет ее на место.

— Этого я вам обещать не могу. Я не уверен, что его влияние распространяется так далеко, да и втягивать его в наши дела не имею права. Никогда не знаешь наверняка, в чьи руки попадут в итоге твои письма.

— Может, стоит хотя бы намекнуть...

Санчес Террон неспешно обдумывает его предложение. Заметив, что он сомневается, Игеруэла решает надавить.

— Достаточно всего нескольких слов в одном из писем. Крохотное замечание, сделанное мельком и словно бы случайно, возбудит определенную неприязнь... Например, что не следует слишком доверять этим двоим, когда они наконец окажутся в Париже, несмотря ни на какие рекомендации.

Кажется, Санчес Террон наконец прислушивается к его словам.

— Что ж, пожалуй, это возможно.

— Великолепно! Таким образом, с помощью секретаря с одной стороны, и нашего бесценного Паскуаля Рапосо — с другой, мы с вами и обстряпаем это дельце. Иначе говоря, одну свечку поставим Богу, другую — черту.

И снова дорога: молчание, разговоры, сонное клевание носом. Не хватает света, чтобы читать. Берлинка катится под дождем, возничий кутается в клеенчатый плащ, а колеса оставляют в размокшей глине две глубокие колеи. На участках, покрытых лесом, зелень деревьев среди рваной туманной дымки выглядит густой и темной. В дождливом поле открытое пространство с огромными лужами и затопленными бороздами, где отражается низкое свинцовое небо, временами зачеркивают сплошные потоки воды, которые с грохотом обрушиваются на крышу повозки.

Адмирал смотрит в окошко, время от времени протирая рукой запотевшее стекло. Он сидит так уже довольно давно, погруженный в раздумья. На дорожном пледе, в который закутаны его ноги, покоится томик Эйлера. Напротив дремлет дон Эрмохенес, невозмутимо сложив руки на коленях, укрытых теплым плащом. Через некоторое время библиотекарь вздрагивает, просыпаясь, поднимает голову и смотрит на адмирала.

— Как дела? — спрашивает он, растерянно моргая.

— Плетемся еле-еле: дождь, грязь... Тяжко приходится бедным животным на такой дороге.

— Как вы думаете, мы прибудем в Виторию засветло?

— Надеюсь. Осталось не более двух лиг, а погода такая, что не хотелось бы ночевать на скверном постоялом дворе для погонщиков.

— Гостиница в Бривьески была ужасна, правда?

— Отвратительна!

Дон Эрмохенес выглядывает из берлинки. Неподалеку возвышаются холмы, поросшие деревьями, среди них, окутанный туманной дымкой, виднеется выбеленный домик одинокого хутора.

— Печальный пейзаж. Впрочем, в хорошую погоду эта роща, должно быть, выглядят вполне симпатично.

— Без сомнения. Благодатная земля, плодородная почва.

— Любопытно, — продолжает библиотекарь, помолчав. — Вовсе не только безжизненная равнина, дождь и вся эта ужасная погода производят гнетущее впечатление. В хорошую погоду здесь то же самое, уверяю вас. Вы не заметили ничего особенного, адмирал, когда мы проезжали мимо селений, оставшихся позади? Мы, жители Мадрида, привыкшие к суете, забываем, что не вся Испания суетится... Вопреки мнению большинства иностранцев, мы, испанцы, угрюмый народ. Вы так не считаете?

— Возможно, — отзывается адмирал.

— Взять ту же Бривьеску, которую мы проезжали два дня назад: ей, можно сказать, повезло — столько гранатовых деревьев, огородов, тенистых рощ, нарядных домиков, несмотря на то что наша гостиница оставляла желать лучшего... Помните?

— Еще бы! Очаровательное место: два монастыря, собор, приходская церковь. А вот радости почему-то не чувствуется, это вы верно подметили.

— А ведь было воскресенье, — вспоминает дон Эрмохенес. — Особый день: тот, кто работал всю неделю, может как следует отдохнуть и развлечься. Дождь еще не начинался. Тем не менее улицы пустынные, притихшие, а редкие жители, которых мы встречали, казалось, покинули свои дома не по собственному желанию, а от тоски... Они напоминали кладбищенские статуи — на площади, на паперти. Мужчины кутаются в плащи, женщины — в шали, и все понуро сидят с обреченным видом или слоняются туда-сюда без всякой цели. И ни в ком ни искорки радости или интереса к чему-либо!

— А заслышав церковный колокол, все послушно разбрелись по домам.

— Совершенно верно! То же самое происходит во всех уголках Испании. Вот и получается, что мы, испанцы, унылый народ. Почему же так происходит, спрашиваю я себя? У нас же все есть: жаркое солнце, отличное вино, красивые женщины, добрые люди...

Адмирал смотрит на спутника с некоторым сарказмом:

— Почему вы зовете их добрыми?

— Не знаю, — пожимает плечами тот. — Трудно сказать, злые они или добрые... Мне всего лишь хочется думать, что...

— Люди по сути своей не добрые и не злые. Они всего лишь то, что с ними делают.

— И что же делает такими несчастными уроженцев Бривьески?

— Несправедливые законы, дон Эрмес. — Адмирал через силу улыбается, словно тоже чем-то опечален. — Недоверие к правящим, сомнительное усердие судей, убежденных в том, что все сводится к закабалению простого народа: пусть люди трепещут, заслышав голос правосудия, всякое веселье следует приравнять к мятежу. А там, глядишь, и дознание, тюрьмы, штрафы. В этой стране на все накладывает свой отпечаток продажность чиновников и жадность законников... Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Отлично понимаю.

— Нужно ли объяснять, как все это запугивает и угнетает народ. И в итоге все, что ему остается, — это сходить на воскресную мессу, поклониться святому в часовне и немного расслабиться на свадьбе или крестинах.

Обиженно отвернувшись, библиотекарь смотрит на капли, которые бегут по запотевшему стеклу окошка.

— Ну вот, опять... Давненько вы не вспоминали церковь...

Адмирал миролюбиво улыбается, желая смягчить краски.

— Дело не только в церкви, — заключает он. — Церковь — всего лишь один из инструментов в порочной системе, которая укоренилась во многих странах. И не о достоинствах или недостатках монархии идет речь — пример англичан доказывает, что все относительно, — а о том, как в Испании воспринимают само понятие гражданского общества. Наша общественная система, — продолжает он, — не допускает ни радости, ни процветания. Во многих местах запрещены музыка, посиделки и танцы, в других — жителей заставляют расходиться по домам вместе с ударами колокола, призывающего на молитву, не выходить на улицу в темное время суток, не собираться толпами... Крестьянину, который в поте своего лица обрабатывал клочок земли, субботним вечером не дозволяется ни пошуметь вволю на площади, ни поплясать со своей женой или соседкой, ни спеть серенаду под окошком невесты.

— Приличия, дорогой мой... Обычаи...

— Какие, к черту, приличия! Вы отлично понимаете, что проблема в другом. Позвольте людям читать и танцевать, назидал Вольтер. Вот единственный выход: церковных месс поменьше, а музыки — побольше.

Библиотекарь негодующе машет руками.

— Вы преувеличиваете, дорогой адмирал.

— Преувеличиваю, вы считаете? О народных праздниках, например, я уже говорил. Что на них происходит, вы в курсе? К моменту вечерней молитвы все уже должно завершиться; мало того: церковь не только запретила танец мужчины с женщиной, она настояла на том, чтобы людям вообще запретили танцевать!

— Однако народ терпелив, — возразил дон Эрмохенес. — И все стерпит.

— Это и есть самое страшное. Народ терпит, но через силу. Его сдерживают с помощью полиции, забывая о том, что, когда терпение недовольных подходит к концу, они тяготеют к насильственным переменам и что без свободы нет процветания... В этом, полагаю, вы со мной согласны.

— Разумеется! Про это еще греки говорили. Свободный и веселый народ имеет естественную склонность к трудолюбию.

— Верно. А хорошим правителям надлежит не навязывать, а гарантировать эту разновидность счастья.

— В этом вы, конечно, правы. И я готов поставить свою подпись. Народ, которому знакомо чувство собственного достоинства, нуждается не в том, чтобы правительство его развлекало, а в том, чтобы ему не мешали развлекать себя самому.

— Именно развлечение и образование делают граждан трудолюбивыми и ответственными. В этом помогают общественные собрания, кофейни и прочие места, где можно посидеть и пообщаться друг с другом, а заодно игры в мяч, театр...

— И, конечно, коррида, — вставляет библиотекарь, большой любитель этого массового развлечения.

Адмирал морщится с явным неодобрением.

— Тут я с вами не соглашусь, — сухо отвечает он. — Правильно сделали, что запретили это варварство.

— К счастью, запрет не соблюдается чересчур строго. Представьте себе, я обожаю корриду! Отважные тореро, свирепые быки...

— Вы чертовски оригинальны, дон Эрмес, — довольно резко перебивает его адмирал. — Однако этот дикий спектакль для необразованной толпы, аплодирующей страданиям несчастного животного, делает нас посмешищем перед лицом всех культурный наций. Что же до цивилизованных развлечений, на мой вкус, более всего Испании подходит театр.

— Пожалуй, вы правы... По крайней мере, насчет театра мы с вами точно совпадаем!

В этот миг берлинка подскакивает особенно сильно, расплескав вокруг себя волны грязи, и резко останавливается. Скорее всего, экипаж наскочил на кочку, незаметную под слоем воды и жидкой глины. Дон Эрмохенес собирается приоткрыть окно и поглядеть, что случилось, но проливной дождь, бьющий в стекло, заставляет его отказаться от этих намерений. Некоторое время, перекрывая стук воды в крышу экипажа, слышится щелканье хлыста и раздраженные крики кучера, подгоняющего лошадей. В конце концов, переваливаясь то на один, то на другой бок, повозка возобновляет движение.

— Театр — первейший воспитательный инструмент, — продолжает адмирал. — Однако в Испании он нуждается в реформе, которая бы очистила его от всяческой пошлости, всех этих очаровательных беглянок, дуэлей, убийств, нахальных шутов и лакеев, промышляющих сводничеством... Прибавьте к этому, если вам угодно, самые низкопробные и грубые интермедии и сайнете про удальцов, сутенеров и цветочниц и получите полную картину нашей сегодняшней сцены.

Дон Эрмохенес энергично кивает в знак согласия.

— Вы правы. Особенно в том, что касается бравады и неотесанности, которыми театральные подмостки заражают народ... Конечно, все нации тяготеют к низкопробным массовым зрелищам. Плохо то, что в Испании этот вид искусства добрался до высшего света, сделался популярным среди аристократов и людей в форме — и это вместо того, чтобы, как в Англии или во Франции, занимать место, которое ему предназначено. Вы не думали об этом? Плебс существует повсюду, с этим не поспоришь. Но то, что происходит у нас, — это потакание плебсу.

— Не могу передать, до какой степени я с вами согласен, дон Эрмес... Это бесплодное, грубое и абсолютно никчемное бахвальство приводит к тому, что за границей его принимают за испанский национальный характер и презирают нас.

Колесо вновь налетает на ухаб, да так, что оба академика чуть не падают друг на друга, и берлинка останавливается. Дон Эрмохенес приоткрывает окно и высовывается наружу, однако тут же закрывает его, забрызганный каплями дождя. Как раз в этот миг щелкает хлыст, экипаж трогается, и его вновь сотрясает сильнейший толчок. Библиотекарь смиренно потирает ушибленную поясницу.

— Религия и справедливая политика, взявшись за руки, — он вновь устремляется в русло разговора, — взывают к жесточайшей реформе этого беспредела. Я имею в виду наши национальные обычаи.

Дон Педро улыбается.

— А мне бы хотелось, — возражает он, — чтобы религия и политика разжали наконец хватку и больше никогда не заключали друг друга в объятия... Ни к чему нам реформы с привкусом затхлого церковного мракобесия.

— Не начинайте, очень вас прошу...

— Я не начинаю и не заканчиваю, дон Эрмес. На мой взгляд, реформировать обычаи можно только с помощью разума и хорошего вкуса.

Библиотекарь вновь возражает с присущим ему простодушием:

— Дорогой адмирал, благочестивые люди...

— Не благочестивыми должны быть люди, — перебивает его адмирал, — а порядочными, трудолюбивыми, образованными и жизнерадостными... Вот почему я заговорил о театре: будучи главным национальным развлечением, именно он способен создать разумную модель патриотизма, сделать необходимыми образование, сознательный труд, культуру, добродетель, показывая примеры, которые превозносили бы свободу и защищали невинность... Театр, основой которого были бы благородство и здравый смысл, ставший общественным достоянием.

— Ах, дорогой адмирал... Охота вам ждать яблок от вяза.

— Если вяз хорошенько потрясти, какое-нибудь яблочко нет-нет да и упадет... Между прочим, тут будет и наша с вами скромная роль: это путешествие за запретными книгами — чем не достойный способ тряхануть вяз?

Лошадь продвигается медленно, ее копыта тонут в дорожной грязи. Дождь хлещет с прежней силой, мгновенно заполняя водой две параллельные колеи, которые оставляют колеса берлинки, продвигающейся вперед с черепашьей скоростью. Паскуаль Рапосо, пригнувшись к шее коня, щурит глаза, чтобы хоть как-то укрыться от колючих водяных струй, которые хлещут ему в лицо, до половины укрытое потерявшей форму и насквозь промокшей андалузской шляпой. Под утлой шинелью, едва ли защищающей от непогоды, одинокий всадник чувствует себя окоченевшим, промокшим насквозь, бесконечно усталым. Чего бы он только не отдал сейчас в обмен на очаг, к которому можно придвинуться вплотную, пока от одежды не повалит пар, или хотя бы за то, чтобы постоять под крышей, чтобы немного передохнуть от дождя. Но ничего похожего ему по дороге не попадается. Имея за плечами кавалеристскую службу, Рапосо привык к подобным испытаниям, однако течение времени, годы, которые убегают безвозвратно, с каждым разом делают их все более и более тягостными. В один прекрасный день, с тоской размышляет он, ему станет трудно добывать свой хлеб так, как он делает это сейчас. Хорошо было бы не остаться с пустыми руками. Заиметь на этой случай крышу над головой, жену, миску с горячей похлебкой на столе. Размышление — или воспоминание — об этих трех необходимых вещах сейчас, под проливным дождем, неожиданно погружает его в тусклое, безнадежное отчаяние, в глубочайшую тоску.

Конь спотыкается, пересекая каменный мост, под которым бешено клокочут мутные потоки. Бормоча проклятия, Рапосо дергает повод, спешивается с коня и осматривает его ноги, неожиданно горячие по сравнению с ледяной водой, льющейся сверху. Проклятия сменяются яростной руганью, когда Рапосо обнаруживает, что на одном из конских копыт не достает подковы. Поплотнее завернувшись в шинель и укрывая лицо от дождя, который временами прямо-таки ослепляет, он открывает котомку и достает запасную подкову, нож, гвозди и молоток. Затем, зажав конскую ногу коленями, стряхивая время от времени тыльной стороной руки дождевую воду с лица, он зачищает копыто, прикладывает подкову и прибивает ее гвоздями как можно тщательнее. Вездесущая вода заливает ему лицо, просачивается сквозь швы и складки застегнутой шинели, сбегает, вызывая дрожь, по затылку, холодит плечи и спину. Через некоторое время работа завершена. Ноги у Рапосо мокры до самых бедер, рукава шинели хоть выжимай, а сапоги хлюпают. Он не торопясь укладывает инструменты обратно в котомку, достает фляжку с вином, припрятанную среди пожитков, откидывает голову и делает долгий глоток. Струи дождя весело пляшут по лицу. Затем Рапосо снова садится в седло. Почувствовав повод и седока на спине, конь трогается в путь, гремя подковами по булыжникам моста.

Параллельные колеи, оставленные колесами берлинки, петляют в грязи и убегают вдаль, отражая в своих узких руслах темное небо и тучи, уходящие за горизонт. Рапосо представляет, как двое академиков сидят в сухой уютной повозке, равнодушно сверяясь по часам, сколько лиг осталось до Витории. Эта мысль пробуждает в нем неожиданный приступ ярости. Наступит время, думает он, когда он сведет с ними счеты. Что касается его лично, кое-кому придется расплатиться по отдельному векселю за каждый шаг его коня, за каждую кочку на дороге, по которой он трясется под дождем. За усталость и холод. И когда вдали над деревьями вспыхивает молния, перечеркнув небо, а вслед за ней ударяет гром, такой оглушительный, будто бы среди черных низких туч пальнула пушка, сияние освещает рот одинокого всадника, искаженный звериной яростью и предвкушением мести.

Четверг, восемь часов тридцать минут вечера: в Королевской академии Мадрида заканчивается очередное заседание. Тусклый свет восковых свечей и масляных ламп, стоящих на столе зала для общих собраний, освещает стеллажи, забитые книгами и пожелтевшими папками, картотеку из темного дерева, буквы, нанесенные на карточки в алфавитном порядке. Директор Академии сеньор Вега де Селья читает молитву, следом за которой тут же раздается грохот отодвигаемых стульев, приглушенные покашливания, хрипловатый шепот. Секретарь Палафокс все еще негромко беседует с академиками сеньором Эчегаррате, составителем знаменитого сборника комментариев к «Песне о моем Сиде», и Домингесом де Леоном — автором «Рассуждения о реформе уголовных законов», а также других замечательных текстов — о включении прилагательного «клетчатый» в будущее переиздание «Толкового словаря». Все покидают свои места, кое-кто ненадолго задерживается, протягивая руки к жаровне, которая едва согревает просторное помещение зала.

— Есть любопытные новости, — обращается вполголоса Мануэль Игеруэла к Санчесу Террону. — О нашем с вами деле.

Игеруэла отводит собеседника в сторону, поближе к жаровне, которую к этому времени уже покинули остальные академики. Пахнет прогорающим углем. Над их головами, на стенах, уходящих в сумрак потолка, виднеются портреты монарха и маркиза, покойных основателей Академии: окруженные тенями, оба величественно взирают на происходящее в зале заседаний.

— Завтра архиепископ Толедский и нунций его преосвященства присутствуют на обеде у короля.

Санчес Террон в свойственной ему манере презрительно выгибает брови.

— А нам-то что с того?

— Больше, чем вы думаете. Будет присутствовать маркиз де Каса Прадо, наш человек.

— Ваш человек, вы хотите сказать.

Игеруэла нетерпеливо пощелкал языком.

— Не раздражайте меня, дон Хусто. Оба мы с вами старые ищейки... В этом парижском деле — только вы да я. Мы в одной лодке, вот что!

Они понимающе переглядываются. Издатель понижает голос.

— Эти трое будут уговаривать короля запретить путешествие.

Санчес Террон склоняет голову, невольно прислушиваясь к его словам.

— А не поздновато ли они спохватились?

— Самое время. — Игеруэла зловеще улыбается. — Конная почта будет в нашем посольстве через неделю.

— Боюсь, вы забыли, что испанский посол — граф де Аранда, видный деятель просвещения.

— Он не посмеет ослушаться королевского приказа. Если таковой, конечно, будет отдан.

Санчес Террон испуганно озирается. Академики уже разошлись и толпятся у вешалок вестибюля, разбирая шляпы, плащи и пальто.

— В любом случае, — говорит Санчес Террон, — архиепископ и маркиз несколько дней назад уже сделали одну попытку, о которой я вам рассказывал. И все без толку. Король и ухом не повел...

— Однако он, как мы знаем, не сказал ничего определенного ни за, ни против. Кроме того, с ними тогда не было нунция; известно, что нрав у монсеньора Оттавиани крутой и у него всегда находятся нужные аргументы... С другой стороны, король — человек набожный. У меня есть сведения, что его набожность умело использует королевский исповедник.

— Падре Килес?

— Он самый. Как говорится, *ora et labora*[[15]](#footnote-15).

— Просто удивительно. — На лице Санчеса Террона появляется кислая гримаса. — Какими вы становитесь энергичными, когда вам что-нибудь надо.

— В данном случае это надо нам обоим. Не притворяйтесь дурачком, дорогой друг.

— Идите к черту.

Санчес Террон стряхивает пыль со своего английского фрака, украшенного пышным шарфом, придающим ему чопорный вид щеголя в годах. Они выходят в опустевший вестибюль, где им встречаются только директор, секретарь и пара академиков, задержавшихся, чтобы попрощаться. Дон Вега де Селья, сопровождаемый служителем, надевает плащ поверх элегантного камзола, на котором нашит крест Сантьяго. Сегодня на собрании директор зачитал письмо, отправленное адмиралом и библиотекарем из Витории, где описывались подробности путешествия.

— А, дон Хусто, — обращается директор к Санчесу Террону. — Забыл поздравить вас со статьей, опубликованной на прошлой неделе в «Меркурио-де-лас-Летрас»... Все весьма разумно изложено — впрочем, как всегда. Впечатляет глубокое видение, с которым вы описываете истинные мотивы Веласкеса, побудившие изобразить прялку в своих «Пряхах», лишенной спиц. Динамичный и мятежный — таковы, насколько мне помнится, определения, к которым вы прибегли. Никому бы и в голову не пришло рассуждать в этом роде о Веласкесе, не правда ли? От вас ничего не ускользает!

Санчес Террон лопается от важности, польщенный и сконфуженный одновременно, хотя в восторженном тоне директора подспудно улавливает нечто, что слегка его коробит. Санчес Террон смутно различает искорку иронии.

— Благодарю, сеньор директор, — бормочет он, соображая, в чем дело. — На самом деле, я...

Холодноватая улыбка Веги де Сельи рассеивает его последние сомнения.

— Не представляю, как обходились бы без вас культура и философия. Я серьезно. А что бы делали мы?

Произнеся эти слова, директор вежливо прощается, склонив напудренную голову.

— Доброй ночи, сеньоры.

Игеруэла и Санчес Террон смотрят ему вслед.

— Вот же чушь какая! — цедит сквозь зубы Санчес Террон. — Похоже, он догадывается.

— О чем? — нетерпеливо спрашивает Игеруэла: разыгравшийся спектакль втайне его позабавил.

— О наших с вами разговорах. О том, что...

— Откуда он может знать? Просто вы ему не симпатичны.

— Тем не менее он проголосовал за меня как за члена Академии.

Игеруэла с любопытством навостряет уши.

— Вы тогда еще не раскрыли миру художественный гений Веласкеса, дон Хусто. И не поведали испанцам о естественных добродетелях дикарей из джунглей или саванн... Возможно, все дело в этом.

Санчес Террон смотрит на него искоса, пытаясь определить уровень сарказма в его словах. Однако хитрая улыбка издателя сбивает его с толку.

— Не готовит ли нам Вега де Селья какую-нибудь гадость? — беспокоится Санчес Террон, меняя тему.

— Вы имеете в виду нунция и всех остальных? Их влияние на короля?

— Конечно.

Игеруэла недовольно поджимает губы.

— Если Оттавиани отговорит его светлость, наш директор ничего не сможет сделать. *Monarchia locuta, causa finita...*[[16]](#footnote-16) И двоим нашим отважным приятелям не останется ничего другого, кроме как повернуть оглобли.

— Вы получили новости от вашего знакомого? — Санчес Террон понизил голос до шепота. — От третьего путешественника?

— Нет. Но в эти дни все путешественники должны вот-вот пересечь границу. С нунцием или без нунция, впереди им предстоит долгая и полная опасностей дорога.

Заговорщики берут свои пальто и выходят на улицу, где единственный фонарь освещает переулок, ведущий к королевскому дворцу. Не прощаясь, они поспешно, чуть ли не бегом расходятся каждый в свою сторону.

Его светлость Карл Третий, преисполненный достоинства, обедает в просторной гостиной своего дворца. Стены гостиной украшают гобелены, изготовленные королевской фабрикой и изображающие мифологические сцены. Нос у Его Величества крупный, лицо загорело во время охоты, которую он чрезвычайно уважает, и кажется еще темнее в сочетании с белым париком, уложенным на висках локонами. Он одет в камзол зеленого бархата, с шеи свисает орден Золотого Руна, на груди же красуется крест ордена, названного его собственным именем, члены коего, в соответствии с папской буллой, обязуются защищать догмы Непорочного зачатия. Над головой монарха, локтях в двадцати над уровнем пола, виднеется потолок, расписанный аллегорическими сценами, прославляющими величие дома Бурбонов и завоевание Америки. За столом он сидит один, спиной к стене, и неторопливо, с задумчивым видом жует, внимательно глядя себе в тарелку. Время от времени протягивает руку, вытерев предварительно губы салфеткой, к стоящему рядом хрустальному бокалу с королевской фабрики Ла-Гранха, наполненному вином. За каждым его движением внимательно следит не отходящий от него ни на секунду старший мажордом королевского дворца граф де лос Ансулес, а также лакей в безупречной ливрее: оба, преклонив голову, передают ему то одно, то другое яство. На ковре возле стола дремлют королевские левретки, время от времени они поднимают морды, внимательно следя за хозяином, который все с тем же безразличным видом бросает им кусочки пищи.

Протокол заседания строг и неизменен: человек двадцать приглашенных на обед — как правило, это мужчины — располагаются на почтительном расстоянии от монарха. Сегодня присутствуют послы из Неаполя и России, папский нунций, архиепископ Толедский, а также обычные царедворцы и приглашенные. Со стороны это выглядит как разноцветный узор из пестрых камзолов, сутан, униформ, обильных и пенных кружев, элегантных кальсон и завитых париков с пышными локонами на висках. Иногда король поднимает глаза и устремляет взгляд на одного из них, приглашая приблизиться, и тот почтенно приступает, делает реверанс, выслушивает то, что произносит, обращаясь к нему, Карл Третий, и почтительно отвечает, а потом, заметив, что монарх переводит взгляд на тарелку, давая понять, что разговор окончен, возвращается в исходную точку. Пока суд да дело, прочие собравшиеся общаются между собой, шушукаются, ожидая своей очереди, или же потихоньку прислушиваются, стараясь уловить обрывки монаршей беседы.

— Обратите внимание, любезный маркиз: Паньяфлорида удостоился всего минуты общения с королем!

— Вполне достаточно для того, чтобы попросить звание полковника для своего зятя, полагаю...

— О, как вы проницательны!

Лакеи уносят последнее блюдо и подают монарху кофе в крошечной фарфоровой чашечке, подаренной послом Чили. Карл Третий отпивает глоток и, все еще держа чашку возле рта, смотрит на кардинала Оттавиани, римского нунция. Тот в этот миг приближается с дипломатичной улыбкой. Его руки сложены на пурпурной мантии, обрамленной кружевом. На пальце сверкает кольцо, положенное ему по сану. Происходит обмен любезностями, кардинал пересказывает Карлу Третьему папское послание, после чего переходят к другим делам. На своем превосходном испанском с заметным тосканским акцентом нунций просит дозволения участвовать в беседе архиепископа Толедского и маркиза де Каса Прадо; король любезно соглашается, предлагая упомянутым персонам приблизиться.

— Дело довольно щекотливое, Ваше Величество, — заключает нунций, изложив суть.

Воспользовавшись паузой, архиепископ и маркиз деликатно вступают в беседу, высказывая свои соображения. Монарх выслушивает их с рассеянным видом, поглядывая время от времени на левреток, одна из которых встает с ковра и довольно шумно облизывает ему руку. Добродушный властитель обеих империй не запрещает ей этого.

— Испанская королевская академия в силу своего престижа не имеет права опускаться до сомнительных авантюр, которые предлагают наши бурные времена, — говорит архиепископ Толедский. — Эту поездку в Париж за «Энциклопедией» обсуждают буквально повсюду!

— Очень обсуждают, — поддакивает маркиз де Каса Прадо, поощряемый едва заметным кивком нунция.

— Вот как? Кто же именно? — кротко интересуется король.

Нунций и маркиз переглядываются. Слово берет нунций.

— Видите ли, ваша милость... Сеньор... Речь идет о путанной компиляции, полной парадоксов и ошибок, напичканной пагубными теориями о естественном законе. Спорное и оспариваемое произведение, которое к тому же присутствует в «Индексе запрещенных книг», составленном церковью.

Монарх невозмутимо выдерживает его пристальный взгляд.

— Это произведение имеется в моей личной библиотеке.

Повисает тишина. Маркиз де Каса Прадо как представитель светского общества улавливает намек и заметно стушевывается. Иначе говоря, робко улыбается и далее пребывает нем как рыба. Церковная власть выказывает большее присутствие духа.

— Библиотека Вашего Величества, — мягко произносит архиепископ Толедский, — находится вне какого-либо...

Он умолкает, подыскивая подходящее слово или, наоборот, сознательно замалчивая его. Карл Третий терпеливо поглядывает на свою руку, которую облизывает левретка.

— ...сомнения, — с поистине кардинальской осмотрительностью выдавливает наконец из себя нунций.

Король берет чашку и, поднеся к морде собаки, позволяет осторожно обнюхать ее. Левретка виляет хвостом и тщательно вылизывает кофе.

— Испанская королевская академия ничуть не хуже моей личной библиотеки, — произносит он, возвращая чашку на стол. — Что отлично известно вашему высокопреосвященству.

На этот раз намек уловил архиепископ Толедский. Он умолкает, вытянувшись рядом с онемевшим маркизом де Каса Прадо. Лишь нунций остается на линии огня.

— «Энциклопедия» напичкана уловками, ироничными намеками и ложными утверждениями, касающимися вопросов веры, — настаивает он. — Все это подрывает основы религии, вредит ей хуже Локка и Ньютона... По моему мнению, которое лишь отражает мнение его святейшества, это творение расшатывает христианские основы государства.

— Статья «Христианство» мне показалась безукоризненной, — возражает король. — Насколько припоминаю.

— Вы... Вы, Ваше Величество, ее читали?

— Представьте себе. Мы, короли, интересуемся не только охотой.

Наступившая пауза затягивается: нунций медлит с ответом.

— В таком случае, — бормочет он в конце концов, — я уверен, что Ваше Величество не позволит ввести себя в заблуждение. Чтобы обойти цензуру, издатели схитрили, трусливо поместив в «Энциклопедию» двойные смыслы и завуалированные ереси... Так, во внешне безобидной статье «Сиако» авторы насмехаются над Вашей милостью, выряжая вас в японские одежды, а в «Ипаини» рассуждают о Святом причастии как о диком языческом ритуале... Не говоря уже об «*Autorité pоlitique* »[[17]](#footnote-17), где могущество короля занижается в сравнении с волей народа.

— Эту статью я пока не читал, — признается правитель, заинтересовавшись. — Как, вы говорите, она называется?

— «*Autorité pоlitique* », Ваше Величество... В любом случае...

Король делает легкое движение пальцами, чуть приподнимая их над уровнем скатерти. Этого достаточно, чтобы нунций умолк.

— Поскольку вы, как я вижу, любитель чтения, позвольте посоветовать вам произведение, не имеющее себе равных ни в одной другой стране Европы. Я имею в виду «Толковый словарь испанского языка»... Ваше высокопреосвященство с ним знакомо?

— Разумеется, Ваше Величество.

— Тогда вы, вероятно, знаете, какие благороднейшие сведения содержатся внутри этого произведения и какую великолепную работу проделали академики, которые, ставя перед собой единственную цель — а именно, чистоту и мощь нашего языка, — фиксируют его в словарях и справочниках по орфографии и грамматике... Все это в высшей степени благоприятно отражается и на стране, и на троне. А посему так же, как бывало с моими предшественниками, заслуживает моего покровительства.

Нунций сглатывает слюну.

— Таким образом, Ваше Величество...

Карл Третий отводит взгляд и гладит левреток.

— Таким образом, дорогой кардинал Оттавиани, появление «Энциклопедии» в библиотеке Испанской королевской академии полностью совпадает с моей королевской волей.

И, глядя на королевского мажордома, который мигом убирает кресло, монарх обеих империй встает и делает знак, что беседа окончена.

Толоса, Оярсун, Ирун... Временами по-прежнему идет дождь, и все же на двенадцатый день пути, пройдя паспортный контроль, таможенный досмотр и обмен валюты, берлинка академиков пересекает границу реки Бидасоа, мимо проносятся кукурузные поля, виноградники и рощи, сквозь зелень которых в сероватой утренней дымке белеют разбросанные там и сям домики. Несмотря на дождь, вокруг заметно оживление: на пастбищах пасутся коровы, сельские жители, утопая в грязи деревянными башмаками, погоняют мулов и лошадей, мужчины в парусиновых куртках склоняются на лесных опушках и полях над сельскохозяйственными инструментами. А впереди, над холмами, над дорогой, обрамленной дубами, справа виднеется белое пятно — вершина Пиренеев, а слева — серебристая гладь моря: луч солнца, который неожиданно проложил себе дорогу сквозь плотную пелену туч, озаряет пейзаж чудесным сиянием, радующим сердца путешественников.

— Франция, дорогой друг, — сообщает дон Эрмохенес. — Вот мы и прибыли. Земля Корнеля, Мольера, Монтеня и Декарта... Родина вина и философии.

— А также французской напасти, — добавляет адмирал, — именуемой сифилисом.

— Бог с вами, адмирал... Что вы такое говорите!

Словно счастливое предзнаменование, с этой минуты погода начитает меняться. Небо проясняется. Солнечные дни сменяют друг друга, дорога лишена каких-либо знаменательных происшествий и иных неудобств, не считая ей свойственных, как то: поломка экипажа неподалеку от Бордо, отсутствие лошадей на почтовой станции в Монтле, болезненный приступ почечнокаменной болезни у дона Эрмохенеса, заставивший академиков подыскать более-менее комфортабельную гостиницу в Ангулеме и провести в полной неподвижности несколько дней, следуя совету врача, к услугам которого прибег адмирал. Все это время он ведет себя в высшей степени предупредительно, заботливо ухаживая за другом и не отходя от его изголовья ни днем ни ночью.

— Идите спать, — умоляет больной всякий раз, когда открывает глаза и обнаруживает возле себя адмирала, который дремлет в кресле, пристроив голову и руки на его изголовье.

— Зачем? — возражает адмирал. — Я превосходно устроился.

Все это дает повод к новым разговорам и новому душевному общению, которое еще более укрепляет взаимную привязанность обоих путников. И когда они снова пускаются в путь, следуя к городу Туру, расположенному на берегу реки Луары, это уже ни дать ни взять самые настоящие закадычные друзья, несмотря на то что и в дружбе обоим присущи свои особенности; дон Эрмохенес отдается дружбе полностью, без оглядки; этому способствует природное добродушие, а также уважение, которое внушает ему новый приятель. Адмирал отвечает другу ответным доверием, сохраняя тем не менее едва уловимую дистанцию, которую ему сложно преодолеть. Он не пренебрегает множеством мелочей, которых требует дружеское общение, однако чуть более сдержан в проявлении чувств. Замкнутый по своей натуре, учтивый благодаря воспитанию, защищенный нерушимой броней острого юмора, иной раз неприветливый и угрюмый, дон Педро Сарате сдержанно реагирует на эмоции и признания, которые со своей стороны столь щедро расточает его друг.

Все перечисленное в очередной раз обнаруживается в Пуатье, когда путники, остановившись в отличной гостинице, расположенной в непосредственной близости от древнего римского амфитеатра, идут прогуляться перед ужином...

На этом многоточии, в продолжение которого оба академика гуляют по вечернему Пуатье, я прервал свое повествование, поскольку понял, — а лучше сказать, интуитивно почувствовал, — что пересекаю опасную границу в том, что касается структуры моей истории. С помощью кое-каких книг о путешествиях, а также лупы с сильным увеличением я совсем уже было собрался отметить на карте города улицу, где располагалась гостиница «Артуа», — пристанище с отличными рекомендациями, вполне пригодное для моих путников, — как вдруг сообразил, что столкнулся с чисто технической проблемой. С одной стороны, для развития сюжета мне требовалось продвигать своих персонажей далее по территории Франции с тем расчетом, чтобы романное время дало возможность читателю прочувствовать, каким долгим и утомительным было их путешествие. С другой — географически точное описание, которое разнообразили лишь некоторые незначительные дорожные происшествия, вероятные во время путешествия по суше в последней трети восемнадцатого века, слишком затянулось, занимая такое количество страниц, что это не только могло утомить обычного читателя, но даже самому автору показалось бы слишком занудным, поскольку ничего особенного они не рассказывали и не предваряли события, которые могли бы как-нибудь оживить повествование. Только дорожные разговоры между библиотекарем и адмиралом в некоторой степени разнообразили эти страницы. Однако для нынешнего момента истории все самое главное в этом отношении уже сказано; а остальное, касающееся событий в будущем, еще только предстоит продумать. Полагаю, на текущий момент я вложил в уста одного и другого героя достаточно сведений, чтобы неискушенный читатель мог составить некоторое представление о не слишком счастливой Испании той поры, которую бесконечно обсуждали путешественники, о перспективах, возможных в то роковое время; а также о благородной цели, оправдывавшей поездку в Париж за «Энциклопедией», представлявшей собой максимальное воплощение интеллектуальных достижений своего времени во всем, что касается просвещения и прогресса. Коротко говоря, обо всем, что эти образованные добрые люди, а также находившиеся на их стороне коллеги из Испанской королевской академии желали для своей отчизны. В итоге, сообразил я, история потребовала, чтобы путники как можно скорее оказались в окрестностях Парижа, а может, и в самом городе, где бы с ними уж точно произошло достаточное количество приключений, позволяющих поддержать интерес читателя к истории в целом.

Таким образом, я решил прибегнуть к эллипсису — именно этим я сейчас и занимаюсь, — что позволило бы облегчить в тексте те восемьдесят пять лиг, то есть долгую неделю пути, которые отделяли Пуатье от столицы Франции. На самом деле преодолеть это расстояние пришлось мне самому, следуя по шоссе до Тулузы; а оттуда — по N-152, которая проходит по правому берегу Луары, для разнообразия перемещаясь время от времени на дорогу, идущую по левому берегу, я проделал приятное путешествие, которое за несколько часов — дон Эрмохенес и адмирал и мечтать о таком не смели — позволило мне подняться вверх по реке. Я сделал остановку, чтобы пообедать среди виноградников, читая за столиком книгу Уреньи о путешествии в 1787 году и сравнивая карту Франции Мишелин с картой восемнадцатого века, которую раздобыла для меня Полак, прикидывая, в каких постоялых дворах и гостиницах могли останавливаться испанские академики: Амбуаз, мост Шуази, Блуа, Клери... Сегодня все эти места столь же плодородны, возделаны и богаты, как в те дни; тем не менее во времена путешествия академиков в Париж здесь уже слышались отзвуки социальных потрясений, которые чуть позже вылились во Французскую революцию. Но, учитывая промежуток времени, который еще оставался до того момента, когда Людовик Шестнадцатый потерял голову на эшафоте, народное недовольство, голод и социальное неравенство оставались все еще на втором плане — по крайней мере, для поверхностного наблюдения путешественников, которые, подобно нашим ученым мужам, следовали по дорогам Франции, любуясь ею сквозь призму восхищения, которое всякий культурный человек испытывал в ту пору по отношению в родине величайших мыслителей и передовых философов. Так, «Европейское путешествие» маркиза де Уреньи изобиловало деталями, которые я без труда представил себе как личные впечатления моих путников:

*На углу висело объявление с призывом в рекруты, показавшееся мне извлечением из Тацита или Тита Ливия. Невозможно представить себе мелочь, которая служила бы более ярким штрихом, свидетельствующим о гениальности нации.*

По прибытии в Клери, когда до Орлеана оставалось уже совсем немного, я исполнил маленький ритуал: пересек мост и на том берегу ненадолго остановился в Менге, где начинается первая глава «Трех мушкетеров»: когда у ворот постоялого двора «Вольный мельник» д'Артаньян впервые встретил своих заклятых врагов Миледи и Рошфора. Ритуал был двойным, поскольку именно в Менге, в точности следуя топологии Александра Дюма, я провел несколько дней двадцать лет назад, чтобы разыграть там эпизод из моего романа «Тень Ришелье», начинавшийся такими словами: «Ночь была жуткой. Луара бесновалась...» и т. д. В баре в центре города я опрокинул стаканчик анжуйского вина в память о тех временах, когда сам был не более чем невинным читателем — а заодно невинным новеллистом, — сверился с записями и продолжил свою дорогу к Парижу, чей образ, открывшийся в первый момент адмиралу и библиотекарю, не должен был сильно отличаться от того, который двумя десятилетиями спустя запечатлел Николас де ла Крус, описывая свое путешествие по Франции, Испании и Италии:

*Поднимаешься на пригорок, и перед тобой предстает Париж; вид его потрясает воображение, а душа желает как можно скорее раствориться в этом великолепном городе, перед которым преклоняются все народы*.

Тем не менее я решил, что в случае наших академиков следовало бы немного убавить энтузиазм де ла Круса, заменив его впечатление на другое, более сдержанное, которое всего лишь десятью годами ранее город произвел на Уренью:

*Париж открывается, только когда приблизишься к нему вплотную, поскольку располагается он в долине, которую занимает почти целиком; большую часть года его окутывают облака, кроме того, он окружен стеной, скрывающей его почти полностью, сам же город выдают купола, башни и трубы, все это в сочетании с дымом и аспидно-черными кровлями производит тягостное впечатление, которое угнетает дух и печалит сердце.*

И вот наступил момент, когда оба моих академика — дон Эрмохенес, чье воображение потрясено великолепным видом города, перед которым преклоняются все народы, и адмирал, более склонный воспринимать этот вид с некоторой горечью, которая, подобно дурному предчувствию, печалит сердце, — утомленные долгим путешествием, наконец-то въехали в столицу цивилизованного мира.

## 5. Город философов

Город похож на книгу, а горожане, передвигаясь по его улицам, эту книгу читают, на каждом шагу усваивая гражданские уроки.

Р. Дарнтон. «Бестселлеры, запрещенные во Франции до революции»

— Его светлость примет вас чуть позже... Будьте добры, подождите здесь.

Секретарь в костюме мышиного цвета, сухо представившийся как «Эредиа, секретарь посольства», с неприветливым видом указывает на кресла в зале, украшенном коврами, зеркалами и гипсовой лепниной и выкрашенном в голубой и белый цвета, а затем удаляется по коридору, не дожидаясь, пока дон Эрмохенес и дон Педро усядутся в свои кресла. Друзья несколько разочарованно осматриваются: по их представлениям, дипломатическое представительство Испании должно было встретить их радушнее. Особняк «Монтмартель» представлял собой здание, мало напоминающее дворец: без сомнения, он слишком мал для той роли, которую играет его хозяин — граф де Аранда, приближенный короля Людовика Шестнадцатого. Обоих академиков — библиотекаря, одетого в камзол из добротного темного сукна, и адмирала в синем фраке с начищенными до блеска пуговицами — удивляет убожество, как показалось им на первый взгляд, этого помещения, слишком тесного для целой свиты мажордомов, писарей, пажей и просто посетителей, которые мелькают там и сям в кабинетах и коридорах. При этом с улицы посольство производит совсем иное впечатление: у здания нарядный фасад, возле дверей дежурит статный швейцарский гвардеец в красном камзоле и белых чулках, к тому же располагается оно на улице Нёв-де-Пети-Шан, в самом сердце светского Парижа, в двух шагах от Лувра и сада Тюильри.

— С одной стороны, нарядный фасад, с другой — реальное положение дел, — ворчал адмирал, пока оба растерянно топтались у входа. — Сочетание до того испанское, что оторопь берет.

Библиотекарь обеспокоенно ерзает в кресле: не каждый день сидишь в центре Парижа, ожидая приема у графа де Аранды. Зато адмирал держится невозмутимо; он задумчиво озирает обстановку, время от времени перехватывая любопытный взгляд третьего посетителя, который также сидит в приемной, рассматривая их довольно беззастенчиво: это субъект среднего возраста, кое-как выбритый, в растрепанном и засаленном парике, одетый в камзол, чей цвет — в иные времена, очевидно, черный — сейчас можно только угадывать. Шляпа у потертого субъекта отсутствует, однако на коленях он держит тяжелую трость с набалдашником. Его ноги, худые и длинные, облачены в штопаные чулки серой шерсти, а также ботинки, которые плоховато смотрелись бы даже в каморке портного, принимающего вещи в починку.

— Полагаю, мы с вами земляки, — произносит незнакомец после продолжительного молчаливого переглядывания.

Любезный дон Эрмохенес приветливо кивает, и незнакомец отвечает ему удовлетворенной гримасой. Единственная заметная черта его крайне изможденной заурядной физиономии, обращенной к библиотекарю, это глаза: темные, живые, блестящие, как начищенный обсидиан. Глаза истинно верующего, думает дон Эрмохенес. Полные убедительности или красноречия, способных преодолеть любое препятствие. Некоторые проповедники, заключает академик, таким взглядом смотрят с амвона.

— Вы давно в Париже?

— Прибыли два дня назад, — вежливо отвечает дон Эрмохенес.

— Как устроились?

— Более-менее. Остановились в гостинице «Кур-де-Франс».

— Я ее знаю. Это тут, недалеко. Вполне сносное место, хотя кухня оставляет желать лучшего... Вы раньше бывали в Париже?

Некоторое время все трое беседуют о парижских гостиницах, пристойных развлечениях и тесноте помещения, в котором находятся.

— Малоподходящее здание, — заключает неряшливый субъект, — для дипломатической миссии такой страны, как Испания, которая, несмотря на непростые времена, все равно остается мировой державой; тем не менее арендная плата составляет ни много ни мало сто тысяч реалов. А это вам не жук начхал. Знаю из надежных источников, — неожиданно язвительным тоном продолжает он. — Можете представить, какую добрую службу сослужило бы оно человечеству, достанься ему эта запредельная сумма? Сколько голодных ртов можно было бы накормить? А скольких сирот одеть?

Не понимая до конца, кто перед ними — болтун или провокатор, — а может, некто, приставленный к ним нарочно, чтобы выведать намерения, дон Эрмохенес предпочитает отмалчиваться, с интересом рассматривая ковер у себя под ногами. Адмирал, который за все это время рта не открыл, внимательно рассматривает странного субъекта, затем отводит взгляд и обращает его на одно из зеркал, отражающее затейливый орнамент потолка. Не найдя должного отклика, субъект бормочет сквозь зубы что-то невразумительное, безразлично пожимает плечами, достает из кармана мятую брошюру и углубляется в чтение.

— Какие мрази, — бубнит он время от времени, имея в виду содержание брошюры. — Сволочи...

Из неловкой ситуации академиков выручает все тот же секретарь, который вернулся и предложил следовать за ним. У его светлости, поясняет он, нашлась свободная минута, и он готов принять их прямо сейчас. Дон Эрмохенес и дон Педро с облегчением встают со своих кресел и шагают вслед за секретарем, третий же посетитель, увлеченный чтением брошюры, даже не поднимает головы. Они следуют по длинному коридору до небольшой приемной и кабинета, в котором, сидя напротив окна, выходящего в английский садик, их поджидает человек в напудренном парике с тремя локонами с каждой стороны на висках. Он стоит, скрестив руки за спиной. Расшитый золотом бархатный камзол небесно-голубого цвета сидит на его сутулых плечах и довольно грузной фигуре на удивление ловко, что говорит в пользу портного. Остается добавить к этому желтоватый цвет кожи, плохие зубы и легкое косоглазие. Кроме того, он глуховат, заключают академики, заметив, как он склонился к секретарю, чтобы расслышать то, что он говорит.

— Дон Эрмохенес Молина и отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, ваше сиятельство... Оба из Испанской королевской академии.

Склонившись, академики пожимают руку — немного вялую, украшенную огромным топазом, — которую посол им протягивает, не приглашая садиться.

— Надеюсь, вас хорошо встретили, — произносит он с суховатой рассеянностью, после чего переводит разговор на погоду. — Вам повезло, что нет дождя, — уверяет он, любуясь солнцем, заливающим сад, с таким видом, будто солнечные лучи внезапно осмелились ему перечить. — Большую часть года здесь идут проливные дожди, можете себе представить? На улицах сплошной кошмар. — В этот миг он поворачивается к секретарю, прислушиваясь к тому, не скажет ли он что-то в ответ. — Гм... Вы согласны, Эредиа?

— Совершенно согласен, ваша светлость.

— Пользуясь этим, любой извозчик норовит содрать с вас сумму, равную двенадцати реалам. И это за полчаса! Вообразите только... Так что будьте все время начеку. Чуть расслабишься — примут за простачка.

Недовольство обоих путешественников сменяется разочарованием. Педро Пабло Абарка де Болеа, граф де Аранда, представитель его католического величества перед французским двором, никак не соответствует сложенной о нем легенде: испанский гранд, бывший посол в Лиссабоне и Варшаве, который, прежде чем впасть в нищету — если можно так назвать нынешние 12000 дублонов в год, — представлял собой главного защитника абсолютизма Испании, а также первый министр короля Карла Третьего, просвещенный политик, друг энциклопедистов, возглавлявший в свое время Совет Кастилии после бунта против Эскилаче, изгнавший из Испании иезуитов, который и сейчас из своего посольства в Париже успешно руководит войной за Менорку и Гибралтар, а кроме того, поддерживает американские колонии в их борьбе с Великобританией. И все это могущество, удачное сочетание власти, ресурсов и денег воплотилось в шестидесятилетнем человечке — сутулом, косоглазом и беззубом, который встречает академиков со смесью отвращения и вежливости, то и дело бросая нетерпеливые взгляды на часы, тикающие над камином, чей жар, вероятно, в достаточной мере согревает прохладную кровь посла, однако несказанным образом душит его посетителей, а также секретаря, который потихоньку вытаскивает платок и, умело притворившись, что сморкается, тайком вытирает лоб.

— Итак, «Энциклопедия». Правильно я вас понял? — наконец произносит Аранда.

Проговорив это, он показывает рекомендательное письмо, которое лежит на сафьяновой скатерти в распечатанном конверте. Не дожидаясь ответа, погружает подбородок в кружева, в которых сверкает орден Золотого Руна, и, скорее по привычке, произносит, обращаясь к посетителям, краткую речь о важности этого выдающегося произведения, его интеллектуальном богатстве, величайшем вкладе в современную философию, искусство и науку и так далее и тому подобное.

— Отдельные тома я держал в руках. Гм... В оригинальной редакции. Да и кто не листал ее, тут, в Париже? Гм... Между прочим, некоторое время я переписывался с Вольтером. В общем, — подытоживает он, — это хорошая идея — действительно, пусть в библиотеке Академии будет свой экземпляр. Как бы ни опечалил сей факт обычных противников прогресса. Гм. Просвещение, просвещение. Вот в чем нуждается Испания! Идеи и знания, доступные каждому, пусть даже внутри одного ордена. И пусть умолкнут строптивцы. А заодно и глупцы. У этого путешествия достойная цель. — И вся симпатия графа, конечно же, на стороне путешественников. — Дон Игнасио Эредиа всегда к вашим услугам. Гм... Очень, очень рад. Счастливого вам Парижа!

Произнеся свою речь и даже не пытаясь изобразить обычную в такие минуты учтивость, он чуть ли не подталкивает посетителей к выходу. Через секунду адмирал и библиотекарь оказываются в приемной, все еще отчаянно потея и остолбенело глядя на секретаря.

— У него непростой день, — рассеянно объясняет тот. — Нужно еще разобрать кучу писем, к тому же вечером он навещает министра финансов. Вы и представить себе не можете, какая у него жизнь. Точнее, у нас.

Добрейший дон Эрмохенес сочувственно кивает. Адмирал, наоборот, угрюмо переводит взгляд с секретаря на дверь, которая только что захлопнулась у них за спиной.

— Граф или посол, — цедит он сквозь зубы, — не может быть, чтобы...

Секретарь недовольно поднимает руку, призывая к терпению. В другой руке он держит папку, набитую бумагами, которую заботливо прячет от чужих взоров, так что академики не успевают рассмотреть, имеют ли эти бумаги отношение к ним или нет, — тем не менее подозревают, что ни малейшего. В следующее мгновение секретарь поднимает на них глаза с таким видом, точно начисто позабыл, что они все еще здесь.

— Ах да, «Энциклопедия», — произносит он наконец. — Будьте добры, следуйте за мной.

Он провожает адмирала и библиотекаря в кабинет, где их глазам открывается пюпитр, за которым работает писарь, архивные картотеки из темного дерева и обширный стол, беспорядочно заваленный бумагами. Прямо на полу вдоль стен высятся пачки документов, перевязанные бечевой.

— Сейчас я вам все объясню, — говорит Эредиа, придвигая академикам стулья и присаживаясь напротив.

В самом деле, очень скоро им все становится ясно. Несмотря на рекомендательное письмо, подписанное маркизом де Оксинага, консульство Испании не имеет возможности непосредственно вмешиваться в это дело. «Энциклопедия» — книга, включенная в «Индекс запрещенных книг» Святой инквизицией, а данная дипломатическая миссия представляет интересы короля, который, будучи обладателем многочисленных титулов, является также Его Католическим Величеством. Известно, что Испанская королевская академия получила лицензию, позволяющую иметь в библиотеке запрещенные книги; однако это разрешение предусматривает только лишь обладание и чтение, но не транспортировку оных. Это и есть самая важная деталь — в этом пункте секретарь учтиво улыбается дежурной улыбкой, — о последствиях коей, как он надеется, посетители догадываются сами. В целом проблема заключается в том, что посольство Испании, несмотря на свое положительное отношение к делу, не может участвовать в приобретении и перевозке книг. Оно обязано воздержаться от этих действий.

— И что это означает? — недоуменно спрашивает дон Эрмохенес.

— Это означает, что, при всей нашей симпатии, официально мы не можем вам помочь. Общением с издателями и продавцами книг вам придется заниматься самостоятельно, напрямую.

Библиотекарь теряет терпение.

— А доставка? Чтобы упростить возвращение в Мадрид, мы собирались везти груз, пользуясь дипломатической неприкосновенностью. Я хочу сказать, с пропуском от посольства.

— С нашей диппочтой, вы хотите сказать? — Секретарь бросает быстрой взгляд на писаря, который по-прежнему работает за своим пюпитром, затем возмущенно выгибает брови. — Нет, это невозможно. Подобные действия совершенно недопустимы.

Нетерпение дона Эрмохенеса сменяется тревогой. Напротив, адмирал выслушивает секретаря, не разжимая губ. Суровый и невозмутимый, как всегда.

— Может быть, вы могли бы нам хоть что-то посоветовать? Например, где...

— Боюсь, лишь в общих чертах. Кроме того, должен предупредить вас кое о чем. Во-первых, во Франции «Энциклопедия» также находится под запретом. По крайней мере, официально.

— Да, но ее печатают и продают. По крайней мере, так было еще недавно.

На сей раз секретарь улыбается — сдержанно и чуть высокомерно.

— Не все так просто, как может показаться. История этих книг — бесконечная череда разрешений и запретов. Так было начиная с первого тома. Тогда папа распорядился сжечь все книги под угрозой отлучения от причастия. А французский парламент решил, что книга — всего лишь прикрытие, чтобы разрушить церковь и расшатать государство, и отозвал разрешение на издание... Вне покровительства людей определенного веса, разделяющих идеи ее издателей, «Энциклопедию» просто перестали бы печатать после первых же изданных томов. В конце концов, в типографии наловчились ставить на книги специальную отметку, чтобы выглядело так, будто они печатаются за границей.

— В Швейцарии, как мы поняли, — уточняет дон Эрмохенес.

— Совершенно верно. В Невшателе. Все это превратило «Энциклопедию» в своего рода...

— Издательский миф?

— Именно: книга есть, хотя одновременно ее нет. Ее печатают, хотя не печатают.

— Но она по-прежнему продается?

Секретарь вновь бросает быстрый взгляд на писаря, который, склонившись над пером, чернильницей и бумагой, занят своим делом.

— Официально опять-таки нет, — отвечает он. — Точнее, в завуалированной форме. На самом деле полное собрание уже не выходит: его перестали печатать. Последние два тома были опубликованы восемь или девять лет назад, и вряд ли можно их запросто где-то купить.

— По нашим сведениям, кое-где «Энциклопедию» все еще можно найти. Именно поэтому мы и здесь.

Секретарь делает двусмысленный жест, выглядящий очень по-французски: машет рукой, скривив рот.

— Думаю, вы сможете приобрести подпольные издания, отпечатанные в Англии, Италии или Швейцарии в расчете на издательский успех; однако они сомнительного качества, с ошибками и поправками. Во Франции продаются репринтные или новые издания, лишь до некоторой степени соответствующие оригиналу. Впрочем, если я не ошибаюсь, есть один экземпляр ин-кварто...

Дон Эрмохенес отрицательно качает головой.

— Нас интересует только ин-фолио.

— Достать его не так просто. Лучше ограничиться репринтом. Который к тому же дешевле обойдется.

— Да-да, конечно. Но, видите ли, речь идет об Испанской королевской академии. — Адмирал чуть подался вперед в своем кресле, тон его сделался серьезным. — Существуют сложившиеся традиции, которым мы обязаны следовать... Понимаете, что я имею в виду?

Под твердым взглядом голубых глаз секретарь моргнул.

— Разумеется.

— Как вы считаете, удастся ли нам отыскать двадцать восемь томов самого первого полного издания?

— Думаю, приобрести их возможно... Если вы, конечно, готовы заплатить столько, сколько за них потребуют.

— А именно?

— Приблизительно это вам обойдется в шестьдесят луидоров.

Дон Эрмохенес посчитал на пальцах.

— Что означает...

— Около тысячи четырехсот ливров, — уточняет адмирал. — А в испанских реалах — около шести тысяч.

— Пять тысяч шестьсот, — уточняет секретарь.

Дон Эрмохенес смотрит на друга с облегчением. Максимальная сумма, предназначенная для приобретения двадцати восьми томов «Энциклопедии», изначально составляла 8000 реалов, что равнялось почти двум тысячам ливров. Если не считать каких-либо осложнений и непредвиденных расходов, этого должно хватить.

— Такая сумма нам по силам, — подытоживает библиотекарь.

— Отлично. — Секретарь встает с кресла. — Это все упрощает.

Они выходят так поспешно, что писарь не успевает поднять голову от своего пюпитра. Секретарь ведет их по коридору. Отделавшись от них, он явно испытывает облегчение.

— Не могли бы вы по крайней мере дать нам адрес торговца книгами, которому можно доверять? — просит адмирал.

Секретарь замедляет шаг, досадливо хмурит брови и смотрит на них с сомнением.

— Как я вам уже объяснял, это вне компетенции посольства. — Внезапно ему в голову будто бы приходит свежая мысль. — Но кое в чем я действительно мог бы вам помочь от себя лично: познакомить вас с одним подходящим человеком.

Пригласив их следовать за собой, он делает несколько шагов к приемной, где они некоторое время назад ожидали приглашения посла. Приоткрыв дверь, секретарь с порога указывает на потертого субъекта в черном камзоле, который по-прежнему сидит в кресле, читая свою брошюру.

— Думаю, вы уже видели его раньше, это аббат Брингас.

Известие о том, что Салас Брингас Понсано имеет отношение к этой истории, застало меня врасплох. Упоминание о нем я с удивлением обнаружил в двух письмах из тех, что адмирал и библиотекарь отправили из Парижа и чьи оригиналы среди прочих документов хранились в архиве библиотеки. Как и всякий, кто читал о последних десятилетиях восемнадцатого века, изгнании просвещенных испанцев и Французской революции, я имел некоторое представление о том, кто таков аббат Брингас. А обнаружив его имя в связи с путешествием академиков, я постарался узнать о нем как можно больше. Мне помогли кое-какие книги из моей библиотеки: письма Моратина — «Этот неразумный Брингас, одержимый и блистательный», книга Мигеля Оливера «Испанцы и Французская революция», обширная биографии графа де Аранды, составленная Олаэчеа и Феррером, «История Французской революции» Мишелета и не менее монументальная «История инакомыслия в Испании» Менендеса-и-Пелайо. Кроме того, Франсиско Рико в своих «Авантюристах Просвещения» посвятил ему целую главу. Этого было достаточно, чтобы понять моего героя, однако с помощью «Испанского биографического словаря» я мог дополнить свои знания целой массой сведений, содержащихся в различных исторических произведениях, хранящихся в библиотеке Испанской королевской академии, а также некоторыми любопытными фактами, которые я раздобыл чуть позже благодаря общению с профессором Рико. И вот наконец я почувствовал, что справлюсь с задачей и опишу ту роль, которую сыграл этот странный субъект в долгих и непростых поисках «Энциклопедии».

Жизнь легендарного аббата Брингаса — свой титул он получил в Сарагосе, где изучал теологию и юриспруденцию, — вероятно, заслуживала бы целого романа, который по сей день никто не удосужился написать. Родился он в Сиетамо, провинция Уэска, в 1740 году; этот факт указывает на то, что на момент встречи в Париже с доном Педро Сарате и доном Эрмохенесом ему было около сорока лет. К этому времени за спиной Саласа Брингаса имелась богатая биография: беглец, осужденный инквизицией за поэму «Тирания», которая затем ассоциировалась с испанскими изгнанниками из Байонны, он познал свою первую французскую тюрьму — как, по крайней мере, утверждал сам — после публикации в Париже памфлета «О природе королей, пап и прочих тиранов», изданного под псевдонимом. Годы спустя он как ни в чем не бывало прибыл из Италии, откуда привез неизданные стихотворения лесбийской Сафо, переведенные на латынь — «*Furor vagina ministrat* » и так далее, — которые издал с большим скандалом, причем в итоге выяснилось, что это фальшивка, выполненная его собственной рукой. На этот раз из тюрьмы его вытащил граф де Аранда — как и он, уроженец Сиетамо, уже занимавший в то время должность испанского посла в Париже; графа весьма позабавило хитроумное прошение в стихах, которое Брингас, обращаясь к земляку, уроженцу Уэски, написал ему из тюрьмы. Толерантность де Аранда позволила живописному аббату худо-бедно существовать в Париже, где он связался с радикалами и эмигрантами, которые наводнили Париж за годы, предшествовавшие революции, переводя Дидро и Руссо на испанский и зарабатывая при этом на жизнь разменом денег, услугами посредника, сводника или гида, продавца сувениров, безделиц, порнографии и припарок для выкидышей; несмотря на все эти особенности биографии, аббата охотно принимали в приличных домах и гостиных, где собиралось избранное общество, развлекавшееся с присущим ему утонченным развратом, изобретательностью и бесстыдством. Отбытие де Аранда и публикация нового памфлета под названием «Религиозная нетерпимость и враги народа» стали причиной того, что аббата вновь бросили за решетку, где он находился до тех пор, пока, по счастливой случайности, не стал одним из заключенных, освобожденных 14 июля 1789 года. С этого дня жизнь его без труда просматривается в исторических книгах, посвященных той эпохе: француз иноземного происхождения, друг испанцев Госмана и Марчены, — с которыми разделался с помощью доноса, когда дантонисты и жирондинцы впали в немилость, — осужденный и лишенный всех наград революционным трибуналом, соавтор «*L’Ami du Peuple* »[[18]](#footnote-18) Марата — мятежник и подстрекатель Брингас занял место в Национальном Конвенте, служил в радикальных дружинах, превратившись во времена террора в кровожаднейшего оратора, и в итоге был обезглавлен вместе с Робеспьером и его друзьями, заняв под ножом гильотины третье место — в точности вслед за Сен-Жюстом, последние же слова его были: «Идите все в жопу». Чтобы лучше понять общий ораторский и идеологический пафос аббата, достаточно бросить взгляд на следующий небольшой отрывок из его поэмы «Тирания»:

Кто назначал сих королей, пап и регентов

Арбитрами закона, судьями мира?

И кто помазал сей смрадный род

порочащим и скверным миром?

Таков был в общих чертах аббат Брингас: поэт, памфлетист, революционер. Загадочный субъект, о котором в это мгновение ни адмирал, ни библиотекарь не знали ровным счетом ничего и которого секретарь посольства Игнасио Эредиа, чья эпистолярная связь с Хусто Санчесом Терроном, возможно, сыграла определенную роль, посоветовал им в качестве помощника для поисков «Энциклопедии». Будущий якобинец, неутомимый поставщик свежего мяса для гильотины, а впоследствии — ее жертва: Мишле назовет его *scélérat déterminé*[[19]](#footnote-19), Ламартин — *Jacobin fou*[[20]](#footnote-20), а Менендес-и-Пелайо, читавший обоих, «безумцем, гениальным и безжалостным». Но, конечно, никто не мог подозревать в тот день, что своим решением секретарь передал судьбу ученых мужей в чрезвычайно опасные руки.

— Итак, она перед вами, — уверяет Брингас, почесывая ухо под засаленным париком. — Улица, за фасадами которой скрывается *tout Paris*[[21]](#footnote-21)... Всемирный Вавилон!

Они пересекли мостовую и, миновав Пале-Рояль, в котором идут ремонтные работы, оказались на Сент-Оноре. В самом деле: перед ними открывается завораживающее зрелище. Привыкшие к мирному, почти провинциальному очарованию Мадрида, адмирал и библиотекарь осматриваются, потрясенные бесконечной ярмаркой с участием тысяч людей, которые входят, выходят или прогуливаются по магазинам элегантного бульвара, вдоль которого выстроились роскошные особняки.

— Перед вами, — рассказывает их отталкивающего вида гид, — самое знаменитое место Парижа: Мекка всех модников, где каждый может найти себе все, что душе угодно, в зависимости от вкусов и пристрастий: лучшие книжные лавки, трактиры, кофейни, где можно расслабиться, рассматривая фланирующую публику или почитывая газету, бесчисленные лавочки с необъятным ассортиментом изысканных изделий, начиная от научных приборов и заканчивая роскошным шитьем, магазинами готового платья, шляп, перчаток, одеколонов, тростей и всевозможных аксессуаров. Дамы — здесь они в большинстве — чувствуют себя как в раю: почтенный отец семейства кровавым потом изойдет, пока удовлетворит капризы супруги или дочек, рыскающих в поисках последней модели, которую сделала писком моды некая принцесса или герцогиня, — ведь именно так с пеной у рта утверждают мадам Булар, мадемуазель Александра и прочие прославленные модистки. Прогуливаясь по этой улице, даже самая сдержанная дама способна буквально доконать своего супруга. Говорят, скоро у этого места появится серьезный конкурент, причем прямо здесь, в Пале-Рояль. Вы же заметили, сколько там каменщиков: все в лесах! Это место является собственностью герцога Шартрского, кузена самого короля, и сейчас этот герцог окружает его широченными крытыми галереями, которые потом поделит на лавки и отдаст в аренду продавцам и предпринимателям. Его махинации с недвижимостью обсуждает весь город, однако они принесут пройдохе герцогу целое состояние... Может, желаете чего-нибудь выпить?

Не дожидаясь ответа, аббат усаживается в одно из плетеных кресел, которые стоят прямо на солнце у мраморных столиков уличного кафе. Академики тоже садятся, появляется официант, Брингас заказывает себе и остальным шоколад с водой. А себе еще и бисквиты, чтобы окунать их в шоколад.

— Я так спешил, столько неотложных дел... Выскочил из дома, не позавтракав.

Ожидая заказ, обсуждают Сент-Оноре: как случилось, что обычный городской квартал превратился в модное и элегантное место, куда приходит полгорода — других посмотреть, себя показать? Аббат указывает тростью на разряженных в пух и прах дам в кокетливых шляпках, называя их по именам, а также на мужчин в напудренных париках, с родинкой на щеке и при двух часах с блестящими крышками, кокетливо подвешенных на цепочке к жилету — тупые хлыщи, ворчит аббат сквозь зубы, делая вид, что вот-вот плюнет в их сторону, — которые сопровождают разряженных дам, послушно неся на руках их карманных собачек.

— Вся жизнь этих женщин — одно сплошное жеманство. Все легкомысленно, все по-французски: учителя танцев, парикмахеры, модистки, повара... Вы глубоко ошибались, сеньоры, думая, что Париж населяют сплошь ученые и философы!

Зловеще улыбаясь, Брингас красочно описывает обычный день из жизни парижских дам: двенадцать часов в постели, четыре — у зеркала, пять в гостях и три на прогулке или же в театре. На этой улице и в ее окрестностях, всюду, где царят *monde*[[22]](#footnote-22) и его жрицы и превыше всего на свете ценится изобретение новой прически, нового шербета или духов, начинаешь сомневаться в поступательном развитии человеческого разума. А в это же время в бедных кварталах люди умирают от болезней и голода, обшаривают рынки в поисках гнилых овощей, женщины идут на панель, чтобы принести домой кусок черствого хлеба. В Париже, между прочим, проживают тридцать тысяч публичных женщин, уточняет он. Именно так: ни больше ни меньше. Не считая, конечно, содержанок и тех, кто скрывает свое занятие.

— В один прекрасный день все это вспыхнет на костре истории, — с порочным наслаждением рассуждает Брингас. — Но покуда дела обстоят так, а не иначе, остается только ждать.

Академики переглядываются, молча вопрошая друг друга, в ту ли компанию они попали, имея в виду своего нового знакомого, не говоря о его жуткой манере произносить отдельные испанские слова. В этот миг им приносят чашки с шоколадом, Брингас с подозрением пробует его, окуная бисквит, после чего принимается отчитывать официанта и в конце концов требует унести шоколад и подать кофе.

— Да, и к нему — баварский крем, — добавляет он.

Адмирал замечает, как какой-то мужчина, сидевший за одним из ближайших столиков, присмотревшись повнимательнее, внезапно покидает свое место и направляется прямиком к ним. Издали он выглядит вполне добропорядочно; однако вблизи заметно, что его камзол и шляпа потрепаны и грязны. Приблизившись к их столику, он произносит несколько слов на беглом французском, который адмирал едва успевает разобрать: кажется, ему необходимо срочно продать им некий предмет, драгоценность или нечто в этом роде, который он выразительно ощупывает в кармане.

— Нет, благодарю, — сухо отвечает адмирал, разгадав его намерения.

Тип рассматривает его бесстыдно и вызывающе, уставившись прямо в глаза, затем поворачивается и пропадает из виду, смешавшись с толпой.

— Вы правильно поступили, друг мой, — говорит ему Брингас. — Этот город кишит проходимцами вроде этого типа, от которых лучше держаться подальше... Однако позвольте дать вам полезный совет: в Париже ни в коем случае нельзя говорить «нет», это звучит почти как оскорбление. Приблизительно как в Испании в открытую заявить человеку, что тот соврал.

— Забавно, — произносит адмирал. — Как же тогда следует отвечать на подобную бесцеремонность?

— Например, слово «пардон» отлично уладит любой вопрос. К тому же позволит избежать укола шпагой — неподалеку отсюда, на Елисейских полях. Представьте себе, в Париже дуэли — обычное дело. Чуть ли не каждый день в центре города кого-нибудь режут!

— Надо же. Я был уверен, что дуэли здесь запрещены, как и на нашей родине.

Физиономию Брингаса искажает злодейская ухмылка.

— Насчет «нашей» мы обсудим в другой день и в более спокойной обстановке, — говорит он, ковыряясь в носу. — Что же касается дуэлей, они действительно запрещены. Однако французы, особенно некая особенно ничтожная их разновидность, весьма щепетильны в вопросах самолюбия... В этом городе дуэль — такое же модное явление, как парики из цыплячьего пуха, кружевные капоры или швейцарские треуголки.

Адмирал улыбается.

— Обязательно возьму на заметку, и спасибо за совет... А вам самому случалось драться?

Аббат разражается театральным хохотом и делает широкий жест правой рукой, словно приглашая в свидетели всю улицу Сент-Оноре. Затем подносит руку к груди — как раз к тому месту, где у него на камзоле виднеется штопка.

— Кому, мне? Дьявол меня сохрани от подобных дел! Я бы никогда не рискнул таким чудесным даром, как жизнь, ради какого-то тупого спектакля. Свою честь я отстаиваю с помощью разума, культуры и силы слова. Если бы к этим орудиям мы прибегали почаще, настали бы совсем другие времена!

— Что ж, это очень похвально, — подтверждает мирный дон Эрмохенес.

Им приносят счет. Брингас энергично шарит по карманам и со всевозможными ужимками просит извинения: кошелек он забыл дома. В итоге расплачивается адмирал — что и было очевидно ровно с того момента, как они уселись за столик, — затем все покидают кресла и возобновляют прогулку, аббат же поигрывает тростью и рассказывает про все, что встречается им на пути, прерывая свои речи лишь для того, чтобы бросить выразительный взгляд на хорошеньких гризеток, торгующих в уличных лавках.

— Вы только полюбуйтесь, сеньоры, на эту Венеру, которая выглянула из-за дверей. Какое бесстыдство, какое пленительное сладострастие! Или вон на ту. Ох уж эти красотки! Вечно они связываются с проходимцами, чьих средств не хватает на роскошную содержанку или танцовщицу из Оперы. А ведь нередко они даже влюбляются в них, бедняжки. В этих магазинах, выставленные на всеобщее обозрение, они как пушечное мясо, предназначенное на короткий или чуть более длительный срок. Вы меня понимаете... Меня просто бесит, когда я вижу все эти прелести, отданные на потеху продажного мира и коррумпированного века. Впрочем, если вы желаете...

Аббат многозначительно умолкает, искоса поглядывая на академиков, а не получив отклика, без малейшего стеснения переходит на другую тему. К этому времени адмирал и библиотекарь уже уяснили, что собой представляет их живописный гид. Однако, решают они про себя, этот человек как свои пять пальцев знает город, который им не знаком, и чувствует себя в нем как рыба в воде.

— Есть у меня один знакомый букинист. У него лавка на улице Жакоб, это противоположный берег, — продолжает аббат. — Там есть отдельные тома «Энциклопедии», или, по крайней мере, были раньше. Если не возражаете, можем начать с него.

— Отлично, — кивает дон Эрмохенес.

Внезапно они шарахаются в сторону, пропуская летящую во весь опор карету.

— Кстати, будьте осторожны с этими фиакрами: извозчики — народ бессовестный, переедут и глазом не моргнут. Впрочем, если хотите, можем взять экипаж. Сейчас не лучшее время для прогулок.

Минут двадцать спустя карета везет их в сторону Пон-Рояль, забитого экипажами и усыпанного конским навозом, мимо Лувра, вдоль Сены, и академиков завораживают широкое русло реки, а также городской пейзаж, чей вид открывается с ее берегов.

— Перед вами статуя Генриха Четвертого на Новом мосту, — сообщает Брингас, подперев подбородок руками, сложенными поверх набалдашника трости. — А за крышами острова, разделяющего реку на два рукава, вы можете видеть конусовидные башни Нотр-Дам — наглядного воплощения того, как бездарно транжирят люди свой талант и богатство на ритуалы и суеверия, способные насытить лишь тех, кто в этом не очень-то нуждается. Если бы эти проклятые деньги нашли более удачное применение...

— Подозреваю, сеньор аббат, — перебивает его адмирал, — что, несмотря на титул, вы человек не слишком набожный.

Брингас смотрит на него хмуро, вопрос явно его смутил.

— Нет, признаюсь откровенно, раз уж вы спрашиваете. Это давняя история... В любом случае, надеюсь, мои замечания вас не обидели.

Академик невозмутимо улыбается.

— Ни в коем случае! Я не настолько чувствителен. А вот мой друг, боюсь, смотрит на вещи несколько иначе... Дон Эрмохенес — человек терпеливый. Я бы даже сказал, великодушный. Однако некоторые высказывания могут задеть его веру и чувства.

— Да-да, простите, — с преувеличенной горячностью извиняется Брингас. — Уверяю вас, я не хотел...

— Не обращайте внимания на адмирала, — примирительно замечает библиотекарь. — Ваши слова нисколько меня не задели. Вы можете свободно рассуждать о чем угодно. Тем более здесь, в городе философов.

— Весьма рад это слышать. На самом деле я говорю абсолютно искренне. Менее всего мне хотелось бы показаться бесцеремонным.

Несмотря на улыбку и доброжелательный тон, Брингас поглядывает на адмирала косо, словно в голове у него шевелятся тайные подозрения или он вот-вот скажет ему колкость. Адмиралу, который все чувствует, на кратчайший миг видится в этих жестких черных глазах нехороший, опасный огонек, отблеск смутной угрозы или жажды мести. Однако думать об этом времени у него не остается, потому что экипаж как раз останавливается на перекрестке оживленных улиц. Это место отличается от противоположного берега реки: мелькают лакеи, скромные буржуа, ремесленники, носильщики, а также простой люд, и с виду никто не выглядит праздно: все ведут себя деятельно и активно.

— Улица Жакоб, — победоносно провозглашает аббат.

Они высаживаются из фиакра, Брингас вновь тянет руку за кошельком, бесцельно ощупывая карманы, в итоге адмирал платит извозчику двадцать сольдо, тот яростно протестует, пока аббат не произносит, обращаясь к нему, несколько быстрых и выразительных слов на жаргоне предместья; чертыхаясь, извозчик щелкает хлыстом и исчезает вместе со своей каретой.

— Вот мы и прибыли. Знакомьтесь: Лесюёр, владелец типографии и продавец книг, а также поставщик Его Величества короля... Если, конечно, Его Величество Людовик Шестнадцатый, этот шницель с глазами, способен что-нибудь прочитать.

Аббат поправляет парик и плюет на тротуар, словно король ползает где-то внизу у его ног, затем все трое пересекают улицу.

Продавец книг по имени Лесюёр — худой, невзрачный, седоватый человек. Он носит бакенбарды, подстриженные на немецкий манер, что довольно-таки непривычно выглядит в Париже, где царит повальная мода на бритые физиономии. В остальном же его внешний вид — серый, выглаженный халат, домашняя шапочка из шерсти — столь же опрятен, как и лавка. Большое окно с поднятыми жалюзи впускает уличный свет, освещающий золотое теснение и вензели на корешках книг: выстроившись на полках, эти книги терпеливо поджидают покупателя. Все в лавке пропахло вощеной кожей и новой бумагой, чистотой и опрятностью. На прилавке высится стопка разрозненных экземпляров «*Journal des Sçavants»*[[23]](#footnote-23), а также несколько томиков в бумажном переплете, только что выгруженных из мешка, который стоит на полу, еще до конца не разобранный. Надпись на книгах привлекает внимание академиков: «*Mé moire sur la découverte du magné tisme animal»*[[24]](#footnote-24), Месмера.

— Очень сожалею, но первого издания «Энциклопедии» у меня нет, — разводит руками Лесюёр. — И даже из репринтного имеются лишь отдельные тома. Все, что есть, — это первые одиннадцать томов, изданные в Невшателе; однако оно ин-кварто, что было в ту пору более востребованно и вышло поэтому в тридцати девяти томах... Вряд ли это то, что вы ищете, господа.

Произнося эту речь, он поворачивается к одной из полок, где рядком стоят книги в серой картонной обложке, и достает экземпляр с бумажным ярлычком на корешке.

— Зато все это можете забирать хоть сейчас, — добавляет он, показывая открытый том. — Дайте мне пару недель, и я обещаю, что в вашем распоряжении будет полное собрание... И, уж конечно, оно обойдется куда дешевле, чем первое издание. Первое считается раритетным и, если вы сумеете его достать, будет стоить никак не меньше двух тысяч ливров.

— В посольстве нам говорили о тысяче четырехстах, — мягко возражает дон Эрмохенес.

— Тот, кто вам это сказал, вряд ли разбирается в теме. Первое издание вышло тиражом четыре тысячи экземпляров и продавалось по двести восемьдесят ливров; однако коммерческий успех был так велик, что цена возросла. Несколько лет назад я продал полное собрание за тысячу триста ливров, что в вашей валюте будет, сдается мне...

— Пять тысяч двести реалов, — уточняет адмирал, неплохо ориентирующийся в цифрах, рассматривая книгу, которую передал ему продавец. Это добротное издание, несмотря на размер гораздо меньше оригинального ин-фолио:

*Mis en ordre et publié par M. Diderot.*

*Et quant à la partie mathématique, par M. D’Alembert.*

*Troisié me é dition*

*À Genève, chez Jean-Lé onard Pellet.*

*À Neuchâtel, chez la Société Typographique*[[25]](#footnote-25).

— Умножьте эту цену в три раза, если вы его, конечно, найдете, — предупреждает продавец.

Адмирал перелистывает страницы, дон Эрмохенес и аббат Брингас рассматривают книгу поверх его плеча.

— Боюсь, это превысит наши возможности.

Продавец барабанит пальцами по прилавку.

— В таком случае желаю вам удачи, потому что она вам пригодится. Имейте в виду, количество первых напечатанных «Энциклопедий», дошедших до подписчиков, скорее всего, было еще меньше, поскольку всегда приходится учитывать поврежденную бумагу или бракованные обложки. Кроме того, большая часть экземпляров была распродана за пределами Франции... В общем, книга чрезвычайно редкая. И конечно, дорогая.

Адмирал показывает ему экземпляр, который держит в руках.

— А что вы думаете об этом?

Лесюёр задумчиво смотрит на книгу, затем пожимает плечами.

— Не буду вас обманывать: перед вами репринт, о котором все говорят, что он с точностью воспроизводит оригинал. На самом же деле в нем есть существенные отличия... Думаю, это не то, что вы ищете.

— Благодарю за вашу искренность, сударь.

— Не за что. Книжная лавка — дело серьезное.

Продавец берет книгу из рук адмирала и возвращает ее на полку.

— Но если вы вдруг передумаете, — продолжает он, аккуратно ставя том вровень с другими книгами, — за это издание я могу назначить вам выгодную цену в двести тридцать ливров... Уверяю вас, это почти даром. Во Франции вряд ли найдется более полусотни полных собраний.

— Признаться, мы в некоторой растерянности, — сообщает дон Эрмохенес. — А сколько всего существует изданий «Энциклопедии»?

— Помимо первого, которое вы разыскиваете, и не беря в расчет неавторизованные копии, которые за последние годы размножились, подобно, например, итальянской, изданной в Лукке, в обороте находится больше, чем обычно полагают: репринтное издание ин-фолио тиражом две тысячи с чем-то экземпляров, отпечатанное в Женеве между 1771-м и 1776-м, издание Леворно, также ин-фолио, которое завершили всего пару лет назад, и, наконец, это ин-кварто, которое я вам предлагаю...

— Я так понял, было еще одно, также небольшого формата, — подсказывает аббат Брингас.

— Да, ин-октаво. Новое издание в тридцати шести томах и отдельные три тома с гравюрами, которое печатается в Лозанне и Берне. Между прочим, о нем имеет смысл подумать... Если вы желаете сэкономить и не слишком торопитесь приобрести все тома, я бы предложил вам подписку за двести пятьдесят ливров...

— Почему вы говорите, что мы не должны слишком торопиться?

— Потому что из этого издания вышли пока лишь первые тома, остальные же появятся самое меньшее через пару лет. Книгоиздание — дело неспешное. Крупные произведения сперва выходят в сокращенном виде, чтобы привлечь к себе внимание, затем находят подписчиков. Печатные станки не заработают, пока не получат первые взносы.

— Но можно ли доверять точности этих изданий?

— Даже не знаю, что вам ответить. Я ведь уже рассказывал о судьбе издания из Невшателя. Постоянные проблемы с цензурой: то один вмешается, то другой...

— Даже Ассамблея французских клириков, и та влезла, — ворчливо поясняет Брингас.

— Да, это так, — подтверждает продавец.

Из-за чьего-то доноса полиция преследовала шесть тысяч репринтных томов, которые переиздал Панкук; а граф Шуазёль после скандала, длившегося шесть лет, добился того, чтобы книги вернули издателю. Но этим дело не ограничилось: Дидро, главный вдохновитель первого издания, выразил недовольство результатами и пожелал кое-что исправить или даже переиздать все собрание целиком. Другие авторы, такие как д’Аламбер и Кондорсе, редактировавшие статьи в оригинальной версии, также взялись за репринтные издания, что-то добавляя, что-то исправляя. В итоге оригинальные тексты уже нельзя считать прежними. Разумеется, что-то меняется к лучшему. Так, по крайней мере, думает Лесюёр. Однако он не уверен, что подобное можно утверждать о собрании в целом.

— Таким образом, — поясняет торговец, — в том, что касается следования первоначальному замыслу, выбирать следует оригинал, чьи первые десять томов были отпечатаны между 1751-м и 1772 годом в Париже, а десять последующих помечены поддельными выходными данными типографии Невшателя... Вот почему это издание считается столь редким. И стоит так дорого.

— Вы думаете, они остались у кого-то из ваших коллег? — спросил дон Эрмохенес.

— Точно не знаю. Могу навести кое-какие справки, однако в случае успеха с вас причитаются комиссионные.

— Комиссионные — это сколько? — интересуется Брингас с лукавым блеском в глазах.

— Как правило, около пяти процентов.

Брингас хмурится, что-то прикидывая в уме. Не хватает только бумаги и карандаша, замечает адмирал. Сотня ливров для Парижа крупный куш, тем более по мнению такого пройдохи, как аббат.

— А у букинистов?

— С букинистами тоже не так-то просто. В лучшем случае вы у них найдете отдельные тома. Это не самая популярная книга. А может, вам повезет, и вы отыщете владельца, готового продать собрание целиком. Если вы оставите мне свой адрес...

— В этом нет нужды, — с подозрительной поспешностью вмешивается Брингас. — Я сам займусь этим делом. Можете действовать через меня.

— Как вам угодно. — Лесюёр замечает внимание, с которым адмирал рассматривает стоящие на прилавке книги. — Вижу, мсье, вас заинтересовал Месмер.

Адмирал согласно кивает. Он берет книгу и с удовольствием ее перелистывает: качественная бумага, великолепное издание. Он уже наслышан об этом австрийском профессоре и его любопытнейших экспериментах с гипнозом, основанных на последних исследованиях в области магнетизма, электричества и космологии, открытыми, в свою очередь, Франклином и братьями Монгольфье.

— Испанские газеты упоминали об этих экспериментах.

— Верно, — подтверждает дон Эрмохенес. — Но у нас подобные эксперименты связывают, как правило, с янсенизмом и масонами, поэтому продажа этих книг запрещена.

Услышав слово «Испания», продавец снисходительно улыбается.

— Здесь вы можете приобрести эти книги совершенно свободно, хотя лучше все-таки поторопиться. Мне прислал их издатель Дидо, и покупатели их буквально из рук вырывают... Могу предложить вам этот экземпляр за три ливра. Или за пять, если вы предпочитаете переплет из тонкой кожи с золотым тиснением на корешке. Желаете взглянуть?

Адмирал колеблется, однако улыбка превосходства, которая все еще не сходит с губ продавца, в конце концов его разубеждает. У всякого явления есть свои достоинства и свои недостатки. Возможно, иногда быть испанцем — настоящее проклятие, но свои сложности есть повсюду: в Мадриде — инквизиция, в Париже — Бастилия. И пусть этот Лесюёр бабушку свою развлекает книгами. Или самого дьявола.

— Нет, большое спасибо, — сухо отвечает адмирал. — Как-нибудь в другой раз.

Надев шляпу и толком не попрощавшись, дон Педро Сарате решительно покидает книжную лавку.

*Сеньору дону Мануэлю Игеруэле, Мадрид.*

*Согласно нашему уговору держать Вас в курсе, довожу до Вашего сведения, что оба путешественника остановились в гостинице на улице Вивьен неподалеку от посольства Испании. По моим сведениям, они посетили графа де Аранда. Тот уделил им не особо много внимания, передав их в руки некоего испанца, проживающего в Париже. Субъект отзывается на имя Салас Брингас. Это мелкий литератор без определенных занятий. Перебивается написанием ничтожных памфлетов, а также обделывает темные делишки, работая то на одних, то на других. Насколько удалось разузнать, слывет бунтовщиком и вольнодумцем. Был связан с инквизицией, а в Испании имел проблемы с законом (в испанской полиции на него наверняка заведено дело, а то и не одно). Также субъект известен в кругах испанских эмигрантов в Байонне и Париже. Здесь он как минимум дважды сидел в тюрьме. Они с графом де Аранда земляки (если не ошибаюсь, родились в одном городе), что дает Брингасу право часто посещать посольство Испании. Говорят, здесь его используют как поверенного в различных делах и мастера на все руки. Кроме того, он завсегдатай некоторых светских салонов, где его терпят благодаря обаянию и живописному виду. Еще его можно встретить в кофейнях, где проводят время философы и устраиваются политические диспуты.*

*Что касается наших путешественников, они сделали кое-какие попытки приобрести то, за чем пожаловали, однако пока безуспешно. По моим сведениям, издание, которое они ищут, достать не так-то просто. В остальном ничем особенным они не занимаются. В свободное от книжных лавок время разгуливают по центральным улицам или сидят в кофейне, где читают французские, испанские или английские газеты. Брингас не отходит от них ни на шаг: обедает, ужинает и таскается по трактирам за их счет. Я не теряю из виду всех троих, где бы они ни оказались и что бы ни делали, и обо всем буду сообщать Вам, как мы договаривались.*

*Со своей стороны, я пока обдумываю, как лучше всего обделать наше с Вами дело. Что же касается расходов, боюсь, что они окажутся выше предвиденных. Цены в Париже заоблачные, а сведения, которые я получаю, стоят недешево (в этом городе рта никто не раскроет дешевле чем за луидор). Так что, когда вернусь, сделаем перерасчет. Если же дело затянется, Вам придется прислать мне еще денег с помощью векселя.*

*Остаюсь Ваш,*

Паскуаль Рапосо

Сдув песок и отряхнув бумажный лист, чтобы чернила окончательно высохли, Паскуаль Рапосо складывает письмо, заворачивает в другой лист, скрепляет его сургучом и пишет с лицевой стороны адрес. Проделав все это, он встает, потягивается и подходит к окошку. Старый дощатый пол скрипит у него под ногами. На нем штаны, жилетка, рубашка, его скромный багаж раскидан по комнате, в которой он остановился: второй этаж пансиона «Король Генрих», скромного заведения, размещающегося на Рю-де-ла-Ферронри, где во всякий час слышны крики извозчиков и рыночных торговок, галдящих внизу, в лабиринте улиц, лавок и лачуг ближайшего рынка, который лепится к стене старого кладбища Невинных, расположенного аккурат напротив пансиона, где живет Рапосо. Он останавливается в этом пансионе уже не впервые. Всякий раз, когда его занятия — надо заметить, что даже за самое безобидное из них его бы охотно вздернули на виселицу, — приводили его в Париж, бывший кавалерист жил в одном и том же месте, которое привлекает его тем, что именно здесь останавливаются путешественники и коммивояжеры всех мастей и поэтому легко остаться незамеченным; а трех луидоров, которые он платит в неделю, хватает также и на плотный завтрак. Единственный минус — это то, что в заведении не так давно сменились владельцы. Бывший хозяин — тихий замкнутый бретонец — отбыл, прихватив свои накопления, в деревушку Морбиан, новые же — супружеская пара среднего возраста — ведут дела, пользуясь услугами дочки и кухарки.

Налюбовавшись в окно, Рапосо идет к двери, открывает ее и зовет. Появляется дочка хозяев, девушка лет двадцати, с пышными формами и глазами навыкате, в чепчике, под который убраны волосы. Рапосо отдает ей письмо и пять лир, поручив отнести письмо на почту. Мгновение девушка медлит, рассматривая висящую на стене саблю постояльца, и не слишком возмущается, когда тот, чередуя тактику, отвешивает ей звонкий шлепок по круглому заду ровно в тот миг, когда она устремляется к двери. Тело у нее плотное, юное и чувствительное к прикосновениям. Улыбка девушки — ее зовут Генриетта — обещает некоторые возможности — или, по крайней мере, их не отвергает. Вот в чем прелесть Парижа — с уважением думает Рапосо — города, где нравы легкие, а женщины не воротят нос и сразу же уясняют, чего от них ждут. Обмозговывая все это, он смотрит на часы, лежащие в одном из ящиков соснового комода рядом с кошельком, где хранятся монеты, и коротким двуствольным пистолетом. Затем сует часы в жилетный карман, надевает камзол из бурого сукна, шляпу и, проверив заряд и запал, сует оружие в правый карман камзола; потом берет кошелек, запирает дверь на ключ, спускается по лестнице и выходит на улицу, кивком поприветствовав хозяина, который покуривает свою трубку, сидя в дверях.

Ограда кладбища — на нем запретили хоронить всего несколько месяцев назад, однако все кости пребывают на своих местах в целости и сохранности — воняет укропом и подгнившими фруктами, а прямо по центру мостовой бежит подозрительный мутный ручеек. Рапосо шагает в сторону Сены по Сен-Дени, проходит под зловещими средневековыми сводами Пти-Шатле и поворачивает налево, следуя по набережной до Гревской площади. На некотором расстоянии от ратуши, под углом к узкому зданию, которое возвышается рядом с рекой, располагается старый кабак «Образ Богородицы», где в этот час бурного оживления не наблюдается, если не считать нескольких зевак, сидящих у дверей и наблюдающих за тем, как солнце затапливает площадь. Рапосо усаживается на деревянную скамейку, прислоняется спиной к стене, заказывает кувшин прохладной воды и любуется соседним островом Сен-Луи, Пон-Ружем и белыми башнями кафедрального собора, которые возвышаются над черепичными крышами, поздравляя себя с тем, что уж на этот раз с погодой ему повезло. Прежде Париж неизменно встречал его ненастьем, проливными дождями, которые заливают город чуть ли не в продолжение всего года, превращая улицы в непролазную грязь, несмотря на наличие мостовых. Париж, как утверждают знатоки, столица просвещения, озаряющего всю Европу, однако при этом его никак не назовешь столицей чистоты.

— Лопни мои глаза, Паскуаль... Какой черт принес тебя сюда?

Краем глаза Рапосо замечает человека, который появился в дверях заведения и поздоровался с ним на неуклюжем испанском, пожимает плечами и ногой придвигает табурет, чтобы тот сел рядом.

— Рад видеть тебя, Мило, — отвечает он по-французски. — Похоже, ты получил мое послание.

— Получил. И тут же явился поприветствовать друга. Сколько времени мы не виделись? Год?

— Почти два.

Мило, толстый и лысый человечек в треуголке и темном рединготе, достающем до грязных сапог, улыбается и хлопает себя по колену:

— Дьявол... Как быстро летит время!

Опытным глазом Рапосо рассматривает витую трость с бронзовым набалдашником, которую его собеседник держит между колен — такие трости любят инспектора полиции, патрулирующие парижские кварталы: очень удобно, чтобы одним ударом проломить кому-нибудь череп. Мило умеет пользоваться этим предметом: сам Рапосо как-то раз стал свидетелем такого удара во время одного парижского дельца, в котором они оба принимали участие.

— Как жизнь? — спрашивает Рапосо.

Полицейский чешет пыльную поверхность ноги, скрытой фалдами редингота.

— Не жалуюсь.

— По-прежнему работаешь в этом районе?

— У меня дом тут неподалеку, в Марэ, но работаю я в окрестностях Тюильри, охочусь за шлюхами и гомиками... Увлекательное занятие, скажу я тебе, к тому же кто-нибудь из них всегда готов отстегнуть несколько франков, чтобы его отпустили на все четыре стороны, а не засадили в тюрягу. Да и девчонки, как ты знаешь, народ сговорчивый... И благодарный.

— Надо будет сходить с тобой как-нибудь на дежурство, посмотреть, что там и как.

— Запросто! Обещаю хорошенько развлечь и вдобавок — пару кувшинов вина в таверне «Де-ла-Рент». Неплохое местечко, между прочим.

— Договорились. Но сейчас у меня есть к тебе кое-что поважнее.

Услышав эти слова, Мило смотрит на Рапосо выжидающе. Рапосо примерно представляет себе, что творится сейчас в его голове.

— Что, какое-то дело?

— Вроде того.

— Касается нас обоих?

— Вероятно.

Мило обкусывает ноготь большого пальца, напряженно размышляя.

— Что же это за дело такое? И на какую сумму?

— Сейчас не могу сказать тебе точно... Пока это еще может подождать.

Выходит хозяин таверны, и Мило заказывает красное вино. Глаза Рапосо прикрыты от удовольствия, он с наслаждением греется на солнышке, как кот на ступеньке, созерцая залитую солнцем площадь, проходящих мимо людей, бесчисленные и самые разнообразные экипажи, пересекающие мост, а также баржи с углем, дровами и фуражом, пришвартованные у причала. Какая радость вновь ощущать вокруг себя Париж! Он, Рапосо, обожает этот город, такой огромный и сложный. Главное — чтобы не шел дождь.

— На этой площади по-прежнему казнят людей?

— А как же. — Мило издает короткий сухой смешок, без тени юмора. — Парижский палач наведывается на Гревскую площадь чаще, чем пьяница в кабак... Последняя казнь была не далее как две недели назад: служанка отравила своих хозяев крысиным ядом. Видимо, хозяин ее обрюхатил, заставил сделать аборт, а затем решил выкинуть на улицу. Девушка была светловолосая, совсем юная и довольно-таки смазливая. Надо было видеть всех этих рыбачек и торговок, которые населяют район, — как они все раскисли от жалости, когда бедняжка всходила на эшафот... В итоге палача забросали камнями, и ему пришлось разогнать толпу саблей.

— Неужто в городе скверная обстановка?

Полицейский хмурится.

— Обстановка нормальная, я бы сказал. Однако народ обнаглел вконец и часто ведет себя нахально. Терпения у людей все меньше. Одному дворянину забросали камнями карету... В бедняцких кварталах вспыхивают мятежи. Как-то раз взбунтовались из-за дороговизны хлеба и нехватки питьевой воды: результат — стекла выбиты, несколько лавочников избиты... А какого-то пекаря, который добавлял в муку известь, швырнули в Сену, и бедолага захлебнулся.

— А что происходит в кофейнях?

— Все как обычно. Что-то затевают, болтают всякую чушь, произносят речи, размахивают газетами, читают памфлеты, кому-то угрожают... О короле судачат мало, народ его по-прежнему любит. Зато королеву терпеть не могут: австрийская сука и так далее. Лепят ей нового любовника каждые две недели... Но дальше слов дело не движется. Время от времени министр от имени короля подписывает несколько *lettrеs de cachet*[[26]](#footnote-26), полдюжины недоумков закрывают в Бастилии, и все успокаивается до следующего раза.

Он умолкает, когда хозяин приносит им вино — один кувшин и два стакана. Разливает Рапосо: на два пальца — себе самому, целый стакан — собеседнику.

— Давай рассказывай, — подбадривает его Мило.

Рапосо размышляет. Торопиться ему некуда. Лучше браться за дело без лишней суеты.

— Сопровождаю двоих земляков, которые только что прибыли в город, — признается он наконец.

— Эмигранты?

— Ни в коем случае. С паспортами у них полный порядок.

— Опасны?

Рапосо с сомнением качает головой, однако тут же вспоминает долговязого академика, стреляющего в бандитов, которые пытались напасть на его экипаж неподалеку от Аранда-де-Дуэро.

— Приличные люди, — отзывается он. — Так просто их не возьмешь.

— Собираешься избавить их от лишних денег?

Рапосо махнул рукой, показывая, что собеседник не угадал.

— Деньги тут ни при чем.

— Так-так... Насчет клиентов я понял, теперь давай ближе к делу.

— Задачи у нас две, — говорит Рапосо. — Первая — следить за ними повсюду.

— А где они обычно бывают?

— Книги, издатели... Всякие такие места...

В серых, жестких глазах Мило зажглась искорка неподдельного любопытства.

— Не связано ли все это с какой-нибудь подпольной деятельностью?

— Черт их знает. Может, и связано.

— Отлично... Это несложно выяснить. А вторая задача?

— Вторая — как только настанет удобный момент, перейти к действию.

— Что за действия? Насильственные? — Губы Мило искажает кривоватая усмешка. — На поражение?

Рапосо неопределенно разводит руками, давая понять, что раскрывать все карты прямо сейчас он не намерен. Затем сует левую руку в противоположный карман, где хранит пистолет.

— Я же тебе сказал: это уважаемые люди. Дело деликатное, понимаешь? Со временем мы сообразим, как его лучше обстряпать.

Говоря все это, он достает из кармана кошелек с монетами и как ни в чем не бывало протягивает Мило.

— Небольшой аванс: десять луидоров, чтобы, как говорится, смазать петли.

— Ого. — Мило взвешивает мошну на ладони, его физиономия изображает удовольствие. — Вот оно, значит, как... Что ж, добро пожаловать в Париж, дружище!

И, приподняв стакан, пьет за здоровье Паскуаля Рапосо.

Полнейшее разочарование. Эти слова огорченный дон Эрмохенес повторяет трижды, пока они, после целого утра бесплодных хлопот, разделываются с фрикасе из цыпленка и бутылкой анжуйского, уплатив по шесть франков с человека в трактире «Ландель», расположенном в постоялом дворе «Де-Бюси», куда их привел Брингас. День солнечный, и в окнах трактира виден сплошной поток экипажей и праздной публики, явившейся приобрести драгоценности, украшения или модную вещицу на Пти-Дюнкерк, набережной Конти или площади Дофина. Библиотекарь с любопытством рассматривает проходящих мимо него дам, размышляя при этом о своей покойной супруге, которая так отличалась от этих развязных парижанок, любительниц магазинов, где продаются модные туалеты. Невозмутимый адмирал, сидя подле него, молча орудует вилкой, любуясь целым парадом франтов, разодетых на польский или черкесский манер, ярмарку высоких причесок, лент и шляпок, надетых поверх напудренных волос, — накладных или натуральных. В отличие от академиков, Брингас жует энергично, то и дело прихлебывая вино. Содержимое тарелки вызывает в нем такую же жадность, как и уличные сценки, которые он одновременно созерцает в окно.

— Клянусь, кабальеро... — Он сладострастно облизывает сальные губы, чтобы последний раз насладиться только что уничтоженным фрикасе. — Нигде вы не встретите таких женщин, как в Париже.

Дон Эрмохенес и дон Педро не отвечают — ни тот ни другой не склонны вести подобного рода разговоры, — и слова Брингаса повисают в тишине. После трех безрезультатных попыток вернуться к разговору взбалмошный аббат в конце концов смиряется и готов сменить тему; однако сперва внимательно и расчетливо поглядывает из-за стакана с вином на своих приятелей: так смотрит человек, когда исследует почву в поисках опоры, а в итоге встречает непреодолимое препятствие. Непреодолимое, разумеется, до поры до времени.

— Что касается вашего разочарования, — говорит он, меняя тон, — по-моему, отчаиваться не стоит. Такие вещи быстро не делаются. Не всегда получается прийти на готовенькое.

— Вы же знаете, наши средства ограничены, — говорит дон Эрмохенес.

— Не теряйте веру, сеньоры. Вера — это главная религиозная добродетель. Все рано или поздно уладится, а пока — не попросить ли нам еще бутылочку? Когда есть вино на столе, есть и надежды в сердце. — Он смотри на них, улыбаясь. — Как вам поговорка, а?

— Неплохо.

— Это я сам придумал. Из сочинения, над которым я сейчас работаю, под названием «*Гигиенический и философский трактат об онанизме как благодеянии человечества* ».

— Ну и ну. — Дон Эрмохенес смущенно моргает.

— Название многообещающее, — усмехается адмирал.

Брингас обмакивает кусок хлеба в остатки соуса, тщательно вытирая тарелку. Ясный свет, падающий из окна, придает костлявому, плохо выбритому лицу под париком, сплошь состоящем из спутанных и жирных колтунов, изнуренный, болезненный вид.

— Основная идея, — поясняет аббат, — состоит в том, чтобы показать, скольких тиранов лишилось бы человечество, если бы...

Адмирал хладнокровно останавливает его:

— Не утруждайте себя. Суть нам ясна, и этого вполне достаточно.

Дожевывая остатки ужина, аббат смотрит в окно на людей, фланирующих по улице. Внезапно его худые бледные губы искажает гримаса ярости.

— Но чаще всего, — говорит он с неожиданным презрением, — раб заслуживает своего тирана... Взгляните, господа, на эти волосяные пирамиды, наштукатуренные помадой, завитые щипцами и переполненные тщеславием... Подумать только: в Париже парикмахер получает больше любого ремесленника, а кое-кто похваляется тем, что знает сто пятьдесят способов укладки дамских или мужских париков! А тряпки?! Кто мне объяснит, на кой черт нужны все эти иудейские лапсердаки под названием сюртуки, которые не так давно вошли в моду? Или мания, чтобы все кругом — жилеты, камзолы, штаны — было в полоску, потому что, видите ли, модных портных вдохновила шкура зебры в королевских покоях? Черт бы нас всех подрал! Никто не влезет в долги ради того, чтобы купить книгу, но никто при этом не откажет себе в роскоши каждое воскресенье красоваться в новом камзоле; мало того, кое-кто из этих щеголей до сих пор не расплатился с теми, кто создал для него этот шедевр... Представляю, сколько было бы шуму, если бы полиция заставила каждого носить на груди чек от портного!

— В Мадриде мода также требует своих жертв, — вмешивается дон Эрмохенес.

— Да, но здесь, в Париже, она оправдывает собой абсолютно все. И все собой объясняет. Чего только не услышишь! «Затмение», «Сгусток горячего воздуха», «Прическа королевы», «Фанфан», «Какашка собачки мадам Полиньяк»... А с какой тупостью все следуют моде, как будто за несоблюдение им голову отрубят! Вот куда уходят все деньги, пока скромный трудяга зарабатывает свои жалкие сольдо, а бедняки и вовсе голодают!

— Однако следует признать, — возражает адмирал, — что здесь голодают все же не так, как в Испании.

Брингас улыбается сардонически, с вызовом.

— Одно ваше слово, и я отведу вас туда, где царит настоящий голод. Чтобы вы увидели собственными глазами лицо голодающего Парижа — оно вдали от всего этого. — Он презрительно кивает на элегантно одетых людей, шагающих по улице мимо них. — Всего в нескольких кварталах отсюда вы увидите настоящую Францию!

Улыбка сползает с его физиономии, сменяясь тенью скорби. Затем, уже с совершенно иным выражением лица, которое тоже появляется внезапно, подобно маске, аббат вопросительно взирает на опустевшую тарелку. В заключение делает долгий глоток вина и вытирает рот тыльной стороной руки с чрезмерно отросшими ногтями. На манжетах его камзола, как и под платком, затянутым на шее, виднеется потрепанная, но все же чистая рубашка.

— Голод не ведает государственных границ, сеньоры. Он всюду один и тот же... Это я вам говорю, а уж в этих делах я разбираюсь... Какие только невзгоды не приходится терпеть мудрецу, который не умеет мстить ни простолюдину, ни властителю! Я голодал здесь так же, как в Испании и Италии. Голодал посильнее, уверяю вас, чем улитка на палубе корабля... Это, как вы понимаете, фигура речи.

— Зачем же вы покинули родину? — интересуется адмирал.

Аббат ставит локоть на стол и устраивает на нем подбородок. Вид у Брингаса трагический.

— Родина — слово амбивалентное, — изрекает он. — Моя родина там, где мне перепадает кусок хлеба. А также бумага, перо и чернильница, если это возможно.

Ни театральная поза, ни речи аббата не трогают дона Педро.

— А помимо этого? — настаивает он.

— Мне необходим был воздух. Свежий воздух! Свобода, одним словом, хотя я и вообразить не мог, что именно здесь мне будет суждено познать тюрьму и бесчестье.

— Вот как... — Адмирал кладет в рот кусочек фрикасе, не спеша пережевывает и, прежде чем сделать глоток вина, вытирает губы салфеткой. — Так, значит, вы побывали в тюрьме? Здесь, во Франции?

Аббат высокомерно поднимает голову.

— Да, я познал Бастилию, где мой дух — как говорится, нет худа без добра — закалился в солидарности с теми, кто страдает. И мне не стыдно в этом признаться! Именно в Бастилии я научился быть терпеливым и ждать своего часа.

— Какого часа? — спрашивает сбитый с толку дон Эрмохенес.

— Страшного часа отмщения, который сотрет с лица земли ненавистную монархию.

— Господи помилуй!

Повисает неловкая тишина, в продолжение которой библиотекарь и адмирал представляют себе Брингаса, который затачивает топор, одновременно выстраивая в алфавитном порядке имена своих обидчиков. «Картина необычная, — думает адмирал. — Однако вполне вероятная».

— Не могу согласиться с тем, что вы говорили о Франции, — в конце концов подает голос библиотекарь. — Я вижу огромную разницу с нашей родиной... По дороге из Байонны мы любовались плодородной почвой, полноводными реками, зелеными равнинами. Разве можно сравнить Францию с нашей каменистой землей, сухой и бесплодной? С суровой испанской равниной, которая обрекает нас на нищету?

Аббат с силой ударяет ладонью по столу.

— Не позволяйте обманывать себя лживой видимости, — произносит он с презрением. — Разумеется, это замечательная страна с богатыми природными ресурсами. Но тщеславие, алчность и беззаконие высасывают все подчистую! Впрочем, здесь нам, по крайней мере, знакомы свободы, о которых по ту сторону Пиренеев понятия не имеют...

Адмирал аккуратно кладет приборы на стол возле пустой тарелки — точно так, как перед ужином их положил официант, сервируя стол, то есть в позиции часовых стрелок, когда те показывают пять часов, — и последний раз подносит к губам салфетку.

— Главное — здесь есть книги, — преспокойно говорит он, словно эта фраза подводит итог всему разговору.

— Правильно. — Глаза Брингаса зажигаются мстительным огоньком. — Благословенна та типография, которая в один прекрасный день разрушит ложных кумиров! И разбудит народ, доведенный до скотского состояния!

— Еще один момент, которым я восхищаюсь и которому завидую, — смягчается дон Эрмохенес, — это популярность чтения. Хотя насчет того, чтобы разбудить народ...

— Во Франции, — перебивает его аббат, — государство разрушает жизнь многим из тех, кто пишет книги и порождает идеи, включая издателей и продавцов книжных лавок; однако выдернуть корень свободы ему так и не удалось. А все благодаря книгам!

— Мы с вами полностью согласны. Я только хотел уточнить, что от всех этих пробуждений народа у меня мороз по коже...

— Знаете, в чем разница? — Брингас по-прежнему слышит только собственные речи. — Разница в том, что в Испании книга воспринимается как явление опасное и разрушительное, излишняя роскошь или привилегия меньшинства.

— А здесь это бизнес, — вставляет адмирал.

— Верно, к тому же выгодный всем. Он обеспечивает работой каждого — от автора до типографского рабочего, кассира и оптовика, и каждый платит налоги. Книги — деятельность, которая приносит прибыль и делает человека богатым.

— Однако законы... — возражает библиотекарь. — И всякие запреты...

Брингас разражается театральным хохотом и наливает себе еще один стакан вина.

— Все относительно. Полный запрет несовместим с прибылью, поэтому государство, издавая законы и запрещая, не препятствует тому, чтобы бизнес шел своим естественным путем, а не оседал где-нибудь в Швейцарии, Англии, Голландии или Пруссии... Вот в чем заключается истинное плодородие Франции! Прагматизм — в нем ее главное богатство. Власти знают, что книга им угрожает, но ведь она еще и обогащает! Вот они и ищут обходные пути.

— Да, но что касается нашей «Энциклопедии»...

— А что с ней не так?

— Мы ее до сих пор не достали.

Аббат движением руки успокаивает библиотекаря и указывает на улицу.

— После обеда мы навестим одного моего приятеля, продавца философских книг.

— Весьма любопытно, — кивает библиотекарь. — Я и не знал, что существуют продавцы, которые специализируются именно на философских книгах. Наверное, речь идет о Вольтере, Руссо и прочих подобных авторах. Но я был уверен, что открытая продажа этих книг запрещена.

Брингас вновь смеется, на этот раз презрительно.

— Разумеется, запрещена. Но не позволяйте словам обманывать вас. «Философские книги» — это условное выражение, привычное среди книготорговцев, когда те говорят о произведениях, где философия блещет лишь в силу своего отсутствия. Имеются в виду другие запрещенные книги... В первую очередь порнографические.

Дон Эрмохенес вздрагивает.

— Что значит — порнографические?

— Постельные истории и прочие безделицы, — с двусмысленной гримасой уточняет аббат. — Книжонки, которые, как говаривал Дидро, держат только одной рукой.

Дон Эрмохенес краснеет.

— А какое отношение они имеют к нам?

— Я так понимаю, что никакого, — успокаивает его адмирал. — Сеньор аббат не утверждал, что в этой лавке продаются лишь книги такого сорта.

Брингас делает долгий глоток и допивает остатки вина.

— Термин «философские книги», — поясняет он, — привычный в читательских кругах, достаточно широк и подразумевает многое: от «*Le christianisme dévoilé»*[[27]](#footnote-27) до «*La fille de joie»*[[28]](#footnote-28). — Произнеся последнее название, он заговорщицки подмигивает. — Не читали?

— Даже обложки не видели, — отвечает адмирал. — Если они запрещены здесь, то в Испании о них вообще никто и не слышал.

— Это свинство к нам не проникает, — с достоинством подытоживает библиотекарь.

Брингас снисходительно улыбается.

— Насчет «*La fille de joie»* не буду спорить. Но вторая, «*Le christianisme dévoilé»,* книга в самом деле философская.

— Вы шутите? — возражает дон Эрмохенес. — Название звучит еще хуже! Христианство создано для того, чтобы верить, а не разоблачать или углубляться в заумные дебри — ни к чему хорошему это не приводит.

Аббат смотрит на него в некотором замешательстве.

— Я был уверен, что вы оба...

— И вы совершенно правы, — перебивает его адмирал, которого, похоже, весьма развлекает весь этот разговор. — Но, как я вам уже говорил, мой друг принадлежит к тем сторонникам просвещения, которые посещают мессу: эта разновидность встречается в Испании чаще, чем может показаться.

— Друг мой, дорогой адмирал, — протестует библиотекарь. — Но разве я таков? Я...

Адмирал мягко успокаивает его, положив на плечо руку.

— Наш дон Эрмохенес, — продолжает он, обращаясь к Брингасу, — ценит одновременно и шелк, и ситец... Будем же уважать его точку зрения!

Аббат переводит взгляд с одного академика на другого: ему не удается отнести их к какой-либо известной ему категории. Наконец физиономия его расплывается в великодушной улыбке.

— Что ж, как хотите.

— Мы хотим философские книги, — без лишних экивоков напоминает ему адмирал.

— Ах да, верно... Итак, этим словом называют самые разные книги, которые продаются подпольно и отношение к которым зависит от каприза очередного министра... Дело в том, что многие продавцы торгуют из-под прилавка, внимательно отслеживая книжный рынок и умея уберечь себя от облавы и ссылки на галеры. Этот парень, о котором я говорю, отлично знает свое дело. Надеюсь, он сумеет нам помочь.

Дон Эрмохенес смотрит на аббата с некоторым беспокойством. Он достает свою коробочку с нюхательным табаком и платок, засовывает щепотку табака в нос и чихает, а коробочку протягивает Брингасу.

— А этот книготорговец — он приличный человек?

— Еще бы! В точности как я сам.

Ученые мужи обмениваются быстрым взглядом, который не ускользает от внимания аббата. Но и адмирал замечает, что Брингас уловил их взгляд.

— Надеюсь, это не навлечет на нас неприятности.

Произнеся эти слова, адмирал пристально смотрит на Брингаса. Тот невозмутимо сует два пальца в табакерку, предложенную библиотекарем, извлекает оттуда добрую щепоть измельченного табака, выкладывает на тыльную сторону кисти и подносит к носу.

— Неприятности? Пфуй. Жизнь просвещенного человека, сеньоры, сама по себе одна сплошная неприятность.

Потом с наслаждением прикрывает глаза, секунду морщится и наконец оглушительно чихает.

— А сейчас, — поизносит он, доставая из кармана скомканный платок, — если вы любезно согласитесь сопровождать меня, я готов показать вам другой Париж... Не тот, который описывается в книжонке под названием «Дамский будуар».

Не так-то просто представить себе Париж *ancien régime*[[29]](#footnote-29), который в преддверии Французской революции застали дон Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина. Даже революционный Париж, который в итоге так сильно изменил облик города своими улицами и названиями — Кордельеров, Птиз-Огюстен, — прочно связанными с историей тех бурных лет, частично исчез в период городских реформ, которые начиная с 1852 года предпринял барон Хауссман. Даже рынок Ле-Аль в последней трети двадцатого века полностью перестроили, превратив в культурный район, который сегодня завершает знаменитый Центр Помпиду; а его лавки, бары и рестораны превратились в модные места, привлекающие туристов. Единственный способ передать в книге атмосферу тех мест — изучать старинные тексты и карты города, сравнивая их с современными текстами и картами, а нынешние очертания Парижа — с прежними, и таким образом воссоздать наиболее точный облик мест, где пролегали пути наших ученых мужей.

Помимо нескольких путеводителей и полудюжины книг по истории города, моя библиотека не слишком изобиловала богатством материалов по парижской застройке; а полезный, но ограниченный «*Connaissance du Vieux Paris»*[[30]](#footnote-30) Иере, с которым столь охотно бродили по городу в прежние времена, на сей раз помог наметить лишь пару-тройку улиц, благодаря их старинным названиям. Куда полезнее оказался монументальный «*Paris à travers les âges»*[[31]](#footnote-31) Хоффбауэра. А пошарив в Интернете, я обнаружил пару полезных точек отправления, помогающих восстановить реальный облик города в восьмидесятые годы восемнадцатого века: «Исторический атлас Парижа», относящийся к 1790 году, а также перечень парижских улиц и адресов с 1760 по 1771 год, который включал в себя интересовавшие меня названия. Помимо этого я раздобыл штук тридцать гравюр той эпохи с видами улиц, площадей и скверов, помогающих представить, как выглядел Париж в годы, предшествовавшие революции. Однако самой важной находкой были планы города, которые несколькими днями позже, вновь оказавшись в Париже и благодаря идеальной работе книжного магазина Мишель Полак, я приобрел без излишних затруднений. Один из них был создан в 1775 году Жайо — отличная вещь, которая к тому же попала мне в руки в довольно-таки приличном состоянии. Другой картой, в высшей степени полезной для воссоздания городских мизансцен, описанных в этих главах, был великолепный «*Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris»*[[32]](#footnote-32), изданный в 1780 году Алибером, Эно и Рапийи: помимо детальнейшей передачи облика города эта карта сопровождалась дотошным перечнем улиц и их местоположением в городской структуре. Все интересующие меня точки, которые я собирался отыскать на этих картах, с некоторых пор существовали самостоятельно в виде краткого перечня улиц, кофеен, отелей, магазинов и прочих примечательных мест; одни данные я выписал из писем библиотекаря, хранившихся в архивах Испанской королевской академии; другие представляли собой особенности путешествия в восемнадцатом веке, описания городских кварталов, подобно содержащимся в чудесном «*Guide des amateurs et des é trangers voyageurs* »[[33]](#footnote-33) (год издания — 1787-й, автор — Тиери), выдержки из тогдашних газет, фрагменты писем и заметки различных авторов, включенные в дневники Леандро Фернандеса де Моратина, чья тень, помимо прочих теней, все время парила над моей повестью, а также «Мемуары» Джакомо Казановы, переполненные подробностями его визитов в столицу Франции, которые имели место чуть позже описанных событий. Вооружившись всем этим, я мог смело приняться за работу.

И вот как-то раз, завтракая в «Ле-Дё-Маго» вместе со своим неизменным блокнотом, открытым на испачканной кофе и испещренной заметками ксерокопии «*Nouveau plan routier»*[[34]](#footnote-34), изданного в 1780 году, я сделал попытку проложить маршрут, которым дон Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина, сопровождаемые неряшливым аббатом Брингасом, двигались по направлению к нищему и маргинальному району Парижа — именно это сообщалось в письме, которое мне посчастливилось держать в руках, находясь в Королевской академии. В послании, написанном библиотекарем на имя директора Вега де Сельи и содержащем на удивление пророческие слова, в частности, было сказано следующее:

*Вчера мы совершили неожиданный — и поэтому выбивший нас из колеи — визит в нищие кварталы этого города, где пышность меркнет перед беспросветностью жизни отверженных, где всякая нужда имеет свой пример и всякий порок — свое печальное воплощение. Все это доказывает, что даже в просвещенных странах и городах, где величие и культура выражены более, чем в каких-либо иных местах земли, несчастные создания живут в постоянном унижении, копя в душе опасный и разрушительный гнев. Все это ради собственного здоровья и безопасности непременно должны взять на заметку правители, в чьи обязанности входит забота о благополучии подданных, которых им доверил Бог*.

К величайшему сожалению, название квартала в письме, подписанном доном Эрмохенесом, не упоминалось, поэтому мне попросту пришлось его выдумать. Скорее всего, речь шла об улицах, расположенных на берегу Сены в старом городском центре — на сегодняшний день это место полностью преобразовано, — в то время застроенном хижинами и жалкими лачугами, скопления которых в конце восемнадцатого века получали такие звучные имена как Крысиная улица, Бычья Нога и Пук Дьявола. С другой стороны, это мог быть и район Сен-Марсель, расположенный на юге города, или другие похожие кварталы на севере. Ясно одно: аббат Брингас повел академиков в одно из тех мест, которые не описывались ни в путеводителях, ни в модных журналах той эпохи и где всего через несколько лет вспыхнет раздуваемая народным гневом искра революции, воспламенившей Францию, разрушившей трон и потрясшей весь мир.

— Простолюдины в Париже, так же, как и в Испании, — рассказывает Брингас, — не являются хоть сколько-то значимой политической силой. У них нет ни умений, ни средств выразить свою ненависть или недовольство... Англичане в курсе их интересов; однако испанцы и французы, прозябающие под злополучными Бурбонами, начисто лишены гражданского инстинкта, который мог бы им подсказать наиболее верные действия.

— Все упирается в элементарную нехватку образования, — отзывается дон Эрмохенес: услышав слово «злополучными», он боязливо огляделся.

— Разумеется! Ни здесь, ни в Испании люди не умеют читать.

— И все же Франция...

Аббат небрежно машет рукой.

— Похоже, вы идеализируете Францию. На самом деле здесь мало кто обращает внимание на то, что происходит в соседнем квартале.

Они выходят из арендованного фиакра, остановившегося на пересечении трех узких улиц. Их вниманию открывается пустырь, заваленный мусором и нечистотами. Некоторые дома имеют прямо-таки средневековый вид — обветшалые, потемневшие стены подперты толстыми деревянными балками. Над черепичными крышами плывет сизая дымка, которую извергают грязные печные трубы и очаги, плюющиеся в небо сажей.

— Этот Париж не слишком напоминает тот, другой, не правда ли?

Брингас смотрит на академиков саркастически, следя за выражением их лиц. Его вопрос — не просто слова. В одном-единственном доме где-нибудь на улице Сент-Оноре, добавляет он, водится больше денег, чем во всем этом жалком квартале. Дон Эрмохенес и дон Педро наблюдают за стайкой оборванных и босоногих детишек, которые прервали свою игру в сточной канаве и с недоверчивым любопытством окружили незнакомцев. Около полудюжины мальчиков и девочек: поглазев на чужаков, они робко клянчат мелочь. Академики обращают внимание, что две девочки совсем маленькие.

— Ох уж эти скученность и нищета, — продолжает Брингас, взмахом руки отгоняя ребятишек. — Единственная обувь, которая ступает по этим мостовым, — деревянные башмаки, принадлежащие тем, кому выпала удача обзавестись ими: разумеется, их нет у этих несчастных голых детей, которые спят вповалку со своими родителями на мерзких зловонных матрасах... Стоит ли объяснять, что без свободы печати, без образования народ еще долго будет совершенно беспомощным, невежественным, отсталым, а свет разума еще не скоро пробудит его истинные стремления и глубинный патриотизм... Глас народный, который и есть голос истины, никогда не достигнет ушей суверена. Наоборот, любое слово, произнесенное вслух, любое нетерпение рассматриваются как опасный бунт, как подстрекательство к мятежу и перевороту.

— Но во Франции существуют свободы, — возражает библиотекарь.

— Чисто формально: в этой стране более смелая пресса и можно печатать книги, немыслимые в Испании. Однако все это — привилегия немногочисленной элиты и часто не выходит за рамки салонного развлечения... Простые французы не имеют права ни говорить, ни быть услышанными; они всегда только зрители и жертвы манипуляций правительства... Их тупое политическое невежество может превзойти только один народ: мы, испанцы.

Оба академика следуют за аббатом, который решительно шагает в глубь квартала, поигрывая тростью. В подворотнях, под веревками с сырым бельем, подвешенными к окнам наподобие грустных флагов, виднеются усталые женщины с угрюмыми лицами, обнаженными руками и покрасневшими пальцами, которые ополаскивают корыта или кормят грудью грязных сопливых младенцев.

— Взгляните... — с горечью говорит Брингас. — Вы же не станете отрицать, что человеческому существу, которое измерило расстояние между Землей и Солнцем, вычислило вес ближайших планет, стыдно не знать простейших законов, которые сделали бы простолюдинов счастливыми.

Сидящий на каменной скамье беззубый босой старик в старом военном френче, превратившемся в лохмотья, вынимает изо рта трубку и прикладывает пальцы козырьком ко лбу, глядя, как они проходят мимо. В воздухе стоит удушливая вонь разлагающегося мяса. По грунтовой мостовой бежит ручеек бурой кровавой жижи.

— Нелегальные мясные лавки, — сообщает Брингас через несколько шагов. — Тут неподалеку — подпольная бойня. Разумеется, полиция в курсе; ей это весьма выгодно, как и прочие подобные явления.

Они оказываются перед домом, в прежние времена явно богатым, с широкими въездными воротами. Его внутренний двор превращен в торговые ряды, разделенные на мясные лавки, где продаются потроха, ливер, головы и копыта коров и свиней. В глубине виднеется небольшая харчевня с двумя бочками вместо столов. Брингас уверенно шагает между рядами, сопровождаемый двумя академиками, которых лавочники и продавцы едва удостаивают внимания. Тем не менее какая-то круглолицая баба с ножом в руке, в сером чепце и фартуке, перепачканном кровью, развязно ухмыляясь, показывает адмиралу отрезанную баранью голову.

— По-моему, это сказал Дидро, — говорит аббат, подмигивая академикам. — Каждому веку присущ свой собственный неповторимый дух, наш же век дышит свободой.

Он хохочет, зловещий, как недоброе предзнаменование. Его смех все еще звучит, когда все трое подходят к строению, прилегающему к винной лавке. Обнаружив дверь запертой, Брингас досадливо ворчит, затем обращается к хозяину трактира, который отвечает ему на таком неразборчивом парижском жаргоне, словно слова запутались в его бороде, скрывающей всю нижнюю часть лица.

— Нужно немного подождать, — переводит аббат.

Он заказывает вино, хозяин приносит кувшин и несколько глиняных стаканов, покрытых глазурью, после чего все трое усаживаются вокруг одной из бочек.

— Каждый понедельник счет на пустые бочки из-под дешевого вина идет здесь на дюжины, — произносит Брингас, вытирая рот тыльной стороной руки. — Вот она, единственная радость этих людей, — в том, разумеется, случае, если они могут за нее заплатить: спариваться как кролики да выпивать за один день весь запас вина на неделю, месяц, а то и на всю жизнь. Хорошо еще, что за их пьянством следит полиция, потому что чуть что — они хватаются за ножи... Коротка дорожка от трактира до тюрьмы... Даже праздники у бедняка проходят под надзором.

Дон Эрмохенес едва смачивает губы, да и то главным образом из вежливости. Дон Педро Сарате делает осторожный глоток, находит вино чересчур кислым и ставит стакан обратно на бочку. Зато Брингас к этому времени осушил уже целых два стакана — и не поморщился. Нынешняя встреча добавила завершающие штрихи к образу их чудаковатого гида: экзальтированный неудачник, достаточно образованный и крайне опасный. Неудивительно, что Салас Брингас предпочитает держаться подальше от Испании. На родине ему одна дорога: в тюремные застенки, а то и вовсе на эшафот.

— Буря, — загадочно кликушествует аббат между одним и другим глотком. — Буря, которая всем нам грозит.

— А чего мы, собственно, ждем? — обращается к нему адмирал.

Однако аббат словно не слышит вопроса. Он подливает себе еще вина и пристально всматривается в свой стакан, словно пытаясь что-то разглядеть в водянистой красноватой субстанции.

— Французские правители деспотичны, — произносит он наконец, подняв глаза и посмотрев вокруг себя. — Народ обескровлен налогами, которые оседают в карманах горстки богачей, а государство тем временем подтачивают долги... Хорошая встряска — вот что нам требуется! Нечто такое, что изменит все разом. Переделает страну сверху донизу. Кровавая революция — она одна все исправит!

— К чему такие крайности, — вздрагивает дон Эрмохенес. — Достаточно революции духовной и патриотической.

Брингас, который как раз в этот миг собирается отхлебнуть еще вина, отрывает от стакана указательный палец с чрезмерно отросшим ногтем и тычет им в собеседника.

— Вы, как я вижу, наивны, сеньор. Ни знать, ни клир, не говоря уже о короле и его семействе, не обладают достаточной душевной щедростью, чтобы пойти на жертвы, которые могли бы превратить то, что мы видим сейчас, в достойную страну.

— Но ведь король Людовик слывет великодушным...

— Великодушным? Не смешите меня, сеньор, а то я поперхнусь. Этот шматок сала, чей единственный талант состоит в том, чтобы гордо носить свои рога, заниматься охотой и починять сломанные часы? Это его подпись стояла на *lettre de cachet*, которое отправило меня в Бастилию за какой-то ничтожный памфлет!

Выглядывая из-за стакана, Брингас обводит двор гневным взглядом.

— Взгляните на этих людей, — добавляет он. — На этих слабоумных! Большинство из них до сих пор уверено, что король — добрый малый, любящий отец, сбитый с толку Изабеллой Австрийской и ее министрами.

С сухим стуком, похожим на удар топора, который палач обрушивает на шею осужденного, аббат ставит пустой стакан на бочку.

— Но однажды они проснутся. А скорее всего, их разбудят. И тогда...

— Что — тогда? — интересуется дон Эрмохенес.

— Тогда наступит черед великой революционной бойни.

— Какой ужас!

Не дрогнув, Брингас пристально смотрит ему в глаза.

— Вы ошибаетесь, сеньор. Любая революция с ее излишествами — так же, как и всякая гражданская война, — дает выход скрытым талантам. Помогает проявить себя выдающимся людям, которые руководят другими людьми... Поверьте, это так. Речь идет о чудовищных, но необходимых переменах.

Их беседу прерывает — и очень вовремя, по мнению дона Эрмохенеса, — появление человека в рыжем парике и камзоле из темного сукна, который отпирает дверь лавки и вопросительно рассматривает посетителей, узнавая Брингаса; тем временем аббат, не обращая внимания на адмирала, который шарит в кармане и кладет на бочку несколько монет, устремляется ему навстречу, пожимает руку и обменивается вполголоса несколькими словами, кивая на своих спутников. Человек удовлетворенно кивает, приглашая войти, и в следующее мгновение академики оказываются в удивительном месте: писчебумужном магазине, набитом мешками с брошюрами и старыми газетами. Имеется там и столик наборщика с приоткрытыми ящичками и рассыпанными свинцовыми литерами, и даже старый печатный станок, который выглядит еще вполне пригодным. Единственный источник света в этом помещении — слуховое оконце, расположенное почти под потолком, так что входящие через него лучи солнца скупо подсвечивают наставленные один на другой в дальнем углу ящики с книгами.

— Этот сеньор, — представляет хозяина Брингас, — мой давний приятель, которому я всецело доверяю. Его зовут Видаль, и он занимается тем, что на здешнем наречии именуется *colporteur*[[35]](#footnote-35). В Испании мы бы его назвали «бродячий продавец книг и печатных изданий». А по здешним понятиям специалист — прошу обратить внимание именно на это ключевое слово — по самым разнообразным книгам.

Продавец по имени Видаль, говорящий на пристойном испанском, улыбается с видом человека, который все отлично понимает, показывая зубы, без сомнения пережевывавшие пищу и в лучшие времена. У него желтоватая и тонкая, как пергамент, кожа, испещренная морщинами и усыпанная веснушками, и по своему внешнему виду он скорее напоминает англичанина, нежели француза.

— Сеньоров интересуют философские книги?

— Смотря что под этим понимать, — живо реагирует дон Эрмохенес.

— Что вы имеете в виду?

Смущенный библиотекарь медлит с ответом: он помнит недавний разговор с аббатом о специфике некоторых терминов. Адмирал, который предвидел такой поворот, приходит к нему на помощь:

— Имеется в виду философия, которой отмечено их содержание, — уточняет он.

— В тех книжонках, про которые я вам рассказывал, Аристотелем оно точно не отмечено, — хохочет Брингас.

Торговец невозмутимо кивает на ящики с книгами.

— Я только что получил двадцать экземпляров «*La fille naturelle* »[[36]](#footnote-36). А еще у меня остались «*L’Acadé mie des dames* »...[[37]](#footnote-37) Кроме них — «*Vénus dans le cloître»*[[38]](#footnote-38) и лондонское издание «*Anecdotes sur Madame la comtesse Du Barry»*[[39]](#footnote-39), которое по-прежнему заслуживает пристального внимания.

— Нет-нет, Видаль, ты не так понял, — с улыбкой замечает Брингас. — Эти кабальеро пришли за другим.

Торговец смотрит на него с удивлением.

— Неужто им понадобилась настоящая философия?

— Вот именно!

— Кое-что из этого у меня тоже есть... «*L’An 2440* »[[40]](#footnote-40) Мерсье. В Испании эту книгу сожгли, но здесь у меня ее буквально с руками отрывают. Есть несколько трудов Гельвеция, Рейналя, Дидро, «Философский словарь» Вольтера... Последний дороговат, в отличие от «Эмиля» Руссо, который уже столько раз переиздавался, что встретить его можно повсюду и он уже никого не интересует.

— Да что вы говорите? — удивляется дон Эрмохенес.

— Абсолютно никого. Даже полиция реквизирует в основном Вольтера. И это лишь повышает его стоимость.

— Эти господа ищут «Энциклопедию».

— Думаю, ее можно достать. Сейчас у меня ее нет, однако приобрести ее несложно. Дайте мне время, и я все улажу.

— Да, но речь идет о первом издании.

Видаль морщится.

— О, это гораздо сложнее. Его давно не выпускают, да и народ предпочитает новые издания. Может, вас заинтересуют экземпляры, отпечатанные за границей? Говорят, в некоторых из них оригинальный текст дополнен, другие же в точности воспроизводят оригинал. Возможно, мне удастся раздобыть для вас хороший репринт: например, отпечатанный в Ливорно и посвященный эрцгерцогу Леопольду, это семнадцать томов статей и одиннадцать гравюр... Могу попытаться раздобыть и женевское издание, отпечатанное Крамером.

— Боюсь, у наших сеньоров на этот счет есть иное мнение, — возражает Брингас.

— Нам нужен оригинал, — подчеркивает дон Эрмохенес. — Двадцать восемь томов, которые выходили в период с 1751-го по 1772-й... Нет ли возможности достать именно его, ведь это всего один экземпляр?

— Можно попробовать, но мне потребуется несколько дней. И гарантий я вам дать не могу.

Тем временем адмирал подходит к ящикам с книгами. В основном это издания в бумажном переплете с голубой или серой обложкой. По сравнению с вонью, доносящейся с улицы, запах новой бумаги и свежей типографской краски воспринимается как благоухание, заставляя на мгновение забыть обо всем остальном.

— Позволите взглянуть?

— Разумеется, — отвечает Видаль. — Только снимите книги, лежащие сверху. Не думаю, что вас заинтересуют «*Liturgie pour les protestants de France* »[[41]](#footnote-41) или же романчики мадам Риккобони.

Дон Педро убирает книги, загромождающие верхнюю часть одного из ящиков, и рассматривает то, что под ними: «*La chandelle d’Arras* »[[42]](#footnote-42), «*Le Parnasse libertin* »[[43]](#footnote-43), «*La putain errante* »[[44]](#footnote-44), «*L’Académie des dames* »... Последняя переплетена в испанскую кожу, это очаровательное издание ин-октаво.

— Хорошая вещь?

— Не знаю. — Видаль почесывает нос. — При моей профессии хорошей может считаться только та книга, которая хорошо продается.

Адмирал неторопливо перелистывает том, задерживаясь на подробных иллюстрациях. На одной из них дородная дама с обнаженной грудью и юбкой, задранной до соблазнительных бедер, разведенных под углом приблизительно в сто сорок градусов, с большим интересом рассматривает вздыбленный фаллос молодого человека, который, стоя аккурат напротив дамы, явно готов перейти к более решительным действиям. На мгновение адмирал чувствует искушение показать рисунок дону Эрмохенесу, чтобы понаблюдать за его реакцией. Однако в следующий момент ему становится жаль библиотекаря, и он отгоняет от себя эту идею.

— Должно быть, это дорогие книги, — произносит он, обращаясь к продавцу.

— У них нет твердой цены, — отвечает Видаль. — Цена возрастает и падает в зависимости от спроса на рынке или охотой за ними властей, желающих их конфисковать. Так, «*L’Acadé mie des dames* » — очень востребованная книга. Ее часто спрашивают, но издания слишком отличаются одно от другого. У вас в руках свежее, голландское, с тридцатью семью гравюрами. Охотно уступлю его за двадцать четыре ливра.

Заинтригованный, дон Эрмохенес подходит к адмиралу и делает неуклюжую попытку заглянуть в книгу, которую дон Педро все еще держит в руках, открытой на упомянутой иллюстрации. На мгновение дон Педро с коварной поспешностью позволяет ему взглянуть на страницу, и библиотекарь в ужасе отскакивает, словно узрев перед собой самого дьявола.

— Занятно, — произносит адмирал. — Когда кто-либо думает о нелегальной литературе, ему на ум приходят прежде всего такие имена, как Вольтер, Руссо или д’Аламбер...

Видаль пожимает плечами. Не совсем так, отвечает он. На самом деле настоящая философская книга — лишь небольшая доля рынка. На нее имеется спрос, и немалый. Однако большинство запрещенных книг совсем другого сорта. В любом случае пути у них одинаковы: печатают их в Швейцарии или Голландии, доставляют во Францию без обложек, в виде тетрадей, спрятанных между листами другой книги невинного содержания, затем доводят до ума и продают.

— Кое-что доставляют контрабандисты прямиком через границу, — уточняет Брингас. — Когда-то я тоже хотел этим заняться — перевозить книги из Швейцарии в Испанию, но быстро бросил. Слишком рискованное дело.

— Это верно, — подтверждает продавец. — Поэтому эти книги ценятся дороже: не всякий пограничник или интендант согласится на скромную взятку... Когда же что-то пойдет не так, контрабандисту запросто могут поставить клеймо на плечо и оправить на галеры.

— А почему вы предпочитаете этот квартал?

— Раньше я работал вместе с одним приятелем по имени Дюлюк, у которого имелась небольшая лавочка на набережной Августинцев...

— О, я знал Дюлюка! — оживляется Брингас.

— Славный был парень, верно? — Видаль поворачивается к академикам. — В то время я в основном разъезжал по делам, а он занимался продажей. Но однажды какой-то полицейский не получил того, чего ожидал, с нас содрали пять тысяч ливров за философские книги, слишком добросовестно проиллюстрированные, вы меня понимаете, а беднягу Дюлюка отправили прямиком в Бастилию... С тех пор я здесь.

— Не такое уж плохое место, — отзывается Брингас.

— Разумеется, бывает и хуже... Никто меня здесь не замечает, потому что соседи — один слепой, другой немой: сами живут и другим не мешают. Люди ходят туда-сюда по мясным лавкам, и эта суета мне только на руку. Кому надо, тот ко мне заходит, я приплачиваю здешнему сторожу и никого не обременяю...

— А каждые четыре недели закрываешь магазин, нагружаешь повозку запрещенными книгами и объезжаешь соседние города, предлагая людям новинки.

— Да, приблизительно так оно и есть.

Адмирал возвращает «*L’Acadé mie des dames* » обратно в ящик.

— Занятно, — говорит он.

— Уверены, что не хотите взять? — настаивает продавец. — Не думаю, что в Испании вы сумеете достать такую книгу.

## 6. Ярость аббата Брингаса

Сколько наших земляков встретили друг друга в этих местах, бунтуя против ига деспотизма и нетерпимости.

М. С. Оливер. «Испанцы и Французская революция»

Генриэтта, хозяйская дочка, прислуживающая в пансионе «Король Генрих», принадлежит к тому типу девушек, которые не слишком артачатся, в этом Паскуаль Рапосо быстро убеждается на собственном опыте. Всякий раз, когда она под каким-либо предлогом поднимается к нему в комнату — застелить постель, принести еще свечей или масла для светильника, — бывший кавалерист все дальше вторгается на чужую территорию, не встречая при этом ни малейшего сопротивления неприятеля. В этот момент — сейчас два часа пополудни — девушка тесно прижата к стене, ее выпуклые глаза выражают полнейшее согласие, в то время как рот уворачивается и одновременно хохочет, а руки Рапосо дерзко продвигаются под ее рубахой из грубого льна, жадно ощупывая белую чистую кожу, теплые груди, которые возбуждающе покачиваются под его пальцами, усиливая и без того мощную эрекцию. Он все крепче прижимается к бедрам Генриэтты, она игриво отбивается и наконец выскальзывает из его объятий — в тот самый миг, когда его семя изливается прямо в штаны, а из глотки вырывается животный рык, который вызывает у девушки новый приступ бесстыжего хохота. Затем она одергивает блузку, выскальзывает за дверь, проворная, как белка, и устремляется вниз по лестнице.

Опираясь о стену, Рапосо переводит дыхание. Затем запирает дверь, с досадой ощупывает сырое пятно у себя на штанах и приближается к окну, выходящему на улицу Феронри. Внизу кипит жизнь. Среди лачуг, теснящихся вплотную к старинному кладбищу Невинных, под памятником с мраморной доской, сообщающей о том, что в этом месте в 1610 году погиб Генрих Четвертый, убитый фанатиком по имени Равальяк, точильщик затачивает ножи, сидя на скамье напротив своей лавки, чья открытая дверь демонстрируют богатейший ассортимент замков и задвижек. Пока Рапосо следит за его работой, солнечный луч падает ему на лицо, делая отражение в оконном стекле более контрастным: взлохмаченные волосы, двухдневная щетина, усталые круги под глазами. Большую часть ночи он провел без сна, до самого утра мучаясь бессонницей: вертелся на скомканных простынях, от нечего делать начистил башмаки, саблю, пистолет, завел часы, потом долго сидел напротив окна, наблюдая за тенями и звездами. Так бывает всегда, когда у него болит желудок, а последнее время это случается чаще, чем обычно, — всякий раз, как только проклятая дремота затягивает его в некое подобие густого океана, серого, как ртуть, где обитают дурные воспоминания и призраки, созданные его воображением. В такие дни он с вечера становится беспокойным, потому что сама мысль о том, что нужно лечь и уснуть, отвлечься от боли, но при этом отдать себя в лапы монстрам, которые являются из глубины сна, представляется ему ужасной.

Вдали, в уличной толпе, показывается Мило. Треуголка полицейского лихо заломлена назад, сюртук распахнут, и фалды его развиваются на ветру, словно крылья птицы, предвещающей дурное, в руках у Мило неизменная витая трость с бронзовой рукояткой. Рапосо подходит к умывальному тазу, стоящему под приклеенной к стене хлебным мякишем цветной гравюрой, на которой изображен пожилой Людовик Пятнадцатый в горностаевой мантии, открывает воду и умывается. Затем надевает камзол и спускается на первый этаж, застегиваясь на ходу. Внизу он оказывается ровно в тот миг, когда гость открывает входную дверь.

— Здорово, приятель, — приветствует его Мило.

Хозяин отеля — его зовут Барбу — сидит, как обычно, в дверях, а его жена и дочь суетятся поблизости. Рапосо и полицейский выходят на улицу. У Мило свежие новости: по его приказу последние дни двое агентов постоянно следили за академиками.

— По-прежнему занимаются своими делами, — говорит он, бегло заглянув в замызганный блокнот, исчерканный карандашом, который выуживает откуда-то из глубин сюртука. — И с ними повсюду таскается этот пройдоха Брингас... Вчера все трое отправились в магазин запрещенных книг, принадлежащий некоему Видалю; однако, насколько мне известно, без особого успеха.

— Может, использовать это дело против них?

— Думаю, не стоит. Все ограничилось разговором. Владелец продает философские сочинения и книжонки непристойного содержания, но твои друзья не приобрели ничего такого, что могло бы их скомпрометировать.

— А куда они направились потом?

Полицейский снова заглядывает в свои записи.

— Тебя бы это вряд ли заинтересовало... Заходили в книжные магазины и букинистические лавчонки на правом берегу, прогулялись до Сент-Оноре, там тоже заходили кое-куда, далее дошли до бульваров, где посетили салон восковых фигур... Поужинали в трактире «Бурбон», местечке не из последних. У меня даже меню имеется: хамон, устрицы, паштет и две бутылки бургундского, из которых полторы высосал этот их Брингас.

Они миновали рынок возле кладбища, где в этот час уже закрыли фруктовые и овощные лавки, и движутся мимо старьевщиков, расположившихся на соседней площади. Ни единого дуновения ветерка не освежает тяжелый влажный зной. Мило потеет под сюртуком и облизывает губы.

— Сегодня я лично следил за ними, — добавляет он. — С утра пораньше они посетили еще два книжных, выпили газированной воды в кафе на улице Гриль, прошлись по Елисейским полям.

— И с ними все время этот аббат?

— Прилип намертво! В голове не укладывается: жрет, пьет за их счет, ни в чем себе не отказывает, к тому же всякий раз тащит их в места подороже.

Оба не торопясь спускаются к Сене по людной улице Лавандьер. Мило отгоняет тростью чистильщика обуви, который преграждает им путь, держа в руках ящик, полный щеток и гуталина.

— Так вот, на Елисейских полях, неподалеку от площади Людовика Пятнадцатого, имела место любопытная встреча, которая, возможно, тебя заинтересует... Я наблюдал за ними издалека, и тут ко мне подошел начальник тамошних гвардейцев, швейцарец по имени Федеричи, давний мой знакомый. Пока мы с ним болтали и он жаловался на светских щеголей, которые, несмотря на запрет, разъезжают по этим местам верхом, я заметил, как аббат поздоровался с какими-то прохожими: две очень приличные дамы, одна в зеленом, другая в голубом, обе с зонтиками и в шляпах с лентами, и два господина, которые их сопровождали... У одного я заметил перевязь Святого Людовика. Мне это показалось любопытным, и я спросил Федеричи, не знаком ли он с ними.

Рапосо поворачивается к полицейскому и смотрит на него очень внимательно. Мило замедляет шаг, снимает шляпу и вытирает рукой лысину, покрытую капельками пота.

— Того, что с перевязью, зовут Коэтлегон, он военный. Второй — парикмахер по прозвищу Де Вёв: хлыщ от парижской моды, которого дамы из высшего общества сделали миллионером.

— Серьезно? Каким образом?

— Представь себе: парикмахеры и модисты с их париками, костюмами и прическами по последней моде — настоящие хозяева города. Сегодняшняя парижская мода — это Де Вёв. Если не ошибаюсь, как-то раз этому пройдохе посчастливилось причесать принцессу де Ламбаль, ближайшую подружку королевы.

— Вот и в Мадриде то же самое... Только там все происходит месяцев на шесть позже, когда до нас наконец добираются ваши свинские журналы с картинками.

Мило смеется, вытирая скомканным платком мокрую изнутри от пота шляпу.

— Одна из дам, та, что в зеленом платье, — художница по имени Аделаида Лабий-Гиар. А в голубом — некая мадам Дансени. Тебе знакомо ее имя?

— Ни разу не слышал. А что, должен?

— Еще бы. — Мило надевает шляпу и продолжает путь. — Это твоя соотечественница.

— Неужто испанка? С эдакой фамилией?

— Это фамилия мужа: Пьер-Жозеф Дансени был комиссаром короля по продовольствию, а в итоге сколотил себе состояние, торгуя недвижимостью. Прежде он возглавлял французскую торговую миссию в Сан-Себастьяне, где познакомился со своей будущей супругой, женился и увез ее с собой. У них роскошный особняк на Сент-Оноре и поместье неподалеку от Версаля.

— А испанскую ее фамилию ты, случайно, не знаешь?

— Эчарри — вот как ее зовут. Полное имя — Маргарита Эчарри де Дансени. Дочь какого-то испанского финансиста.

Рапосо напрягает память.

— Точно, был один Эчарри, он был связан с банком Сан-Рафаэля, пока тот не лопнул.

— Наверняка тот самый. Разумеется, человек очень состоятельный... Дочка привыкла к роскоши: элегантная, богатая, настоящая светская дама. Устраивает каждую среду у себя в гостиной знаменитые вечеринки, что-то между философией и литературой.

— Возраст?

— Лет тридцать. Или даже больше. Злые языки утверждают, что ей никак не меньше сорока... Бледная кожа, глазища здоровенные, черные: одна из тех красивых женщин, которые ни на секунду не забывают о том, что они красивы. И пользуются этим.

— Не могу взять в толк, что общего у этой красотки с аббатом Брингасом?

— Если узнаешь, удивишься еще больше.

— Говори, не томи.

Мило, неплохой рассказчик, пускается в объяснения. Федеричи — швейцарец, о котором он недавно упомянул в разговоре с Рапосо — шеф охранников, следящих за порядком в районе Елисейских полей. Человек он аккуратный, серьезный, и, как всякий швейцарец, лишен воображения, однако именно поэтому от него ничего не ускользает — ни имя, ни лицо, ни мельчайшая деталь, если дело касается вверенного ему участка. По его словам, этот аббат Брингас — фрукт еще тот; когда-то он был задержан якобы за распространение политических памфлетов, а на самом деле — за порнографию. Так вот, помимо всего прочего, это человек довольно образованный и по-своему обаятельный. По крайней мере, так говорят. В общем, он не только шляется по кофейням, где собираются писатели и философы, но и пользуется расположением в определенных кругах парижского света, отчасти благодаря своему экзальтированному характеру. Его принимают в хороших домах, включая гостиную мсье Дансени: на вечеринках его супруги Брингас играет роль обаятельного и талантливого шута.

— Я внятно излагаю, приятель? — осведомляется Мило у Рапосо.

— Да, вполне.

Тем временем они выходят на набережную Эколь в районе старого Лувра. Мило облокачивается о каменный парапет, Рапосо стоит возле него. Вид, открывающийся с набережной, великолепен: Новый мост, заполненный множеством экипажей, катящихся в обе стороны меж двух берегов, набережная острова Нотр-Дам, разрезающая поток воды. Там и сям виднеются лодки и шаланды, скользящие по реке или пришвартованные к ее берегам целыми гроздьями.

— Коротко говоря, не удивляйся, — продолжает Мило, — если два твоих голубка и этот шут в одну прекрасную среду появятся в салоне супругов Дансени. Потому что аккурат этим утром Брингас представил их самой госпоже Елисейских полей; затем они отправились на прогулку и премило болтали, пока не добрались до ее экипажа, ожидавшего на площади Людовика Пятнадцатого.

— Все вместе?

— Именно. Видел собственными глазами, и еще Федеричи был со мной, как пес святого Бернарда, комментируя каждый их шаг.

Рапосо поворачивается спиной к реке и опирается локтями о парапет. Перед ним возвышается колокольня церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа. Как раз напротив нее, соображает Рапосо, в Варфоломеевскую ночь, когда парижский народ так славно охотился на протестантов, жарче всего лилась кровь. Чтобы потом, добавляет он про себя, все свалили на испанцев и их монахов. Одним — заботы, другим — слава.

— Надо будет разузнать поточнее про этих Дансени. На всякий случай.

— Я сам с удовольствием тебе все расскажу, чтобы ты потом не говорил, что я не отрабатываю луидоры, которые ты мне отсыпал в прошлый раз... И те, что еще отсыплешь.

— Так что же, у этих господ много денег?

— Не то слово! Они нас с тобой купят с потрохами по цене всего лишь одного своего ужина.

— А баба?

Мило обращает на него насмешливый взгляд.

— Что — баба?

— Сам знаешь. — Рапосо соединяет два пальца — большой и указательный, и в образовавшемся отверстии елозит пальцем левой руки. — Любовники у нее есть?

Его собеседник грубо хохочет, показывая зубы и сухие бледные десны.

— Это Париж, приятель! Пуп светской жизни, а заодно всякого ее дерьма... Даже королева не отстает: все мужья с королем во главе носят рога так же естественно, как парики... Про Дансени, разумеется, тоже много чего болтают. По крайней мере, за ней кое-кто ухлестывает, а она позволяет себя обожать. Ее законный супруг — человек тихий, кроткий, от дел давно отошел и наслаждается спокойствием. У него хорошая библиотека, где он проводит большую часть времени. По моим сведениям, имеется там и «Энциклопедия»... О ней-то они и толковали с твоими испанцами.

— Можем мы взять все это под контроль?

— Разумеется. Там, где есть лакеи и слуги — и тех и других у Дансени предостаточно, — есть и полезные сведения.

— Значит, я могу полностью рассчитывать на тебя?

— Не беспокойся, приятель. Положись на старика Мило... Ты будешь знать обо всем так, словно сам был свидетелем.

Полицейский дружески хлопает Рапосо по плечу и указывает на трактир, расположенный по ту сторону моста.

— Что-то я проголодался, — говорит Мило, потирая живот. — Ты уже обедал?

— Пока нет.

— Что скажешь насчет жареных свиных ушей и пары стаканчиков красного, чтобы заморить червячка?

— Ничего не имею против ни того, ни другого.

— Платишь ты, разумеется.

— Даже и не мечтай.

— Тогда сыграем в кости. Как тебе такой вариант?

По дороге им попадаются хорошенькие парижанки, которых Рапосо провожает взглядом. Француженки ему нравятся, признается он себе уже в который раз. Они не жеманничают, как испанки, которые не выпускают из рук молитвенник или четки. Даже улыбаются так, будто бы делают мужчине одолжение.

— А что у тебя с развлечениями? — лукаво интересуется Мило.

— Пока не интересовался.

— Захочешь, мы с тобой наведаемся кое-куда. Посоветую тебе одно неплохое местечко. — На лице полицейского изображается блудливая ухмылка. — Когда ты был в Париже в прошлый раз, мы с тобой неплохо провели время.

— Я тебя понял.

— По-моему, это как раз то, что тебе нужно. Не советую охотиться вслепую. Мы только и делаем, что отправляем шлюх в Сен-Мартен, а из них половина — заразные... Тут в Париже чуть зазевался — и тебя сразу сделают полковником кавалерии: всю оставшуюся жизнь будешь расчесывать себе промежность.

В этот час оба академика и аббат Брингас находятся на противоположной — в нравственном отношении — стороне беседы, которую ведут между собой Рапосо и его приятель Мило. Сегодня в Испании праздник, дон Эрмохенес только что отстоял мессу в Нотр-Дам и со словами «*ite, missa est»* выходит из собора, чтобы вновь примкнуть к адмиралу и аббату, ожидающим под колоннадой, украшенной ангелами и королями. Незадолго до начала мессы адмирал прогулялся вместе с библиотекарем, с холодным любопытством озирая самую крупную в Париже церковь; однако стоило начаться службе, как адмирал покинул собор и присоединился к Брингасу, который все это время оставался на улице, с угрюмым и неодобрительным выражением лица поджидая ученых мужей.

— Ну что, как месса? — вежливо осведомляется адмирал.

— Очень трогательно, особенно здесь, под этими сводами. Однако в целом мало отличается от мессы где-нибудь в Леоне или Бургосе... Здание великолепно, однако витражи меня разочаровали. Я читал, что, проходя сквозь них, свет делается таинственным, почти волшебным.

— Именно так раньше и было, — кивает Брингас. — Но потом цветные стекла заменили обычными.

— В любом случае это очень необычный храм. Вы так не считаете?

Аббат хмурится.

— На мой взгляд, даже слишком, раз уж вы меня спрашиваете. Впрочем, как и все остальные церкви — и пышные, и поскромнее. Большинство их символов враждебны человечеству.

— И все-таки это совершенное произведение архитектуры, признайтесь!

Внезапно Брингас, словно ужаленный змеей, становится желчным, дерзким: он гневно тычет пальцем в оставленный позади собор, напоминающий огромный корабль, причаливший к берегу.

— А знаете, сколько рабочих свалилось с лесов, пока строился этот памятник суеверию и гордыни? Сотни! А может, тысячи. Можете себе вообразить, сколько голодных ртов можно было насытить, вместо того чтобы строить это каменное безобразие?

— Но город с некоторых пор просто немыслим без этого, как вы изволили выразиться, безобразия, — возражает дон Эрмохенес.

— А я бы его вообще уничтожил, а не только перестал бы о нем мыслить. В Париже, как и повсюду в Европе, не говоря об Испании, слишком много церквей. Знаете, сколько месс служится в этом городе ежедневно? Четыре тысячи! За каждую мессу платят по пятнадцать сольдо, а это значит, что религия ежедневно кого-то обогащает... А это...

Он принимается считать, загибая пальцы, но быстро сбивается. Адмирал приходит ему на помощь.

— Три тысячи ливров, — сухо подытоживает он. — Что означает, четыре миллиона в год.

Брингас победно ударяет кулаком одной руки в ладонь другой.

— Ловко работают! Очень неплохо идут у них дела! Добавьте к этому пожертвования во время мессы и продажу свечей.

— Но ведь речь идет о добровольных пожертвованиях, — перебивает его дон Эрмохенес. — В Париже завидная свобода в этом смысле, признайтесь!

— Признаю: так оно и есть. Если не хочешь, священники почти не лезут в твою жизнь. И если ты болен, они не будут вертеться перед тобой, как назойливые мухи, пока ты их сам не позовешь... Если ты не настолько известная персона, что церковь сочтет своим долгом принять в тебе участие. Нет святого отца, который не мечтал бы миропомазать философа и похвастаться этим делом во время воскресной проповеди.

Неожиданно Брингас останавливается и поднимает вверх указательный палец, будто хочет сообщить нечто важное, требующее повышенного внимания.

— Желаете прогуляться? Хочу показать вам храм несколько иного рода, еще более мрачный.

Следуя за аббатом, они пересекают мост, соединяющий остров с правым берегом. Перед ними дома в несколько этажей, расположенные по обе стороны улицы и заслоняющие собой Сену. На первых этажах ютятся лавки, торгующие старыми книгами и культовыми предметами.

— В любом случае, — продолжает Брингас, мрачно поглядывая на витрину, набитую четками, распятьями и образками, — нельзя забывать, что эти священники совсем недавно отказали в христианском погребении самому Вольтеру...

Имя последнего аббат произнес с такой фамильярностью, что дон Эрмохенес смотрит на него с наивным любопытством.

— Вы видели Вольтера? Вы его знали?!

Аббат делает еще несколько шагов, опустив голову и будто бы стараясь побороть гнев, растущий у него внутри. Затем с решительным видом выпрямляется и разводит в стороны руки, будто бы желая обнять весь мир.

— Ах, Вольтер! — восклицает он. — Этот величайший предатель человечества!

— Признаться, вы меня просто наповал сразили! — изумляется библиотекарь.

Аббат сверлит его лихорадочным взглядом.

— Наповал, говорите? Вот и я почувствовал то же самое, когда человек, который изменил разум нашего века, продал свое первородство за миску чечевичной похлебки на столе у власть имущих.

— Да что вы такое говорите?!

— Говорю, что слышите. Отшельнику из Фернея на самом деле вовсе не нравилось его одиночество, зато ему были весьма по душе лесть, власть, деньги, похлопывания по плечу тех же самых идиотов, с которыми он якобы сражался на страницах своих книг... Он ускользнул, как угорь, в разгар самых опасных споров, которые привели его верных почитателей в тюрьму или на эшафот... Кто бы мог соревноваться с ним в проворстве, когда пришлось удирать, смазав пятки? Что он умел — так это произвести впечатление: уж в этом таланта ему не занимать. Однако он никогда не завершал начатого. Вот почему его мощный интеллект не заслуживает человеческого прощения.

— Черт подери! Кого же вы в таком случае почитаете?

— Кого? Кого, вы говорите, я почитаю?! Несравненного, благородного, великодушного. Единственно чистого и незапятнанного из всех них. Великого Жан-Жака, кого же еще?

Брингас делает еще несколько шагов, останавливается и с театральным трагизмом подносит руки к лицу. Затем продолжает свой путь.

— До сих пор проливаю слезы, вспоминая нашу встречу...

— Ого, — оживляется адмирал. — Вы были знакомы с Руссо?

— Косвенно, косвенно, — темнит аббат. — Я встретил его, когда он выходил из своего дома на рю Платриер, в своей Гефсимании: самой скромной, убогой и презренной улице этого города, на которой он прозябал в бедности и безвестности, преследуемый и презираемый, поносимый Вольтером, Юмом, Мирабо и прочими выскочками самого последнего разбора... Как сейчас помню, это было четвертого мая семьдесят восьмого года; впереди у него оставалось всего два месяца жизни... Этот день я отметил белым пятном в героическом календаре моего существования. Я снял шляпу — еще помню, у меня парик упал на мостовую — и поприветствовал его громкими возгласами. Он заметил меня: две пары глаз, два разума, а душа — одна на двоих... Вот и все.

Дон Эрмохенес разочарован.

— Все?

— Ну да. — Брингас смотрит на него искоса. — Вам что, мало?

— Получается, вы с ним даже не разговаривали?

— А зачем? Многие годы мы беседовали на страницах его писаний. Я сразу понял, что великий философ, наделенный божественной интуицией, признал брата-близнеца, вернейшего из друзей. И он мне улыбнулся своей несравненной улыбкой, такой красноречивой, благородной, такой...

— Голодной? — не удержался адмирал.

Свирепый взгляд Брингаса не производит впечатления на бесстрастную, неизменно вежливую улыбку академика.

— Вы что, издеваетесь надо мной? — мгновенно надувается аббат.

— Ну что вы.

— А выглядит именно так.

— Ни в коем случае.

— Руссо, великий Руссо! — вновь принимается за свое Брингас, поразмыслив несколько секунд. — Его по-прежнему преследуют и бесчестят бессовестные церковники... Сколько красивых слов: милосердие, справедливость. Но не верьте им! Будьте бдительны! Церковники-мракобесы ни за что не позволят пробиться ни единому лучу разума... Собаки!

— Полноте, дорогой друг, — протестует дон Эрмохенес. — Собаки... Разве так можно?

— Никаких дорогих друзей, ни черта лысого! Все именно так, как я сказал: собаки, от морды до хвоста.

Они оставили позади мост и Гревскую площадь и шагают по эспланаде, образующей набережную реки, вдоль которой пришвартованы баркасы и сооружены навесы, где хранят клевер для лошадей, распряженных из бесчисленных экипажей, заполняющих Париж.

— Но не они одни таковы, — добавляет Брингас, пройдя несколько метров. — Руссо — единственный из всех, кто остался чист. Остальные же... Ох, уж эти остальные! Все эти салонные философы, мнимые авторитеты, созданные для того, чтобы развлекать и ублажать аристократов, напудренных и праздных...

Вечернее солнце еще более вытягивает и без того худую и длинную тень аббата: его узкий изношенный камзол, штопаные шерстяные чулки, засаленный парик, сплошь покрытый свалявшимися катышками, дополняют образ нищего оборванца. Иногда он опускает подбородок в повязанный на шее мятый платок, словно погружаясь в тягостные раздумья; и всякий раз отросшая щетина, по которой давно плачет бритва цирюльника, с характерным звуком царапает пожелтевший шелк.

— В наши дни, — произносит наконец аббат, — человечество, как никогда ранее, ждет от нас, отважных, дерзких и неподкупных артиллеристов, чтобы мы поскорее забросали снарядами все эти Божии дома!

Дон Эрмохенес кашляет, одержимость аббата его смущает.

— Дорогой сеньор, я уважаю ваши убеждения так же, как идеи каждого человека, тем не менее считаю, что близость Бога через его творение... Дело в том, что религия...

Он осекается, потому что Брингас, встав напротив, сверлит его убийственным взглядом.

— Религия? Не смешите меня, я еще не завтракал...

— Вот как, неужели? — уточняет адмирал, ощупывая пальцами карман жилета.

С философским презрением, хотя и не без видимой внутренней борьбы, Брингас не реагирует на его намек.

— Это может подождать... Позвольте мне объяснить сперва вашему другу, что дикарь, блуждающий по лесам Южной Америки, созерцая небо и лес и чувствуя, что единственный творец всего этого великолепия — великий закон природы, находится ближе к идее Бога, чем монах, запертый в келье, или монашка, лелеющая фантазии своего воспаленного воображения... И готовая им отдаться при удобном случае.

— Ради бога, сеньор, — возмущается дон Эрмохенес. — Поверьте, монахини...

Брингас разражается зловещим апокалипсическим хохотом.

— Каждая монашка должна познать счастье материнства... Любым способом — добровольно или принудительно.

— Господи, помилуй. — Библиотекарь поворачивается к адмиралу, ища у него защиты и справедливого суда. — И вы ничего не возразите в ответ на подобную чушь?

— В монашках я, признаться, мало что смыслю, — отвечает адмирал: по-видимому, все происходящее нисколько его не смущает.

Черпая силы в собственных оскорбленных чувствах, дон Эрмохенес вновь наступает на Брингаса:

— Боюсь, что в этих делах адмирал рассуждает приблизительно так же, как вы... Он считает, что такие понятия, как Бог и разум, несовместимы.

Брингас бросает на адмирала изучающий, но дружелюбный взгляд.

— Это действительно так? А что вы сами скажете, сеньор?

На сей раз дон Педро медлит с ответом.

— Между доном Эрмохенесом и мною существует давний спор, — отвечает он с вежливым безразличием. — И готового ответа у меня нет. Вероятно, мои соображения можно обобщить следующим образом: если Бог — заблуждение, он не может быть полезен человеческому роду. Если же он действительно существует, необходимы научные доказательства его существования.

— Идея Бога полезна в любом случае, — настаивает библиотекарь. — Признайте хотя бы это!

— Даже если бы так оно и было, дорогой мой друг, полезность чьего-либо заблуждения не делает его истиной.

— На протяжении многих веков мнения различных народов совпадают в том, что касается существования различных богов, — не сдается библиотекарь. — Поскольку все мы, люди, созданы для истины, истиной не может не быть то, в чем мы полностью и единодушно согласны!

Адмирал смотрит на него со скептической улыбкой.

— Что-то я очень сомневаюсь насчет того, что все мы созданы для истины... С другой стороны, всеобщая сплоченность людей вокруг объекта, который никто из них не в силах познать, ничего не доказывает.

Оставив позади реку, они поднимаются по улице Сент-Антуан между рядами мебельных магазинов, столярных и зеркальных мастерских, чьи витрины и прилавки тянутся до церкви Сент-Мари, и оказываются в тесной темной закусочной, куда решительно направился Брингас, еще раз напомнив академикам, что не завтракал. Адмирал оплачивает два кофе с молоком и булочку с маслом и куском вяленой говядины, которую потребовал аббат, после чего все трое выходят на свежий воздух и продолжают прогулку. Впереди мрачно возвышаются темные стены Бастилии.

— Я был там, — цедит сквозь зубы Брингас, кивая в сторону крепости. — В этом светском храме произвола и тирании. Забастиленный на все засовы!

— Какое верное определение: забастиленный, — усмехается адмирал. — Достойно словарной статьи.

С блуждающим взором, то и дело поправляя съезжающий парик, Брингас продолжает свои пространные речи. Есть только одно орудие, заявляет он, которого люди, наделенные властью, будь то король или министры, боятся больше образованности своих поданных: он имеет в виду перо талантливых писателей. Совесть властей предержащих корчится всякий раз, когда один из этих народных героев — да хоть бы и сам Брингас, чтобы далеко не ходить за примером, — заявляет о том, что творят эти бесстыжие мерзавцы. Вот почему существует цензура, а литература, описывающая злодеяния, объявляется преступлением; смелые книги попросту отсеиваются, и все лучшее пропадает вместе с ними, а перо гения подрезают беспощадные ножницы воинствующей посредственности.

— Вы следите за моими рассуждениями? — спохватывается аббат.

— До некоторой степени, — отвечает адмирал.

— Я хочу сказать, что в этом деле церковь — сообщник, если не вдохновитель. По крайней мере, возвращаясь к нашей теме, французское духовенство более-менее восприимчиво к новым идеям и склонно вести диалог. В отличие от Испании, где несправедливость нашла прибежище на амвоне и в исповедальнях... Начиная с темных лет, наступивших после Тридентского собора, когда церковь окончательно повернулась спиной к будущему, у нас сплошная путаница с Богом и с врагами.

— Насчет врагов я согласен, — замечает адмирал. — Разумеется, это в первую очередь страны, где печать более развита и где издают книги, которые заставляют нас зеленеть от ярости.

— Вы правы, — наконец-то соглашается дон Эрмохенес. — Даже с этим нам не повезло.

— Везение тут ни при чем, — возражает адмирал. — Все дело в патологическом безволии и равнодушии к таким вещам, как искусства, науки и образование, то есть к тому, что делает человека свободным.

— Абсолютно верно! — провозглашает Брингас. — Есть типично испанская фраза, от которой у меня прямо кровь закипает, — ее часто произносят те, кто имеет отношение к обучению и преподаванию: «Очень скромный мальчик», — говорят они. Разумеется, это у них считается похвалой. А в переводе означает: «Наш мальчик, слава богу, уже подцепил все испанские болезни: смирение, лицемерие и безмолвие».

— И все же есть на нашей родине просвещенное духовенство, — возражает дон Эрмохенес. — Так же, как и дворяне, мещане и даже министры, интересующиеся современной философией. Со временем, я уверен, у нас будет все больше свободы и все больше культуры. Появятся разумные правители, которые, по крайней мере, на земле научатся разделять собственную волю и божественную.

— Не обманывайте себя, — ворчит Брингас. — Это будет лишь в том случае, если произойдет революция...

— Я не употребляю слово «революция». Это слово...

Аббат смотрит на сумрачные башни Бастилии, будто бы их очертания — или же собственные воспоминания об этих стенах — наполняют его энергией и гневом.

— Зато я употребляю! И считаю это для себя большой честью. А еще я говорю о том, что необходимо низвести до уровня обычных граждан всех этих монархов, которые ссылаются на божественное право, видя в нем преимущество перед простым народом... Ограничить же их права поможет либо философское увещевание, либо топор палача.

Дон Эрмохенес вздрагивает и тревожно оглядывается.

— Минутная слабость, простите... Скажите что-нибудь вы, адмирал. Я имею в виду, что-нибудь разумное.

— А я не слышу ничего неразумного, — улыбается адмирал. — На мой взгляд, у нас на редкость приятная беседа.

— Господи...

Занятый собственными рассуждениями, Брингас не обращает на них ни малейшего внимания. Оказавшись снова на берегу Сены, они выходят на улицу Сент-Антуан и попадают в район тесных и бедных улиц. Пьяная старьевщица, сидя возле своей таратайки, заваленной ветхим тряпьем, бранится с кучером, которому сама же преградила путь, так что тому пришлось спуститься с козел и хорошенько ей наподдать — к восторгу соседей, наблюдающих всю эту сцену.

— Полюбуйтесь на них, — восклицает аббат, кивая в сторону торговки и кучера. — Каждый погряз в своей крошечной нищете и дальше собственного носа ничего не видит. Они и знать не желают о грядущем торжестве идей, которые однажды сделают их свободными... Им чуждо все, что не имеет прямого отношения к еде, питью, ругани, сну и размножению.

Они продолжают свой путь. Какие-то работяги оживленно спорят, однако смолкают и почтительно снимают шапки, завидев проезжающий мимо кабриолет, которым правит какой-то тип, похожий на состоятельного торговца.

— И в этом вся их жизнь, — смеется Брингас едким, злым смехом. — Смиренно довольствуясь тем немногим, что имеют, они молятся и целуют руки священникам и дворянам, падая перед ними на колени, потому что их родители, такие же идиоты, как и они сами, приучили их так себя вести... Не тираны делают рабов рабами. Рабы сами создают себе тиранов.

— Однако народ иной раз бунтует, — говорит дон Эрмохенес. — Последний мятеж произошел как раз здесь, если мне не изменяет память. Пять или шесть лет назад. В то время в Лионе и Париже вспыхнул пшеничный бунт из-за дороговизны хлеба ...

— Как вижу, вы осведомлены, сеньор.

— Достаточно почитать газеты, а в Мадриде их выходит сразу несколько штук. Все-таки мы — не Африка.

— Разумеется... Но история с хлебным бунтом так ничем и не закончилась. Вспыхнуло пламя — да тут же и погасло. Основными бузотерами были чужеземцы, а парижане только смотрели, не принимая участия. Очень скоро вновь воцарилось смирение. Впрочем, оно отсюда и не уходило.

— Но сейчас тоже иной раз что-то случается, или я ошибаюсь?

— Отдельные вспышки, более ограниченные. Их с легкостью усмиряют. То случайная потасовка, то кто-нибудь прочтет стишки против королевы — с каждым разом все более едкие и меткие. Однако достаточно двух тысяч солдат французской гвардии и швейцарского полка из Версаля, вмешательства полиции и усердия доносчиков, чтобы восстановить спокойствие. Народ сегодня нельзя назвать настоящей силой... Ворчать — это они запросто, а проедет король в своей карете, как тот бакалейщик минуту назад, и все ему хлопают, потому что с виду он славный малый. Или потому, что королева беременна. Как будто сей факт кого-то накормит... Именно этому посвящено одно мое стихотворение, которое очень кстати пришло мне в голову:

Нелепейшее рабство

кругом у нас в стране,

пешком бредет достоинство,

порок же — на коне.

— Пожалуй, королеве не так уж и хлопают, — уточняет дон Эрмохенес.

— А за что ей хлопать? За растраты? За любовников? За то, что никто толком не знает, от кого зачат дофин, которым скоро разродится эта австриячка? Вот откуда следует ждать главный удар, я считаю. А возможно, и желаю этого. И причина тому не только деспотизм государства, обогащение меньшинства и повальная нищета... Иезавель, Саломея, жены Потифара, Помпадур и Дюбарри всегда играли не последнюю роль в падении отдельных мужей и целых королевств... Вот она, ахиллесова пята всех развратных монархов! За нее их и кусает история.

Глаза аббата заволакивает гнев.

— Они безмятежно дремлют на краю пропасти, а придворные и прочие приспособленцы убирают их ложе цветами, — поэтично провозглашает он.

Дон Эрмохенес чувствует, что пора перевести разговор в более безобидное русло.

— И тем не менее, — начинает он, — я считаю, что французского короля, так же как и нашего, испанского, отличает доброта сердца, уравновешенность духа и простота обычаев... Если бы ему удалось установить умеренность в правлении, справедливый закон, единый для всех, народ был бы ему признателен...

— Не стройте иллюзий, — вновь накидывается на него Брингас. — Французский народ, так же как и испанский, отличает распущенность, не имеющая отношения к свободе, расточительность, лишенная богатства, заносчивость, не связанная с мужеством. Люди скованы позорными цепями рабства и нищеты... В кофейнях и тавернах горячо спорят о свободе трех американских колоний, которые удалены на тысячу двести лиг, и при этом не способны защитить свою собственную. Ленивые животные, им нужно хорошенько вдарить по заду колючей хворостиной!

— Ради бога, сеньор...

Возле изгороди кладбища Сен-Жан толпятся торговки цветами. Адмирал наблюдает за тем, как Брингас, несмотря на свою пламенную речь, косится на одну из девушек, под чьей блузкой, прикрытой шалью, угадывается крепкое и юное тело. Девушка взирает на них без малейшего стеснения.

— А женщины? — продолжает аббат через несколько шагов. — Днем их мысли заняты исключительно мужчиной, с которым провели ночь... Перестают быть собой лет в пятнадцать или шестнадцать и с этого времени всецело предают себя какому-нибудь рабу, чтобы нарожать ему маленьких рабов.

— Но счастье народа... — начинает дон Эрмохенес.

— Я не желаю народу счастья, — резко обрывает его аббат. — Я желаю ему свободы. Пусть учится быть свободным, а будет он счастлив при этом или нет — это уже его дело.

— Несомненно, именно эта работа и предстоит новой философии.

— Да, но, к сожалению, подгонять его придется пинками. Народ слишком неотесан, чтобы усвоить простейшие вещи. Вот почему ему следует перестать подчиняться властям, которые его притесняют... Нужно поднять дух бедняков, показывая им всю низость их собственного рабства. Эти оравы детей, пожирающих глазами еду, выставленную на витринах роскошных магазинов, муж, который целым днями гнет спину, чтобы принести домой несколько франков, а затем напивается, чтобы забыть о своей нищете, хлебе, дровах, свечах, за которые ему нечем платить, матери, которые не едят сами, чтобы накормить детей, и заставляют дочерей заниматься проституцией, едва те подрастут, чтобы в доме появились хоть какие-то деньги... Вот он, истинный Париж, а не тот, который вы видите на улице Сент-Оноре или бульварах, столь превозносимых справочниками для путешественников.

Они вернулись на набережную Сены. Старый город громоздится на противоположном берегу реки, за стенами, тянущимися вдоль берега: пестрый, грязный, извергающий дым и чад, которые расплываются маревом над крышами и трубами.

— Если революция наконец-то произойдет — во Франции, в Испании, во всем загнивающем мире, где мы с вами обитаем, — продолжает Брингас, не произнося, а выплевывая слова, обжигающие рот горечью, — она зародится не в гостиных просвещенного общества, не в лачугах неграмотных и покорных бедняков и не в лавках торговцев и ремесленников, которые «Энциклопедию» в глаза не видели и никогда в жизни не прочитают... Она зародится в среде издателей, журналистов и нас, писателей, умеющих превратить философские идеи в одухотворенную прозу. А далее — в волну беспощадного насилия, которое в один прекрасный день сотрет с лица земли все алтари и троны...

Аббат звонко ударяет ладонями о каменный парапет. Затем обращает свой взгляд в одну и другую сторону — то есть поочередно на адмирала и дона Эрмохенеса, а затем, глубоко задумавшись, смотрит в речную воду.

— Нет у тиранов лучшего союзника, — произносит аббат после продолжительного молчания, — чем смиренный народ, которому все равно, где искать надежду: в материальном благополучии или вечной жизни... Миссия людей, владеющих пером, наш философский долг перед человечеством состоит в том, чтобы продемонстрировать миру, что не существует вообще никакой надежды. Столкнуть человечество с его собственной скорбью — только тогда оно восстанет, требуя справедливости или мщения...

На этих словах он на миг прерывает свою речь. И то лишь затем, чтобы направить звонкий, густой плевок в серо-зеленые воды, увлекающие за собой ветки, сор и дохлых крыс.

— Близок час, когда нынешний век воздвигнет эшафоты и наточит топоры, — заключает аббат. — И нет лучшего точильного камня, чем печатное слово.

— Аббат Брингас — чистейший пример предреволюционного гнева, — объяснял мне профессор Рико, прикуривая одну из своих бесчисленных сигарет. — Пример того, каких чудовищ способны породить нереализованность и интеллектуальное поражение.

Эта встреча была для меня редкой удачей. Позвонив Франсиско Рико, чтобы обсудить с ним характер моего героя, я внезапно узнал, что он тоже находится в Париже, куда приехал с лекциями — что-то об Эразме, Небрихе и прочих. Мы договорились позавтракать в «Липпе», где он рассказал мне о своем нелепом, на мой взгляд, проекте отыскать отпечатки пальцев Кеведо, Лопе де Веги и Кальдерона в оригиналах рукописей, собранных у нас в Академии, — проекте, который занимал его из чистого любопытства, — и неторопливо спускались по улице Бонапарта. Я внимательно прислушивался к его словам. Худой, как всегда элегантный и высокомерный, в очках библиотечного Мефистофеля, с сияющей лысиной и крупными мягкими губами, столь же презрительными по отношению ко всему остальному миру, как и синий галстук с крупным узлом и невозможный пижонский платок желтого цвета, который высовывался из переднего кармана итальянской куртки безупречного кроя. Кажется, ранее я уже упоминал, что профессор Рико был автором «Авантюристов эпохи Просвещения», чрезвычайно интересного исследования об испанских интеллектуалах Французской революции — непримиримый враг ложной скромности, сам он считал свой труд бесценным.

— Ты читал мою безделицу?

— Еще бы, разумеется.

— А книги Роберта Дарнтона и Блума? О трудах энциклопедистов, запрещенных названиях и прочей параферналии?

— Конечно, дорогой Пако. Но мне необходим последний, заключительный штрих, и направить мою руку должен мастер. А тут подвернулся ты, вот я к тебе и обратился.

Слова насчет мастера, направляющего руку, пришлись Пако по душе. Он продемонстрировал это, вытянув губы, пустив колечко дыма — особенное колечко совершенной формы, какие умел пускать только он один, — и на ходу стряхивая пепел в пластиковый стаканчик какого-то нищего румына.

— В общих чертах там все сказано. Или почти все. Дарнтон, который заимствовал идею у Жербие, — да и я сам, который ни у кого ничего не заимствовал, потому что прочел больше книг, чем они оба, вместе взятые, — полностью объясняет — или, точнее, мы совместными усилиями объясняем — особенности таких типажей, к которым относится наш радикальный аббат. Ты меня слушаешь?

— Я весь внимание, профессор.

— Ну и отлично. Итак, перед нами парии интеллектуального мира. Обрати внимание. — Он указал сигаретой в сторону улицы, будто бы все они шествовали неподалеку. — С одной стороны располагался так называемый *grand monde*[[45]](#footnote-45), то есть те, кому посчастливилось оказаться в верхах: тут следует упомянуть такие просвещенные имена, как Вольтер, Дидро, д’Аламбер, — все они, помимо всего прочего, еще и отлично зарабатывали... Это были люди, которых принимали в светских гостиных и любили простые читатели. Триумфаторы модных идеологий... По другую же сторону находились те, кто хотел, да не мог: посредственности или неудачники, которые мечтали о блеске этого мира, но застряли где-то на полпути. Представь себе весь гнев, накопленный юнцом, который, считая себя талантливым, прибыл в Париж в уверенности, что уж здесь-то он будет с Руссо на равных, а вместо этого прозябает, потихоньку старея, где-нибудь в мансарде, пописывает дешевые памфлеты и порнографические книжонки, чтобы купить себе пропитание хотя бы раз в день... Ему не хватает даже на то, чтобы оплатить услуги *fille de joie*[[46]](#footnote-46).

Мы остановились, чтобы осмотреть витрину книжной лавки на улице Бонапарта, где были выставлены книги и автографы. Когда-то давно именно здесь родился мой роман «Тень Ришелье», и в честь хозяина лавки, ныне уже покойного, была названа одна из глав этой книги. Профессор Рико усомнился в подлинности письма с автографом Виктора Гюго, выставленного на витрине, и пробормотал по-итальянски какую-то фразу, показавшуюся мне вольной цитатой из «Легенды веков».

— По-французски фраза много теряет, — пояснил он. Затем уронил окурок на коврик, постеленный у входа, бросив беглый взгляд, изображающий холодное научное любопытство, на то, как он дотлевает. — Эта подстилка, похоже, не огнеупорная, — произнес он в конце концов, прикурил еще одну сигарету, и мы продолжили наш путь.

— Ни в восемнадцатом веке, ни сейчас, — продолжил он спустя мгновение, — никто никогда не признается в том, что главная причина его поражения — всего-навсего отсутствие таланта... Поражению найдется множество объяснений: несправедливость, заговор, завистники и лжецы всех мастей... Аббат Брингас — разочарованный и радикальный псевдофилософ; такие, как он, сочиняли памфлеты, где в основном выражалась ненависть к публике, отказавшей им в, по их мнению, законном признании, нежели к аристократам и королям, которых надлежало ненавидеть... В первую очередь они чувствовали бешеную ярость к захватчикам королевства литературы, склевавшим все крошки славы до последней. Вот что чуть позже превратило всех этих Брингасов в безжалостных революционеров... Эпоха здесь ни при чем: так случалось всегда, во времена любого исторического катаклизма... Вспомни, с каким упоением доносили друг на друга интеллектуалы и люди искусства во время гражданской войны в Испании или в годы франкизма!

— Еще бы... Сплошные доносы, тюрьмы и казни, причем страдали и те и другие: Гарсиа Лорка, Муньос Сека... А кляуза на философа Хулиана Мариаса, отца Хавьера, на одиннадцатый день после окончания войны: ведь его тогда чуть не расстреляли!

— Что уж говорить о моих нынешних проблемах, — добавил в довершение профессор Рико, искоса посматривая на отражение своего профиля в стекле витрины. — Трудно, представь себе, все время быть на высоте. Не думаю, что тебе знакомо это чувство. А в действительности, — добавил он чуть позже, — именно такие Брингасы и их социальная ненависть приблизили революцию во Франции. Просвещение запросто могло бы так и остаться болтовней на вечеринках и в аристократических салонах, в кофейнях для избранных, куда наведывались теоретики новой философии. Именно отчаяние этих обиженных бедолаг стало причиной того, что искра, вспыхнувшая в самых низших социальных слоях, в конце концов охватила пожаром весь народ. Практика показывает, что яростные фанатики, вроде нашего безумного аббата, одержимые разочарованием и ненавистью, выгнали на улицу больше людей, чем все энциклопедисты, вместе взятые.

Когда разразилась революция, в авангард, как это обычно случается, вылезли в основном те, кому нечего было терять. Они оказались у власти, потирая руки и готовясь свести счеты... Актеры и непризнанные драматурги, такие как Колло и Фабр, отправили на гильотину всех своих бывших коллег, кого удалось поймать... Вот и Брингас в период своего якобинства ни единому удачливому философу не оставил головы на плечах, да и сам в конце концов стал жертвой вместе с Робеспьером и его подельниками... Один из наглядных примеров — некто Бертанваль, энциклопедист, которого твой аббат на публике восхвалял, ненавидя при этом всей душой, а во времена Террора донес на него и в итоге пристроил на эшафот... Если бы я оказался там, меня бы отправили на виселицу первым же эшелоном. В те времена уже существовали, представь себе, посредственные специалисты по Сервантесу... Или, лучше сказать, все были посредственны. Но, — добавил он с едва уловимым сожалением, — меня там не было.

На перекрестке с улицей Жакоб мы повернули налево и остановились возле еще одного книжного магазина, специализирующегося на научных книгах. На витрине было выставлено солидное издание «*La Méthode des fluxions»*[[47]](#footnote-47) Ньютона в переводе Бюффона. Я зашел внутрь, чтобы разузнать кое-что по поводу этой книги. Отличный был бы подарок Хосе Мануэлю Санчесу Рону по возвращении в Мадрид: я знал, что Ньютон — его кумир. Однако цену за книгу заломили чудовищную. Когда я вышел, профессор Рико, который поджидал меня на улице, выпуская новые колечки дыма, казалось, что-то вспомнил.

— Есть очень любопытные «Мемуары», — сказал он. — Почти такие же содержательные, как если бы их писал я сам. Автор — некто Ленуар.

Я машинально посмотрел на витрину, как вдруг сообразил, что он имеет в виду что-то совершенно иное.

— Это не тот ли, что незадолго до революции служил начальником полиции?

Он выпустил еще одно колечко дыма, бросил окурок и снял очки, чтобы протереть их элегантнейшим платком из желтого шелка.

— Он самый.

— У меня есть эти мемуары. Когда-то я разыскал их в коллекции *Bouquins*[[48]](#footnote-48), но до сих пор не открывал.

— Значит, время настало. В этой книге есть чудесный отрывок, где Ленуар упоминает список неких субъектов, которые в период Террора стали радикальными депутатами, проголосовали за смерть короля и заняли важнейшие посты... За несколько лет до этого в полицейских отчетах все они упоминались как сброд, банда посредственностей и неудачников, отъявленная шпана... А списочек-то, между прочим, занятный: среди прочих там значатся Фабр д’Эглантин, твой приятель Брингас, а также Марат, этот задушевный друг народа... Комментарий насчет последнего просто великолепен, что-то вроде «бесстыжий шарлатан, промышляет медициной, не будучи врачом. На него не раз доносили, поскольку много больных умерло от его рук».

Он посмотрел очки на просвет, надел их и засунул платок обратно в верхний карман пиджака, виртуозно проталкивая пальцами, так что в итоге снаружи остался только кончик.

— Надеюсь, — безучастно произнес Рико, — ты не будешь вести себя как этот козел Хавьер Мариас и тебе не придет в голову сделать меня персонажем твоего будущего романа.

— Ни в коем случае, — пообещал я. — Не беспокойся.

На улице свистит ветер, который адмирал предсказывал накануне вечером, когда облака и дым внезапно начали расслаиваться, вытягиваясь в небе над городом наподобие конских хвостов. Сейчас ветер свистит в каждой выемке, под навесами, в водосточных трубах. Грохочут открытые ставни соседних домов. Видимо, перемена погоды плохо отразилась на бедном доне Эрмохенесе: подскочила температура, пульс участился, однако сам он объясняет свое недомогание исключительно спорами с аббатом Брингасом на тему религии. Сидя при свете масляного светильника у себя на кровати, в халате и ночном колпаке, он беседует с облаченным в рубашку и жилет адмиралом, который пытается растопить печь при помощи угля.

— Глаза этого человека, этого Брингаса, — бормочет библиотекарь.

— Глаза, говорите? Что же в них такого особенного?

— Они все время бегают. Вы не замечали? Туда-сюда, туда-сюда, бешеные какие-то, будто бы все заносят в какой-то недобрый личный дневник. У нас в глазу, как вы знаете, имеется семь мышц...

— Насколько мне известно, восемь.

— Не важно. Дело в том, что глаза нашего аббата — или кем на сегодняшний день является этот субъект — движутся просто с неслыханной скоростью!

Дон Педро улыбается. Он прикрыл печную заслонку и переместился ближе к другу, заняв стул возле его кровати.

— Ваши глаза, дон Эрмес, надо сейчас закрыть и немного подремать. Боюсь, мы с вами слегка перегуляли за эти дни. Да еще эти сквозняки повсюду.

Дон Эрмохенес согласно кивает, затем на мгновение задумывается и осуждающе хмурит брови.

— Между прочим, дорогой адмирал: вы меня совсем не поддержали, когда зашел этот неприятнейший разговор насчет религии. До чего ожесточенный, озлобленный человек! Воинственный, полный ненависти! Я знаю, что кое-какие его идеи вам близки, хотя, слава богу, не самые экзальтированные!

Улыбка дона Педро становится шире. Он берет руку библиотекаря и считает пульс.

— Возмутительны не сами идеи, а форма, в которой он их излагает. Идеи Брингаса, как бы дерзко они ни звучали, по сути своей кажутся мне верными.

— Боже правый...

Адмирал выпускает руку дона Эрмохенеса и поудобнее устраивается в кресле.

— Мне очень жаль, дон Эрмес... Однако в том, что касается религии, Брингас прав. На девять тысяч лиг, которые составляют периметр мира, не найти ни единого места, где предполагаемые приказы какого-нибудь бога не были обагрены кровью преступления.

— Да, но вы говорите о диких богах, которых создают себе невежественные дикари, не знающие культуры! На то и существуют просвещенные миссионеры, как в прямом смысле, так и в переносном. Только они помогают соединить истинность и необходимость веры с истинностью и необходимостью рационального мышления.

Адмирал насмешливо смотрит на своего приятеля. Он достает из кармана часы, сверяет время и подносит их к уху, проверить, идут ли они.

— Вы думаете, в наше время миссионеры кому-то помогут, дон Эрмес? Миссионеры что-то мне объяснят, и я начну поститься?

— Не будем об этом, дорогой друг.

Библиотекарь берет томик Горация, лежащий на ночном столике, и перелистывает страницы, однако не может сосредоточиться и в конце концов кладет книгу на кровать рядом с собой.

— Тем более в век прогресса и открытий, — внезапно подытоживает библиотекарь. — Взять хотя бы все эти племена, которые недавно обнаружили в Африке и на островах Тихого океана... Сперва понятие о справедливом боге, затем построение цивилизации, а в конце концов гармоничное сочетание различных идей. Нет ничего проще и ничего позитивнее.

Адмирал отрицательно качает головой — вежливо, но решительно.

— Диким народам, которые только что обнаружили, — спокойно говорит он, заводя часы, — в первую очередь нужен не миссионер, а геометр. Для начала кто-то должен растолковать им основные законы природы... Пусть сперва научатся складывать и вычитать числа, а уж потом перейдут к идеям. Физика и естественные опыты, пробы и ошибки — вот культ, которому должен служить свободный человек.

Снаружи ветер яростно сотрясает плохо прикрытые ставни. Адмирал с отсутствующим видом склоняет голову, словно погружаясь в мысли или воспоминания. Затем внезапно оживает, будто бы желая вернуться в настоящее.

— Если мы соединим железные опилки с серой и водой, то получим огонь, — говорит он. — Если шар скатывается и сталкивается с телами, которые встречает на своем пути, он передает им импульс, который зависит от его массы... Если корабль движется из пункта А в пункт Б, он отклоняется от заданного маршрута в соответствии с фактором С, состоящим из ветра и течения... Вот он, истинный катехизис! Только в нем и есть смысл.

— Да, но идея Бога...

Ветер завывает и грохочет ставнями. Дон Педро резко встает с кресла и делает три решительных шага в сторону окна.

— Это всего лишь способ замаскировать ту часть естественного закона, которую человек пока не может объяснить... Самое страшное — обожествление ошибки.

Произнося все это, он открывает окно и резким ударом захлопывает ставни. Лежа в постели, библиотекарь смотрит на него с удивлением.

— Карамба, адмирал... Вы с такой яростью все это говорили. И я не понимаю...

— Да, простите... Вы тут ни при чем.

Адмирал спокойно возвращается к креслу, но не садится, а кладет руки на спинку. Лицо его мрачнеет.

— Человек несчастлив, потому что не знает законов природы. Будучи не способен изучать ее научными методами, он не в силах осознать тот факт, что природа, которой не свойственны ни добродетель, ни злодейство, всего лишь следует своим неизменным, вечным законам... Иными словами, она не может действовать как-то иначе. Вот почему в своем невежестве люди склонны слепо подчиняться другим людям, которые ничем не отличаются от них самих: королям, колдунам и священникам, которым невежество позволяет считать себя земными божествами. Пользуясь обстоятельствами, они порабощают, растлевают, делают других людей порочными и нищими.

— В этом я с вами согласен, — сдержанно замечает дон Эрмохенес. — Но лишь отчасти и с оговорками. Сегодня Брингас сказал кое-что, чего я также не могу отрицать: не тираны делают рабов рабами. Рабы сами создают себе тиранов.

— С одним отягчающим обстоятельством, дорогой друг... В темные времена человеческое невежество было простительно. В просвещенный век, подобный нашему, простить его невозможно.

После этих слов адмирал умолкает и некоторое время стоит неподвижно. Свет масляного светильника углубляет тени на его худом лице, отчего оно кажется морщинистым и старым, а глаза — еще более водянистыми и прозрачными.

— Осталось позади то время, когда меня раздражал дурной нрав, — добавляет он. — Сейчас меня раздражает только глупость.

— Не знаю, как мне реагировать на ваши слова.

— Вы здесь ни при чем, дорогой дон Эрмес.

Ветер яростно бьется в запертые ставни. Внезапно библиотекарь понимает, что происходит с его другом: он вспоминает море. Слепую ярость природы, которая подчиняется лишь своим собственным законам. Безразличную к порокам и достоинствам людей, одинаково терзая их и убивая.

— Вы в самом деле считаете, дон Эрмес, что если один человек шепотом обменяется парой слов с другим человеком, он начисто сотрет из своей совести — и не будет оплачивать в следующей жизни — то зло, которое совершил в этой?

Адмирал вновь замирает, сложив на спинке кресла руки и молча глядя на своего друга. Дон Эрмохенес чувствует, что сейчас нужно как-нибудь ненавязчиво рассеять это странное спокойствие. Эту леденящую душу покорность стоящего перед ним дона Педро.

— Ради бога, скажите, дорогой адмирал, — произносит библиотекарь с неожиданным простодушием, — неужели вам никогда не хотелось начать новую жизнь, все начать заново? С нуля, с чистой совестью? А ведь именно это предлагает прекраснейшее из христианских таинств: покаяние. Достаточно смириться перед Богом, чтобы получить бессмертие души. Всего один шаг к Чистилищу — и ты свободен.

— А сколько времени меня продержат в этом Чистилище, друг мой?

— Нет, вы все-таки невыносимы!

Адмирал смеется. Он отходит в сторону, и тени перестают коверкать его лицо.

— Если бы мне пообещали бессмертие в обмен на один день в Чистилище, я бы отказался от сделки. Какая невыразимая скука ожидает потом: вечно играть на арфе, сидя на облаке в дурацком белом балахоне... Лучше вообще перестать существовать!

— С ужасом думаю о том, что вы это говорите всерьез.

— Конечно, всерьез! Если человек прожил полноценную жизнь, все, что ему нужно, — это полноценный заслуженный отдых.

— И на том спасибо. По крайней мере, у вас имеется стимул заслужить его, когда пробьет ваш час. Вам не в чем себя упрекнуть: как военный, вы сражались за короля и за родину; как человек науки, оставили после себя труды, в том числе замечательный «Морской словарь»; как член Академии и достойнейший человек, вы имеете верных друзей, которые вас уважают и одним из которых вы меня, надеюсь, считаете... Этого вполне достаточно, чтобы гордиться.

Адмирал пристально смотрит на собеседника. Он не спешит с ответом. В конце концов убирает руки со спинки стула и с достоинством выпрямляется, одинокий и печальный. Точно так же, думает библиотекарь, во времена юности он стоял на палубе корабля, осыпаемый картечью из вражеских пушек.

— Не знаю, дон Эрмес... Честно сказать, я больше горжусь не тем, кем я стал, а тем, кем мне удалось не стать.

Двое путешественников не догадываются, что в этот же самый час, в двухстах шестидесяти пяти лигах от их гостиницы, при свете масляной лампы «Арганд», подаренной Испанской королевской академии три дня назад самим королем, — единственный символ современного комфорта в пыльном зале для общих собраний, — коллеги-академики в полном составе заняты спором, в высшей степени напоминающим их собственный. Это началось, когда после обсуждения дежурных вопросов все перешли к словарной статье под заглавием «Сущее», которая, по требованию кое-кого из присутствующих, в следующем издании «Словаря» должна была претерпеть изменения; дело в том, что определение, которое присутствует в соответствующем томе «Толкового словаря испанского языка», опубликованном в 1732 году, и которое продержалось в первоначальном виде более полувека, внезапно потребовали сократить. Или, по крайней мере, согласно записи в протоколе, вынести на обсуждение — на этом настоял Хусто Санчес Террон, один из членов Академии: именно он наиболее рьяно выступает за изменение. Коротко говоря, изначальное определение «Так называют все то, что существует в реальном мире. Метонимически — это Бог, по свойствам — Мир Нерукотворный, независимый, существующий сам по себе, а по совокупности — все сотворенные сущности» должно было, в соответствии с критериями модернизации, свестись к первому параграфу; то есть к «Все то, что имеет реальное существование», отказавшись от свойств и совокупностей и оставив в стороне Бога и его творения. Все это породило живейшую дискуссию, которая продолжается до сих пор, хотя участники ее ведут себя куда безжалостнее друг к другу, нежели двое путников, нашедших прибежище в Париже: ни те академики, кто привержен религиозной вере — или, по крайней мере, утверждают, что привержены, — не проявляют такой деликатности, как дон Эрмохенес; ни те, кто отправляет исключительно культ разума, не держатся так мягко и предупредительно, как адмирал.

— Пока за границей развиваются физика, анатомия, ботаника, география, естественная история, — вещает Санчес Террон, то и дело прибегая к эффектным паузам и любуясь, по своему обыкновению, собой, — мы спорим о том, является ли сущее самодостаточным или подобным, постижимы ли эти различия и отличается ли взаимосвязь от основы... Таковы, сеньоры, испанские университеты. И таково наше образование.

Протесты слышатся там и сям вокруг кожаной скатерти, руки то и дело взмывают над столом, выражая согласие или недовольство. Бросая быстрые взгляды по сторонам, секретарь Палафокс старательно заносит в протокол все происходящее, в то время как директор Вега де Селья предоставляет слово то одному, то другому оратору.

— Совершенно невыносимо, — аргументирует дон Николас Карвахаль, математик и автор «Трактата о гражданской архитектуре», приходя на помощь коллеге, который выступал перед ним, — что преподавание и университет по-прежнему находятся в руках тех, кто защищает учение Аристотеля и Фомы Аквинского в спорах со сторонниками современной науки, когда на дворе век дипломатии и прогресса.

Далее наступает очередь дона Антонио Мургии, архивариуса Его Величества и члена Академии истории: это энергичный некрасивый человечек с мелкими чертами лица и в круто завитом сером парике, автор популярной биографии Филиппа Пятого и нескольких трактатов об упадке Астурии и Войне за наследство.

— Наследие «новаторов» прошлого века, — аргументирует он, — несмотря на их скромность, было расценено теологами и моралистами, окопавшимися в схоластике и учении Аристотеля, как угроза... Их давление вынудило многих ученых людей соблюдать разумное молчание. И мы до сих пор за это расплачиваемся. Наш Ученый дом не может по-прежнему оставаться сообщником подобного умалчивания!

Обеспокоенный неожиданным поворотом в дебатах, директор смотрит на висящие на стене часы, сравнивает обозначенное ими время — четверть девятого — с показаниями других часов, которые потихоньку вытаскивает из кармана сюртука, и напоминает присутствующим, что их задача — обсуждать словарные статьи для «Толкового словаря», а не ставить диагноз интеллектуальным недугам нации.

— Речь идет всего лишь о пересмотре определения, уважаемые академики. О кастильском — или испанском — языке. Мы с вами не в трактире, и предмет нашего обсуждения — не содержание утренней газеты!

Одни соглашаются, другие пожимают плечами; вокруг стола пробегает нестройный гул одобрения и порицания. В конце концов, хмурясь и морщась, слово берет Мануэль Игеруэла. Язвительными и желчными, по своему обыкновению, словами, бросая из-под парика злобные взгляды на коллег, с которыми расходится во мнении, издатель объясняет, что он в корне не согласен с ньютонизмом и рационализмом, потому что истинный ученый, подчеркивает он, должен соотносить свои выводы с Божьей мудростью, а не раскрывать так называемые законы природы, ибо природа по сути своей не способна устанавливать никаких законов, обратное же утверждение невежественно и порочно. Попытки рационально объяснить мир с помощью наблюдения и опыта означают, что надобность в божественном откровении попросту отпадает, а достойная роль церкви сводится к нулю.

Наиболее реакционная группа академиков соглашается с Игеруэлой молча и благоговейно: это двое из пяти священнослужителей и действительных членов Академии, высокий чин из Государственной казны и граф де Нуэво Экстремо. Однако постоянный секретарь Совета инквизиции дон Жозеф Онтиверос по-прежнему молчит с отстраненной улыбкой на губах. Наконец поднимает седую голову и просит слова.

— Я полагаю, что нам не следует пересматривать понятие «сущность», оставив его в неизменном виде, по крайней мере в ближайшем издании «Толкового словаря». Однако в будущем мы не имеем права поворачиваться спиной к брожению умов, которое наблюдается повсюду... Все подвергается анализу, оспаривается, переворачивается с ног на голову, нравится нам это или нет, — от принципов науки до основ религиозной веры, от метафизики до понимания хорошего вкуса, от теологии до экономики и торговли... Не обращая внимания на эти перемены, мы вредим религии еще больше, чем разуму, потому что в итоге религия может превратиться во врага.

Слово опять берет Игеруэла: он поднимает пухлую руку, на которой сверкают золотые кольца, и обвинительно направляет указательный палец на радикально настроенного Санчеса Террона, сидящего за столом напротив, который в ответ презрительно ухмыляется. Если вдуматься, то над кожаной скатертью, покрывающей стол, над горящими взглядами обоих участников, пролегают пространства и века, разделяющие обоих.

— Разумеется, у преподобного падре Онтивероса достаточно полномочий, — говорит Игеруэла, глядя при этом куда-то в другую сторону. — Однако дело кончится тем, что эта мера, этот христианский по сути своей подход только воодушевит безбожников. Он придется по вкусу философскому синедриону, который, подобно некоторым моим коллегам, требует, чтобы вместо «Отче наш» произносили: «*е*, восходящая к *пи,* плюс один равно нулю». Чтобы мы, люди, бросили города и вернулись в свое естественное состояние, в луга и леса — к готтентотам, патагонцам и ирокезам... Чтобы молились святому Эйлеру и святому Вольтеру. А еще лучше — вообще никому не молились, не почитая ни королей, ни сутаны, ни тоги... Все это величайшее заблуждение и гордыня!

Речь Игеруэлы — неделей позже она будет слово в слово опубликована в пахнущем свежей типографской краской «Литературном цензоре», им же издаваемом, — не встречает одобрения сидящих вокруг стола; директор Вега де Селья, который то и дело безнадежно поглядывает на часы, висящие на противоположной стене, вынужден призвать собравшихся к порядку; тем не менее он бессилен что-либо предпринять, когда косвенными намеками Санчес Террон вновь просит предоставить ему слово и в относительно жестких терминах критикует — о чем сообщает протокол, который ведет уполномоченный секретарь Палафокс, — «абсурдную аристотеле-птолемеевскую космологию, которую исповедуют некоторые сеньоры академики, их оголтелую схоластику и защиту авторитета Священного Писания». Испания, подытоживает он, должна перестать сопротивляться науке и прогрессу. Пусть учится думать и учится читать. На сегодняшний день она пребывает в заблуждении, и ей многое необходимо понять.

— Вы советуете нам учиться читать? — взвивается вне себя Игеруэла, не дожидаясь своей очереди. — Сеньор академик заявляет нам в лицо, что мы безграмотные неучи?

— Ну что вы, ни в коем случае, — презрительно отзывается Санчес Террон с циничной улыбкой превосходства, не соответствующей его словам.

— Эти тлетворные рассуждения, — Игеруэла будто бы не говорит, а плюется ядом, — звучат по всей Европе, с соответствующими результатами: нет королевства, кроме Испании, которое, к своему несчастью, не было бы заражено идеями Ньютона и, соответственно, Коперника и не было бы враждебно священным текстам, которые мы обязаны почитать... Это противно здравому смыслу! Дело в том, что недавно я прочел кое-что у сеньора Санчеса Террона и с тех пор глаз не могу сомкнуть: беру с тарелки клубнику — и вместе с ней проглатываю крошечных невидимых зверьков, нюхаю розу — и чуть ли не разговариваю с ней, срываю цветок — и чувствую себя убийцей! Куда приведет нас подобная бессмыслица?

— Только одно посоветую, — холодно настаивает Санчес Террон с тем же безразличием, что и раньше, — не заслонять своей персоной свет просвещения.

— Не свет, а блуждающие огни, вот что вы хотите сказать! К тому же совершенно нам чуждые, — не без коварного умысла намекает Игеруэла. — Я имею в виду ваше легкомысленное желание сгущать краски, нагнетать тьму, переть напролом, на все лады расхваливая поверхностные веяния, которые доносятся к нам из-за границы, при этом нимало не заботясь о том, насколько они правдивы... Истина — не подражание, не заимствование, а явление исконное, сермяжное. И в первую очередь — испанское!

— Я не позволю вам...

— Меня не волнует, позволяете вы мне или нет.

Наконец бьют часы, и директор Вега де Селья с заметным облегчением отводит от них истосковавшийся взгляд.

— Время нашего заседания истекло, господа академики. Agimus tibi gratias...[[49]](#footnote-49)

Они сталкиваются на выходе — Игеруэла, закутанный в свой неизменный испанский плащ, и Санчес Террон в пальто из тонкого сукна, скроенном по последней заграничной моде. Из Академии они выходят важные, надменные, друг на друга не глядя; дойдя же до улицы Казны, каждый идет по своей стороне. Далее шаг одного из них замедляется, давая возможность второму догнать его, после чего оба шагают рядом.

— Вы невыносимы, — бормочет Санчес Террон.

Игеруэла пожимает плечами, продолжая движение в том же ритме. Треуголку он несет в руке, и парик придает его крупной голове, насаженной на короткую шею, которая будто бы привинчена к телу, довольно-таки гротескный вид.

— Только не жалуйтесь. В антифилософской диатрибе, которая будет опубликована в ближайшем «Цензоре», я ничего упоминать не стану. Я человек, который умеет уважать перемирие.

— У меня нет с вами никакого перемирия.

— Зовите как хотите: тактический договор, общность интересов, обоюдное желание нагадить ближнему... Иными словами, нас объединяет общее дельце. И это, нравится вам или нет, образует связующие узы. Эдакий симпатичный узелок.

Собеседник колеблется, чувствуя неловкость.

— Хочу заметить, что я ни единой секунды...

— Конечно-конечно. Естественно. Не беспокойтесь. Я все возьму на себя.

— Боюсь, вы ничего не понимаете.

— Еще как понимаю! Вам нравится, когда за вас делают всякую грязную работу, а у вас при этом чистые руки.

— Доброй ночи, сеньор.

Засунув руки в карманы пальто, Санчес Террон поворачивается и широким шагом удаляется в сторону королевского дворца. Не слишком огорчившись, Игеруэла в терпеливом молчании следует за ним. Наконец не выдерживает, вновь догоняет Санчеса Террона и дергает его за рукав.

— Послушайте, взгляните мне в глаза... Сбежать вам не удастся, так и знайте.

— Все это слишком далеко зашло.

Игеруэла издает хитрый смешок.

— Что меня больше всего в вас очаровывает, дорогие народные искупители, так это та легкость, с которой вы всякий раз, когда дело начинает попахивать реальностью, воротите нос. Когда наступает время по совести расплачиваться за ваши намерения, которые осуществляют другие!

Они останавливаются на площади под зажженным фонарем. По другую сторону площади среди теней, под небом, усыпанным звездами, виднеется каменная громада королевского дворца. Игеруэла поднимает руку, унизанную кольцами, тычет пальцем в грудь Санчеса Террона, затем прикасается к себе.

— Вы замешаны в этом деле так же, как и я, — уточняет он.

— Идея была ваша.

— И вам она показалась замечательной.

— Сейчас мне уже так не кажется.

— Слишком поздно. Наш человек в Париже выполняет свою работу, и нам предстоит смириться с последствиями... Как раз сегодня утром я получил от него письмо.

На неприступной физиономии Санчеса Террона против желания вспыхивает искорка интереса.

— И что же в этом письме?

— Путешественникам не так просто раздобыть то, за чем они приехали, а наш человек собирается осложнить их поиски. Кроме того, они попали в лапы некоего не внушающего доверие субъекта, а посольство меж тем самоустранилось... Как видите, все идет по плану. И очень удачно складывается!

Санчес Террон вздрагивает, однако в следующую секунду вновь выглядит негодующим и высокомерным.

— Повторяю, я...

— Можете не утруждать себя повторениями. Кроме того, Рапосо потребовал еще денег. Похоже, расходы возрастают. По крайней мере, так он утверждает.

— Но я уже выдал три тысячи реалов!

— Да, разумеется. И я, как вы понимаете, не доверяю всему, что пишет Рапосо. Однако, чтобы чувствовать себя спокойнее, мы должны ему что-нибудь отправить.

— О какой сумме идет речь?

— Тысяча пятьсот реалов.

— В общей сложности?

— С каждого. Я позволил себе отправить эту сумму сегодня из собственного кармана с платежным письмом от «Хиро Реаль» парижскому банкиру Сарториусу... Буду очень признателен, если вы вернете мне свою долю, как только представится возможность.

Они вновь пускаются в путь, который на сей раз пролегает вдоль стены королевского дворца. Напротив отделения полиции при свете фонаря часовой равнодушно смотрит на них из будки.

— Я знаю, о чем вы думаете, — говорит Игеруэла. — Разумеется, я мог бы полностью взять этот платеж на себя... Но очень уж соблазнительно самую малость потревожить вашу безгрешную просветительскую совесть.

— Экая вы скотина!

— Да, случается иной раз. Вот почему мой «Литературный цензор» имеет неплохие продажи!

Игеруэла противно хихикает, однако заметно, что ему не до веселья.

— Еще бы, — отзывается Санчес Террон. — И не только поэтому... Национальное пижонство и дурновкусие, все эти тореро и куплеты, оскорбительная сатира, позорящая наиболее достойных представителей нашей современной словесности, цветут у вас пышным цветом. Зато восхваление мудрецов, упоминание об их трудах, размышления о прогрессе и науке встречаются в вашей газетенке весьма редко... Помимо прочего, чиновники от цензуры одной с вами породы. Они — ваши сообщники.

— Свобода печати имеет свои пределы, мой сеньор, — спокойно возражает Игеруэла. — Прислушайтесь к мнению человека, который вот уже двадцать лет выпускает общественные издания! Известно, что столкновение некоторых идей и материй рождает искру света. Однако в некоторых случаях, таких как религия и монархия, это столкновение вызывает пожар, которого следует избегать с величайшей предосторожностью... Признайтесь-ка, друг мой: в вашей политической системе, руководимой людьми одной с вами закваски, предполагается свобода печати?

— Непременно!

— А мне разрешат печатать мою газету?

Санчес Террон секунду колеблется.

— Вероятно...

— А я думаю, вряд ли, — снова хихикает Игеруэла. — Несмотря на все звучные лозунги, первым делом ваш брат запретит издания вроде моего.

— Это неправда.

— Вы это говорите неуверенно. Разоблачать святых — вовсе не то же самое, что облачать. Одно дело — бравировать идеями, другое — расхлебывать последствия... Вот почему, имея счастье влиять на события, я сделаю все возможное, чтобы этот момент никогда не настал.

— Какого черта вы делаете в Академии?

— Кроме любви к словесности меня привлекают связи и амбиции... Впрочем, как и вас. Но меня боятся, а вы, эдакий модный персонаж, придаете всему нашему сборищу налет просвещенности.

— Настанет время, когда бояться начнут таких, как я. А не мелкую сошку, подобную вам!

Игеруэла насвистывает, выражая иронию.

— После таких слов, как «скотина», — заявляет он, немного поразмыслив, — вашей «сошкой» можно напугать только собрание членов Академии... Напомните мне, чтобы в следующий четверг мы отыскали в «Толковом словаре» определение этого слова.

— А я вам подскажу, что это: подставка для ружья. Имеется в виду нечто мелкое, малозначащее. А синоним «твари» — «каналья»: человек низкий и подлый.

— Все эти слова мало подходят для общения двух кабальеро!

— Вас нельзя назвать кабальеро.

— Правда? А вас, значит, можно? Ну конечно, вы у нас один незапятнанный... Такой всегда благородный, такой важный в своей просвещенной правоте!

Расстояние между ними и полицейским участком увеличивается, собственные тени крадутся впереди, удлиняемые фонарем, горящим за их спинами. Они внимательно и чутко прислушиваются к шагам друг друга: ненависть их породнила. Через несколько шагов Игеруэла смиренно пожимает плечами.

— Так или иначе, на сей раз мы их забудем. Я имею в виду эти два словарных определения. Что же касается будущего... Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эпоха, когда начнут бояться вас и вам подобных, не наступала как можно дольше. В любом случае к этому времени наш маленький тактический альянс уже прекратит свое существование.

— Очень на это надеюсь!

— Не стройте иллюзий: развалится один — появятся другие. Помимо нашей маленькой подпольной ячейки существует определенный союз интересов, пусть даже конкурирующих, который никогда не исчезнет... Несмотря на столь испанскую потребность не убедить — и даже не победить, — а уничтожить противника, по сути, я вам необходим так же, как вы мне.

— Не говорите глупостей!

— Неужели вы этого не понимаете? Пораскиньте мозгами — ведь именно этому вы учите в ваших проповедях. Мы с вами, дорогой мой, паразитируем друг на друге, подобно некоторым организмам. Каждый играет особую роль, располагаясь по разные стороны ограниченного и грубого народа, движимого низменными инстинктами, возможность освобождения которого всегда будет невелика... Даже в том случае, если мы насмерть забьем друг друга палками, воскреснем мы опять-таки непременно вместе. В конце концов, простому народу, и уж тем более испанцам, ничто так не потребно, как сон, аппетит, ненависть и страх; а мы с вами, каждый на свой лад, именно это ему и обеспечиваем. Что, не верите? Вспомните старую пословицу: противоположности сближаются.

— Что это за столпотворение? — удивляется дон Эрмохенес.

— Шлюхи, — отвечает аббат Брингас. — Их везут в Сальпетриер.

Они остановились на углу улицы Сен-Мартен, где толпится множество любопытных, зевак и просто горожан, которые выходят поглазеть на происходящее из соседних лавок. Жильцы высовываются из окон. Мимо голов и шляп проплывает подвода, везущая женщин. Их около дюжины. Разновозрастные, растрепанные, одетые кое-как, они едут в телеге под присмотром дюжины полицейских в синей форме, вооруженных ружьями и штыками.

— Какое странное зрелище, — произносит адмирал.

— Чего тут странного, — возражает Брингас. — В Париже тридцать тысяч проституток. Одни промышляют открыто, другие — тайком. Каждую неделю их арестовывают — с излишним, я бы сказал, рвением... Свозят в Сен-Мартен, и раз в месяц они предстают перед судом. Стоя на коленях, выслушивают приговор, а затем их отправляют в тюрьму отбывать срок. При всем честном народе, в назидание, так сказать.

Академики и Брингас остановились и вместе со всеми смотрят на проезжающую повозку. В основном зеваки глазеют из обычного любопытства, однако есть и такие, кто насмехается над женщинами и оскорбляет их. Женщины разновозрастны — от седовласой матроны до совсем невинной на вид девушки. Некоторые, особенно кто помоложе, стоят, понурив голову, опозоренные и заплаканные. Другие преспокойно выдерживают чужие взгляды, а есть и такие, кто без тени стыда выслушивают оскорбления да еще и осыпают полицейских самой отборной бранью.

— Жуткая картина, — произносит дон Эрмохенес. — Смотреть невозможно! Эти несчастные не заслужили того, чтобы с ними так обращались.

Брингас обреченно машет рукой.

— Так устроена наша действительность. Вот он, перед вами, этот лицемерный город, столица философов, которой вы так восхищаетесь. У этих несчастных нет ни защитников, ни адвокатов... Их посадят в тюрьму без каких-либо гарантий, и у них нет никаких прав.

— Куда, вы говорите, их везут?

— В Сальпетриер, это тюрьма для публичных женщин. Там их сортируют и тех, кто заразен и лечению не подлежит, отправляют в Бисетр, это в одной лиге от Парижа: страшное место, где такие понятия, как сострадание и надежда, будто бы никогда не существовали... Ад, в котором в ужасающей тесноте содержатся четыре или пять тысяч заключенных и откуда эти несчастные, скорее всего, никогда не выйдут, загубленные пороком и болезнями... Название этого места, этой сточной канавы городских низов, где томятся вперемешку преступники, неудачники, нищие, безумцы, больные, никто не в силах произнести без содрогания. Позор этого города и стыд всего человеческого рода!

— Какой кошмар. — Дон Эрмохенес смотрит на юную арестантку: в руках у нее соломенная шляпа, в которой спит грудной младенец. — Просто сердце разрывается!

Брингас согласно кивает. Самое страшное, говорит он, — произвол, с которым все совершается. Совесть какой-нибудь развратной княгини или маркизы, которых в Париже тьма-тьмущая, несравнимо более запятнана грехами и пороками, чем у этих бедных женщин. В этой позорной телеге едут несчастные, у которых нет протекций, их не попытается защитить ни полицейский, ни представитель власти, ни покровитель со средствами. Они полностью бесправны.

— Когда думаешь, — с горечью добавляет аббат, — о потаскухах в обличье респектабельности, которыми кишит этот город, о красотках из Оперы, о содержанках, о подружках полицейских, которым есть на кого опереться, и сравниваешь их с этими бедолагами, понимаешь, до чего же несправедливо все устроено... Даже между арестантками нет равенства. Та, у которой есть хоть какие-то средства, друзья и деньги, едет в крытом экипаже и в другое время, когда можно, по крайней мере, укрыться от публичного позора.

Группа мужчин и женщин, которые также остановились поглазеть на повозку, узнали одну из арестанток и теперь выкрикивают в ее адрес грязные оскорбления, которые женщина преспокойно возвращает им в виде безобразных ругательств, пока один из охранников не грозит ей штыком и не приказывает заткнуться.

— Взгляните на этих тварей, — говорит Брингас. — На этих подонков! Сегодня они глумятся, а вчера, возможно, кто-нибудь из них пользовался услугами одной из этих матрон... В Париже пятьдесят миллионов в год расходуется на живой товар, оседая в руках модисток, ювелиров, извозчиков, держателей трактиров, владельцев домов свиданий. Чрезвычайно выгодное дело, как вы можете себе представить. И вот город, который наживается на тяжком труде этих работниц, простите за эвфемизм, их же наказывает и предает позору. *Ibi virtus laudatur et auget dum vitia coronantur...*[[50]](#footnote-50) Просто тошнит от этого!

Телега проезжает мимо аббата и академиков, ребенок на руках у женщины начинает плакать. Безутешный детский крик перекрывает голоса толпы.

— Невыносимо, — произносит потрясенный дон Эрмохенес.

Не он один поражен зрелищем. Несколько женщин, рыночных торговок, склонных, подобно ему, к состраданию, что-то выкрикивают, защищая молодую мать и ее ребенка, и в ярости бранят полицейских. Их негодующие вопли меняют настроение толпы: оскорбления и издевки внезапно стихают, вместо них раздаются голоса сочувствия и возмущения. Брингас с довольным видом любуется сценой, язвительно улыбаясь.

— Вот она, переменчивость толпы, — произносит он. — Все-таки не все потеряно. Остались кое-где совесть и порядочность... И люди, которым не безразлична несправедливость и чужое несчастье. Эти люди грозят кулаком небу, где нет никаких богов... Сегодня их кулак все еще пуст, но однажды он поднимет орудие мщения — очистительный факел!

Гул возрастает. Как пороховой дым, крики негодования окутывают толпу, которая теперь на все лады чихвостит и распекает полицейских. Брингас с готовностью присоединяется к ним.

— Долой произвол! — яростно голосит он. — Смерть дурному правительству и бесчестным притеснениям!

— Ради бога, сеньор аббат, — в ужасе бормочет дон Педро, тщетно стараясь его унять. — Пожалуйста, успокойтесь!

Брингас смотрит на него помутневшим взглядом.

— Успокоиться, говорите? Вы хотите, чтобы я успокоился, став очевидцем этого омерзительного зрелища? К черту спокойствие! Долой произвол и штыки!

Именно штыки и принимаются утихомиривать разбушевавшуюся толпу. Торговки требуют у полицейских освободить юную мать, но те яростно отталкивают их, целясь из ружей, которые мгновение назад висели за спиной. От этого возмущенные крики собравшихся становятся еще громче, толпа колышется, словно пшеница под ветром. Зеваки мигом ополчаются против гвардейцев, кое-кто уже швыряет в них булыжники. Командующий офицер выхватывает саблю.

— Отсюда надо уходить, и побыстрее, — говорит адмирал.

— Никогда! — вне себя вопит Брингас. — Свободу матери и ее ребенку! Свободу этим несчастным!

Он яростно кричит по-французски, указывая тростью в сторону телеги. Какие-то оборванные молодые люди и примкнувшие к ним доходяги самой завалящей наружности вслед за торговками осаждают гвардейцев, пытаясь прорваться к повозке и освободить пленниц. Сыпятся первые удары кулаками и прикладами.

— Мерзавцы, — кричит Брингас, бросаясь в толчею людей, которые пихают и бьют друг друга. — Бессовестные убийцы! Подлые рабы! Трусливые обыватели!

Не растерявшись, адмирал хватает его и тащит прочь, вон из гущи людей, одновременно другой рукой увлекая за собой оторопевшего дона Эрмохенеса. Все превращается в сплошную сутолоку и вопли. Где-то сверкают штыки, внезапно гремит выстрел, вызывая еще большую панику. Толпа бросается врассыпную, рассеиваясь в прилегающих улицах. Брингас и академики устремляются вместе со всеми по улице Де-Ломбар: библиотекарь не на шутку испуган, дон Педро бежит со всех ног, и лишь Брингас то и дело оборачивается, чтобы выкрикнуть очередное оскорбление в адрес оставшихся позади. Несколько раз адмиралу приходится дернуть его за рукав, чтобы тот прибавил шагу. Миновав порядочное расстояние и с трудом переводя дыхание, все трое наконец заворачивают за угол и, запыхавшись от бега, останавливаются в тени портала.

— Вы с ума сошли, — негодующе набрасывается дон Эрмохенес на Брингаса, с трудом обретая дар речи.

— Ну, вы даете, — вторит ему дон Педро, держась за стену и приходя в себя после пробежки.

Библиотекарь вытирает платком лоб. Он пыхтит, в его шумном дыхании слышны астматические хрипы.

— Что бы сказали о нас в Мадриде? Что бы подумали наши друзья и коллеги, если бы увидели нас в этой заварухе? Нас с вами, адмирал, двоих почтенных академиков Испанской королевской академии, удирающих, как обыкновенные смутьяны... В нашем-то возрасте!

Вместо ответа адмирал издает странный звук, похожий на всхлип. Присмотревшись, дон Эрмохенес с изумлением замечает, что спутник хохочет. Это обстоятельство еще более возмущает библиотекаря, который смотрит на адмирала с осуждением.

— Не понимаю, что смешного вы находите... Боже мой... Это было просто... Просто ужасно!

— О, наконец-то в вашу дверь постучалась настоящая жизнь, — кликушествует Брингас. — Добро пожаловать!

Дон Эрмохенес поворачивается к аббату, чувствуя одновременно изумление и раздражение. Во время бега парик съехал с его головы. Брингас поправляет его потными дрожащими пальцами: он счастлив, как ребенок, который только что совершил удачную проделку.

— Это ведь тоже Париж, господа, — напыщенно добавляет он. — Это искры, которые однажды упадут прямиком в порох!

Аббат заходится безумным, дьявольским хохотом.

## 7. Тертулия на улице Сент-Оноре

Он принимал на улице Сент-Оноре. Никто и мечтать не смел о том, чтобы сделать карьеру литератора без его участия, и приглашение прочитать рукопись у него дома служило не только символом признания, но и гарантией успеха.

Филипп Блом. «Опасные люди»

— Маргарита Дансени была одной из тех женщин, которые незадолго до революции, в последние годы старого режима, задавали тон в гостиных, — рассказывала Шанталь Керодрен. — Была еще и другая испанка, Тереса Кабаррус. Каждая на свой манер, обе царили в свете, считались законодательницами мод и светской жизни... Однако в отличие от Кабаррус, получившей влияние благодаря серии ловких интриг, у Дансени все с самого начала складывалось как по маслу.

— Вероятно, она была хороша собой.

Шанталь склонила рыжую голову и взглянула на свои усыпанные веснушками руки, затем подняла глаза и улыбнулась. Мы сидели на плетеных стульях рядом с ее книжным прилавком у парапета набережной Де Конти, на левом берегу Сены. Перед нами проезжали автомобили, движение было интенсивным, но солнце — это был один из тех редких дней, когда в Париже не было дождя, — освещало окрестности, делая их просто очаровательными.

— Все вместе: красивая, умная, из очень состоятельной семьи с севера Испании... Покинув буржуазный Сен-Себастьян, она переместилась в самое сердце модной и интеллектуальной жизни тогдашнего Парижа. Которая превосходно сочеталась с повсеместной распущенностью той эпохи.

Я слушал ее внимательно, держа наготове открытую записную книжку, которой практически не воспользовался, — я давно уже заметил, что когда за человеком записываешь, он отвечает на вопросы менее охотно и живо. Шанталь Керодрен, преподавателя истории в коллеже на улице Сен-Бенуа, дочь и внучку букинистов с набережной Сены, мне порекомендовали мои друзья-французы, писатели Филипп Нурри и Этьен де Монтети, как специалиста по женщинам, жившим в XVIII и XIX веках, — ее докторская диссертация была посвящена мадам де Сталь. Книжная лавка, которой она по-прежнему уделяла внимание пару дней в неделю, предлагала заботливо обернутые в целлофановую обложку с надписанной сверху фломастером цифрой, обозначавшей цену, книги на интересующую меня тематику, среди них — «Дезире и Жюли Клари», «Полина Бонапарт», «Жизнь императрицы Жозефины», «Зима на Майорке», «Десять лет изгнания», «Неволя и смерть Марии-Антуанетты» и прочее; имелись и современные авторы, такие как Вирджиния Вульф, Патриция Хайсмит, Карсон Маккалерс. Я вспомнил, что некоторое время назад, еще до личного знакомства с Шанталь, сам купил в этом месте три тома «Переписки» мадам де Севинье в издании «Плеяды».

— У нее были любовники?

Шанталь расхохоталась. Вокруг глаз тут же появились бесчисленные морщинки, которые парадоксальным образом молодили ее. Я бы дал ей лет пятьдесят пять. Я помнил ее с очень давних пор: в солнечные дни она сидела около своего прилавка и продавала книги. Она всегда казалась мне привлекательной, вспоминал я. Рыжая, юная и энергичная, окруженная книгами, с неизменным велосипедом, прислоненным к каменному парапету. Однако до сего дня мы обменялись максимум дюжиной фраз.

— У кого же их не было в тогдашнем Париже? Она была, говоря современным языком, свободной женщиной. Всякие предрассудки были к тому времени стерты в пыль язвительным талантом Вольтера, красноречивой логикой Руссо, ошеломляющей эрудицией «Энциклопедии»... Однако в то время, как новые идеи, свободно обсуждаемые в модных салонах, меняли облик Франции, старый социальный порядок сохранял свой прежний блеск. Трон уважали все меньше, но в обществе царил этикет, а философы, получившие доступ в высший свет, общались с аристократами и финансистами. Салон мадам Дансени располагался на улице Сент-Оноре, которая, по сути, была центром всей светской жизни...

— А что представлял собой ее супруг?

— Он был старше ее, — ответила она так, словно это все объясняло.

— Намного?

— Достаточно для того, чтобы ей не мешать. Думаю, у него было чутье на деньги и отличное чувство юмора. Современники отзываются о нем с симпатией, как о человеке деловом и культурном, который к тому времени полностью ушел в чтение книг. В общем, умный, спокойный библиофил...

— Богатый?

— Не то слово. Пьер-Жозеф Дансени был королевским комиссаром по продовольствию, а значит, представлял собой фигуру значительную. Кроме того, он был компаньоном герцога Орлеанского в делах, связанных с недвижимым имуществом, на чем сделал себе целое состояние — чего стоила одна только сделка с недвижимостью в Пале-Рояль...

Я посмотрел на другой берег в направлении Лувра и зданий на улице Риволи, которые он частично собой загораживал.

— Как раз в тот период, — заметил я, — его перестраивали, чтобы превратить в крупный торговый центр, не так ли?

— Точно. Именно это они и собиралась сделать: все покрылось лесами, было приглашено множество каменщиков. Элегантные магазины пока оставались на Сент-Оноре и ближайших улицах. В Пале, в пассаже Ришелье была открыта кофейня, которую затем расширили, и еще кое-что... Хорошо бы тебе почитать Мерсье, он много писал о Париже того времени...

Я по-прежнему смотрел на Сену. Ближайшие мосты, думал я, выглядят точно так же, как в восемнадцатом веке, за исключением моста Искусств, который был построен позже: когда-то он был в этом городе моим любимым местом, а двадцать лет назад я выбрал его для одной из мизансцен в «Охотнике за книгами». Сейчас, подумал я с грустью, было бы невозможно описать его в книге — все эти перила, увешанные дурацкими сентиментальными замками по примеру героев Моччиа, и продавцов, которые продают их тут же, на мосту. Накануне вечером я не смог отказать себе в извращенном удовольствии купить у какого-то пакистанца один из таких замков, чтобы швырнуть его в реку вместе со вставленным в замочную скважину ключом.

Я кивнул на книжный прилавок, возвращаясь к разговору:

— А у тебя есть что-нибудь из Мерсье?

— Нет, к сожалению. — Шанталь отрицательно покачала головой и улыбнулась. — Слишком редкая для моей лавки книга.

— Я вчера приобрел сокращенную версию в карманном формате.

— Этого мало... Полный Мерсье — это целая энциклопедия, исключительно полезная, чтобы узнать о Париже все, что тебе интересно. Проблема в том, что это слишком дорогое удовольствие. Которое к тому же не достать... Несколько месяцев назад я видела полное собрание в книжном магазине «Клаврой-Тесседр» в Сент-Андре-дез-Артс.

— Я знаю это место.

— Попробуй начать с него. Есть еще Мишель Полак, у нее тоже что-то было... Дешевый вариант можно найти и в *Bouquins*: если мне не изменяет память, там были Мерсье и Бретонн в одной книге. Но я не уверена.

На этот раз мне все-таки пришлось воспользоваться записной книжкой. Затем, по моей просьбе, мы вернулись к мадам Дансени.

— С будущим супругом она познакомилась, когда тот возглавлял французскую торговую миссию в Испании, — продолжала Шанталь. — Они поженились, и он увез ее в Париж. В то время, которое тебя интересует, он практически отошел от дел. Ему было уже сильно за пятьдесят, а ей — тридцать с чем-то или сорок. Он благословил ее царствовать в маленьком королевстве гостиной, потихоньку помогая, принимая участие во всех делах, ни во что особенно не вникая, с неизменной снисходительной или рассеянной улыбкой...

— У них были дети?

— Насколько я знаю, нет.

— А портреты какие-нибудь сохранились?

Шанталь напрягла память и задумчиво покачала головой. Она вспомнила только портрет кисти Аделаиды Лабиль-Жиар и советовала мне поискать его в Интернете, потому что художница изобразила чету Дансени очень удачно: на ее портрете Маргарита была в загородном костюме на английский манер, в куртке для верховой езды и шляпе. Уверенная в себе, темноволосая, с большими черными глазами, на коленях — вряд ли случайно, вероятнее всего из кокетства — «Исповедь» Руссо. Супруг стоит подле нее: серый шелковый вышитый халат, серый же парик, кроткое выражение лица, туфли облизывает кошка. В руках ничего нет, однако за спиной виднеется открытая дверь, ведущая в библиотеку, в которой угадываются сотни томов.

— Они принимали по средам в гостиной в Сент-Оноре: это был особняк, сегодня уже не существующий, который Дансени купил у маркиза Тибувильского и очень удачно перестроил для своей супруги.

— Трудно было попасть на эти вечеринки? — поинтересовался я.

— Для этого были необходимы талант, светскость, знание придворных анекдотов, умение рассуждать о философии или физике с такой же легкостью, как и о тысяче очаровательных и пикантных пустяков, которыми изобиловала светская болтовня той эпохи... Это искусство, требовавшее большой изобретательности, представляло собой нечто совершенно особенное и было неотъемлемой чертой духа свободы, который витал в воздухе в то время, когда на балах беседовали о демократии, в театре — о философии, а в будуарах — о литературе... Когда одобрительное слово Бюффона или Дидро ценилось больше, чем милость коронованной особы.

— Это был известный салон?

— Достаточно. Салон Маргариты Дансени, которую ее супруг и завсегдатаи их дома называли просто Марго, в какой-то момент мог соперничать с салоном мадам де Монтессон, графини де Богарне или Эмили де Сент-Амарант... Среди прочих там бывали Бюффон, д’Аламбер, Мирабо, Гольбах, граф де Сегур и даже Бенджамин Франклин...

— Но ведь аббат Брингас, — уточнил я, — был человеком с другой планеты.

Она посмотрела на меня, на мгновение смутившись.

— Как ты сказал? Ах, ну да, — вспомнила она. — Тот испанский радикал, свирепый и кровожадный, который потом оказался в шайке Робеспьера и рубил головы почище самого отпетого палача, пока сам не взошел на эшафот...

— Он самый. Странно, что его принимали в таких местах, как салон мадам Дансени.

— Ничего странного. Я мало что про него знаю, но о нем говорили как о талантливом и хитроумном безумце, который забавлял публику. Как рассказывает Сегур в своих «Мемуарах», если я только ничего не путаю, мадам Дансени обращалась с этим Брингасом с необычайным терпением, которое, как показало время, дорого ей обошлось, потому что позже он оказался одним из тех, кто донес на нее Революционному Трибуналу... Впрочем, Брингас был не единственным живописным чудаком в этой гостиной. Людей первого сорта окружал целый двор персонажей вторичных: парикмахер Де Вёв, который причесывал саму принцессу де Ламбаль, композитор и музыкант Ла Туш, распутник Коэтлегон, литератор Ретив де ла Бретонн... Являлся с визитом и Лакло, который в ту пору был простым военным с литературными амбициями...

— Это не тот ли, что позже написал «Опасные связи»?

— Он самый.

— А правда, что он потом занял место в революционном правительстве? Кажется, я читал про него у Тьери.

— Совершенно верно. Исполнительный комиссар, если не ошибаюсь. Он был соратником Дантона и всеми силами его поддерживал, что едва не стоило ему головы, когда сам Дантон был казнен на гильотине... Догадываешься, кто на него настучал, причем не единожды, и в итоге засадил в тюрьму?

— Неужто аббат Брингас?

— Именно он, твой милейший аббат. Как видишь, послужной список у этого типа будь здоров...

Я вновь посмотрел на реку, в чьи воды двести тридцать три года назад всматривались герои моей истории. Вдоль прилавков с книгами и гравюрами разгуливала праздная публика. Я уже много лет ничего здесь не покупал — последней была книга о мадам Севинье, — однако всякий раз, когда бывал в Париже, оставлял про запас немного времени, чтобы прогуляться по этой набережной; иногда мне казалось, что я узнаю себя в каком-нибудь юноше с рюкзаком за плечами, который пальцами неопытного охотника прикасается к сокровищам, выставленным здесь для тех, кто пока еще не разучился искать, читать и мечтать. К сожалению, большинство букинистов на набережных Сены успело адаптироваться к требованиям современности, и старинные книги, журналы и гравюры все больше уступали место грубым репродукциям, почтовым открыткам и сувенирам для туристов.

— Таковы были люди, которые появлялись в гостиной твоей землячки, — продолжала Шанталь, — в годы, предшествовавшие катастрофе. Как видишь, очень разношерстная и в основном довольно-таки любопытная публика. И продолжалось это, между прочим, не один год, пока весь этот мир не рухнул.

Я снова подумал о супруге мадам Дансени.

— А что стало с Пьером-Жозефом?

— Его убили во время сентябрьской резни в аббатстве Сен-Жермен.

— А с ней?

— Чудом спаслась. Приговоренная к смерти революционным трибуналом, ускользнула от гильотины во время падения Робеспьера.

— Вот как... Что ж, ей повезло.

На лице Шанталь изобразилось сомнение, она вновь перевела взгляд на свои усыпанные веснушками руки.

— Это с какой стороны взглянуть, — произнесла она через мгновение. — Нищая и больная, Маргарита Дансени покончила с собой три года спустя, проглотив пятьдесят крупинок опиума в грязном приюте на площади Мобер... Уничтоженная, как и все блестящее общество, в котором она некогда так много значила. Это общество разбежалось, рассеялось, исчезло в туманах Лондона или на берегах Рейна. Или испустило дух под лезвием гильотины. Тоскуя, быть может, о вечеринках в доме на улице Сент-Оноре, когда философы и литераторы вперемешку с парикмахерами и галантными развратниками спорили о том, как переделать мир. С бокалом в руке и шпагой, прислоненной к каминной решетке... В том доме, где, как ты утверждаешь, ее посетили двое академиков, твоих земляков.

Половина восьмого вечера — часы, висящие над каминной полкой, важно отбивают два удара. Трое слуг, перемещаясь неслышно, точно кошки, зажигают свечи в канделябрах, освещающие картины и зеркала, которые украшают главную гостиную дома, создавая дополнительные очаги золотистого света. Собравшиеся обсуждают рукотворный аэр, так звучит модный научный термин. Его получают, как утверждает некто, нагревая оксид ртути, в итоге полученный воздух становится не только богаче и насыщеннее, но и увеличивает интенсивность горения свечи и даже облегчает дыхание.

— Это было бы весьма выгодное дело, — заключает мсье Муши, известный физик, профессор университета и член Академии наук, — если суметь заключить полученный продукт в сосуды и продавать как предмет роскоши... Кому бы не хотелось в нынешние времена побаловать себя глотком чистейшего воздуха?

Звучат вежливый смех и одобрительные замечания. Кто-то упоминает имя Лавуазье, а также витальный и возгораемый воздух, и разговор устремляется в новое русло. Сидя среди стульев и кресел, расставленных в произвольном порядке на великолепном турецком ковре, одетый из соображений приличия во все темное, дон Эрмохенес Молина, чей французский далек от совершенства, всякий раз, когда перестает понимать собравшихся, отвечает добродушной улыбкой. Рядом с библиотекарем сидит дон Педро Сарате (синий фрак со стальными пуговицами, белые кальсоны). Его кресло располагается чуть в стороне от остальных: он мало говорит, больше наблюдая за атмосферой и людьми, нежели прислушиваясь к беседе. На самом деле в просторной гостиной мадам Дансени присутствует не одна, а три группы, состоящие из женщин, наряженных и причесанных для ужина, и мужчин в камзолах, кафтанах или жилетах неброских, приглушенных расцветок; кое-где виднеется фрак, однако не видно ни единой униформы.

Наиболее удаленная группа представляет собой игроков. Они устроились в смежной комнате, отгороженной от основного пространства гостиной двумя широкими распахнутыми портьерами, зрительно увеличивающими объем помещения. Хозяин дома и трое приглашенных — все они мужского пола — играют в фараона, один же из гостей, стоя, следит за игрой: это аббат Брингас, который с утра специально начистил свой старый камзол, привел в порядок парик и теперь переходит от одной группы к другой, отпуская то тут, то там замечания, неизменно встречаемые шуткой или ироничным молчанием. Имя одного из игроков адмирал услышал случайно несколько дней назад на Елисейских полях, когда аббат Брингас представил его вместе с доном Эрмохенесом мадам Дансени, которая прогуливалась в сопровождении этого господина. Его зовут Коэтлегон, он носит малиновую ленту ордена Святого Людовика и соответствует определению, которое в Испании приблизительно звучало бы как «пижон»: приятной наружности, возраст — около сорока, одет изысканно; натуральные волосы, убранные на затылке в хвост и завитые на висках, аккуратно и в меру напудрены. По словам Брингаса, провинциальный дворянин, некогда служивший в элитном полку, а сейчас проматывающий на игры и женщин деньги, которые, как он утверждает, унаследовал; все это принесло ему славу отчаянного волокиты и сластолюбца. Минуту назад, заметив, с каким выражением лица этот Коэтлегон держит банк, адмирал сразу же сообразил, что это за птица; он из тех, кто рискует громадными суммами, не разжимая губ, проигрывает без единой жалобы и с ледяным презрением швыряет на стол карты, когда выигрывает. Точно так же, утверждает Брингас, он обхаживает хозяйку дома, которая снисходительно позволяет себя обожать. Очень в духе высшего света, вполголоса, с сардонической ухмылкой сообщил аббат.

— А муж, взгляните сами, как ни в чем не бывало снимает колоду... Следует заметить, никто не умеет носить рога с таким изяществом, как французы.

Вторая группа расположена ближе к ним: она занимает диван и кресла напротив русской печи и состоит из Де Вёва, знаменитого парикмахера, который причесывает не только принцессу де Ламбаль, но и хозяйку дома, а заодно художницу-акварелистку Эмму Танкреди, близкую подругу четы Дансени, — очень худую, бесплотную, с длинными ресницами и трагическим выражением лица — и мадам де Шаванн, которая, кажется, сплошь состоит из шелка, кружев, морщин и смекалки: семидесятилетняя вдовица, элегантная, болтливая и веселая, она посещает салон каждую среду; в юности она славилась интрижками, к тому же отлично помнит все альковные истории времен Людовика Пятнадцатого. В данный момент все трое обсуждают последние прически, и Де Вёв — нервный, жеманный, камзол в ярких полосках и кружевах, взбитый кок и две напудренные кудряшки с каждой стороны лица, украшенного кокетливой родинкой, — объясняет с на удивление изощренными техническими подробностями прическу *pouf au sentiment*[[51]](#footnote-51) с буклями высотой в две ладони, — с этой прической графиня Шартрская три дня назад блистала в Опере. Божественная нелепость, одним словом.

— А напудрена она была ирисовой пудрой, которая делала ее еще бледнее... Сплошные ухищрения, дорогие дамы... Сидит у себя в ложе — ни дать ни взять разукрашенная картонная кукла; с одной стороны любовник, с другой — муж.

— Представьте себе, как-то раз в Версале мадам Дюбарри... — заводит мадам де Шаванн и о чем-то оживленно шушукается со склоненными головами парикмахера и художницы.

Все трое хихикают. Дон Педро переводит взгляд на свою группу, расположившуюся вокруг кресла, которое занимает хозяйка дома. В камине, чья полка уставлена испанским и португальским фарфором, пылает огонь, мягко освещающий этот уютный уголок гостиной. Рядом с адмиралом сидит Муши, член Академии наук, который оказался приятным собеседником; в настоящий момент он объясняет гостям достоинства изготовленных из цикуты пилюль в лечении обструктивных заболеваний, таких как закупорка желез или опухоли. Помимо адмирала и дона Эрмохенеса, присутствует шевалье Сен-Жильбер, зрелый жизнелюб, обаятельный и поверхностный, вечно приносящий с собой уйму кривотолков и сплетен, которые рассыпает всюду, однако, когда он уходит, у него остаются еще две-три штуки про запас до следующего раза; а также Симон Ла Мотт, пятидесяти лет, напыщенный и важный, изысканный знаток балета и Оперы, и его любовница мадемуазель Терре, субтильная блондинка, юная театральная актриса, выступающая в амплуа инженю: парочка несказанно веселит тех, кто знает их историю.

— Вода всегда считалась простым телом, древние называли ее первоэлементом, — рассуждает мадам Дансени, отвечая на вопрос, заданный Муши. — Но даже она не ускользает от безжалостного расщепления современной химии.

Маргарита Дансени является географическим центром салона — или точкой долготы, как отмечает адмирал, заинтересовавшись этим явлением, — причем не только относительно их группы, но и двух других; словно некие тайные нити магнетической силы крепко привязывают всех присутствующих к ее персоне. Подобно олимпийской богине, она обращает к гостям свои слова и улыбки: побуждает этого, взбадривает похвалой того и, ничего не упуская из виду, контролирует ритм собрания, выражения лиц и речи тех, кто ее окружает.

— В тот роковой день, когда они, женщины, сумеют проделать то же самое с нашими умами, мир в изумлении узрит самое себя. Во всей своей чистоте и первозданности.

Мадам Дансени, размышляет адмирал, женщина образованная, с быстрым умом; но все-таки отчасти успешное восхождение по социальной лестнице объясняется тем, что ее внешний облик совпадает с общим преставлением французов о благородных испанках: белоснежная кожа, отличные зубы, умный взгляд больших черных глаз, вьющиеся волосы, покрытые шелковой накидкой с очаровательными ленточками в тон к платью цвета мальвы, поверх которого повязан модный корсаж из тех, что называют «Пьеро». Зрелость, к которой она постепенно приближается, еще не нанесла коже каких-либо следов, лоб ее по-прежнему гладок, шея и щеки безукоризненны, нежные ухоженные руки поигрывают веером, служащим продолжением ее самой, — с его помощью она подбадривает, порицает и поощряет своих гостей.

— А что думаете вы, сеньор адмирал? Будучи испанцем, вы должны иметь какие-то соображения на сей счет.

— В вашем городе я не более чем гость, донья Маргарита, поэтому в том, что касается женщин, мои соображения зиждутся на самом суровом благоразумии.

— Вы можете называть меня Марго, как прочие гости.

— Благодарю.

Она улыбается, внимательно глядя на него. Выпрямившись на краешке стула и сложив на коленях руки, дон Педро чувствует на себе ее изучающий, любопытный взгляд.

— У вас глаза не испанские, — произносит она наконец.

— Вероятно, их высветлило море, — вежливо улыбается адмирал. — А годы ему помогли.

— Не кокетничайте, дорогой сеньор... Для своего возраста, каков бы он ни был, выглядите вы великолепно.

— Благодарю, — вздыхает дон Педро. — А вы, напротив, испанка в самом лучшем смысле этого слова. Будучи вашим соотечественником, могу только гордиться.

— Вот как? — Польщенная, мадам Дансени поворачивается к дону Эрмохенесу. — В Испанской академии все так учтивы?

— Разумеется, сеньора, абсолютно все, — краснеет библиотекарь, судорожно подбирая французские слова. — Однако не каждый умеет так ясно выражать свои мысли, как адмирал.

Мадам Дансени указывает веером на игровой стол.

— Аббат мне рассказал, что вы прибыли в Париж, чтобы приобрести «Энциклопедию».

— Именно так, мадам.

— Возможно, мой муж что-нибудь вам подскажет, когда проиграет еще несколько луидоров. Книги — вся его жизнь, а библиотека — его крепость. — Она оборачивается к профессору физики, беседующему вполголоса с Ла Моттом. — Не правда ли, мой дорогой Муши?

— Совершенно верно, — с готовностью отвечает тот. — Я также в полном распоряжении ваших друзей.

Их беседу прерывает появление еще двоих гостей. Один из них — старик в белом парике и вышитом камзоле, очень элегантный, с некоторым налетом консерватизма; другой одет в простой кафтан из добротного сукна, ему за пятьдесят, и у него напудренные пепельные волосы. Они входят под руку и держатся непринужденно, как завсегдатаи дома. Дон Эрмохенес и адмирал поднимаются навстречу новым гостям, а мадам Дансени представляет их друг другу.

— Эти господа только что прибыли в Париж. Ученые, знатоки испанского языка: дон Эрмохенес Молина и адмирал дон Педро Сарате... А это — граф де Бюффон, член двух академий, знаменитый натуралист и гордость французской науки... Мсье Бертанваль, профессор литературы Королевского коллежа, академик, философ, замечательный человек и большой друг этого дома... Между прочим, он написал полдюжины словарных статей в той самой «Энциклопедии», которую вы разыскиваете...

Адмирал приветствует вошедших, вежливо и почтительно склонив голову, но не произнеся ни слова; зато дон Эрмохенес, услышав их имена, оживляется чрезвычайно.

— Боже мой, господа, — бормочет он, обращаясь к старшему гостю. — Неужели вы и есть тот самый сеньор Жорж Леклерк де Бюффон? Знаменитый автор «Естественной истории»?

Старик снисходительно улыбается: он привык к лести.

— Разумеется, это я и есть.

— Просто поверить не могу. — Дон Эрмохенес поворачивается ко второму гостю. — А вы — Ги Бертанваль, друг Вольтера? Известный философ, филолог, автор «*Essai sur l’Intolérance* »[[52]](#footnote-52), не побоявшийся стать участником знаменитого на всю Европу конфликта с реакционным крылом Сорбонны?

Бертанваль, улыбаясь, кивает: будучи коллегой-академиком, он готов немедленно прийти на помощь испанским гостям, — формула вежливости, которая в Париже ровным счетом ни к чему не обязывает; тем не менее библиотекарь горячо жмет ему руку.

— Боже мой, — абсолютно счастливый, повторяет он шепотом. — Боже мой... Да ради одной только этой встречи имело смысл ехать в Париж!

Вновь прибывшие рассаживаются у камина, и вскоре беседа уже вращается вокруг деятельности академий в Мадриде и Париже. Похвалив работу испанцев и их замечательные словари, а также упомянув извечный спор между языком, наукой и религией, Бюффон вспоминает, что даже на него, несмотря на почтенный возраст и то благоразумие, с которым он неизменно держится как можно дальше от радикальных энциклопедистов и философов, доктор теологии Парижского университета написал донос.

— Это доказывает, — заключает он, вежливо обращаясь одновременно к дону Педро и дону Эрмохенесу, — что не только в Испании кое-кому мерещатся черные вороны в любой мысли — и старой, и новой.

— Готов обменять ваших воронов на наших, — предлагает адмирал.

Его остроту оценили по достоинству. Узнав, что по профессии он — морской офицер, Бертанваль расспрашивает его о некоторых особенностях морского кораблестроения в Гаване, а также о науках, связанных с навигацией. В итоге разговор переходит на Локка и Ньютона, чьи открытия, к удивлению энциклопедиста, а также дона Эрмохенеса, который зачарованно прислушивается к тому, как спокойно и разумно рассуждает его друг, восхищают адмирала, в чем тот чистосердечно признается, а затем на вопрос мадам Дансени с вежливой твердостью отвечает, что в вопросах науки он — убежденный англофил. Дон Педро сдержанно хвалит Бюффона за его поддержку Ньютона в полемике, которую тот вел с немцем Лейбницем о расчетах бесконечно малых величин, и в заключение с большим знанием дела и некоторой патриотической гордостью упоминает имя испанского ученого и морского офицера Хорхе Хуана. К удовлетворению обоих академиков, французы — и Бертанваль, и Бюффон — высоко ценят упомянутого испанца, с чьими трудами, как оказалось, неплохо знакомы.

— Жаль, что этот замечательный человек не был оценен по достоинству, как он того заслуживал, — ни у себя на родине, ни в Европе, — произносит Бюффон. — Вы знали его лично?

— Да, мне выпала эта счастливая возможность.

— Счастливая возможность? А что с ним случилось потом?

— Он умер. В полной безвестности.

— Очень жаль... Такие люди, как он, возвышают того, кто их слушает, и принижают того, кто ими пренебрег. И действительно, его «Астрономические и физические наблюдения»...

— Друзья, не пора ли нам перейти к ужину? — перебивает их мадам Дансени, заметив молчаливый кивок слуги.

В этот миг появляется еще одна гостья: художница Аделаида Лабиль-Жиар, ближайшая подруга хозяйки дома. Это красивая женщина с прекрасной фигурой и лицом круглым и обаятельным. При ее появлении гости устремляются в столовую, в центре гостиной к ним присоединяются супруг хозяйки и игроки. Пьеру-Жозефу Дансени под шестьдесят, у него чистый лоб и седые ненапудренные волосы. На нем фрак фисташкового цвета, черные кальсоны и немного поношенные туфли без пряжки, в которых он не стесняется появляться перед домашними и близкими друзьями. Кроткий мирный облик довершает любезная — или скорее отсутствующая — улыбка, обращенная ко всем гостям его супруги одновременно.

К группе присоединяется аббат Брингас. Заметив в гостиной Бертанваля, он подходит, чтобы его поприветствовать. Однако от адмирала, оказавшегося поблизости, не ускользает, что при виде аббата лицо философа вытягивается.

— Хочу лишь выразить вам свое почтение, — бормочет отвергнутый Брингас.

— Выразите его лучше в письменной форме, вместо того чтобы пачкать мое имя, набрасываясь на меня в анонимных брошюрках, которые вы издаете.

— Уверяю вас, мсье...

— Избавьте меня от ваших уверений! Мы в этом городе все друг друга отлично знаем.

Адмирал невольно оказывается свидетелем обмена репликами: повернувшись к аббату спиной и поклонившись мадам Дансени, Бертанваль успевает шепнуть ей в дверях столовой: «Вы, как я вижу, продолжаете принимать у себя это ничтожество».

— Он меня забавляет, — непосредственно отвечает она.

— Как знаете, мадам. Это ваш дом, дорогая сеньора... Всем нам время от времени требуется что-то необычное. При дворе королевы вечно ошивается какой-нибудь лукавый шут.

Все рассаживаются вокруг великолепного стола, сервированного севрским фарфором на восемнадцать приборов и вполне отражающего дух этого дома, где прислуживают семеро слуг и горничная, не считая поваров, кучера, пажа и швейцара на входе: сервиз, как сообщил Брингас, по слухам, обошелся в 800 000 ливров.

— Вчера на Пети-Дюнкерк я увидел мадам де Люин, — рассказывает шевалье Сен-Жильбер. — А все вы, господа, знаете, что про нее говорят... Она так толста, что ее любовники могут целовать ее всю ночь напролет, ни разу не поцеловав в одно и то же место!

Ужин чудесен, разговор затейлив и непринужден, беседа свободно струится от одной темы к другой, от смешных анекдотов мадам Шаванн и шевалье Сен-Жильбера к нападкам на политику, мораль и историю. Все проходит, к большому удовольствию библиотекаря и адмирала, в атмосфере обтекаемых высказываний, взаимной терпимости, отменного юмора, который мгновенно очаровывает любого. Собравшиеся выражают самые различные, иногда полностью противоположные мнения — так, адмирала удивляет, хотя он никоим образом не высказывает своего удивления, что старик Бюффон не выражает тех передовых идей, которых он, адмирал, от него ожидал, — однако ни разу разногласие между старыми и новыми суждениями не переходит в противостояние: это всего лишь свободный обмен мнениями, выражаемыми с предельной вежливостью. Один лишь Брингас, которому, к его большому сожалению, также приходится держать себя в руках, бросает яростные взгляды на Бертанваля с того конца стола, где он сидит рядом с парикмахером Де Вёвом, и время от времени испускает красноречивые вздохи или с раздражением вмешивается в общую болтовню; например, когда Бертанваль как ни в чем не бывало рассказывает о том, как его четыре раза подряд сажали в Бастилию, а также о распоряжении о заключении в тюрьму — или так называемом «летр де каше», специальном королевском указе, который он в шутку называет «моя переписка с королем», — Брингас, держащий в одной руке рюмку бордо, в другой — вилку с насаженным на нее куском фазана, с которого капает сок, из своего угла изрекает:

— Есть одна Бастилия, а есть и другая... Кто-то входит туда легкомысленно, зная, что скоро выйдет на свободу, потому что у него есть друзья при дворе, а кто-то погребен в ней без малейшей надежды.

— Ну, вас-то я всякий раз встречаю и встречал на свободе, — с презрительной улыбкой говорит Бертанваль.

Брингас засовывает фазанятину в рот, запивает вином и тычет опустевшей вилкой в сторону философа:

— Настанет время, и их всех выведут на чистую воду!

— Вы имеете в виду гнев Божий? — интересуется шевалье Сен-Жильбер, как всегда, улыбаясь.

— Чей-чей гнев?! Повторите, мсье. Гул эпохи, тронов и алтарей, которые зашатались и того и гляди падут, совершенно меня оглушает!

— Оставим в покое троны и алтари, дорогой мой аббат, — успокаивает его мадам Дансени, садясь между Бертанвалем и Бюффоном. — А по возможности и Бога тоже, — добавляет она, бросая гневный взгляд на Сен-Жильбера.

Брингас доедает остатки блюда.

— Повинуюсь, сеньора. Покоряюсь и повинуюсь красоте и уму, единственному спасению в этом лицемерном Вавилоне!

— Вот теперь дело другое!

Хозяйка частенько посматривает в сторону адмирала, который сидит напротив и каждый раз встречает ее взгляд с естественной учтивостью; в такие моменты чуть заметная улыбка подчеркивает очаровательные ямочки на щеках Марго Дансени. Чуть раньше, когда они направлялись в гостиную, дон Педро заметил, с какой элегантной уверенностью ступает она на высоких каблуках своих атласных туфель, которые придают движениям тела волнующее изящество. Ее платье, задрапированное на французский манер, глубоко декольтировано, грудь едва прикрыта муслином, под которым виднеется нежная белая кожа.

Адмирал невольно задерживает взор на ее декольте, однако этого оказывается достаточно, чтобы, подняв глаза, встретить ее взгляд, в котором заметна искорка любопытства или скорее удивления. Благоразумный дон Педро отводит глаза и делает глоток вина. Однако, поставив бокал на вышитую скатерть и вновь подняв глаза от тарелки, он встречает холодный недружелюбный взгляд Коэтлегона: по словам Брингаса, этот тип ухаживает за Марго Дансени, и, на его счастье, не безответно. Не обращая на него внимания, адмирал прислушивается к мадам Шаванн, которая пересказывает эпизод из своей жизни при дворе покойного Людовика Пятнадцатого: маршал де Бриссак слишком далеко зашел в своих личных дерзновениях, когда оба они, преследуя кабана во время королевской охоты в Венсенне, заблудились.

— ...И тогда, решительно выставив руку между моими прелестями и его напором, я ему говорю: «А теперь представьте, мсье, что нас обнаружила ваша супруга. Или кабан выскочил»... На что маршал хладнокровно отвечает: «Признаться, дорогая мадам, я предпочитаю, чтобы на нас выскочил кабан».

Все смеются, разговор переходит на тему французских и испанских обычаев, а также сластолюбия и сластолюбцев.

— Иной раз, когда я смотрю на этот замечательный город, — признается мадам Дансени, — мне трудно поверить, что я и есть та самая воспитанная девушка из ханжеского пансиона в Фуэнтеррабиа.

— Ваш святой Георгий вырвал вас из когтей дракона, — произносит Ла Мотт, знаток Оперы.

Все смотрят на Дансени, который преспокойно разделывает фазана у себя в тарелке, сидя слева от дона Эрмохенеса.

— Мне приходилось совершать и более отчаянные вещи, — с улыбкой возражает он. — Так, два года назад я уговорил мсье Бюффона оказать честь моей библиотеке, пополнив ее великолепным «*Époques de la nature* »[[53]](#footnote-53) с дарственной надписью автора. Вообразите господа, я не заплатил за книгу ни единого луидора — вот уж действительно подвиг!

Все снова смеются, включая пожилого натуралиста, который, по слухам, отличается скупостью. Затем пищей для разговора вновь становятся сладострастники. Слово берет некто, ранее игравший в фараона с Дансени и Коэтлегоном; одетый в штатское, с напудренным хвостом и во фраке фисташкового цвета с двойными петлицами, академикам он был представлен как мсье де Лакло, капитан артиллерии. Это еще молодой мужчина приятной наружности и с умными глазами.

— Как раз сейчас, — беззаботно начинает он, — я занимаюсь одним романом, который дописал уже до половины: основные темы — соблазн, порядочность и фигура сластолюбца, эдакого охотника без стыда и совести...

— О, его напечатают?

— Надеюсь.

— А злодеи там есть?

— Скорее злодейки. Женщины.

— Браво, отличная идея. А пикантные сцены?

— Кое-что непременно будет. Но меньше, чем в тех романах, которые вы, мадам, читаете, чтобы унять головную боль.

Повсюду виднеются довольные улыбки. Кто-то уже обмолвился — наполовину в шутку, наполовину всерьез, — что после приемов по средам мадам Дансени страдает мигренями. Всему виной излишняя чувствительность. И якобы она смягчает страдания, читая философские книги.

— Не будьте развратником, Лакло!

Тот шутливо отмахивается.

— По правде сказать, это не просто развлекательное чтиво, а поучительная история для юных и невинных. В двух словах.

— А название уже есть?

— Пока нет.

— Мне бы очень хотелось ее прочитать... А мсье Коэтлегона там, случайно, не будет среди персонажей?

Все хохочут. Упомянутый мсье склоняет голову в шутливом приветствии.

— Ему, — с напускной серьезностью добавляет Марго Дансени, — ничего не стоит преподать урок юным и невинным, если представится случай.

Возмущенный столь вольной беседой, кажущейся ему неуместной в обществе людей образованных, тем более при дамах, которые к тому же имеют бестактность в ней участвовать — одна лишь мадам Танкреди, художница, выглядит молчаливой и печальной, — дон Эрмохенес, ушам своим не веря, то и дело поворачивается к адмиралу. Его удивляет и невозмутимость мсье Дансени, который продолжает преспокойно жевать, словно ничто из происходящего вовсе его не касается; успешно и без особых усилий справляется с ролью терпеливого мужа, который вращается среди гостей, ни в чем особо не участвуя, словно приветливо распахнутая дверь библиотеки — его прибежище, удобное и доступное: бастион, где в случае необходимости всегда можно спрятаться, и никто не заметит твоего отсутствия.

Остальные, ничего такого не замечая, продолжают увлеченно беседовать о сластолюбии, его причинах и следствиях. В этот миг философ Бертанваль, который все это время оставался на обочине разговора, решает наверстать упущенное.

— То, что вредит красоте духа, благотворно влияет на красоту поэзии, — важно изрекает он.

— Речь скорее идет о сочетании горького и сладкого, — заключает Бюффон, который, несмотря на возраст, не желает оставаться в стороне.

Бертанваль хмурится, подыскивая достойный ответ.

— Или же, — подытоживает он с видом знатока, — суровости с наслаждением.

— Вы правы, — отвечает мадам Дансени, не обращая внимания, как и большинство гостей, на издевательские аплодисменты, которыми Брингас, уже в некотором подпитии, награждает из своего угла Бертанваля и Бюффона. — Добродетель не порождает ничего, кроме холодных, бесстрастных полотен... Лишь страсть и порок вдохновляют творчество художника, поэта и музыканта.

— Полностью согласен, — вторит маэстро Ла Мотт, потихоньку пожимая руку мадемуазель Терре.

— Развратники, — развивает мысль физик Муши, требуя своей порции внимания, — обычно прекрасно чувствуют себя в обществе, потому что они беззаботны, веселы, расточительны, любители всякого удовольствия.

— К тому же, чаще всего, хороши собой, — добавляет мадемуазель Терре.

— И лучше других знают человеческое сердце, — подсказывает Аделаида Лабиль-Жиар.

— Сегодня в Париже, — добродушно шутит Лакло, — всякая уважающая себя женщина обязана иметь в своем окружении хотя бы одного сластолюбца и одного геометра, как раньше в моде были пажи.

Сравнение одобрено публикой. Хитрые Муши и Де Вёв просят Коэтлегона высказать свою точку зрения. Тот, отхлебнув вина, промокает губы салфеткой и бросает быстрый взгляд на мадам Дансени; на его лице появляется сдержанная улыбка.

— Насчет геометрии я судить не берусь... Что же касается всего остального, некоторые из нас отдают предпочтение порокам, которые развлекают, а не добродетелям, которые лишь наводят тоску.

— Поясните ваши слова, Коэтлегон, — требует кто-то.

Тот смотрит по сторонам, обращая к каждому свою ледяную улыбку. Интересный типаж, заключает адмирал: профиль тонкий и в то же время мужественный, в элегантных манерах сквозит некоторая доля презрения, да еще это спокойное выражение лица, в котором чувствуются самодостаточность и равнодушие. Адмиралу рассказывали, он служил офицером в гренадерском полку Его Величества, что до известной степени объясняет его изысканное высокомерие и непомерное тщеславие.

— Давайте оставим этот разговор для другого ужина, — говорит Коэтлегон. — Сегодня вечером порок, похоже, не в чести. Маловато у него сторонников.

— Мсье, вы можете рассчитывать на мою шпагу, — смеется Лакло.

Подают десерты. Ужин удался на славу, думает дон Эрмохенес, который едва пригубил вина, однако все равно чувствует, что пара выпитых глотков ударили ему в голову, вызвав приятное расслабление. Сидя рядом с мадам де Шаванн, адмирал взирает на все происходящее со свойственной ему невозмутимостью, спокойно и любезно переговариваясь с кем-то; библиотекарь чувствует неожиданный прилив гордости: как свободно держится его приятель и спутник — человек, повидавший жизнь, познавший ценный, но жестокий опыт офицера Королевской армады; не то что он, дон Эрмохенес, который провел жизнь, портя глаза за чтением Плутарха при свете сальных свечей. «Греки полагают, что беседа — удел мудрецов, а осуждение — глупцов»... И так далее.

— А в Испании есть развратники? — обращается к академикам Аделаида Лабиль-Жиар.

— Конечно, как и повсюду, — с готовностью отзывается Брингас, однако никто не обращает на него внимания. Все смотрят на дона Эрмохенеса и адмирала. Застенчивый библиотекарь врастает в спинку кресла, кладет столовые приборы на тарелку и смотрит на товарища, предлагая ему взять всю ответственность на себя.

— Разумеется, но несколько в ином значении, — как ни в чем не бывало отвечает адмирал. — Слово «развратник» — всего лишь выражение плохого отношения к человеку, фигура речи, иначе говор*я*.

— Всему виной религия, — уточняет Марго Дансени.

Дон Педро смотрит на нее признательно, не моргая.

— Совершенно верно. В Испании значение этого слова мы понимаем скорее как «бабник» — с оттенком щегольства, бахвальства, народного восприятия. Стоящий под балконом и распевающий серенады с гитарой в руках на цыганский манер — вот он каков. Как правило, дело касается женщин низшего класса. Никаких тебе знатных дам...

Внезапно он умолкает, оборвав свою речь. На щеках Марго Дансени вновь появляются ямочки.

— Адмирал имеет в виду, что, в отличие от француженок, ни одна испанка не осмелится кокетничать с другим мужчиной в присутствии мужа.

— Нет-нет, — протестует дон Педро. — Мне никогда не пришло бы в голову...

Она чуть склоняется вперед, ставит локти на стол и пристально смотрит на него.

— Что же, по вашему мнению, привлекает женщину в развратнике — в том смысле, как мы понимаем значение этого слова во Франции?

— Их привлекает запретное, — без колебаний отвечает адмирал.

Она удивленно моргает.

— Что, простите?

— Темное, злое.

— Ну и ну. — На щеках ее вновь появляются ямочки. — Какая точная мысль. Всякий бы сказал, что вы знаете, о чем говорите.

— Ни малейшего понятия не имею, мадам.

К облегчению адмирала, в разговор снова вклинивается Брингас, которому вино развязало язык.

— Женщинам нравится эта разновидность мужчин, потому что женщины — развратницы от природы, — безапелляционно заявляет он.

— Отличная шутка, аббат, — спокойно отвечает Марго Дансени. — Что ж, in vino veritas... А вы, адмирал, согласны?

— Вы имеете в виду свойства вина?

Она улыбается медлительно, расчетливо, с едва уловимой признательностью.

— Не валяйте дурака, мсье. Я имею в виду женщин.

Краем глаза дон Педро улавливает на себе пристальный холодный взгляд Коэтлегона. Какая глупость, думает адмирал, походя, без малейшей необходимости создать себе врага.

— Я не согласен с Дидро, — произносит он наконец, — насчет того, что вам неприятны те, кто заставляет вас краснеть.

Марго Дансени хохочет — звонко, совершенно свободно. Все-таки она дьявольски хороша, меланхолично размышляет дон Педро. Однако вслух не произносит ничего и, выдержав ее взгляд несколько секунд, в конце концов опускает глаза. Молчание снова прерывает Брингас, подав голос из своего угла:

— Отлично сказано, сеньор. Развратник занимает социальную нишу, которую другие мужчины не решаются или не могут занять... Чего-то им — а лучше сказать нам — не хватает!

Он прерывает сам себя, прихлебывает вина и внезапно давится. Парик съезжает на сторону сильнее обычного, взгляд затуманивается, словно он ослеп или потерял всякий интерес к тому, что происходит вокруг.

— Но эпоха, которая вот-вот наступит, — хрипит он, — изменит и это.

— Какая такая эпоха? — тут же отзывается парикмахер Де Вёв, подмигнув остальным.

— Страшная эпоха разящего меча, великая блудница Апокалипсиса.

— А, эта, — уточняет Муши. — Пятый всадник и все такое...

— Постойте, а как же первые четверо?

Разгорается оживленный спор о мужчинах, женщинах, развратниках и сомнительном целомудрии. Перед тем как встать из-за стола, мадам Дансени чистосердечно выражает свое видение дела.

— По правде сказать, — говорит она, — светской женщине приятно знать, что есть мужчины, превосходящие остальных. Более смелые и решительные. И более честолюбивые. Такие мужчины их не разочаруют, не остановятся перед их так называемой добродетелью и всю инициативу возьмут на себя, прибегая даже к известной мере насилия, которое для женщины послужит отличной отговоркой... Я понятно выражаюсь?

— Сам Цицерон не скажет лучше, моя госпожа, — говорит Бертанваль.

— Предлагаю вернуться в гостиную и выпить кофе.

В полночь, когда часы на Сен-Рок отбивают двенадцать ударов, двое академиков, стоя рядом с церковью, ловят экипаж, чтобы отправить Брингаса домой. Аббат изрядно навеселе: шатаясь, он изрыгает проклятия в адрес мира в целом и гостей мадам Дансени в частности. Трость трижды вываливается у него из рук.

— Время настанет, вот увидите, — бормочет он заплетающимся языком. — Придет время, все будет по вере моей... — Он оглядывается, словно пытаясь запечатлеть в памяти это место. — Народный гнев — ик! — выведет вас на чистую воду...

Возле Вандомской площади они ловят фиакр, им удается выпытать у Брингаса адрес — это на левом берегу, подтверждает кучер, — и они усаживаются на потертое сиденье по обе стороны от аббата, поддерживая его справа и слева. В руках у дона Эрмохенеса парик, свалившийся с головы Брингаса. Кое-как обритая голова аббата покоится на плече адмирала.

— Гнев... — бормочет Брингас. — Народный гнев!

Они проезжают мимо фасада Оперы, которая только что закрыла свои двери и погасила огни. На дорогах все еще встречаются экипажи, ближайшие улицы по-прежнему людны. Несмотря на поздний час, город не опустел. Ветер стих, ночь безмятежна и не слишком холодна, по тротуарам движутся пешеходы в пальто и плащах; некоторых сопровождают слуги с факелами, коих специально нанимают для перемещений. Некоторые заведения все еще открыты, как, например, элегантная кофейня на углу Л’Арбре-Сек: перед крыльцом стоят экипажи, в окнах горит свет, перед дверями оживление. Париж, замечают академики, по крайней мере его центральные районы, так же безопасен ночью, как и днем. И конечно, это куда более безопасный город, чем Мадрид с его косматыми злодеями, скрывающими свои лица, темными переулками и харчевнями, где нет-нет да и сверкнет, обещая зловещую развязку, наваха. Здесь, в Париже, на каждом шагу горят фонари, тайная полиция и ее ищейки прочесывают улицы, кое-где можно встретить патруль французских гвардейцев. Все это академики обсуждают вполголоса, глядя на огни и тени, проносящиеся по ту сторону окошка, а Брингас, спящий не так крепко, как может показаться, бубнит плывущим голосом:

— Дух... Это все он... Свободный дух требует мятежа, сеньоры... Печально, что судьба подданного... ик... зависит от капризов тирана...

— Хорошо сказано, — улыбается адмирал, дружески похлопывая его по плечу.

— Ик...

Они пересекают Пон-Ройаль. В серебристом сиянии растущей луны река под ним кажется широкой черной лентой, расшитой тенями и отблесками — отражениями освещенных окон и светлыми пятнами далеких фонарей. Мост, в дневное время заполненный экипажами, сейчас пустынен. На полицейском посту их останавливает пикет. Сержант, плохо выбритый, в съехавшей набок треуголке, заглядывает к ним в окошко. За его спиной фонарь освещает масляно поблескивающие лица стражей, синие каски и сверкающие штыки. Париж, замечает адмирал, вовсе не так безмятежен, как кажется. Стоит всмотреться повнимательнее, и мурашки по коже бегут.

— У вас имеется оружие — огнестрельное, сабли, ножи?

— Имеется.

Военный рассматривает трость, которую дон Педро держит между колен.

— Трость-рапира?

— Да, для личного пользования.

Военный обращает внимание на акцент.

— Вы иностранцы?

— Да, мсье, мы испанцы.

— Отлично... Проезжайте.

На другом берегу Сены, оставив набережную позади, экипаж углубляется в хитросплетение узких и темных улиц, словно перемещаясь в другой мир. Домишки лепятся один к другому, и слабый лунный свет не в силах пробиться сквозь их удручающую тесноту. Фонари попадаются все реже, а тем, что все-таки есть, явно не хватает масла, и они горят еле-еле, а иные и вовсе теплятся слабым оранжеватым светом, едва заметным за несколько шагов. Разглядывая сумрачные окрестности, дон Эрмохенес не может не отметить, как они контрастируют с миром, лежащим по ту сторону реки: дом мадам Дансени, фонари, стоящие один за другим, — самый тусклый у входа, далее по коридору все ярче, и наконец самые яркие освещают гостиную и столовую. Сияющая паутина венецианского стекла, рассеивающая свет лампы, озаряя гостей, которые беседуют между собой с той очаровательной беззаботностью, которую парижский свет, как никто другой, умеет использовать самым благопристойным образом, даже если речь идет о делах не слишком благопристойных.

Завершение вечеринки у четы Дансени также оказалось весьма приятным. Вернувшись после ужина в гостиную, гости вновь принялись за беседу. Бюффон, Муши, Лакло, Де Вёв после кофе откланялись. Бертанваль поведал мадам Дансени о новых кандидатурах в члены Французской академии — философ на дружеской ноге с д’Аламбером, постоянным секретарем этой институции, и мадам заставила его поклясться, что тот непременно представит его испанским академикам. У шевалье Сен-Жильбера иссяк запас острот. Аббат Брингас чередовал обильные возлияния с апокалипсическими пророчествами, которые собравшиеся всякий раз воспринимали с юмором. В завершение между Ла Моттом и Аделаидой Лабиль-Жиар завязалась дискуссия о таланте Бомарше, столь ярком, в сравнении с посредственностью его же собственных произведений, скверным вкусом и обилием итальянских *concetti*, а также предвзятым отношением к Испании, заметным в «Севильском цирюльнике».

— Вы, вероятно, не в курсе, — сообщил дон Эрмохенес, прислушавшись к спору, — что сестры мсье Бомарше жили в Мадриде, на улице Монтера, неподалеку от моего дома, и их прославленный брат иногда бывал у них... Отсюда и знакомство, пусть и поверхностное, с моей родиной.

— А чем они занимались, его сестры? — поинтересовалась мадам Дансени.

— Насколько мне известно, они были модистками.

— Модистками? Какая прелесть!

История всем пришлась по вкусу — к удовольствию и некоторой неловкости дона Эрмохенеса. Чуть позже художница Танкреди, все время сидевшая с кислым выражением лица, сыграла на клавесине пьесу Скарлатти, вызвав преувеличенно бурные аплодисменты; затем все вместе занялись модным времяпрепровождением — вырезанием силуэтов при свече, роняющей тень на стену. Только Брингас все еще выпивал сам с собой, считая происходящее нелепой и праздной забавой. Самым удачным получился силуэт мадам Дансени, который вырезал адмирал: он действительно был похож на оригинал, и все наперебой расхваливали его. Затем, пока мадемуазель Терре услаждала слух публики фрагментом «Росаиды» Дора, дон Педро уловил направленный в его сторону задумчивый взгляд мадам Дансени и ее едва заметную улыбку; ему не обязательно было поворачиваться к мсье Коэтлегону, чтобы убедиться в том, что тот, как и прежде, взирал на него со все меньшей симпатией.

В этот миг хозяин дома, присутствовавший в гостиной со своим, как обычно, доброжелательным и несколько отрешенным, почти отсутствующим видом, попросил у гостей извинения — ему пора было вернуться в библиотеку, к своим занятиям. Поднявшись с кресла, он пригласил академиков проследовать за ним и лично ознакомиться с этим его излюбленным детищем. Те отправились за хозяином с большим воодушевлением и, миновав коридор, увешанный великолепными картинами — «Вот Грез, Ватто, а здесь Фрагонар... Далее, как видите, уже знакомая вам Лабиль-Жиар... Все это приобрела моя супруга», — с вежливым равнодушием рассказывал Дансени на ходу, — оказались в просторном помещении, все четыре стены которого занимали стеллажи, заполненные книгами, в середине стоял стол, на котором располагались издания крупного формата с гравюрами и эстампами.

— Потрясающе, — бормотал дон Эрмохенес, взирая на все это великолепие разгоревшимися от алчности глазами.

Они изучали названия на роскошных позолоченных корешках при свете канделябра, который Дансени зажег с помощью некоего новейшего изобретения — особенных серных спичек, которые, если сунуть их во флакон с серной кислотой, мгновенно вспыхивали ярким лучистым светом.

— Мое убежище, — пояснил Дансени, обводя рукой помещение. — Здесь у меня собранье небольшое/Ученых книг, покой и тишина[[54]](#footnote-54), как говаривал ваш поэт Кеведо, который столь по вкусу моей жене. Очень верные слова!

Академики с трепетом обозревали его владения. Библиотека была разделена по темам: древняя и современная философия, история, ботаника, точные науки, морские и сухопутные путешествия... Дансени доставал с полок тома и передавал их в руки гостей.

— Взгляните: ваш соотечественник, падре Фейхоо, «Всеобщее критическое обозрение» в восьми томах. Отменное издание, не правда ли? Мадридская королевская типография... Есть у меня и роскошный «Дон Кихот» Ибарры, ин-фолио, которое вы, то есть Испанская королевская академия, издали в прошлом году... Великое произведение, простите мне эти громкие слова, к тому же замечательно изданное. Превосходная вещь!

— Наша гордость, — заметил польщенный дон Эрмохенес.

— И моя тоже, ведь я как-никак счастливый обладатель этого сокровища, которым может гордиться всякая библиотека.

— Вы читаете по-испански?

— С трудом. Но прекрасная книга остается таковой всегда, независимо от языка, на котором она издана. А ваш «Дон Кихот» просто замечательный, хотя у меня имеются и другие издания, вот, взгляните... Вердуссен, напечатанный в Антверпене, а это великолепное французское издание Арманда, тысяча семьсот сорок первого года... А вас, сеньор адмирал, возможно, заинтересует вот это...

Дон Педро прочитал надписи на корешках: «*Voyage de George Anson»*[[55]](#footnote-55)*, «Voyage de La Condaminе* »[[56]](#footnote-56)... Затем с большим удивлением обнаружил и переведенный двухтомник «Voyage historique de l’Amérique Méridionale»[[57]](#footnote-57) Ульоа и Хорхе Хуана.

— Успешное течение дел позволяет мне коротать свое время здесь, — сказал Дансени. — Как видите, мне есть чем наполнить свою жизнь. Точнее, то, что от нее осталось.

— Осталось, без сомнения, не так уж мало!

— Кто знает... В любом случае, отсюда я любуюсь Марго, участвую в ее жизни, а затем, когда огни гаснут, потихоньку возвращаюсь в свой мир.

Дон Педро, листавший один из томов, тепло улыбнулся.

— Вы непревзойденный библиофил.

— Вы преувеличиваете, — возразил Дансени. — Я всего лишь один из тех, кто отгородился от суеты книгами.

Адмирал поставил книгу на место и продолжил осмотр: *«Lettres sur l’origine des sciences»*[[58]](#footnote-58)*, «Tableau méthodique des minéraux* »[[59]](#footnote-59)... Любуясь подобными сокровищами, невозможно было удержаться от зависти.

— Библиотека — это не просто собрание книг, это друзья, единомышленники, — произнес он, сделав несколько шагов вдоль полок. — Лекарство и утешение.

Дансени с благодарностью улыбнулся.

— Вы явно знаете, о чем говорите, мсье. Библиотека — это такое место, где всегда находишь нужную вещь в нужный момент.

— А я думаю, нечто большее... Когда испытываешь искушение слишком уж рьяно презирать себе подобных, для примирения достаточно всего лишь взглянуть на библиотеку, подобную вашей, полную высочайших памятников человеческого духа.

— Истинную правду вы говорите, мсье!

На придвижном столике лежала дюжина свежих изданий: «*Journal des Sçavants»*[[60]](#footnote-60)*, «Courier de l’Europe»*[[61]](#footnote-61)*, «Journal Politique et Littéraire»*[[62]](#footnote-62)... Дон Педро с любопытством брал их в руки одно за другим. Ни об одном из этих журналов слыхом не слыхивали в Мадриде. Все, что до них доходило, — обрывочные, тщательно профильтрованные официальной цензурой новости, публикуемые «Газетой».

— Так, значит, у вас есть все новинки? Вам удается быть в курсе новых изданий?

— Относительно, — улыбнулся Дансени. — Не все книги, как и не все люди, перешагивают порог моей библиотеки.

Он по-прежнему улыбался, показывая им свои владения, отделенные от остального мира коридором, словно все, что находится за его пределами, представлялось ему далеким и чужим. И от этого чужого мира он предпочитал держаться подальше. Когда-то очень давно, во время морского похода адмирал видел людей, которые точно так же обозревали с борта своего корабля неведомый берег.

— Иной раз мне кажется, — добавил Дансени мгновение спустя, — что Европа позволила завоевать себя дикарям из лесов и с равнин Америки. Понимаете, что я имею в виду?

— Отлично понимаю.

Они уже стояли возле дона Эрмохенеса. Тот слушал их рассеянно, сосредоточенно осматривая стеллажи с книгами по философии и литературоведению. Дело в том, объяснил Дансени, что во Франции издают слишком много книг. Чтение вошло в моду. Любой голодный аббат, любой военный со скудным жалованьем, любая скучающая старая дева берутся за написание книг, и книгоиздатели покупают результат их труда, как бы плох он ни был, потому что и для него рано или поздно найдется свой читатель; и вот отпечатанные книжонки в угоду моде или ради чьего-то праздного времяпрепровождения гуляют там и сям. Как следствие, появилась целая шайка историографов, компиляторов, поэтов, газетчиков, романистов и других относительно человекоподобных существ, которые возомнили себя Вольтерами и мадам Риккобони в одном лице. Иными словами, все принялись философствовать и зарабатывать тем самым деньги. К большому несчастью, разумеется, для бедной философии.

Он остановился с книгой в руках — замечательно изданный Ксенофонт на греческом и латыни, — склонив голову и будто бы размышляя над собственными словами.

— Да, — заключил он в конце концов. — Вы понимаете, что я хочу сказать... Вы же книжные люди.

Они уже были возле полок, на которых стояли двадцать восемь томов крупного формата, переплетенных в кожу коричневого цвета с золотым тиснением на корешках. При виде собрания обоих академиков внезапно охватил трепет.

— Это она? — воскликнул дон Эрмохенес.

— Да, — улыбнулся Дансени.

— А потрогать можно?

— Пожалуйста.

Действительно, это была она, они увидели ее впервые: «*Еncyclopédie, ou dictionnare raisonné des sciences, des arts et des métiers* »[[63]](#footnote-63). Отличного качества бумага, широкие поля и замечательное тиснение в реальности выглядели даже роскошнее, чем они себе представляли.

— Удивительная вещь. Вы читали вступительную статью? Ее написал д’Аламбер, и она важна для понимания ее значения в целом.

Дон Эрмохенес взял первый из тяжелых томов и отнес его на стол, стоявший в центре помещения. Там он с величайшей осторожностью надел очки и взволнованно прочитал вслух:

*Мы узнаем природу не по туманным и вольным гипотезам, а благодаря тщательному изучению ее явлений, сравнению одного с другим, искусству обобщения, применимому везде, где это позволительно, когда большое число явлений сведены в итоге к одному-единственному, которое рассматривается как основной принцип...*

Он не смог продолжать. Голос у него задрожал, он посмотрел на дона Педро, и тот заметил, что глаза у библиотекаря покраснели и увлажнились от счастья.

— Это она, сеньор адмирал!

— Да, — кивнул адмирал, улыбаясь и кладя руку на плечо друга. — Наконец-то она перед нами.

Дансени следил за ними с любопытством.

— Даже во Франции, — произнес он, — кое-кто смотрит на эту вещь как на невразумительную компиляцию, полную парадоксов и ошибок; другие же в ней видят — точнее, мы видим — редчайшее сокровище.

Адмирал согласно кивнул.

— Такого же мнения придерживается Испанская академия. По ее поручению мы и прибыли в Париж.

— Да-да, конечно. Я слышал от этого Брингаса, что вы собираетесь раздобыть экземпляр «Энциклопедии».

— Все правильно. Причем в первом издании — таком, как это.

— Найти первое издание очень сложно. Боюсь, имеется слишком много переизданий и копий... — Дансени подумал секунду, посмотрел вокруг себя и пожал плечами, любезный и невозмутимый. — К сожалению, с моим экземпляром я расстаться не могу. Быть может, мсье Бертанваль, у которого много самых разнообразных знакомых, поможет раздобыть вам другой такой же. Могу дать вам адреса книготорговцев, которым я доверяю; и все же оригинальная версия в полном собрании...

Он умолк, чтобы позволить академикам спокойно полистать некоторые тома и полюбоваться гравюрами в приложении.

— Мне бы очень хотелось побывать в Мадридской академии, — меланхолично произнес Дансени.

— Когда вам угодно, мсье. Вас ждет теплый прием, — проговорил дон Эрмохенес. — Но боюсь, мы вас разочаруем. Это очень скромное заведение, и возможностей у нас не так уж много.

Дансени сжал губы, что выглядело очень по-французски.

— Сомневаюсь, господа, что это когда-нибудь произойдет. Я имею в виду путешествия... Мне, честно сказать, попросту лень. Я путешествую благодаря книгам, и мне вполне хватает.

Он помог им водрузить тяжелые тома «Энциклопедии» обратно на полку.

— Быть может, Академия в Мадриде в самом деле скромная, — добавил он, — однако я уверен, что это серьезное заведение: вы выпускаете словари, орфографические и грамматические справочники, удобные в пользовании... Ваша Академия отличается от нашей, французской. С тех пор как Ришелье основал нашу Академию, она всегда была средоточием амбиций, корысти и тщеславия... Французские академики величают сами себя «бессмертными», и этим все сказано.

— Да что вы говорите! Но ведь господа Бертанваль и Бюффон — такие приятные люди, — возразил дон Эрмохенес.

— Безусловно. Следует прибавить к ним д’Аламбера и некоторых других академиков их же круга. С другой стороны, Марго умеет смягчать даже самые крутые нравы... Никто, кроме нее, не способен так виртуозно соединять кислое со сладким, легкое с тяжелым.

— Восхитительная женщина, — кивнул адмирал.

— Пожалуй. — Дансени на секунду задумался. — Именно так.

Они уже собирались покинуть библиотеку, когда дон Эрмохенес приметил книгу Бертанваля — «*De l’état de la philosophie en Europe* »[[64]](#footnote-64) — и остановился ее полистать. Вероятно, всему виной его несовершенный французский, но последние слова Дансени показались ему излишним кокетством.

— Во Франции сложился своего рода литературный деспотизм, который открывает двери Академии лишь для тех, кто ему угоден, — говорит Дансени, словно прочитав его мысли. — Мало кто из представителей низших слоев общества может воспользоваться трудами наших академиков.

Он взял книгу из рук дона Эрмохенеса и, едва заметно улыбнувшись, вернул ее на полку.

— Среди вас, испанских академиков, — добавил он, — ценятся не столько отдельные имена, сколько общий труд. Плод коллективной просветительской деятельности на благо отечества, что очень важно. Это касается и американских владений.

Он подошел к канделябру и задул свечи. Теперь библиотеку освещала только лампа, зажженная в коридоре.

— Что ж, неплохой способ, — промолвил адмирал, — ужиться с такой прелестной супругой, как мадам Дансени.

Хозяин дома остановился так внезапно, что все вздрогнули: никто не ожидал подобной порывистости движений от столь неспешного человека. В неверном полусвете он казался еще более рассеянным и отсутствующим. Дон Педро не мог разглядеть его лицо, но был уверен, что Дансени смотрит на него.

— Лучший из всех, что мне известны. Эти двери не впускают ничего лишнего. Вы меня понимаете?

— Отлично, мсье.

Кажется, Дансени все еще сомневался.

— Между прочим, у нее тоже есть своя библиотека, — добавляет он наконец. — Несколько в ином стиле.

— Рю-де-Пуатвен! — кричит кучер с облучка.

Фиакр останавливается у единственного в окрестностях фонаря, стоящего на углу одной из улиц — темной, кривой и убогой. Ее мостовая представляет собой сплошную топь из-за грязной воды, которую выплескивают из соседних домов. Пахнет азотистой солью и серой, думает адмирал, с отвращением вдыхая воздух. Чуть живой огонек фонаря не отгоняет, а, наоборот, сгущает тени. Вдалеке бесформенной глыбой мрака угадывается обветшалая средневековая башня.

— Где же ваш дом, дорогой друг?

— Там... Где-то там.

Держась рукой за стену, аббат шумно опорожняет мочевой пузырь.

— Здесь обитают, — говорит он, покуда журчащая струя падает в темноту, — справедливые, но опустошенные люди... Гениальные мизантропы... Алхимики мысли и пера...

— Встречаются места и похуже, — возражает дон Эрмохенес, зябко поеживаясь.

— Вряд ли, сеньор... Но когда-нибудь придет день...

Попросив кучера подождать, академики подхватывают аббата с двух сторон. Портал, куда они заходят, представляет собой небольшой двор со множеством повозок, наполовину заваленный кирпичом и брусом, рядом располагается переплетная мастерская, закрытая в этот поздний час; свет фонаря освещает лишь вывеску, висящую над витриной: «*Antoine et fils, relieurs»*[[65]](#footnote-65).

— Не утруждайте себя, господа... Поверьте, я и сам доберусь.

— Ничего страшного, не беспокойтесь.

Дон Педро и дон Эрмохенес помогают Брингасу подняться по темным деревянным ступенькам, которые скрипят под ногами, и кажется, что они вот-вот развалятся, и, поднявшись на последний этаж, отпирают дверь в мансарду. Обшарив стену у входа, адмирал находит огниво и кремень, чтобы зажечь свечу, чей свет до смерти пугает брызнувших в разные стороны рыжих тараканов. В доме холодно. Две комнаты с нищей обстановкой, умывальный таз, стол с остатками черствого хлеба, прикрытыми салфеткой, кровать с тюфяком, погасшая плита, платяной шкаф и столик с письменным набором и полудюжиной книг и брошюр. Остальные книги лежат на полу, большая часть их засалена и зачитана донельзя. Пахнет человечьим телом и затхлостью, прогорклым хлебом, голодом, одиночеством, нищетой. Тем не менее книги разложены аккуратно, а в бельевой корзине, придвинутой к кровати, виднеется проглаженное белое белье, две рубашки и пара чулок, заштопанных и зачиненных, но тем не менее безупречно чистых.

— Оставьте меня... Я же сказал, справлюсь сам.

Брингас падает на скрипящую под его тяжестью кровать, глаза его закрыты. Пока дон Эрмохенес вешает парик на латунный шар в изголовье кровати, снимает с аббата ботинки и накрывает его одеялом, адмирал осматривает комнату и читает названия некоторых книг: «*Le gazetier cuirassé»*[[66]](#footnote-66)*, «La chandelle d’Arras», «Histoire philosophique et politique des établissements des européens dans les deux Indes»*[[67]](#footnote-67)... Кое-какие параграфы в книгах подчеркнуты чернилами. Книги навалены вперемешку, без каких-либо определенных предпочтений, от распутных книжонок до трудов по философии и теологии, от Райналя и Аретино до Монтескье, включая Гельвеция, Дидро и Руссо. А на стене, над всей этой разношерстой библиотекой, красуются три цветных эстампа, образуя единую портретную композицию: Вольтер, Екатерина Вторая и Фридрих Великий. Всем троим Брингас пририсовал усы, рога и другие несвойственные им при жизни черты.

— Он спит, — шепчет дон Эрмохенес.

Это понятно, говорит про себя адмирал.

Аббат храпит так, что сотрясаются стены.

— Тогда идемте отсюда.

Прежде чем погасить свет, дон Педро замечает листок с текстом, который лежит на столе и явно написан рукой самого Брингаса. Брезгливость мешает адмиралу прикоснуться к нему, однако любопытство берет верх: он склоняется над столом, держа в руке свечу, и видит перед собой строки, выведенные тонкими прерывистыми буквами, острыми, как кинжалы:

*Вдохновенный автор, умеющий обращаться с пером, способен оказать великую услугу освобождению народов, используя публику, посещающую театры, рассуждая с доходчивым и искусным красноречием, приводя в пример персонажей, ловко заимствованных из Истории, дабы выразить то, что даже самый отчаянный патриот не способен или не отваживается высказать в лицо монарху, фавориту или власть предержащему. Вот почему театр является важнейшим источником народного счастья и главной образовательной школой, которая однажды превратится в острейшее оружие в руках отважных людей, бесконечно мужественных и одаренных*.

— Это его сочинение? — интересуется дон Эрмохенес.

— Похоже на то.

Академики собираются покинуть дом аббата.

— И как он пишет?

— Очень неплохо. Складывается впечатление, что наш аббат вовсе не такой бессмысленный чудак, каким притворяется.

В дверях, прежде чем погасить свечу и выйти вон, адмирал бросает последний взгляд на неподвижное тело, смутно темнеющее среди теней, падающих на постель. Храп Брингаса сотрясает воздух. Вино чужое, зато нищета своя. Достойный отдых славного вояки.

Часом позже на улице Вивьен, заломив крыло своей андалузской шляпы, Паскуаль Рапосо наблюдает за тем, как гаснет свет в окнах академиков в гостинице «Кур-де-Франс». Затем бросает сигарету, топчет ее каблуком сапога и, завернувшись в шинель, неторопливо удаляется. По правде сказать, сегодняшняя слежка не так уж необходима; все и так схвачено: полицейский Мило и его агенты постоянно сообщают Рапосо, чем именно адмирал и академик в данный момент занимаются в городе. Но иногда — так было в предыдущие ночи — бывший кавалерист заранее знает, что не сумеет уснуть: проведет несколько часов без сна, мучимый изжогой и болью в желудке, бесцельно слоняясь по комнате или покуривая в окошко. Вот почему он не торопится улечься под простыни, пока сон не заявит о себе более решительно, чтобы не встретить рассвет в изнуряющей бессоннице, от которой в голове все путается, во рту пересыхает, а глаза наливаются кровью.

Даже воспоминание о Генриетте Барбу, дочке хозяина пансиона, не в силах отвлечь его от тягостных мыслей. В это время, прикидывает Рапосо, малышка могла бы пробраться к нему в комнату, босиком, чтобы не шуметь, в ночной рубашке и с зажженной свечой в руке, готовая улечься с ним в постель, — эта мысль вызывает у него внезапную яростную эрекцию. Не далее как сегодня вечером он получил щедрый аванс, обнаружив ее стоящей на коленях с ведром и тряпкой в руках: она мыла лестницу, между ними завязалась небольшая потасовка, и она пообещала завершить ее должным образом при первой же удобной возможности. Однако даже это не может сейчас воодушевить Рапосо. Еще слишком рано; если не для него самого — хотя лишения тяжелой жизни постепенно сказываются на его самочувствии, и утомление, не имеющее ничего общего с сонливостью, с каждым днем наступает все раньше, — то однозначно для его желудка, беспокойной головы и призраков, которые к нему являются или же он сам их порождает. И вот, не торопясь, Рапосо направляется туда, где, как он знает, его приятель Мило имеет обыкновение завершать дежурство: в один из кабаков, которых целое множество раскинулось вокруг Ле-Алль, сердца парижских рынков.

Уже час ночи. На плохо освещенных улицах заметно некоторое оживление, возрастающее по мере того, как Рапосо приближается к злачному месту. В этот час каждую ночь четыре или пять тысяч крестьян прибывают в центр города верхом на мулах и в повозках, преодолевая расстояние в несколько лиг от своего дома, чтобы доставить в столицу зелень, бобы, фрукты, рыбу, яйца: все, что утром поступит на рынки, чтобы насытить бездонное чрево города. Вот почему этот район на правом берегу ночью выглядит оживленнее, чем днем. Телеги и животные перегораживают улицы. На Гренель, более освещенной в сравнении с остальными, открыто несколько харчевен; а в тесных переулках, погруженных в тень, смутно виднеются силуэты женщин, которые подстерегают пешеходов, призывно щелкая им вслед языком.

— Паскуаль, старый хрен! Как я рад тебя видеть!

На самом деле Мило употребил не «старый хрен», а более мягкое французское выражение. Ругательства и проклятия на языке Мольера всегда казались Рапосо слишком вялыми и не приносящими облегчения. Разве можно было сравнить их со звонким и смачным испанским матом, с помощью которого не слишком обремененному приличиями испанцу удается иногда хорошенько отвести душу? Вольно переводя привычные слова, Рапосо потихоньку приспосабливает неудачный язык для своих нужд.

— Надо бы выпить, — отзывается Рапосо.

— Лучшего места не найти, дружище. — Полицейский указывает тростью на дверь какого-то заведения. — Тебе чего больше хочется, красного или белого?

— Не будь идиотом, — фамильярничает Рапосо. — Сейчас время агуардиенте.

Он знает, что крепкое спиртное только усилит боль в желудке, однако ему все равно. На своем казарменном французском он употребил слово *emproseuries*: по сравнению со жгучим испанским аналогом — «агуардиенте», пресное французское словцо кажется почти бесцветным — *Laisse tomber avec tes emproseuries*, говорит он. Мило хохочет, затем ведет его внутрь кабака, откуда крепко пахнет табачным дымом и немытым телом. Заметив вошедшего полицейского, хозяин поспешно освобождает один из столов в углу, придвигает два табурета, и они усаживаются.

— Водку желаете? — спрашивает хозяин, не сообразив, что такое агуардиенте.

— Какая, к черту, водка, — ухмыляется Рапосо, снимая шинель и шляпу. — Огненную воду, да поскорее. Eau-qui-brle, или как у вас тут говорят. И перцу туда всыпьте побольше!

— Ты потом что собираешься делать, приятель, — спать или трахаться? — хохочет Мило.

— Будущее покажет.

— Значит, ходишь по пятам за своими птенчиками? Я же сказал тебе, что это совершенно излишне. Мои люди все взяли на себя.

— Иногда лучше проверять самому.

— О, профессиональная гордость?

— Я называю это предосторожностью. От излишней предосторожности пока еще никто не умирал.

Им приносят бутылку агуардиенте и два стакана. Рапосо осторожно нюхает напиток, затем пробует на вкус и остается весьма доволен. От сочетания крепости со жгучим перцем на глаза наворачиваются слезы. Рапосо слегка полощет рот, затем проглатывает. Ему не больно.

— По моим сведениям, — рассказывает Мило, — они так и не нашли эту свою «Энциклопедию». В Лувре есть один торговец, некто Кюнье, который пообещал им помочь; однако я постараюсь убедить его, чтобы он этого не делал...

— В любом случае, — возражает Рапосо, — как бы мы ни старались испортить им все дело, нельзя исключать того, что в конце концов они ее найдут. На этот случай у меня имеются кое-какие соображения.

— Например?

— Им понадобятся деньги, чтобы оплатить покупку; а деньги кто-нибудь возьмет да и украдет. Город кишит ворьем!

Мило проводит ладонью по лысине и подмигивает Рапосо:

— Верно, приятель. Так оно и есть.

— Если же они все равно добудут книги, им понадобится перевезти их через границу. А книг много, целая куча. Несколько больших тяжелых свертков... Путь неблизкий, все что угодно может произойти.

— Точно: все что угодно!

— И по дороге может возникнуть тысяча непредвиденных ситуаций.

— Разумеется. Если позволишь, дам тебе совет полицейского: самое лучше средство — донос.

— Что за донос? На запрещенные книги?

— Нет. В наше время на «Энциклопедию» всем, по большому счету, наплевать. Даже у министра полиции есть свой экземпляр. Тут понадобится что-то похлеще.

Пьяный торговец рыбой, от которого крепко несет его ремеслом, случайно спотыкается о сидящего Рапосо. Тот яростно пихает его, и торговец сердито чертыхается. Мило хочет вмешаться и тянет руку к своей витой трости, но одного этого движения уже достаточно. Пару секунд они смотрят друг на друга, затем торговец втягивает голову в плечи и убирается вон. Опытным глазом Мило замечает нечто увесистое в кармане своего приятеля.

— Все еще носишь с собой двуствольный пистолет?

Рапосо пожимает плечами:

— Случается.

— Знаешь ведь, что у нас в городе это запрещено.

— Да, — равнодушно отвечает Рапосо. — Это я знаю.

Они пьют молча, искоса поглядывая на посетителей, которые курят, болтают друг с другом, попивают вино.

— Или вот еще что, — произносит наконец Рапосо. — Мои птички могут вляпаться в какую-нибудь историю с этим аббатом, который повсюду за ними таскается... Как тебе такой вариант?

— Тоже неплохо, — кивает Мило.

— На некоторое время это их задержит. И позволит конфисковать книги, бумаги и прочее барахло.

— А что это может быть за история?

Рапосо задумчиво хмурится. Затем делает глоток агуардиенте.

— Шпионаж, — отвечает он. — В пользу иностранной державы.

Мгновение Мило взвешивает все «за» и «против» новой версии.

— А знаешь, — улыбается он, — это, между прочим, отличная мысль!

— Мне тоже так кажется. Одна неувязка: Франция и Испания — союзники.

— Ну и что? Донесем на них как на английских шпионов, и дело сделано.

Рапосо снова задумывается.

— Поможешь мне?

— О чем речь! Это как раз по моей части, приятель. Для начала займемся ложными свидетельствами — в счет, как говорится, твоего аванса.

Они чокаются. Рапосо что-то напряженно подсчитывает в голове: время, возможности, деньги. Все сильные и слабые стороны этого варианта. Мысль о том, что почтенных академиков обвинят в шпионаже, вызывает на его лице коварную ухмылку.

— Сколько времени уйдет на это дело? — спрашивает он.

Мило неопределенно разводит руками.

— Все зависит от того, как быстро они будут действовать. И от заинтересованности, которую проявит ваше посольство.

— Они члены Испанской академии. Уважаемые люди... У них рекомендательные письма от графа де Аранды.

— В таком случае придется разыграть эту партию подальше отсюда... Представь себе: в придорожной деревушке пойманы двое английских шпионов! Вот жители-то удивятся... Комиссар сообщит мэру, или, наоборот, мэр запросит инструкции у Парижа, затем следствие, допрос... А багаж тем временем конфискован или вообще куда-то уплыл...

— Книги могут попасть в руки какому-нибудь негодяю, который их присвоит или испортит, — заключает Рапосо, уловив мысль Мило.

— Вот и договорились, приятель.

— Тебе это кажется правдоподобным?

— Вполне. Война с Англией нам сейчас очень на руку... А можно еще этой вашей, как ее, огненной воды?

Они подзывают хозяина. Тот приносит второй графин, и они снова выпивают. Желудок Рапосо по-прежнему не подает никаких сигналов. Рапосо достает из кармана часы и сверяет время. Все еще рано, убеждается он, чтобы лечь и спокойно уснуть. К тому же кабак они выбрали не из худших, Мило — славный малый, да и питье ничего себе, и худо от него вроде бы не делается.

— Как давно ты оставил армейскую службу? — спрашивает полицейский, с любопытством поглядывая на Рапосо.

— Восемнадцать лет назад.

— А где сражался последний раз?

— В Португалии, с англичанами.

Мило кривит рот.

— А почему бросил это дело?.. Слишком тяжела жизнь кавалериста?

— Жизнь как жизнь, не хуже любой другой.

Рапосо внезапно мрачнеет, и Мило обращает на это внимание.

— Извини... Наверно, тебе неприятно говорить об этом.

— Да ладно. Могу говорить, могу не говорить.

Рапосо откидывается назад, прислоняется к стене. Смотрит на стакан с агуардиенте и делает глоток. Внутри чувствуется жжение. Но пока совсем слабое.

— Слышал что-нибудь об ущелье Ла-Гуардия? — спрашивает Рапосо.

— Не слышал ни разу в жизни об этом чертовом ущелье.

— Это в окрестностях Лиссабона... Англичане и португальцы хорошо обороняли свои позиции. Мы здорово вымотались, понесли большие потери, а нас к тому же вытеснили на открытое место — в полном снаряжении, беззащитных. И вражеская артиллерия тем временем палила в нас почем зря...

— Много народу полегло? — интересуется Мило.

— Достаточно, чтобы проклясть и господа Бога, и родную мать.

— Понятно.

Рапосо роняет слово за словом — неохотно, неторопливо. Его голос звучит тускло, или, быть может, безразлично.

— Так прошло часа два, — продолжает он после короткой паузы. — А потом нам дали приказ к наступлению... Граната избавила нашего командующего эскадроном от всех его званий и полномочий, и командование принял лейтенант, немолодой уже мужик, сержант... Как вы тут их называете?

— Ancien? Vétéran?... Ты имеешь в виду звание?

— Ладно, пусть будет сержант... По службе так и не продвинулся, усы седые, лицо усталое... Тогда он с нами вместе расхлебывал это дерьмо — на коне, впереди подразделения. Слушая наши вопли и проклятия — все, до последнего вздоха.

Рапосо умолкает, потирая желудок. На некоторое время он замирает, глядя в пустоту, словно перед его глазами разворачиваются те далекие события, о которых он рассказывает. Когда он снова поворачивается к Мило, на его лице написано замешательство или сомнение. Можно подумать, он удивлен, обнаружив себя здесь, рядом с Мило, среди табачного дыма и гула кабака.

— Ну и вот, — продолжает он. — Прибыл кавалергард с приказом. Лейтенант вытащил саблю, крикнул «в атаку!» И велел нам ехать за собой. Мы поплелись кое-как, отпустив поводья. А когда он закричал «Рысью!», мы вообще остановились. Потом началось наступление, но никто из нашего подразделения бровью не повел. Мы стояли неподвижно, бросив поводья, пока наш лейтенант мчался галопом с саблей наголо прямиком на ущелье... Он знал, что никто за ним не пошел, но все равно скакал впереди, пока не скрылся из виду. Даже головы не повернул в нашу сторону... За ним последовал только молодой корнет, лет пятнадцати, не больше, трубя в горн. А потом — только облачко пыли от копыт двух коней да этот дурацкий звук горна все дальше, пока совсем не пропал...

— И все? — спросил полицейский, секунду помолчав.

Рапосо спокойно кивнул, но ответил не сразу. Желудок у него разболелся уже не на шутку.

— Все, — произнес он наконец. — Больше мы их не видели. Эскадрон был распущен, сержантов расстреляли, а остальных сослали на четыре года на каторгу в Сеуту.

— Господи помилуй. — Мило разинул рот от удивления. — Я этого не знал, приятель.

Рапосо поднялся на ноги.

— Теперь знаешь.

Чуть позже Паскуаль Рапосо бредет по улице де-ла-Шоссетри. Фонарное масло, предназначенное для общественных нужд, к этому времени, видимо, уже иссякло, и искусственный свет потускнел до едва заметного оранжевого пятнышка вокруг фитиля, который дымит за стеклом фонаря, висящего на кронштейне. Рапосо бредет, едва заметно пошатываясь, укутанный в свою шинель, надвинув на глаза шляпу, — бывший кавалерист пробирается в тени ночных улиц, как преступник. Над ним в вышине колышется ночь, делая причудливые тени еще более зловещими и таинственными. Агуардиенте и недавний разговор оживили в его голове забытые образы, пробуждая воспоминания, которые сейчас ему совсем не на пользу. Одно из них особенно тягостно: усталое лицо, серые усы лейтенанта, чье имя он уже не вспомнит, того, который восемнадцать лет назад помчался в ущелье Ла-Гуардия, ведя за собой одного-единственного корнета.

Надо заметить, отнюдь не угрызения совести гложут душу Рапосо. Для него это было бы слишком. Так же, как и большая часть человеческих существ, натуры, подобные ему, без труда находят оправдания для любого своего поступка, как бы груб и низок он ни был; и редко встретишь того, кто тащит за собой больше призраков, чем готов вытерпеть. В эту ночь его призрак представляет собой печальное воспоминание: неприятное свидетельство того, что время уходит и расстояние, отделяющее нас от прошлого, непреодолимо. А может, все дело в упущенных возможностях. Вспоминая лицо офицера, когда тот выхватил саблю из ножен и крикнул «За мной!», зная, что его приказ никто не выполнит, затем вонзил шпоры в конские бока и даже не обернулся, Рапосо печалится о том, кем сам он мог бы в другое время стать, но не стал, а вовсе не мучается угрызениями совести. Он печалится о себе самом. О человеке, которого в нем больше нет, которым он перестал быть в тот момент, когда отпустил поводья, остановившись, как все остальные, перед пыльным португальским ущельем. Это тоска об утраченной юности, о том, что ушло навсегда. О тех, кто прошел мимо, а он и не заметил, хотя, быть может, именно они помогли бы ему уснуть в такой час, как этот.

В темноте возникает неясный силуэт. Кто-то щелкает языком, отчего рука Рапосо тянется за пазуху, в карман камзола, нащупывая пистолет. Проститутка выходит из темноты в скудный кружок бледного света, распространяемого фонарем, горящим за спиной Рапосо. На ней корсаж в белую и красную полоску, черты лица едва различимы, впрочем, сложена она явно неплохо.

— Не хотите ли приятно провести вечерок, мсье, — говорит она с профессиональной развязностью.

— Где ты предполагаешь его проводить? — спрашивает Рапосо.

— Есть одно местечко тут неподалеку: пять франков — мне, шесть сольдо — за постель с простынями... Как вам такие расценки?

— Сегодня вряд ли: я спешу.

Женщина кивает в сторону темного переулка. Выглядит она усталой.

— Хочешь, давай прямо здесь.

Рапосо размышляет, потирая рукой больной желудок. Заработать сифилис в качестве парижского сувенира не входит в его планы.

— А чехлы у тебя есть?

— Чего?

— Защитные чехлы. Презервативы... Овечья кишка, не знаешь, что ли?

— Закончились.

— Ясно...

Шлюха подходит ближе. Она без шляпы, и сейчас Рапосо может рассмотреть ее чуть лучше. От нее пахнет смесью пота, вина и резких дешевых духов. Мужчинами, которые были с ней этой ночью.

— Можете войти сзади, если вам так больше нравится.

— Был бы чехол, а так мне все равно — что спереди, что сзади.

— А если ртом?

Рапосо колеблется. Ему любопытно. Учитывая, что испанские шлюхи подобными вещами не занимаются — они, как и прочие испанки, большие любительницы месс и четок, а исповедники такое запрещают, — предложение звучит заманчиво. Однако в последний момент он качает головой.

— Ничего не нужно.

— Ладно, давай за три франка.

— Сказал же, нет.

Удаляясь, он слышит, как женщина вполголоса чертыхается. *«Salaud de merde»*[[68]](#footnote-68)*, —* несется ему вслед. Или ему лишь кажется, что он слышит именно эти слова. В любом случае интонация женщины сделала бы понятным любой язык. Отойдя подальше, Рапосо расстегивает шинель и с наслаждением облегчает мочевой пузырь, пуская обильную струю на груду битого кирпича в темном и узком закутке, чьи тени еще контрастнее при свете ущербной луны, которая в этот миг высунулась из-за крыш, позволяя разглядеть горы мусора. В тот миг, когда Рапосо уже застегивает штаны, прямо перед ним сверкают красные, налитые злобой глазки следящей за ним крысы. Размером крыса едва ли не с кошку: замерла неподвижно, смотрит пристально, сжалась в комочек, чтобы ее не заметили. Рапосо тоже ее рассматривает несколько секунд, затем наклоняется и нащупывает рукой обломок кирпича. Должно быть, крыса угадывает его намерение: она издает пронзительный визг, полный ненависти и отчаяния, которые лишь забавляют жестокого человека, уже занесшего руку с зажатым в ней кирпичом. Крыса, загнанная в угол, среди зловонного мусора. Вот как выглядит наш мир, думает Рапосо, швыряя в нее кирпич.

## 8. Кабальеро из кофейни «Прокоп»

Миновало то время, когда несправедливость приводила меня в ярость.

Дени Дидро. «Письма к Софии Волан»

Им упорно не везет. Несмотря на добровольную помощь аббата Брингаса и расположение новых друзей и знакомых, а также рекомендацию мсье Дансени, адресованную его постоянным поставщикам, первое издание «Энциклопедии» по-прежнему ускользает от них. Складывается впечатление, что во всем Париже не осталось ни единого полного собрания — так, философ Бертанваль подтвердил, что из 4225 экземпляров первого тиража три четверти было продано за границу, — а визиты дона Педро и дона Эрмохенеса во всевозможные книжные лавки не увенчались успехом: «Рапно» напротив Ле-Карм, «Кийо» возле больницы Дьё, «Камсон и Кюнье» под сводами Лувра, вдова Баллар на рю-де-Матюрен... Ни в самых престижных, ни в самых скромных лавках, ни в букинистических магазинах и *colporteurs* на набережной Сены и Елисейских полях не нашлось двадцати восьми томов первого издания ин-фолио. Удается разыскать лишь отдельные тома, а мадам Баллар, хозяйка королевской типографии, может предложить переиздание четырнадцати последних томов, отпечатанное в Женеве. Что же касается полного собрания, в результате всех усилий им удалось обнаружить две «Энциклопедии», обе сомнительные: одна — издания Лукки, ин-фолио, вторая — от Ивердона в тридцати девяти томах ин-кварто с изрядно переиначенными текстами, которую книготорговец по имени Беллен с улицы Сен-Жак готов уступить всего за 300 ливров, однако аббат Брингас категоричеки ее забраковал.

— Даже цена выдает низкое качество, — презрительно ворчит аббат. — А в довершение всего ее похвалил Вольтер!

Дон Эрмохенес, жертва грудной жабы, вынужден соблюдать постельный режим. На библиотекаре ночная рубашка и колпак, тяжелое одеяло достает до подбородка, покрытого двухдневной щетиной, от которой его лицо со слезящимися глазами, покрасневшими и воспаленными, кажется уже не таким круглым. Окно, выходящее на улицу, закрыто, невынесенный горшок полон мутной мочи. Все в его в комнате носит оттенок запустения, застарелой болезни и страданий человеческого тела. Аббат и дон Педро только что вернулись с улицы, в который раз безрезультатно обойдя город в поисках книг, и сразу же принимаются за больного. Они сидят рядом с кроватью, адмирал отпаивает библиотекаря тепловатой лимонной водой, чтобы предотвратить обезвоживание.

— Ничего страшного, дорогой друг. Это всего лишь простуда, к тому же не из тяжелых... Многие так болеют.

— У меня грудь заложена, — слабым голосом стонет дон Эрмохенес.

— Зато кашель частый, но влажный. Хорошо откашливается, и это хороший знак... В любом случае, сеньор аббат уже пригласил доктора, своего друга.

— Именно так, — кивает Брингас. — Специалист, которому можно доверять. И он придет с минуты на минуту.

— Как же мне не везет, — печально сообщает библиотекарь. — Кругом Париж, а я болен. Забросил свои обязанности.

— Вы вряд ли чем-то могли бы нам помочь, дон Эрмес, — заверяет его адмирал. — Наши возможности сильно сократились. Это первое издание, за которым мы охотимся, просто растаяло в воздухе... Даже женевское переиздание ин-фолио невозможно найти полностью. Говорят, последнее поступило в продажу в количестве не менее двух тысяч экземпляров, но и они закончились.

— А остальные? Не могли же они сквозь землю провалиться, дорогой адмирал! Куда подевалась тосканское издание, о котором нам рассказывали несколько дней назад?

— Оно никуда не годится. Все статьи, как нам удалось узнать, были для этого издания переписаны.

— Придется возвращаться с пустыми руками.

— Не знаю... Сегодня утром написал в Академию и отправил письмо срочной почтой.

Дон Эрмохенес забеспокоился.

— Но ведь это страшно дорого, — возмущается он. — А если учесть остальные расходы... Друг мой, у нас заканчиваются деньги!

— А что делать? Нам нужны указания от наших мадридских коллег... Остается только ждать, надеясь на внезапный поворот судьбы. А ваше дело — лечиться и выздоравливать.

— Пододвиньте мне горшок, пожалуйста.

— Да, конечно.

Стучат в дверь. Это врач, приятель Брингаса, субъект с грубоватыми чертами лица и напряженным взглядом. У него длинные сальные волосы, голова кажется слишком крупной на тощем угловатом теле. Рот, длинный и слегка кривоватый, делает его похожим на двуногую ящерицу.

— Как моча? — интересуется большеротый доктор.

— Пахнет довольно противно, мутная, да и мало ее, — сообщает дон Эрмохенес.

— На груди рожистое воспаление, — говорит врач, пощупав у больного пульс и осмотрев горло с помощью черенка ложки, который он задвигает внутрь так грубо, что больного едва не выворачивает наизнанку. — Надо вернуть свежесть коже, открыв для этого все возможные двери, как то: испарение, моча, испражнения, рвота, а также артериальная жила на руке, на которую следует наложить пластырь... Разумеется, никаких сквозняков: двери и окна запереть крепко-накрепко, а печку хорошенько затопить... Сейчас я ему сделаю кровопускание.

— А ничего, что он такой слабый? — удивляется адмирал.

— Именно при слабости и назначается данная процедура! Выпустив излишки гуморов, мы подсушим легкие, и болезнь пройдет.

— Простите, доктор... Запамятовал ваше имя.

— Так я вам его и не называл! Марат. Меня зовут Марат.

— Видите ли, господин Марат...

— *Доктор* Марат, если вас не затруднит.

Адмирал терпеливо кивает.

— Меня нисколько не затруднит. Доктор, если вам так больше нравится... Однако, при всем уважении к науке, которую вы практикуете, все же осмелюсь возразить: я против прокалывания вены моего друга.

Доктор подскакивает, словно его смертельно оскорбили.

— Но почему?

— Потому что, даже не будучи врачом, я прожил на свете достаточно, чтобы при случае распознать обыкновенную простуду. А также бежать, как от черта, от ваших ланцетов и гуморов; в наш век им доверяют все меньше, да и прежде не слишком-то доверяли. Такие процедуры следует навсегда изгнать из медицинской практики.

Врач бледнеет. Губы его плотно сжимаются, будто бы вовсе исчезают с лица.

— Вы сами не ведаете, что говорите, мсье, — бормочет он. — Мой опыт...

Дон Педро холодно поднимает руку, останавливая его.

— Мой личный опыт, гораздо более ограниченный и потому более незамысловатый и практичный, утверждает, что дону Эрмохенесу требуются не кровопускания, пластыри или отворения гуморов, а открытое окно, чтобы комната хорошенько проветрилась, а заодно побольше лимонного сока и теплой воды. По возможности, с сахаром.

— И это вы говорите мне?

— Сударь, если этот рецепт помогает на корабле, в замкнутой нездоровой атмосфере каюты, где, кроме всего прочего, присутствует также и цинга, вообразите себе, как быстро он подействует в столь комфортной обстановке, как эта комната. Сколько я должен вам за визит?

— Это неслыханно, мсье... — заикается лекарь. — С вас десять франков.

— Дороговато, однако. — Адмирал сует пальцы в карман жилета и достает несколько монет. — Но не будем спорить, главное — никаких пластырей... Всего доброго, мсье.

Врач проворно хватает деньги и, не глядя ни на кого, даже на пациента, выходит вон, хлопнув дверью. Адмирал подходит к окну и распахивает его настежь. Брингас смотрит на него с мрачным осуждением.

— Вы некрасиво поступили, — протестует он. — Доктор Марат...

— Этот доктор, каким бы близким приятелем он вам ни был, — типичный шарлатан, я таких узнаю с расстояния пистолетного выстрела... У него действительно имеется разрешение на врачебную деятельность?

— Он утверждает, что есть, — сдается Брингас. — Хотя его коллеги, действительно, не всегда с ним согласны, несколько раз было много шума... На самом деле он специалист по глазным болезням. У него даже есть труды на эту тему... Впрочем, он и о гонорее трактат написал.

— Довольно, сеньор аббат. Последнее уже достаточно говорит об этом субъекте. — Дон Педро вернулся к библиотекарю и протягивает ему стакан с лимонной водой. — Как вы познакомились с этим так называемым доктором, могу я полюбопытствовать?

— Он живет неподалеку от моего дома, и мы часто встречаемся в одной и той же кофейне. По моему мнению, вся проблема в том, что он — человек прогрессивных взглядов...

— Неужели? Мне так не показалось.

— Я имею в виду взгляды политические. И у него большое будущее. Вот почему его до сих пор терпят в Академии наук.

— Ах, вот оно что. — Адмирал пожимает плечами. — Все дело в политическом будущем сеньора Марата. Об этом я судить не берусь... Однако как врач он опасен для общества... Я заметил в нем болезненную склонность к тому, чтобы отправлять людей на тот свет.

По вечерам Мадрид спокойно и мягко освещает закатное солнце. От улицы Алькала до ворот Аточа весь бульвар Прадо заполнен экипажами, из кафе выносят кресла, а многочисленные пешеходы беседуют на ходу или присаживаются на скамейки и складные стулья, сдающиеся в наем прямо на бульваре, или за столиками возле прилавков с прохладительными напитками, расставленными в тени деревьев, чьи ветки покрыты нежными листочками.

Напротив конюшен Буэн Ретиро случайно встречаются Хусто Санчес Террон и Мануэль Игеруэла. Первый прогуливается под руку с супругой, последний же отправился помолиться в церковь Сен-Фермин-де-лос-Наваррос со всей семьей — женой и двумя дочками на выданье; на жене кружевная шляпка, на дочках — мантильи. Они сталкиваются в толпе, когда Игеруэла и его дамский отряд отходят в сторонку, чтобы пропустить запряженный четырьмя мулами экипаж с родовым гербом, изображенным на дверце, и лакеями в ливреях, стоящими на запятках. Заприметив Санчеса Террона, Игеруэла подает ему тайный, почти масонский знак узнавания. После обмена взглядами и секундного колебания философа они подходят друг к другу, знакомят домочадцев и обмениваются дежурными любезностями, после чего все четыре женщины идут вместе впереди них, рассматривая экипажи и наряды прогуливающейся публики.

— Ваша супруга хороша собой, — говорит Игеруэла, чтобы растопить лед.

— У вас дочки тоже ничего.

— Разве что младшенькая, — отвечает Игеруэла, стремясь к объективности. — А вот старшую не так просто будет выдать замуж.

Несколько шагов они делают в тишине, молча поглядывая на прохожих. Санчес Террон, который старается держаться от издателя подальше, чтобы никто не заподозрил их в приятельстве, идет, как обычно, с непокрытой головой без следов пудры на волосах; заприметив же знакомого, приветствует его сдержанно-вежливо, погружая подбородок в шарф, повязанный на несколько узлов вокруг шеи. Игеруэла же, избегая трогать парик, чтобы он как-нибудь ненароком не съехал, осторожно касается пальцами крыла треуголки.

— В четверг в Академии нам всем очень вас недоставало, — говорит Игеруэла.

— К сожалению, у меня были дела.

Игеруэла провожает взглядом экипаж так называемых баварцев с огромными окошками, делающими его похожим на стеклянный фонарь, двигающийся среди пестрой людской толчеи.

— Я все понимаю, — кивает издатель. — Ваша любопытнейшая диссертация о «Состоянии литературы в Европе»... Название звучит именно так, не правда ли? Она-то вас и задержала. Я знаю, что...

Он демонстративно останавливается, словно подыскивая восторженные слова.

— Настоящий успех, скажу вам прямо, — приходит ему на помощь Санчес Террон. — Столько аплодисментов!

Игеруэла недоверчиво ухмыляется.

— Кто бы сомневался... Знакомый, который при этом присутствовал, рассказывает, что было человек восемнадцать, считая его самого.

— Пожалуй, чуть больше.

— Возможно. В любом случае я сделаю про это обзор в «Литературном цензоре», который выйдет на следующей неделе. Разумеется, положительный. По крайней мере, до некоторой степени... Чтобы поместилось, сокращу статью, которую написал про операции против Гибралтара и войну в американских колониях.

Санчес Террон чувствует себя неловко и с нетерпеливым высокомерием машет рукой:

— Оставьте ваши похвалы, мне они ни к чему.

Гримаса на лице его собеседника становится еще выразительнее.

— Конечно, — заключает он. — Они вам вредят, вы хотите сказать. — Он приостанавливается и словно бы размышляет; затем улыбается еще более недобро, чем раньше. — Они портят вам образ непонятого, но несгибаемого сторонника принципов, который вы с таким трудом лепили.

— Вы сами не понимаете, что говорите...

— Я отлично знаю, что говорю и чего не говорю. А также что делаю и чего не делаю... Вероятно, вы заметили, что в последнем номере моей газеты в обличительной речи против современных авторов вы не упомянуты!

— Я вашу газету не читаю.

— Так я и поверил! Уверен, что читаете. Делаете вид, что презираете, а сами пожираете ее глазами, стоит ей только выйти, и первым делом ищете в ней свое имя... Поэтому вы, вероятно, заметили, что в разгромной статье, которую я посвятил этой секте свободных мыслителей и горе-философов, вы остаетесь чисты, как грудной младенец. Как видите, я уважаю наше с сами перемирие!

— Уважаете? Какое, к черту, уважение! Да вы никого не уважаете!

— Речь в данном случае идет о перемирии. А я, да будет вам известно, порядочный человек!

— Глупости какие.

В это мгновение Санчес Террон с важным видом приветствует какого-то молодого человека без шляпы и пудры на волосах, в пенсне, до смешного облегающем сюртуке и галстуке, затянутом поверх воротника так туго, будто он собрался удавиться.

— Один из ваших, верно? — улыбаясь, интересуется Игеруэла. — Пишет под псевдонимом Эрудио Трапиелло, если не ошибаюсь.

— Да, это он.

— Ну и ну. — Игеруэла присвистывает с преувеличенным восхищением. — Ведь это же сам автор «*Символического путешествия в республику Филологии и возрождения Испанской Поэзии, дополненного духовными рецептами, изготовленными последователем Сервантеса, гением королевского двора, профессором философии, риторики и наук божественных и человеческих...* ». Если мне не изменяет память, пролог он начинает словами: «*Не понимаю, в чем польза греческого Гомера и английского Шекспира, если не в особой смекалке...»,* и, указав, что всеми превозносимый Вергилий не более чем ленивый бездельник, продолжает: «*Что же касается Горация, пусть даже гекзаметры его определенно не из лучших...* » Быть может, я ошибся в названии? Или неправильно процитировал содержание? Или неверно понял автора?

Санчес Террон бросает на Игеруэлу испепеляющий взгляд.

— Вы затеяли этот разговор, чтобы наговорить гадостей?

— Боже упаси... Я всего лишь собирался пересказать вам последние новости, потому что в прошлый четверг не имел возможности этого сделать. У наших коллег неприятности в Париже, и дела идут еле-еле. Видимо, раздобыть «Энциклопедию» оказалось не так уж просто. Не могу в точности объяснить, какую роль сыграл во всем этом наш дорогой Рапосо, но он всю удачу приписывает себе... Так или иначе, на сегодняшний день «Энциклопедии» у них нет.

— И что?

— А то, что время истекает, а дела входят в более деликатную фазу.

— Что значит — деликатную?

— То и значит. Что пора применить наши с вами щипцы.

— Уверяю вас, я совершенно не понимаю, куда вы клоните.

— Туда же, куда и вы. *Nemine discrepante*[[69]](#footnote-69), надеюсь. Вы, вероятно, помните, что, когда мы обсуждали с нашим человеком его обязанности и полномочия, он уточнил, до каких пределов может дойти в своем стремлении испортить им жизнь.

Санчес Террон смущенно моргает. Ему неловко.

— В стремлении что сделать, вы говорите?

Игеруэла поднимает руку, словно собираясь что-то написать пальцем в воздухе.

— «Испортить» — это такой глагол. Образован от существительного «порча»... Впрочем, в данном случае он представляет собой всего лишь эвфемизм.

— Признаться, мне не до шуток.

— Да что вы! Я и в мыслях не имел шутить с вами...

— По-прежнему не понимаю, куда вы клоните, — перебивает его Санчес Террон. — Что вы пытаетесь мне сказать?

Они миновали фонтан и продолжают свой путь в тени вязов до улицы Сан-Херонимо. На сей раз Игеруэла с заискивающим видом поспешно раскланивается с двум дамами, которые прогуливаются пешком, — это жены высокопоставленных чиновников из Совета милости и правосудия, — на них черные мантильи и облачение святой Риты, строгость коего смягчают лишь золотые распятья и серебряные скапулярии на шее, камеи с образом Пресвятой Девы и изумрудные браслеты с подвешенными к ним религиозными символами. В последнее время святая Рита прочно вошла в моду, потеснив святого Франциска из Паулы, которого еще совсем недавно почитал весь местный католический свет. Как заявил сам Игеруэла в свежей статье, опубликованной в его газете, где он восхвалял эту благочестивую тенденцию, «если у Парижа свои моды, то у Мадрида — свои набожные обычаи». Что ж, каждому свое. Во всяком случае, за границей ничего подобного вам не покажут.

— Очень жаль, — через некоторое время говорит издатель. — Обычно я изъясняюсь достаточно ясно. Итак, в двух словах... Со всевозможными увертками и околичностями, которые странно наблюдать в таком примитивном существе, как Рапосо, он снова спрашивает нас в своем письме, до какой крайности, как мы полагаем, он может дойти, чтобы испортить французское путешествие наших коллег... Иначе говоря, если предположить, что в конце концов они завладеют книгами и пустятся в обратный путь, то какова степень ущерба, который он имеет право нанести предметам и людям.

— Людям? — вздрагивает Санчес Террон.

— Да, вы не ослышались. Именно на это он намекает.

— И что вы ему ответили?

— Ничего, хороший вы мой. Я пока еще ему вообще ничего не ответил! Потому что любое решение мы с вами принимаем вместе, сообща. Разделяем, так сказать, моральную ответственность, которую вы так превозносите.

— Что касается предметов, тут все ясно. Но люди...

Игеруэла вытаскивает из рукава камзола большущий платок и шумно сморкается.

— Знаете, что я вам скажу? — говорит он в следующий миг. — Воспитывать дочек в такое время — очень непростое занятие.

— Мне-то какое до этого дело?

— Комедии им подавай, танцы, — продолжает Игеруэла, словно не расслышав. — Вышивание на пяльцах и кружева на коклюшках остались в далеком прошлом, это они у наших мам и бабушек были альфой и омегой. С помощью христианских заповедей, скромности и добродетели в наше время девиц тоже уже не воспитывают. И как, скажите на милость, мне быть? С утра до вечера кругом одни лишь гребни и пуховки для пудры, которые изобрели какие-то не то черкешенки, не то полячки, а также тысячи других глупостей, из-за которых у меня вспыхивают неразрешимые домашние конфликты; все разговоры — о кружевах, лентах, шелках и шляпках, которые только что привезли из Парижа, или про какого-нибудь кузена, соседа или щеголя, готового приударить за девочками, обучая их, особенно младшую, контрдансу или английскому вальсу, или распевая под виуэлу третью часть «Одиночества»... А с женой вообще удивительные вещи творятся! Когда малышки в приподнятом настроении и покладисты, они *наши* дочки. Но как только возникает какая-то проблема, так они сразу дочки *папины*.

Он умолкает, горестно качая головой, затем указывает на четырех женщин, которые мирно шествуют впереди них.

— Бог не благословил вас потомством, не так ли?

— Я в это не верю, — отвечает его собеседник напыщенно, почти торжественно.

— В Бога?

— В потомство.

— Простите... Я не очень понял, во что именно вы не верите?

— В потомство, говорю же. Приводить детей в этот несправедливый мир, обрекая на рабство, означает умножать несправедливость.

Игеруэла чешет голову под париком.

— Любопытно, — заключает он. — Так вот почему у вас нет детей... Чтобы не рожать маленьких рабов. Биологическая филантропия, вот это что. Потрясающе!

Санчес Террон мигом реагирует на издевку:

— Идите к черту.

— Может, пойду, а может, и нет. Будет и на нашей улице праздник. — Игеруэла останавливается и вонзает в собеседника свои маленькие и злые глаза. — А сейчас наипервейшее дело — чтобы вы мне разъяснили, до каких пределов *наш* Рапосо может дойти в своих действиях по отношению к людям.

Санчес Террон глубоко вздыхает, боязливо косится по сторонам, затем переводит взгляд на издателя.

— Людей нельзя трогать, — робко подытоживает он.

Игеруэла подбоченивается. Его насмешливая улыбка выглядит сейчас почти оскорбительной.

— А если другого выхода не останется? Не будем же мы торговаться, как Каифа с Пилатом.

Санчес Террон сердито погружает подбородок в свой пышный шарф.

— Я уже сказал все, что хотел. Людей не трогать. Вы меня поняли? Все и так зашло слишком далеко.

Последние слова он произносит с яростью, после чего в три прыжка оказывается возле своей супруги, берет ее под руку, сухо раскланивается с женой и дочками Игеруэлы и поспешно исчезает. Игеруэла стоит неподвижно — как всегда, вытянутый, напряженный, с хитрой и жестокой улыбкой глядя вслед удаляющейся спине. Ишь ты какой, Критик из Овьедо, шепчет он с сарказмом. Черт бы подрал тебя самого и всю твою лицемерную шайку! Настанет день, с ненавистью думает он, когда все эти философы-самозванцы, тщеславные педанты, заседающие день-деньской в кофейнях, расплатятся по счетам как положено — и перед Богом, в которого не веруют, и перед людьми, которых они, утверждая, что любят, на самом деле презирают. Санчес Террон тоже за все заплатит сполна этими своими чистыми ручками, брезгующими пожимать чужие руки, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. А неприятные решения, которые рано или поздно все равно кто-нибудь должен принять, принимают за него тем временем другие люди.

В Париже вечер. Аббат Брингас уже ушел к себе домой. Дон Эрмохенес отдыхает, укрытый одеялом, с носа его свисает кисточка от ночного колпака. Рядом, в рубашке и жилете, читает внимательно дон Педро. Снаружи доносится грохот экипажей, проезжающих по булыжной мостовой улицы Вивьен.

*Если наше незнание природы породило богов, изучение ее законов призвано этих богов разрушить*.

Книга называется «*Systе* ́́*me de la nature* »[[70]](#footnote-70). Адмирал купил ее во время одного из своих последних походов по книжным лавкам, она издана в Лондоне десять лет назад и подписана «М. Мирабо»; однако всем давно уже известно, что ее настоящий автор — энциклопедист барон Гольбах.

*Не лучше ли броситься в объятия слепой природы, не имеющей ни мудрости, ни смысла, чем прозябать всю жизнь в рабстве у так называемого Высшего Разума, основной замысел коего состоит в том, чтобы несчастные смертные вольны были ослушаться его повелений, сделавшись тем самым вечными жертвами его же беспощадного гнева?*

За окном смеркается, и в комнате тоже сгущаются сумерки. Адмирал откладывает книгу и зажигает свечи в подсвечнике на ночном столике. Для этого он пользуется новейшим изобретением, которое также приобрел в эти дни в Париже: это маленький кусочек кремня и стальное колесико, надетые на латунную трубочку, внутри которой находится фитиль; чтобы зажечь его с помощью искры, достаточно резко повернуть колесико. На самом деле это всего лишь упрощенный вариант огнива, из тех, что гренадеры с давних пор носят в своем снаряжении, чтобы в нужный момент поджечь гранату. Во Франции его называют *брике*, что и соответствует испанскому слову «огниво». Очень практичное изобретение, полагает адмирал, которое, безусловно, будет с успехом использоваться для хозяйственных нужд и в путешествиях. Да и курильщики мало-помалу введут его в свой повседневный обиход. Прежде чем вернуться к чтению, дон Педро дает себе слово на одном из собраний Академии поставить вопрос о том, чтобы название нового предмета внесли в ближайшее издание «Толкового словаря» в виде самостоятельной статьи или же расширив понятие «зажигалка», которое по сей день употребляется только в значении трубочки с фитилем.

*Смиренно выносить гнет несправедливого и внушающего ужас божества способен лишь верующий, который даже не пытался рассуждать*.

— Что-то холодно мне, — бормочет дон Эрмохенес, ворочаясь под одеялом.

Адмирал вновь откладывает книгу, с некоторым трудом поднимается с кресла — после долгого неподвижного сидения его длинные конечности затекают, — подходит к окошку и закрывает его. Вернувшись к креслу, он видит, что его друг открыл глаза и смотрит на него со слабой улыбкой.

— Мне уже лучше, — говорит он, предупреждая вопрос.

Дон Педро усаживается рядом и щупает пульс. Пульс еще слишком частый, однако сердцебиение почти в норме: и наполненность, и частота.

— Еще глоток лимонной воды?

— Благодарю.

Адмирал помогает дону Эрмохенесу усесться поудобнее и подносит ему стакан.

— Вы спасли мне жизнь, — говорит библиотекарь, снова укладываясь, — выгнав этого доктора... А вам не показалось, что десять франков — чересчур дорого?

— Я заплатил, чтобы отвязаться от него, дорогой друг. Уверяю вас, мы дешево отделались.

— Не удивлюсь, если Брингас получит из этих денег комиссионные. Два сапога пара.

Дон Педро от души смеется.

— Мы слишком хорошо знаем эту разновидность лекарей, дон Эрмес. Им горы нипочем: чуть что — за ланцет, и поминай как звали... Рвотные и кровопускания — вот их конек!

— Мне только рвотных не хватало, — вздыхает дон Эрмохенес.

Несколько секунд они молчат. Через окошко видно, как багровеет небо над крышами.

— Что вы читаете?

— Первый том книги, которую купил вчера... Гольбах, вы его знаете.

— Он тоже запрещен?

— Еще как. Его запретили даже в просвещенной Франции. Вот, взгляните: издано в Лондоне.

— И как он вам? Интересно?

— Не то слово! Я убежден, что каждому обязательно нужно его прочитать, особенно молодежи в том возрасте, когда требуется наставник... Впрочем, большую часть книги вы вряд ли одобрите, если даже возьметесь.

— Скажу вам свое мнение, как только доберусь до нее. А как вы считаете, ее можно перевести на испанский?

— Ни в коем случае! В наш печальный век это невозможно. Черные вороны Святой инквизиции тут же бросятся кромсать того, кто осмелится издать такую книгу. — Адмирал вновь открывает «*Système de la nature* ». — Вот, послушайте: «Если вам нужны химеры, то позвольте и ближним их заводить. И не рубите им головы, когда они не захотят бредить по-вашему...» Что скажете?

— Опасаюсь, кое-кому покажется, что речь идет именно о нем.

— Что ж, вы правильно опасаетесь.

Адмирал кладет книгу на стол и задумчиво наблюдает, как гаснет за окном день. В следующее мгновение он возвращается к прерванной беседе.

— Франция, конечно, не рай, — говорит он с некоторым раздражением в голосе. — А Париж — далеко не вся Франция. И все же, если сравнивать, как безнадежно отстала от нее наша Испания! Сколько энергии тратится на всякую ерунду и как мало здравого смысла! Вероятно, вы согласитесь со мной, что теология, логика и метафизика не доказывают ровным счетом ничего... Вся философская дискуссия насчет движения, Ахиллеса, черепахи и прочей бессмыслицы не даст ответа на действительно важные вопросы: каков угол отражения при ударе мячика о стену или какова скорость, с которой скатывается тело по наклонной плоскости. Это лишь несколько примеров.

— Вот тут и появляется ваш любимый Ньютон... — улыбается дон Эрмохенес, расчувствовавшись.

— И ваш тоже.

— Несомненно. Тут и спорить нечего.

Адмирал качает головой.

— Вы человек образованный, хоть и искренний католик. Однако не все католики искренние и не все образованные... Вспомните шарлатана, который собирался кромсать вам вены, это воплощение невежества и отсталости, выдающих себя за науку, к которой на самом деле не имеют отношения.

— Ох, помню... И трепещу.

— Что подумают люди будущего, когда узнают, что в наше время в Испании — и не только в Испании — все еще оспариваются утверждения, изложенные Ньютоном столетие назад в его *«Philosophiæ naturalis principia mathematica* »[[71]](#footnote-71), в этой вершине человеческой мысли и современной науки? Что скажут о тех, кто до сих пор отказывается переместить понятие Истины из религии в науку и вместо теологов и священников передать его ученым и философам?

Он вновь берет со стола книгу, открыв ее на странице, уголок которой был заранее загнут.

— Вот что еще пишет Гольбах: «Сколько бы успехов стяжал человеческий гений, если бы имел возможность получать все почести, которыми награждают тех, кто извечно противостоит прогрессу! Как далеко продвинулись бы полезные науки, искусства, мораль, политика и поиск Истины, если бы к ним приложили столько же трудов и рвения, которых требуют от человека ложь, бред, яростное суеверие и прочая бессмыслица!» Как вам, а?

Он опускает книгу на колени и вопросительно смотрит на дона Эрмохенеса.

— Святые слова, — соглашается тот. — Да простит меня Бог!

— И никто в Испании не воспринял эти идеи так достойно, как Хорхе Хуан.

— Вы не сразу назвали имя, — доброжелательно замечает дон Эрмохенес, — вашего любимого философа и коллеги.

— Любимейшего, да будет вам известно. Физик-теоретик и экспериментатор, инженер, астроном, морской офицер... А какой восхитительный диалог вел он с Ньютоном; разумеется, не о том, что касалось религиозных взглядов, о которых никто и не вспомнил на его погребении...

— Опять вы за свое, дорогой адмирал, — протестует дон Эрмохенес. — Не надо так распаляться, прошу вас. В конце концов, температура у меня, а не у вас! Религиозные взгляды — личное дело каждого.

— Мне очень жаль, дон Эрмес. Я никого не хотел задеть. Однако, рассуждая об испанской науке, на каждом шагу задеваешь подводные рифы религиозных догм.

— Вы правы, — вздыхает библиотекарь. — Это я признаю.

Адмирал возвращает книгу на стол. Дневной свет почти погас, и, когда дон Педро поворачивается к собеседнику, свечи освещают лишь половину его лица, другая же половина остается темной.

— Мой любимый Хорхе Хуан, как вы изволили напомнить, был лучшим примером настоящего ученого, и именно через него осуществлялась наша живая связь с Ньютоном, которого он понимал, как никто другой... Его опыты с плавающими предметами и модели кораблей стали настоящей революцией, «Руководство по навигации» и «Морской экзамен» — совершенные творения. А в шестьдесят девятом году мне выпала честь наблюдать вместе с ним за прохождением Венеры...

— Вы плавали вместе?

— Очень недолго. Он был полностью поглощен своими науками, начиная с какого-то времени редко выходил в море; а я занимался «Морским словарем». Но его дружеское расположение ко мне и мое уважение к нему продолжались до самой его смерти.

— Еще одно великое имя забыто, — вздыхает дон Эрмохенес. — И, что хуже всего, не осталось никого, кто бы продолжил начатое им дело.

Саркастическая ухмылка искажает рот адмирала.

— Кто бы осмелился... А пока он был жив, враги все время нападали на него и душили, как могли...

— Застарелый испанский национальный недуг: зависть.

— Верно, — кивает дон Педро. — Выступали и против него самого, и против всего того, что он олицетворял... Вспомните, как правительство решило внедрить физику Ньютона в университеты, а те воспротивились. Или как пару лет назад, когда Совет Кастилии поручил капуцину Вильялпандо дополнить университетский курс новейшими научными открытиями, а педагогический совет проголосовал против... Можете себе представить? Отказались, и все. Вот так запросто.

— Но, несмотря ни на что, кое-что у нас все-таки есть, — возражает дон Эрмохенес. — Вы несправедливы. Вспомните Ботанический сад и его химическую лабораторию, кабинет естественной истории в Мадриде, ботаническую экспедицию, которую мы недавно отправили в Чили и Перу... Не говоря уже о прекрасной обсерватории в Академии гардемаринов в Кадисе. Да и вы, военные, истинный редут науки! К вам почти не суются черные вороны, о которых вы говорили раньше. Инженеры, артиллеристы, моряки... В Испании, по счастью, наука милитаризирована.

— Еще бы! Риторика здесь не слишком ценится. Строительство фортификаций, защищающих от бомб, и кораблей, которые способны не только плавать, но еще и сражаться, не могут существовать в руках Аристотеля и святого Фомы. Вот почему флот — вернейший авангард науки... Но, кроме флота, ничего другого у нас нет, к сожалению, нет даже Академии наук или научных сообществ, как во Франции или в Англии. Давление церкви всячески препятствует их появлению... Даже среди военных — а я знаю, что говорю — иерархия и дисциплина превыше идей. Все находится в рамках порядка.

— Но существуют же экономические сообщества друзей страны, которые делают все, что в их силах...

Этого недостаточно, думает адмирал. Речь идет не только о том, чтобы поощрить крестьянина, вырастившего самых тучных коров, или инженера, усовершенствовавшего ткацкий станок. Необходима политика государства, которая вдохновляла бы предпринимателей вкладывать средства в экспериментальную науку, ожидая от нее прибыль. В Испании наука, образование, культура — все разбивается об одно и то же. По той же самой причине умники помалкивают, а смельчаки страдают.

— Вот почему, — подытоживает он, — у нас нет Эйлера, Вольтера, Ньютона... А если кто-то из них появится, их быстро посадят в тюрьму или отдадут в лапы инквизиции. Вот в чем заключается опасность, которая поджидает в нашей стране сторонников научного подхода... Ульоа и Хорхе Хуану недешево обошлась публикация их произведений по возвращении из Америки. Пришлось отказаться от некоторых выводов, а другие завуалировать или изменить их формулировку.

— К сожалению, вы правы, — печально соглашается библиотекарь. — Хорошо было бы применить законы небесной механики Ньютона к правительству всей испанской империи... Что и делают англичане, несмотря на проблемы с американскими колониями, а также французы, у которых и вовсе нет империи.

— Несомненно. То же самое касается образования, книг, а также тех, кто эти книги пишет и переводит... Нужно сделать так, чтобы каждый мог рассуждать о передовой науке, не опровергая незамедлительно собственные научные выводы. Недостойно требовать, чтобы всякий раз, когда испанец публикует научную книгу — если это ему, конечно, удается, — после каждого вывода он добавлял: «Не верьте этому, потому что это противоречит Святому Писанию»... Такой подход делает невозможным прогресс и превращает нас в посмешище для всей Европы!

— Именно для этого мы с вами здесь, в Париже, дорогой адмирал, — с воодушевлением вторит ему дон Эрмохенес. — Это что-нибудь да значит, не правда ли?

В ответ адмирал только грустно улыбается. Пламя свечей делает его почти прозрачные глаза светлыми, влажными и лишенными надежды.

— Совершенно верно, дорогой друг, — спокойно соглашается он. — Именно для этого мы в Париже.

Мне понадобилось кафе. Не для того, чтобы выпить кофе, — написание романа и так уже потребовало бессчетного количества чашек, а чтобы, сидя в нем, хорошенько продумать одну мизансцену. Из писем и бумаг, которые я раздобыл в Академии, следовало, что дон Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина побывали во многих кофейнях Парижа и в одной из них познакомились с видными энциклопедистами. Сперва я решил, что встреча состоялась в кафе «Фуа», которое в то время располагалось в пассаже Ришелье в Пале-Рояль; после перестройки, осуществленной чуть позже герцогом Орлеанским, это место превратилось в центр социальной и торговой жизни парижского света в предреволюционный период, однако мне никак не удавалось установить точную дату, когда строительные работы были завершены, и, чтобы продолжить книгу, я решил попросту перенести в Сент-Оноре сцену из пятой главы, действие которой происходит в Пале-Рояль. Однако в конце концов, обнаружив в одном из писем библиотекаря упоминание об «улице Сент-Андре, неподалеку от Ансьен-Комеди», я понял, что единственным возможным местом, которое в тот день могли посетить академики, был «Прокоп»: старинное кафе, одно из старейших, открытых в Париже по сей день, перед чьими дверями я и оказался со своей записной книжкой и картой города 1780 года, собираясь заняться этим фрагментом моей истории.

Я много слышал о кафе «Прокоп», прославившемся тем, что в его залах некогда собирались самые известные интеллектуалы XVIII века; однажды я даже здесь отобедал — в гастрономическом плане, надо заметить, ничего выдающегося мне не запомнилось — в обществе моего литературного агента Рахель де ла Конча и моей французской издательницы Анни Морван. Я знал, что когда заведение вошло в моду как литературное кафе, чему способствовала публика, посещавшая соседнее здание Комеди Франсез, энциклопедисты сразу же стали его завсегдатаями, а клуб «Корделье» собирался в нем чуть позже, во время тяжелых лет революции. Однако я так и не увидел это место зоркими, деловыми глазами писателя. К счастью, улица, где располагается фасад кафе — в настоящее время она называется пассаж «Коммерс-Сент-Андре», — избежала безжалостной городской реформы, когда Османн словно скальпелем отсек по прямой линии то, что сегодня носит название бульвар Сен-Жермен. Пассаж остался в стороне, на расстоянии всего лишь нескольких метров, и в наши дни, заполненный магазинчиками и ресторанами, сохраняет свои прежние очертания, старинные особняки и кофейни. Таким образом, наведаться туда и вообразить прежние времена было совсем несложно. Один из фасадов кафе «Прокоп» и поныне выходит в тот же самый пассаж, другой фасад, раскрашенный красным и синим, открывается с противоположной стороны здания, выходя таким образом на нынешнюю улицу Ансьен-Комеди, которая в XVIII веке, согласно карте Алибера, Эно и Рапийи, все еще называлась Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре. Что же до остального, у меня было достаточно материала, чтобы воссоздать обстановку этого места, его голоса, звон посуды, расположение столиков, чашечки с кофе и шоколадом. Пара иллюстраций той эпохи, обнаруженных мной в «Париже эпохи Просвещения» — потрясающем исследовании о городе, выполненном на основе плана Тюрдо, помогли мне представить оформление интерьера, пол, выложенный керамической плиткой, стеклянные плафоны и зеркала, оживлявшие стены, изящные хрустальные люстры, свисавшие с потолка, а также круглые столики из дерева, железа и мрамора.

*В нескольких шагах отсюда, на улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре, превратившейся в улицу Ансьен-Комеди после того, как в 1688 году там обосновались французские комедианты, кофейня «Прокоп» быстро стяжала европейскую известность. Среди ее клиентов были именитые писатели: Детуш, д’Аламбер, Бертанваль, Гольбах, Жан-Жак Руссо, Дидро и множество других литераторов, которые сделали из этой кофейни филиал Академии.*

Все это сообщалось, в числе прочего, в томике «*Les cafés artistiques et littéraires* »[[72]](#footnote-72) Лепажа, чьи избранные страницы я таскал с собой в виде исчерканных пометками ксерокопий, отыскивая упоминания о «Прокопе» в бесценных книгах, которые мне удалось раздобыть в те дни, прочесывая книжные лавки Парижа: антология «*Le ХVIII siécle* » Морепа и Брайара, «*La vie quotidienne sous Louis XVI* »[[73]](#footnote-73) Кюнстлера и, прежде всего, великолепная «*Tableau de Paris* »[[74]](#footnote-74) Мерсье, которую благодаря продавцу книг Шанталь Керодрен я отыскал в виде кем-то уже зачитанного современного издания на самой нижней полке в книжной лавке «Жибер-Жён» на бульваре Сен-Мишель.

Итак, вооруженный всем необходимым в виде записей, разместив с помощью воображения нужные места на карте Парижа 1780 года и позабыв о современных вывесках, шумных ресторанах и магазинах, туристах, заполняющих пассаж «Коммерс-Сент-Андре», я вошел или, точнее, впустил двоих ученых мужей, адмирала и библиотекаря, внутрь кофейни «Прокоп» точно так же, как они туда вошли — или могли бы войти — в то давнее утро в сопровождении аббата Брингаса.

— Поверить не могу, что мы здесь! — восклицает дон Эрмохенес, восхищенно озираясь. — Ведь это же знаменитый «Прокоп»!

В кофейне царит оживление. Все столики заняты, там и сям виднеются кучки посетителей, которые оживленно спорят или обмениваются мнениями, слышится несмолкающий гул голосов и звон посуды. Пахнет табачным дымом и свежесваренным кофе.

— Напоминает улей, — замечает адмирал.

— Где живут одни трутни, — поправляет его Брингас, как всегда, едва сдерживая раздражение. — Досуг, а не труд — вот что приводит их сюда.

— Я думал, вы любите такие места.

— Место месту рознь. Разные они бывают, вот что я хочу сказать. Те, кто приходит в эту кофейню, начисто утратили чувство реальности. Паразиты от риторики, которые довольствуются исключительно обществом себе подобных, обмениваясь друг с другом тщеславием и любезностями. Редко встретишь исключение. Подобное, например, этому — вон, взгляните, — добавляет Брингас, кивая на один из столиков. — Странно видеть здесь этого почтенного прихожанина.

Дон Эрмохенес рассматривает посетителя, на которого указал Брингас: не первой молодости, в старом камзоле и съехавших чулках, он сидит неподвижно и одиноко перед чашечкой кофе, уставившись в пустоту.

— Кто это?

Аббат выгибает брови, словно вопрос кажется ему неуместным.

— Великий шахматист Франсуа-Андре Филидор... Вам знакомо это имя?

— Безусловно, — отвечает адмирал. — Однако я представлял его старше.

— Он почти всегда сидит один... Часто ему даже не обязательно подниматься на второй этаж в поисках шахматной доски или соперника, потому что все ходы он просчитывает у себя в голове. — Брингас восхищенно щелкает языком. — Так и сидит... Один против всего мира.

— Мне хотелось бы его поприветствовать, — говорит дон Эрмохенес. — Я тоже немножко играю в шахматы.

— Даже не пытайтесь, он вам и слова не скажет. Никогда ни с кем не общается.

— Жаль.

Они обходят кофейню в поисках свободного столика. Кто-то то и дело поднимается или спускается по лестницам, ведущим в залы на втором этаже, где играют в шахматы, шашки или домино, официанты снуют, разнося графины с водой, мороженое, кофейники или дымящиеся шоколадницы.

— Местная публика делится на четыре вида, — поясняет Брингас. — Те, кто приходит выпить кофе и поболтать, игроки, которые сразу же устремляются наверх, читатели газет, а также те, кто просиживают здесь день-деньской, покуда кто-нибудь не заплатит за их кофе, полбутылки сидра или какую-нибудь дешевую закусь, которую они заказали, чтобы утолить голод.

— Вы здесь часто бываете? — интересуется дон Эрмохенес.

— Здесь? Никогда. Сегодня я здесь исключительно ради вас. Предпочитаю притон, где курят и пьют агуардиенте — тот, что на улице Бас-дю-Рампар, или скромные забегаловки на бульварах, где подают мерзкий жидкий кофе, зато там обитают Идеи и Истина — да, вот так, с большой буквы — и где нет ни фальши, ни притворства... В крайнем случае захожу в «Оперу» на Сен-Никез, где за шесть сольдо можно рядом с печкой просидеть за чашкой кофе с молоком с десяти утра до одиннадцати вечера, презирая тех, кто не ведает, что такое холод, и согревает свою тушу жиром бедняков... Обратите внимание, кабинет для чтения: иностранные газеты и философские книги.

— По правде философские или это снова метафора? — неодобрительно спрашивает библиотекарь.

— И те, и другие.

В креслах возле книжного шкафа и вокруг обширного стола, заваленного брошюрами и газетами, сидят читатели, поглощенные «*L’Almanach des Muses»,* «*Courier de l’Europe»,* «*Le Journal de Paris»*[[75]](#footnote-75) и прочей периодикой. Привыкнув к убогому выбору испанских газет, из которых в кофейне можно было обнаружить лишь официальную «Газету», академики с любопытством взирают на столь широкий выбор.

— Самое популярное издание — «*Le Journal* », — поясняет Брингас. — Выходит ежедневно и, помимо прочего, печатает объявления о смерти.

— Почему-то не вижу «*Gazette de France»*, — замечает дон Эрмохенес.

— Это государственная газета, здесь такие не в чести. Ясно же: тот, кто это читает, не соображает ни шиша... А вот «*Mercure de France»,* отпечатанную так скверно, что текст почти не разобрать, предпочитают те, кто любит разгадывать кроссворды и ребусы на последней странице, или же побитые молью людишки из Марэ: обыватели, которые до сих пор уверены, что живут во времена Людовика Четырнадцатого.

— Надо же, кто-то читает «*London Evening Post* », — удивляется адмирал.

— Да, представьте себе. Несмотря на войну, английские газеты — явление обычное. Это же Париж, господа. Как в хорошем смысле этого слова, так и в дурном.

На мгновение Брингас останавливается и мрачно смотрит по сторонам.

— Было время, когда в «Прокопе» можно было увидеть достойных, свободных, героических людей, которым не дозволялось собираться в других общественных местах. — Он говорит так, будто вот-вот в кого-нибудь плюнет. — Все эти Руссо, Мариво, Дидро беседовали здесь о литературе и философии... А сейчас здесь собираются одни лишь болваны, бабники, полицейские ищейки и надутые индюки вроде тех, что сидят за одним из столов возле окна в соседнем зале — вон, напротив... Например, Бертанваль, который секунду назад посмотрел прямо на меня и скорчил недовольную рожу, а поздоровается в итоге с вами... Пойду-ка я за читальный стол, может, удастся отнять у кого-нибудь «*Journal de Paris* » и с наслаждением полюбоваться именами тех, кто наконец-то избавил мир от своего присутствия... Прошу прощения, господа.

В самом деле, явно обрадованный тем, что Брингас исчез, Бертанваль, только что разговаривавший с кем-то за одним из столиков возле окна, с распростертыми объятиями идет навстречу академикам, приветствуя их в своей вотчине. Ему приятно, что они воспользовались советом, который он дал им в прошлую среду в доме мадам Дансени.

— Сейчас я представлю вас остальным и найду для вас стулья... Эти господа — члены Испанской академии, осчастливившие нас своим визитом... Бригадир в отставке, дон Педро Сарате... Библиотекарь упомянутой Академии, литератор и переводчик, дон Эрменехильдо Молина.

— Эрмохенес, — поправляет библиотекарь.

— Да-да, конечно: Эрмохенес... Присаживайтесь, прошу вас. Хотите кофе? А это господа Кондорсе, д’Аламбер и Франклин.

Библиотекарь садится. Он заикается, бормоча бессвязные слова признания и восхищения. Еще бы: перед ними сам Жан д’Аламбер. Создатель «Энциклопедии», которую он задумывал совместно с Дидро, и автор знаменитого предисловия выглядит лет на шестьдесят или чуть более, на нем напудренный парик, одет он в высшей степени тщательно и аккуратно. Постоянный секретарь Французской академии, выдающийся математик, один из самых заметных мыслителей эпохи Просвещения, д’Аламбер достиг абсолютного пика своей славы. Тем не менее ему хорошо известны труды Испанской академии, которой французские академики отправили несколько книг, включая четвертое издание «Словаря». Все это делает еще более значимой любезную улыбку, которой маститый энциклопедист приветствует расчувствовавшегося дона Эрмохенеса.

— Поверьте, мсье, — бормочет библиотекарь, — я не хочу обидеть ни мсье Бертанваля, с которым имел честь познакомиться несколько дней назад, ни других мсье, но это один из самых значительных моментов моей жизни.

Д’Аламбер выслушивает его признания с невозмутимостью человека, который в силу возраста и занимаемого положения выслушал за свою жизнь немало подобных комплиментов. Дон Педро в вежливых и сдержанных словах также выражает свое восхищение трудами д’Аламбера, которого он отлично знает и с удовольствием и пользой для себя прочел «*Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides* »[[76]](#footnote-76) и «*Théorie générale des vents* »[[77]](#footnote-77), в высшей степени любопытные ему как морскому офицеру.

— Для нас большая честь, дорогие коллеги, — говорит философ, — принимать в Париже просвещенных испанских академиков.

Адмирал с учтивой простотой кланяется другому знакомому Бертанваля: это пожилой человек, высокий, грузный, с лысой макушкой и волосами до плеч, а также багровой физиономией, пораженной псориазом.

— Неужто я имею честь познакомиться с самим профессором Франклином? — спрашивает дон Педро на вполне сносном английском.

— Именно так, — отвечает тот, польщенный.

— Это для меня честь и удовольствие, мсье, — говорит адмирал, переходя на французский. — Я имел счастье прочитать один из ваших трудов. Меня очень заинтересовало учение о кристалле и бифокальных линзах, а также возможности использовать громоотводы на морских судах... Позвольте мне выразить симпатию борьбе за независимость, которую ведут ваши соотечественники в Северной Америке... Как вам известно, моя родина безоговорочно ее поддерживает.

— Знаю и премного вам благодарен, мсье, — отвечает Франклин все тем же любезным тоном. — С тех пор как я в Париже, я часто общаюсь с вашим послом, герцогом де Аранда, и он всегда производит на меня самое приятное впечатление.

Оживленная беседа идет своим чередом, когда Бертанваль излагает своим собеседникам цель пребывания дона Эрмохенеса и дона Педро в Париже. Те выражают свои сомнения и опасения, а д’Аламбер упоминает спорную достоверность некоторых переизданий «Энциклопедии». Только перепечатка ин-фолио, сделанная в Женеве между 1776 и 1777 годом, уверяет он, полностью соответствует первому изданию. Вот почему сейчас сложно найти даже эту перепечатку. Последнее полное издание, насколько ему известно, к несчастью для испанских друзей, несколько месяцев назад было отправлено в Филадельфию присутствующим здесь сэром Франклином.

— Когда вы вошли, мы как раз обсуждали американскую революцию, — заключает он.

— Знамя свободы поднято, — говорит Франклин так, будто бы это каким-то образом следовало из предыдущего диалога. — Сейчас речь идет о том, чтобы его удержать.

— Именно этим наш друг среди прочего занимается в Париже, — объясняет д’Аламбер академикам. — Поиском финансов и поддержки.

— Остается лишь пожелать вам всего наилучшего в этом благородном деле, — официальным тоном провозглашает дон Эрмохенес.

— Благодарю, мсье. Вы очень любезны.

— Мсье Бертанваль, — говорит д’Аламбер, — утверждал, что англоамериканцам никогда не удастся укрепить свою мятежную республику. Доктор Франклин, разумеется, соглашался. А мсье Кондорсе склонялся скорее ко второму, чем к первому... — Он поворачивается к дону Педро. — А что думаете вы, испанцы, об английской нации и ее участии в этой войне?

Адмирал отвечает не сразу.

— Я слишком субъективен, чтобы выражать свое мнение, — говорит он, поразмыслив. — Великобритания восхищает меня своим военным мужеством и гражданскими заслугами; но как испанский морской офицер, которым я был и остаюсь, должен признаться, что англичане всегда были моим естественным врагом. Поэтому свое мнение я оставлю при себе.

— Англичане циничны, брутальны и нахраписты, — прямо заявляет Франклин. — Свою империю они удерживают в основном пушечными залпами и кулаками. В остальном же, мсье, знаменитая английская вежливость относится лишь к очень немногочисленной элите... Уверяю вас, у любого испанского крестьянина больше достоинства, чем у английского военного.

— А как вы относитесь, господа, к войне в тринадцати колониях? — обращается к академикам Бертанваль.

На сей раз адмирал почти не задумывается.

— По моему мнению, — отвечает он, — Северная Америка в конце концов превратится в гражданскую республику: во всяком случае, атмосфера, как в прочих молодых странах, располагает именно к этому. И даже пейзаж.

— Интересное сравнение, я имею в виду пейзаж. И очень уместное, — удивляется Франклин. — Вам знакома эта земля?

— Немного. В юности я ходил на корабле как вдоль ее берегов, так и вдоль тихоокеанских... И думаю, что индивидуалистский характер этих обширных и пустых пространств плохо сочетается со старыми монархическими представлениями, которые мы сохраняем в Европе.

— Что ж, вы правы. — Франклин поворачивается к дону Эрмохенесу. — А что думаете вы, мсье?

— Я всю свою жизнь почти не выезжал из Мадрида, — признается библиотекарь. — И вижу все это по-другому. Полагаю, когда у кого-то есть материальный достаток или духовные сокровища, которые следует оберегать, а заодно необходимая зрелость, тогда как кипение юности, напротив, осталось позади — я имею в виду также и молодые народы, подобные тем, что населяют английские колонии, — он, прежде всего прочего, имеет склонность почитать короля на троне... Поэтому мне кажется, что они поступят так же: во главе государства встанет американский монарх, представляющий новую нацию и наделенный всеми необходимыми полномочиями, но в то же время по-отечески заботящийся о жизни своих подданных.

— Боже упаси! — от души хохочет Франклин. — Плохого же вы мнения о моих земляках, как я погляжу!

— Наоборот, очень хорошего. Но к мудрым и справедливым правителям я тоже хорошо отношусь.

— Подобная точка зрения делает вас идейным противником Франклина и Кондорсе, — восклицает д’Аламбер.

— Что вы, мне бы в голову не пришло... Это всего лишь точка зрения, которую я готов обсуждать с позиций разума и доброй воли.

— С этих позиций можно обсуждать все что угодно, мсье, — любезно соглашается Франклин.

— А вы, мсье бригадир? — интересуется д’Аламбер. — Кому вы больше доверяете, гражданам или королям?

— Ни тем, ни другим.

— Несмотря на то что вы испанец?

Дон Педро выдерживает благоразумную паузу. Затем на его губах появляется печальная усмешка.

— Именно поэтому, — мягко отвечает он.

— Отчасти я согласен с мсье бригадиром, — говорит д’Аламбер. — Я тоже не доверяю человеческому существу, находящемуся в плену своих собственных порывов, а заодно его скудным силам и личным границам.

— В таком случае ответ один: просвещенная монархия, — в шутку отзывается Бертанваль.

— И, по возможности, католическая, — робко уточняет дон Эрмохенес, который воспринял его слова всерьез.

Они молча смотрят друг на друга, библиотекарь моргает, все еще ничего не понимая.

— Всякое мнение достойно уважения, — произносит после паузы д’Аламбер.

Официант по требованию Бертанваля вновь наполняет чашки, и некоторое время все беседуют о тривиальных мелочах. Однако дон Эрмохенес, все это время о чем-то напряженно размышляющий, считает нужным прояснить свою позицию.

— Несмотря на некоторые недостатки, — говорит он наконец, — которые вполне можно усовершенствовать, то, что я увидел здесь, во Франции, кажется мне вполне разумным.

— Что вы имеете в виду? — интересуется Кондорсе.

— Я имею в виду институт монархии. По моему мнению, просвещенная монархия — это большая семья с любящими родителями и довольными чадами. Или, по крайней мере, держава, стремящаяся мирными средствами к тому, чтобы таковой быть... Вот почему мне нравится Франция. Просвещенному правительству, которое печется о своих подданных, допускает необходимые свободы и умеет быть терпимым, не грозят никакие революции.

— Вы так думаете?

— Да, таково мое скромное мнение. Не ведая ни тирании, ни деспотов, Франция надежно защищена от страшных потрясений, угрожающих менее свободным державам.

Собеседник смотрит на него с вежливым скептицизмом. Никола де Кондорсе — господин приятной наружности, одетый на английский манер, чуть старше сорока. Как ранее академикам поведал Бертанваль, несмотря на относительную молодость, Кондорсе считается видным математиком: знаток интегрального исчисления, убежденный республиканец, он принял участие в написании технических статей для «Энциклопедии».

— Слишком уж вы идеализируете Францию, дорогой мсье, — говорит Кондорсе. — Наше правительство такое же абсолютистское и деспотичное, как и ваше испанское. Разница лишь в том, что здесь больше пекутся о внешних приличиях.

— А вы придерживаетесь тех же взглядов, что и ваш друг? — спрашивает д’Аламбер, обращаясь к адмиралу.

Дон Педро качает головой и делает примирительный жест в сторону дона Эрмохенеса, заранее прося у него прощения.

— Пожалуй, нет... Я думаю, что потрясения также являются частью игры. Они берут начало в самой природе мира и вещей.

Старик философ внимательно смотрит на адмирала. Он явно заинтересован.

— Вы хотите сказать, они ей свойственны?

— Несомненно.

— Включая насилие и прочие ужасы?

— Абсолютно все явления мира.

— Значит, вы, подобно мсье Кондорсе, считаете, что подобные потрясения необходимы и неизбежны здесь, во Франции?

— Разумеется. Как и во французской Северной Америке.

— А в самой Испании и испанской Америке?

— Рано или поздно и туда угодит молния.

Д’Аламбер слушает их беседу с огромным вниманием.

— На мой взгляд, — говорит он, — вы не очень-то этого боитесь.

Адмирал пожимает плечами.

— Это как в шахматах или в морском деле. — Он берет свою чашку кофе и смотрит на нее, прежде чем сделать глоток. — Правила, основные принципы существуют не для того, чтобы их боялись или им радовались. Они таковы, каковы они есть. Главное — познать их. И принять.

Д’Аламбер смотрит на него с улыбкой, восхищенной и задумчивой.

— У вас интересное видение будущего, мсье... Несколько неожиданное для испанского военного.

— Для моряка.

— Да, простите... А могли бы вы объяснить нам, за какие грехи, по вашему мнению, в Испанию попадет молния?

— Пожалуй, мог бы. — Адмирал ставит чашку на стол, достает из рукава камзола платок и тщательно вытирает рот. — Но, надеюсь, вы простите меня, если я этого не сделаю. Я сейчас далеко от своей родины. Мне известны ее недостатки, и я часто обсуждаю их со своими земляками... Но было бы нечестно критиковать их за ее пределами. С чужестранцами, если вы будете столь любезны простить мне это слово. — Он поворачивается к библиотекарю. — Уверен, что дон Эрмохенес думает то же самое.

Д’Аламбер с улыбкой смотрит на библиотекаря.

— Это так, мсье? Вы тоже храните лояльное молчание?

— Разумеется. Иначе и быть не может, — отвечает библиотекарь, храбро выдерживая устремленные на него со всех сторон взгляды.

— Что ж, это делает честь вам обоим, — примирительно замечает философ.

Некоторое время все беседуют об идеях, истории и революциях. Бертанваль припоминает несколько классических примеров из истории, а Кондорсе восторженно рассуждает о восстании гладиаторов и рабов под предводительством Спартака в Древнем Риме.

— По моему мнению и вопреки мнению мсье Кондорсе, — вмешивается д’Аламбер, — культурная, просвещенная Европа не переживет революционных потрясений. Не для того мы писали нашу «Энциклопедию», уверяю вас. Проникновение идей и культуры в конце концов преобразует то, что неизбежно должно быть преобразовано... Мы в нашем скромном прибежище не ставим своей целью сотрясти мир, но стремимся менять его постепенно, бережно и разумно. Люди, привыкшие наслаждаться тихим кабинетным трудом, никогда не станут — точнее, мы не станем — источником опасности для общества.

— Вы в этом уверены? — невозмутимо спрашивает адмирал.

— Абсолютно.

— Всякий человек, образованный или нет, становится опасным, когда его используют с соответствующей целью. Так мне кажется... Или когда его заставляют таким быть.

Энциклопедист улыбается, он заинтригован.

— Вы говорите так, словно хорошо знаете эту тему.

— Так и есть, мсье.

Франклин и Кондорсе готовы поддержать дона Педро.

— Я по-прежнему согласен с мсье бригадиром, — утверждает первый.

— Я, разумеется, тоже, — согласно кивает второй.

Д’Аламбер поднимает обе руки, требуя внимания.

— Мы с вами, господа, смешиваем два совершенно разных мира, — мягко поизносит он. — Европу и Америку, зрелость и юность, масло и воду... Я уверен, что, каковы бы ни были наши идеи, теории, устремления, они никогда не вызовут внезапных и кровавых революций.

— Что-то я в этом не слишком уверен, — настаивает Кондорсе.

— А я вполне. Народное сознание способно мягко воспламениться чем-то добрым и благородным, если его вовремя правильно настроят. Все это присутствует в современной философии. Любой бред, любое жестокое потрясение, порожденные нашими идеями, совершенно недопустимы... Любая революция в Европе, в этом изживающем себя мире, прикончит его, причем не насилием, а бесконечными размышлениями и рассуждениями.

Вокруг столика повисает молчание. Все слушают с уважением, однако на губах Кондорсе адмирал замечает едва уловимую скептическую улыбку. Со своей стороны, у простодушного дона Эрмохенеса беседа вызывает восхищение, и он лишь кивает в ответ — как ученик перед учителем, которого уважает и почитает.

— Если землякам мсье Франклина в самом деле приходится рассчитывать исключительно на мушкеты и порох, — добавляет д’Аламбер, — то старушке Европе с ее зрелым разумом остается лишь постигать и уважать законы, которые предписывают природа и разум... Нашей революции, господа, не нужно никакого иного оружия, за исключением пера и слова.

Переведя взгляд в сторону от собравшихся за столиком, адмирал видит Брингаса: тот, сидя с книжкой в дальнем углу, хмуро наблюдает за ними. А ведь вы, господа, начисто позабыли о чудаковатом аббате, чуть было не восклицает адмирал, и обо всех, подобных ему! Вы никогда не были на борту корабля, в который летят шрапнель и осколки, сознавая, как много способно вместить человеческое сердце. В ложной безопасности кофейни с ее изысканными манерами, культурной беседой, полной прекрасных филантропических идей, вы забыли о несчастных и обиженных, о бесчисленной темной армии, которая лелеет гнев и ненависть в нищих трактирах, в зловонных предместьях, куда едва проникают лучи разума и философии. Вы забываете о тяжести снежной лавины, о могуществе моря, о силе слепой природы, сметающий все и вся на своем пути. Забываете о законах самой жизни. Размышляя обо всем этом, дон Педро на мгновение испытывает огромное желание ударить кулаком по столу и ткнуть пальцем в сторону человека, о котором они забыли, как некогда неведомая рука указывала на письмена, проступившие на стене во время беспечного, пышного и трагического Валтасарова пира. Он чувствует потребность привлечь их внимание к темному силуэту, притаившемуся там, в глубине, пожирая глазами газеты и всю вселенную — разумом. Ударить по столу и все это наконец-то высказать. Заявить, что уж он-то знает, кто подожжет этот мир! Но адмирал лишь пожимает плечами, ставит чашку на стол и ничего не предпринимает.

Вечером, вернувшись из очередного безрезультатного похода в книжную лавку на улице д’Анжу, академики и Брингас прохаживаются среди крылатых коней по галерее в западной части сада Тюильри. Поскольку въезд экипажей сюда запрещен, вокруг множество гуляющих. Небо затянуто облаками, но солнце стоит высоко и воздух прогрет. С другой стороны моста открывается чудесный вид на площадь Людовика Пятнадцатого с отлитым из бронзы конным монархом, деревья Елисейских полей и Сену, текущую в отдалении.

— Обратите внимание, — сообщает Брингас, — перед вами один из самых впечатляющих городских пейзажей Европы... Закаты здесь просто великолепны!

— Как хорошо, что здесь разрешают гулять, — замечает адмирал. — Я был уверен, что это королевские владения и заходить сюда можно только в День святого Людовика.

— Ну, это для простолюдинов, — иронизирует аббат. — Для сброда. Взгляните, как выглядят гуляющие: все до единого — порядочные люди, одежда из лучших магазинов, у дам на руках — собачонки, которых я бы лично поджарил на вертеле, содержанки из Оперы, пижоны и паразиты... Посмотрите на всех этих несуразных красавчиков в высоких париках, с накладными родинками на физиономиях и в идиотских камзолах, узких, как макаронины. Вот бы их всех на галеры! Между тем швейцары, охраняющие ворота, не пускают сюда людей достойных, которые не выглядят должным образом, — без всех этих кружев на рукавах и галунов на шляпах. Они и на меня косо смотрели, заметили? Как говорится, не суди о монахе по сутане!

— Какие очаровательные детишки, — умиляется дон Эрмохенес, глядя на двоих серьезных малышей, которые шагают рядом с родителями, одетые как взрослые и с парадными шпагами на поясе.

— Какие, вот эти? — выходит из себя Брингас. — Нет более гадкого зрелища, сеньор, чем видеть малых сих морально падшими раньше времени из-за тупости своих родителей... Только взгляните на их костюмы, на кудри, белые от пудры, на дамские букли, потешные шпаги и треуголки в руках! Тщеславные и надутые, как их папаши или как те взрослые, в которых они однажды превратятся... Хорошо было бы уничтожить их прямо сейчас, пока они маленькие и безобидные. Через несколько лет это будет намного сложнее.

— Какие ужасы вы говорите, сеньор аббат!

— Ужасы, по вашему мнению? Какие времена, такие и разговоры. Мы — люди простые. В любом случае эти потешные моды извращают истинную природу человека. Будь я законодателем, всякий раз, видя такого ряженого, я бы отнимал его у дебилов-родителей и отправлял переучиваться в государственный коллеж!

— Прямо как Ликург, — смеется адмирал.

Аббат недобро косится на него.

— Вот именно, сеньор. Как этот просвещенный лакедемонец... Честно говоря, не понимаю, над чем вы смеетесь. Не вижу ничего смешного.

Луч солнца прорвал тонкий слой облаков, и растительность сада обретает свежие цвета. Серая лента Сены сверкает вдалеке стальным блеском.

— В самом деле, красиво, — говорит адмирал, меняя тему.

— Настанет день... — гнет свою линию Брингас, не замечая, что его перебили.

Дон Эрмохенес, опершись о балюстраду, словно бы ничего не замечает. Он опустил голову и выглядит обеспокоенным, будто бы у него что-то болит.

— Что-то случилось, дон Эрмес? — спрашивает адмирал.

— Да, проблема физического свойства, — признается библиотекарь, краснея. — Естественная надобность, к тому же совершенно нестерпимая... Боюсь, у меня расстройство от жары.

Дон Педро растерянно смотрит по сторонам.

— Не знаю, есть ли здесь...

— Сейчас все устроим, — заявляет Брингас. — В конце этой лестницы под колоннадой есть платные кабинеты.

— Полезное изобретение, — приободряется дон Эрмохенес. — А вас не затруднит проводить меня туда немедленно?

— Сию же секунду. У вас есть мелкие деньги? Подождите нас здесь, если вам угодно, сеньор адмирал.

Брингас и библиотекарь исчезают. Дон Педро опирается о балюстраду и любуется видом. С другой стороны моста на площади виднеются экипажи, однако в той части, где располагаются сады, посетители прогуливаются среди деревьев и квадратных газонов пешком. Мелькают шелковые платья и шали, обрамленные кружевами, дамские шляпки, украшенные лентами и перьями, кафтаны и облегающие камзолы, швейцарские треуголки. В этой суете и пестроте адмирал выделяется строгостью: на нем простой фрак из сукна цвета морской волны с железными пуговицами, замшевые брюки и английские туфли. Под мышкой трость-клинок, а на серых волосах без пудры, забранных на затылке в хвост, черная треуголка, чуть сдвинутая на правый висок.

— Вот так сюрприз, — раздается голос у него за спиной. — Строгий испанский кабальеро — один, в саду Тюильри!

Повернувшись, адмирал обнаруживает перед собой мадам Дансени. Улыбаясь, она снимает перчатку и протягивает ему руку, которой дон Педро, приклонив голову, касается губами.

— Я ожидаю своих друзей.

— Аббата и этого милейшегого дона Эрмохенеса? Я угадала?

Улыбка Марго Дансени очаровательна. Похоже, неожиданная встреча ее обрадовала. На ней простая и изысканная одежда для прогулки: орехового цвета платье с драпировкой, подвязанное кармазиновым кушаком на талии, которой не требуется корсета из китового уса или других ухищрений, чтобы была заметна стройность. Накидка а-ля Медичи, зонтик от солнца. Мадам Дансени без шляпки, с высокой прической, украшенной лентой и страусовым пером. Сопровождающие ее Лакло и Коэтлегон также приветствуют адмирала. Первый — любезно, второй — сухо и сдержанно; звякают цепочки от часов и брелок, свисающие из кармана жилета в полоску.

— Мы вас одного не бросим. Побудем здесь, пока не вернутся ваши друзья.

Улыбка обнажает ровные белые зубы и подчеркивает блеск черных глаз. При дневном свете мелкие изъяны и крошечные морщины у нее на лице заметны сильнее; но это, думает адмирал, нисколько не вредит ее красоте. Наоборот, делает ее более взрослой и зрелой. И более привлекательной, чем если бы кожа ее была безупречной, все еще чистой и лишенной отпечатков личной истории, как у прелестной юной девушки.

— Как вам вид, сеньор адмирал?

Она кивает в сторону, но смотрит по-прежнему на него.

— Превосходный, — невозмутимо отвечает дон Педро, выдерживая ее взгляд.

— Сеньор Коэтлегон тоже обожает это место. И сеньор Лакло.

— Что ж, меня это не удивляет.

Несколько минут они поддерживают ни к чему не обязывающий светский разговор. От поисков «Энциклопедии» переходят к ресторанам и кофейням Парижа, затем — к универсальной эффективности магнетизма и удивительным свойствам гипноза, сделавшимся последним писком моды. Адмирал все время чувствует на себе пристальный взгляд Коэтлегона. Тот, как и его приятель Лакло, одет по-вечернему: приталенный камзол с узкими рукавами, короткий жилет и парадная шпага. На груди висит орден Святого Людовика, а на треуголке сверкает кокарда, указывающая на то, что перед вами — бывший военный. Пару раз, повернувшись в его сторону, дон Педро замечает мутный, невыразительный взгляд этого субъекта.

— Мы собирались посидеть и выпить чего-нибудь холодненького на террасе Фейан, — говорит мадам Дансени. — Хотите к нам присоединиться?

В этот миг возвращаются дон Эрмохенес и Брингас, и после необходимых приветствий и пары шуток в адрес аббата, которые тот воспринимает стоически, все пускаются в путь по бульвару, обсаженному липами, до Вандомской площади. На противоположной от них стороне в центре площади, между двумя роскошными особняками, которые обрамляют ее по периметру, высится статуя Людовика Четырнадцатого.

— Я бы сейчас с удовольствием съела мороженое, — говорит мадам Дансени.

«Киоск Фейян» — маленькая кофейня под открытым небом у самой ограды, прямо на террасе сада Тюильри. Это бойкое место принадлежит швейцарцу-охраннику, из тех, в чьи обязанности входит стоять у ворот. Все рассаживаются вокруг одного из свободных столиков, так что мадам Дансени оказывается между Коэтлегоном и адмиралом. Заказывают мороженое, лимонад, кофе; Брингас вдобавок просит булочку с сахаром и с маслом. Обсуждают последние версальские сплетни, полет на воздушном шаре, заполненном разогретым воздухом, который изготовил некто Шарль, интереснейший визит академиков в Королевский кабинет естественной истории, а также кабинет физики мсье Бриссона из Академии наук.

— Наверное, за эти дни вы обошли все парижские книжные, — говорит мадам Дансени. — Помимо «Энциклопедии», которую вы так настойчиво преследуете, удалось вам приобрести что-нибудь еще?

— Кое-что. К сожалению, мы не имеем права набирать много багажа.

— Об этом не беспокойтесь. Вы всегда сможете переслать книги отсюда в Мадрид. Мой муж с удовольствием вам поможет.

— Возможно, мы воспользуемся вашим любезным приглашением, — благодарит дон Эрмохенес. — Просто невероятно, сколько книг здесь издают!

— Воспользуйтесь, очень вас прошу! Мы даже сумеем переслать вам запрещенные книги, если понадобится.

— Философские? — спрашивает заинтересованный дон Эрмохенес.

— Конечно. В прямом и переносном смысле, — с ехидной усмешкой отвечает она. — Все зависит от вашего желания.

Внезапно библиотекарь багровеет: он сообразил, о чем идет речь.

— Ой, простите, — сконфуженно бормочет он. — Я вовсе не собирался... Я...

— Не беспокойтесь, — смеется Лакло. — Мадам нисколько не сердится. Наоборот, она и сама любительница почитать философские книжки, не правда ли, Марго? В прямом и переносном смысле.

Дон Эрмохенес моргает, он смутился еще сильнее.

— Вы хотите сказать, что...

— Именно, — приходит на помощь мадам Дансени. — Именно это бесстыжий Лакло и хочет сказать.

— Пустая трата времени, — ворчит Брингас, недовольный тем, куда устремился разговор. — Ужасающее легкомыслие, особенно когда рядом столько книг действительно философских, благотворно воздействующих и на разум, и на дух.

Мадам Дансени, рассматривавшая адмирала, поднимает тонкую руку с ухоженными ногтями, на которой сверкает пара драгоценных камней. Какая белая кожа, удивляется дон Педро. С чуть заметным рисунком тонких голубоватых вен.

— Не огорчайтесь, сеньор аббат, — говорит мадам Дансени. — Всему свое время. Дойдет черед и до них.

Коэтлегон смеется, однако смех его не нравится адмиралу: высокомерный, самоуверенный. Даже, возможно, пошлый. Смех человека, который получил — или считает, что получил — все то, чего не досталось другим.

— Излюбленный час Марго — время утреннего завтрака, — говорит Коэтлегон, глядя адмиралу в глаза.

Не замечая сложной игры взглядов и недомолвок, дон Эрмохенес кротко улыбается мадам Дансени.

— Это так, сеньора? Или господа шутят? Верно, что вы читаете... гм... философские книги, которые не в полной мере являются таковыми?

— Да скорей всего, эка невидаль, — мрачно огрызается Брингас.

— Совершенно верно, — кивает мадам. — Между прочим, нет более симпатичного чтива. Взять хотя бы «*Félicia* »[[78]](#footnote-78), «*Mémoires de Suzon* »[[79]](#footnote-79) или «*Thérèse philosophe»*[[80]](#footnote-80), которую я сейчас читаю. Как говорит Коэтлегон, со свойственным ему бесстыдством, я их читаю обычно по утрам, лежа в постели, после завтрака... Некоторые из них чудесно написаны, многие увлекательны, а есть и такие, где, несмотря на развратное обличие, обнаруживаешь настоящую философскую глубину.

Лакло шутливо кладет руку на сердце и произносит:

— *Мы оба на мгновенье возрождаемся, чтоб снова умереть... Бог мой! Какая ночь! Какой мужчина! Что за страсть* !

— Полно, Лакло, — останавливает его мадам Дансени.

— Почему? Это всего лишь отрывок из «Фелиции», один из наиболее пристойных. Не думаю, что господа обидятся.

— Да, но могу обидеться я.

Лакло смеется, прихлебывая лимонад.

— Вы, дорогой друг? Минерва обидится на Сафо? Никогда не поверю!

— Эти господа примут меня за красотку из Оперы.

— Очень сомневаюсь! Они для этого слишком умны... — Лакло поворачивается к адмиралу и библиотекарю. — Иной раз, когда мы, счастливые смертные, удостоенные высочайшей милости, имеем честь быть приглашенными на завтрак, Марго в прекрасном шелковом дезабилье возлежит, опершись на подушки, как королева, и заставляет нас читать ей вслух отдельные страницы... И это, даю вам слово, господа, несравненно приятнее, чем ее гостевые среды.

Мадам Дансени перестает улыбаться и легонько бьет его по плечу.

— Вы слишком нескромны, мсье. Меня удивляет, что кто-то все еще принимает вас за джентльмена, которым вы не являетесь!

— Джентльменство не воздает должных почестей красоте, моя дорогая. Без зернышек перца соус получается пресным... Я не прав, Коэтлегон?

Он смотрит на Коэтлегона, который в ответ презрительно улыбается.

— Каковы повара, таков и соус, — заносчиво отвечает он.

— Хватит, господа, — требует мадам Дансени. — Я вам приказываю.

— Слушаемся и повинуемся, — хохочет Лакло.

— В виде наказания сегодня вы оплачиваете все наши напитки!

— Договорились. Умолкаю.

Повисает непродолжительная тишина. Адмирал чувствует на себе любопытный взгляд мадам Дансени и враждебный — ее любовника. «Какого черта, — спрашивает себя адмирал. — При чем тут я?»

— А вы, мсье? — неожиданно обращается к нему Коэтлегон. — Неужели вы в своей далекой юности не читали философских книг?

На губах у него та же самая улыбка: сухая, презрительная. Возможно, провоцирующая.

— Пожалуй, что нет, — простодушно отвечает дон Педро. — В мою юность — далекую, как вы любезно заметили, — читали все больше про астрономию и мореплавание.

— Французских и английских авторов, полагаю.

От адмирала не ускользнул неприятный тон его собеседника. Тем не менее дон Педро отвечает совершенно спокойно:

— В основном — да. Но были среди них и мои соотечественники. Вы не слышали о Хорхе Хуане, Ульоа или Гастаньете? Большая часть важнейших трактатов по мореходству написаны в этом веке испанцами, как вам, вероятно, известно.

Он замечает презрение на губах собеседника.

— Нет, я этого не знал.

— Зато теперь знаете.

Повисает пауза. Все прислушиваются к их разговору. Дону Педро кажется, что в глазах мадам Дансени прячется обеспокоенное предупреждение, адресованное Коэтлегону: «Ты заходишь слишком далеко. Зачем тебе это?»

— Вы долго плавали, мсье?

Все то же презрение в голосе. И тот же враждебный взгляд. Адмирал отвечает с расчетливой сдержанностью:

— Не слишком, всего лишь семнадцать лет... Затем перебрался на сушу, вместе с адмиралом Наварро. Чуть позже занялся теоретическими штудиями и «Морским словарем».

— Наварро? — с интересом переспрашивает собеседник. — Тот самый, который участвовал в битве при Тулоне?

— Именно. Маркиз Победы — этого звания он удостоился как раз после той битвы.

Презрение сменяется улыбкой, холодной, почти нахальной. А может, и без «почти».

— Что касается «победы», здесь есть о чем поспорить... Я читал об этом морском сражении, а брат моей матери даже принимал в нем участие.

Остальные давно смолкли, прислушиваясь к его словам. Лакло смотрит на своего друга с тревогой, а глаза дона Эрмохенеса растерянно перебегают с одного на другого. Адмирал чувствует, что взгляд мадам Дансени прикован к нему с мольбой или предостережением. «Не продолжайте, умоляю вас, — словно бы умоляет этот взгляд. — Оставьте его в покое, и поговорим о чем-нибудь другом. Очень вас прошу. Я слишком хорошо знаю человека, с которым вы сейчас говорите».

— Что именно кажется вам спорным, мсье?

Коэтлегон пожимает плечами.

— Все кричат об испанской победе, а на самом деле в битве участвовали испанский и французский флот, объединившие усилия против англичан... И вообще, ничего особенного там не произошло.

— Вы говорите «ничего особенного» о битве, длившейся более семи часов, в которой погибли сто сорок один матрос, три командира, шесть офицеров, почти пятьсот моряков были ранены, и это не считая потерь в английском флоте?

— С ума сойти. — Удивление собеседника кажется искренним. — Вы даже цифры можете назвать, мсье. А ведь прошло почти сорок лет.

— Я все это слишком хорошо помню. Я был там.

Ресницы чуть заметно вздрагивают: единственный признак того, что Коэтлегон действительно слышит адмирала.

— Не знал.

— Теперь знаете. Я был лейтенантом на корабле «Король Филипп»... А известно вам, почему мы сражались в пропорции один к четырем? Потому что наши французские союзники, посланные адмиралом Кур де ла Брюйером — на одном из его кораблей и находился, я полагаю, ваш, мсье, родственник, — шли своим курсом, так и не приняв участия в битве и оставив Испанскую армаду в одиночестве в тылу врага.

— Брат моей матери...

«Черт возьми, — думает адмирал. — Я уже сыт по горло этой наглой улыбкой и надменным взглядом. Сыт по горло этим салонным фанфароном с его красной орденской лентой и бесстыдством под маской сухой вежливости, которая никого не обманывает. Раз уж он собрался свести со мной счеты, сейчас самое время».

— Если брат вашей матери рассказывает что-то другое, он лжет, как последний проходимец... А если вы, мсье, на этом настаиваете, то вы — нахал.

Повисает гробовая тишина. Дон Эрмохенес смотрит на своего друга открыв рот. Коэтлегон бледнеет, будто бы кровь отхлынула от лица.

— Я этого вынести не смогу.

— Значит, вам придется пересмотреть, мсье, запасы вашего терпения.

— Господа, перестаньте. Прошу вас, — умоляет мадам Дансени. — Вы зашли слишком далеко.

Дон Педро медленно встает с кресла.

— Да, вы правы... Мне очень жаль. Прошу вас, мадам, примите мои искрение извинения.

Он засовывает два пальца в жилетный карман, кладет на стол золотой луидор, сухо кланяется и уходит, преследуемый по пятам Брингасом и библиотекарем. Краем глаза дон Эрмохенес замечает, как Коэтлегон склоняется к Лакло: тот осуждающе качает головой, однако Коэтлегон настаивает. Мадам Дансени повернулась к Лакло и Коэтлегону, некоторое время они вместе что-то живо обсуждают, наконец она безнадежно качает головой и закрывает руками лицо. Лакло вскакивает и направляется вслед за доном Педро, ускоряя шаг, пока не догоняет его.

— Мне очень жаль, господа, — говорит он сдавленным голосом, снимая шляпу. — Мсье адмирал... На мою долю выпала неприятная задача.

Дон Педро замедляет шаг и выслушает его с невозмутимым видом. Он также снял шляпу.

— Я понял вас. Говорите дальше.

— Мсье Коэтлегон считает, что вы некрасиво обошлись с ним, — говорит Лакло, мгновение поколебавшись. — И требует соответствующей сатисфакции.

Адмирал смотрит на саблю, висящую у Лакло на поясе, затем переводит взгляд на свою трость-клинок.

— Прямо сейчас?

— Нет, что вы, — протестует Лакло. — Все должно быть как положено... Послезавтра на рассвете, на Елисейских полях. Если вас это устраивает.

— Как вам угодно.

— Прошу выбрать оружие.

— У меня нет опыта в таких делах, однако полагаю, выбирать должен мой соперник.

— Он предоставил это право вам, из уважения к вашему возрасту... Пистолет?

Дон Эрмохенес, слушавший этот разговор с широко открытыми глазами, наконец приходит в себя:

— Надеюсь, вы это не всерьез?

— Очень даже всерьез, — вмешивается Брингас. Со стороны может показаться, что он страшно рад такому повороту событий.

Адмирал согласно опускает веки и с печальной улыбкой смотрит на Лакло.

— У меня слишком слабое зрение, чтобы стреляться в столь ранний час, когда света еще недостаточно.

— Думаю, мсье Коэтлегон вас поймет... Значит, шпага?

— Как вам угодно.

— До первой крови?

— Это зависит от мсье Коэтлегона.

— Отлично. Сделаю все возможное, чтобы так оно и было. Ваши секунданты?

Адмирал холодно кивает на дона Эрмохенеса.

— Этот мсье.

— Я? Секундантом? — возмущается библиотекарь. — Вы что, с ума сошли?

Никто не обращает на него внимания. Брингас взволнован, с его лица не сходит нетерпеливая и кровожадная гримаса, адмирал по-прежнему безучастен, и Лакло удовлетворенно кивает.

— Все прочее я беру на себя, — заключает он. — Включая знакомого хирурга. — Он поворачивается к дону Эрмохенесу, который так и застыл с открытым ртом. — Увидимся завтра, чтобы все обсудить подробно... Сумеете добраться до места, которое я вам назвал?

— Я его знаю, — отвечает Брингас.

— Замечательно. — Лакло поворачивается к адмиралу и стискивает его руку в своей. — От всей души сожалею, что так вышло, мсье... Коэтлегон вот уже несколько дней вне себя. Быть может, нам еще удастся его отговорить.

На этот раз адмирал наконец-то улыбнулся. На его лице появилось особенное, присущее только ему одному выражение — далекое, отсутствующее и в то же время теплое. Отрешенное, а быть может, напоминающее о его юности. Будто бы младший лейтенант флота, который тридцать семь лет назад сражался на борту «Короля Филиппа», временно одолжил ему эту улыбку.

— Всегда в вашем распоряжении. Всего наилучшего.

Все эти беспорядочные перемещения, бесконечные разговоры и странное поведение озадачивают Паскуаля Рапосо. Происходит что-то необычное, подсказывает ему интуиция, но догадаться, что именно, он не в силах. Он ждет, прислонившись спиной к ограде в пятидесяти шагах от расположившейся за столиком компании, с любопытством наблюдая за ними. Сегодня его очередь следить — агенты Мило заняты другими делами, — и он целый день ходит по пятам за академиками и Брингасом: сперва — в кофейню «Прокоп», далее — к продавцам книг, затем — на прогулку в сад Тюильри, куда он проник без особого труда, дав служителю несколько монет. Солнце опустилось уже совсем низко, похожее на янтарь небо желтеет среди верхушек зеленых лип, и Рапосо поздравляет себя с отличной погодой. День оказался на редкость длинным. Генриэтта, дочка хозяев пансиона «Король Генрих», вчера вечером наконец-то проникла к нему в постель, в этом деле она оказалась девчонкой куда более сноровистой, уверенной в себе и пылкой, чем он предполагал. Он и представить себе не мог, какой она окажется! Вот почему больше всего на свете Рапосо мечтает вернуться к себе в комнату и продолжить немой, однако в высшей степени выразительный диалог, который прошлой ночью вели они вдвоем, лежа без сна до самой зари, распугав все его мрачные мысли, а заодно и боль в желудке.

И все-таки, размышляет он, глядя издалека на академиков и Брингаса, что-то у них происходит, а что именно — он понять не может. Мадам Дансени и двое ее спутников поднялись из-за столика кафе и идут вдоль колоннады в сторону улицы Сент-Оноре. Спутники оживленно беседуют между собой, будто бы о чем-то спорят, а дама вроде бы нервничает, потому что шагает чуть впереди; когда же один из них протягивает ей руку, чтобы помочь подняться по ступенькам, она с раздраженным видом отворачивается.

Дав им уйти — у него еще появится возможность разузнать, что произошло, в этом ему поможет Мило, если, конечно, они будут что-то обсуждать дома, в присутствии слуг, — Рапосо устремляется вслед за академиками и Брингасом, которые удаляются в противоположном направлении через сад, мимо цветочных клумб и квадратиков газона, к ступенькам, ведущим к набережной Тюильри. Эти тоже, отмечает он, ведут себя довольно странно. Брингас и библиотекарь о чем-то бурно спорят, изредка обращаясь к адмиралу, который едва им отвечает и почти все время молчит, задумчиво покачивая тростью. Так они спускаются по лестнице к пристани и шагают между Сеной и фасадом Лувра, пока заходящее солнце окрашивает в красноватые оттенки пейзаж за их спинами.

## 9. Дело чести

У всех людей чести имеется только одна щека.

Дени Дидро. «Жак-фаталист»

— Дуэль противоречит здравому смыслу, — рассуждает дон Эрмохенес. — Господи, да неужели вы не понимаете, что в этом безобразии нет ни малейшей доблести! Эра просвещения заставит исчезнуть подобный способ разрешать споры. Вы со мной не согласны? Жестоко и бессмысленно думать, что достоинство человека заключается в том, чтобы убить себе подобного или самому отправиться в мир иной из-за каприза какого-то щеголя или напудренного забияки... Абсурдно давать человеку, сотворившему малое зло, шанс сотворить зло значительно большее!

Библиотекарь негодует, и равнодушие дона Педро распаляет его еще сильнее. Все трое прохаживаются по набережной Сены. Слева от них багровый вечерний свет окрашивает пурпуром фасад Лувра. Возле каменных перил, тянущихся вдоль реки, бакалейщики и букинисты прячут свой товар и разбирают прилавки.

— Я и представить себе не мог, что вы, дорогой адмирал...

— Это не его вина, — перебивает библиотекаря Брингас, пытаясь утешить. — Все само так сложилось.

— Да, но мы с ним несколько раз говорили о дуэли. И он всегда осуждал ее самыми разумными доводами. Это шаг назад, это дикость — вот что он говорил! А тут — пожалуйста: преспокойно соглашается, даже не пикнув! Какая муха его укусила?

— Я не мог отказаться, — говорит адмирал после долгой паузы.

— Вот именно, — подтверждает Брингас.

Но дон Эрмохенес никого не желает слушать.

— Что значит — не могли... Взять и сказать прямо, что все это несусветная чушь, повернуться к этим людям спиной. И все. И точка! Обратить все в шутку, не поддаваться на провокацию. Дуэль — это же провокация, и ничего больше! Ничего разумного!

Дон Педро бесстрастно улыбается краешком рта, будто его отвлекли от каких-то раздумий.

— Не все в нашей жизни разумно, дон Эрмес.

Библиотекарь смотрит на него в замешательстве.

— Вы меня изумляете. Господи, да я вас просто не узнаю! Я и вообразить не мог, что вы, с вашим хладнокровием...

Он замирает с открытым ртом, покачивая головой и подыскивая подходящие слова. Наконец поднимает руки и бессильно роняет их.

— Абсурд, абсурд, — твердит он. — Хуже, чем абсурд, если речь идет о таком человеке, как вы!

— А по-моему, у сеньора адмирала имеется свой резон, — вмешивается Брингас. — Невозможно поступить иначе, когда на кон ставится честь твоей родины, а в свидетелях у тебя дама... На то и рассчитывал мерзавец Коэтлегон. — Брингас смотрит на дона Педро взглядом заговорщика. — Потому что ваш резон...

— Мой резон — это мое частное дело, — неожиданно резко перебивает его адмирал.

— Да-да, конечно, — мгновенно сникает аббат. — Простите.

Они уже поднялись на Новый мост, заполненный пешеходами и экипажами. Между набережными Дез-Орфевр и Морфондю виднеется площадь Дофина, где суетится множество людей, делающих последние покупки. Умирающий вечерний свет окрашивает Сену возле опор моста в алый оттенок крови.

— Те, кто вызывает на дуэль, — произносит дон Эрмохенес, — убийцы куда более страшные, чем лесные разбойники, и наказывать их следует строже... В Испании, при всех ее недостатках, подобного не позволяют. Любителей подраться ожидает очень тяжкое наказание, иной раз даже смерть.

— Во Франции, как видите, на это закрывают глаза, — замечает Брингас. — Дуэль превратилась в обычай. Здесь готовы стреляться из-за любой мелочи.

— В этом, по крайней мере, мы, испанцы, не такие дикари!

Оставив позади реку и догоревший закат, они сворачивают налево, и их окутывают сумерки. В магазинах, порталах и окнах домов загораются первые огни. Брингас настроен саркастически.

— Парадокс в том, — говорит он, — что здесь на это смотрят с противоположной точки зрения. Как на побочный эффект цивилизации. Человек благородный должен уметь постоять за себя, в отличие от плебеев... Торжественный ритуал дуэли превратил ее в обычай элиты. И этот дурной обычай так прочно укоренился в высшем обществе, что даже судья, который судит дуэлянта — особенно если тот из хорошей семьи, — в глубине души одобряет его поведение и рассматривает все возможные смягчающие обстоятельства, чтобы наказание не было слишком тяжким.

— Вы правы, — соглашается дон Эрмохенес. — Но в случае с адмиралом...

— Боюсь, что на сей раз сеньор адмирал стал жертвой сложившейся системы. Он принял вызов, следовательно, он сообщник. Каким бы просвещенным он ни был и как бы ни превозносил разум, сейчас он пленник собственных противоречий. Он не может предать честь моряка и кабальеро. Вот и получается, что он ничем не отличается от других дуэлянтов.

Библиотекарь поворачивается к дону Педро, лицо его печально.

— Ради бога, адмирал. Скажите что-нибудь... Попытайтесь защититься!

Адмирал, который шагает молча, рассеянно покачивая тростью, делает уклончивый жест. Он мрачен.

— Что вы хотите от меня услышать?

Библиотекарь останавливается, подбоченившись.

— Пойдете драться как ни в чем не бывало?

Адмирал пожимает плечами. Он тоже останавливается.

— Сеньор аббат по-своему прав, — отвечает он.

Услышав это, Брингас сияет от удовольствия.

— Разумеется, прав! — победно восклицает он. — Дуэль укрепляет общественный порядок, усиливает привилегии... По большому счету, дуэлянты — это всего лишь союзники, которых объединяет общее дело — защищать высшее общество от серого обывательского мирка. Дуэль ставит их выше плебса, понимаете?

— Мне бы никогда такое не пришло в голову, — признается дон Эрмохенес.

Все трое продолжают путь.

— Тем не менее это так, сеньор... Верх элегантности, когда два господина могут спокойно укокошить друг друга, подчиняясь требованиям этикета, установленного такими же господами, как они сами. Они только кажутся врагами, на деле же они — сообщники... Аристократы, а также те, кто изо всех сил старается к ним примкнуть, скрывают под этим феодальным обычаем презрение к нам, убогим, не принадлежащим к их классу и потому не разделяющим их идиотских правил.

Брингас оседлал своего конька. Он пророчески воздел палец, указывая в темное небо, будто бы обвиняя его или призывая в свидетели.

— Целый класс старомодных и никчемных паразитов превратил дуэль в символ, — все тем же тоном продолжает аббат. — Подражатели и чужаки только укрепляют этот миф, и так будет продолжаться до тех пор, пока общественное мнение не начнет относиться к дуэли как к явлению порочному, вредному или смешному... Или же — а до этого осталось не так уж много времени, — он недобро хихикает, — пока волны Красного моря не сомкнутся над войском фараона.

— Если бы человеческое общество было разумно, — говорит дон Эрмохенес, — дуэль ушла бы вместе с этим веком, потому что это одно из тех явлений, по отношению к которым просвещение и церковь совпадают во мнении... Дуэлянт ставит себя вне закона, а заодно доказывает, что гордыня заботит его больше, чем любая власть — человеческая или божественная...

На углу улицы де-ла-Шоссетри муниципальный служащий снимает фонарь с крюка и зажигает внутри огонек. Затем возвращает его на место, и по стенам, покачиваясь, скользит яркий и свежий свет масляного фитиля. Все трое проходят мимо, адмирал угрюмо шагает впереди, Брингас и библиотекарь, следуя за ним, продолжают свой спор.

— А ведь достаточно обыкновенного разговора, — рассуждает Брингас. — Или можно придумать какой-то иной способ. Я завидую простым людям, которые, будучи по природе своей брутальными, все решают в честном кулачном бою.

— Или в честной поножовщине, — не оборачиваясь, язвительно добавляет адмирал.

— Так или иначе, кулачный бой или поножовщина достаются низшим слоям, — с грустью заключает Брингас. — В них нет шика, понимаете? Зато перед дуэлью нужно обменяться карточками, назначить секундантов и быть готовым колоть шпагой или стрелять друг в друга, в соответствии со смешным и глупым этикетом.

— Так, значит, я секундант? — нервничает дон Эрмохенес, будто бы до него только сейчас дошло истинное положение вещей.

— А как же, — издевается Брингас. — Думали отделаться?

Растерянный библиотекарь секунду размышляет. Затем отрицательно качает головой.

— Об этом не может быть и речи. — Он снова о чем-то думает и вновь трясет головой: — Я не желаю принимать участие в этом зверстве!

— Не желаете, значит... Вы слышали, адмирал? — Брингас явно наслаждается всем происходящим. — Оно вам отвратительно, однако вмешиваться вы не хотите. Вот она, фарисейская ловушка!

— Боюсь, что сеньор аббат прав, — произносит дон Педро.

— Еще бы не прав! — убежденно восклицает Брингас. — Задача секунданта — следить за тем, чтобы игра была честной, а возможности — равными. Вот он, коварный соблазн: ваши собственные понятия о дружбе обязывают вас быть соучастником. В качестве секунданта вы должны обсудить с Лакло время, место, тип оружия... Что касается места, нужно убедиться в том, что ни один из дуэлянтов не имеет незаконных преимуществ: шпаги одной длины, солнце не бьет в глаза, почва одинаково сухая или, наоборот, влажная... Видите, как вы нужны дону Педро? Секунданты осматривают одежду дуэлянтов, чтобы убедиться, что под ней нет специальных предохранительных жилетов, присутствуют на дуэли от начала до конца и заботятся об участниках, если те ранены или убиты... — Последние слова он выделяет интонацией, словно их звучание ему приятно. — Кроме того, в последний момент перед битвой они делают попытку их помирить. Но это, как правило, простая формальность.

— А иногда секунданты тоже устраивают дуэль. Между собой, — с мрачной усмешкой уточняет адмирал.

Дон Эрмохенес вздрагивает и крестится.

— Господи помилуй...

В этом районе города с наступлением вечера жизнь замирает. Только огни, зажженные в окнах некоторых лавок, да фонари, горящие кое-где вдоль улиц, рассеивают тьму. Пора бы поужинать, прозрачно намекает Брингас. Чтобы согреть желудки и освежить умы. Между прочим, добавляет он, тут рядом, на улице Двух Экю есть одно неплохое заведение, где подают аппетитные ломтики швейцарской говядины.

— На сытый желудок, — философствует он, — все выглядит несколько проще.

Они проходят мимо рынка Ле-Алль, необычно пустынного в этот поздний час — голодный Брингас, безучастный ко всему адмирал, размышляющий о предстоящей дуэли дон Эрмохенес.

— Разрушенные семьи, — жалуется он, — сироты, вдовы... И все из-за одного злосчастного слова «честь», которое, по большому счету, никого не волнует. Зато благоразумие называют трусостью.

— Не в этом дело, — бормочет дон Педро, словно говорит сам с собой.

— Не в этом?

— Нет, ни в коем случае.

Дон Эрмохенес смотрит на него раздосадованно. Фонари остаются позади, и черты лиц едва различимы. Возможно, поэтому высокая и худая фигура адмирала кажется особенно одинокой.

— О чем бы ни шла речь, — говорит библиотекарь, — если бы я был у власти, любой, кто предложит дуэль, был бы немедленно изгнан из страны, погибший на дуэли похоронен на том же самом месте, а убийца посажен в тюрьму без разговоров!

— А как же ваша доброта, дон Эрмес? — с чуть заметной иронией спрашивает адмирал.

— Избавьте меня от софизмов, дорогой друг. Всему есть мера. Так и знайте: дуэлянтов — в тюрьму!

— А может, петлю на шею? — предлагает Брингас.

— Я против сметной казни, сеньор.

— Да что вы? А мне она кажется обычной гигиенической процедурой. И, как правило, очень своевременной. Как для дуэлянтов, так и для всех остальных.

Они остановились напротив харчевни — невзрачного домишки со стеклянным фонарем, освещающим бычью голову, намалеванную на двери в качестве вывески заведения.

— А с другой стороны, — неожиданно произносит адмирал, — следует быть признательными французам за то, что они любят драться. Благодаря дуэли — или, может быть, одной лишь возможности того, что ты можешь принять в ней участие, — французам свойственна величайшая учтивость... Испанское хамство во многом происходит от безнаказанности.

— Вы шутите? — спрашивает библиотекарь.

— Нет, что вы... Точнее, не совсем.

— Господи, дорогой друг. — Дон Эрмес кладет руку на плечо адмирала. — А что, если вас убьют?

— Тогда вам придется одному продолжать поиски «Энциклопедии».

Брингас приосанивается, напыщенно и пафосно.

— В этом случае, сеньор, вы всегда можете положиться на меня. Я к вашим услугам!

— Bидите? — Дон Педро, глядя на библиотекаря, с легкой иронией указывает кивком на аббата. — Нет худа без добра. У вас замечательный помощник.

— Не нахожу причины для радости. Я все равно ничего не понимаю.

— Чего именно вы не понимаете?

— Перемены в вашем поведении. Вашу необъяснимую готовность участвовать в этом безобразии.

Свет фонаря освещает мягкую и печальную улыбку адмирала. Сейчас кажется, что между ним и доном Эрмохенесом пролегла пропасть.

— А вам не приходило в голову, что мне самому хотелось сразиться на дуэли?

Парижская дуэль застала меня врасплох, поскольку о ней ни слова не упоминалось в протоколах, составленных секретарем Палафоксом, которые я изучил первым делом. Ни Виктор Гарсиа де ла Конча, ни дон Грегорио Сальвадор, ни кто-либо еще из академиков, которые беседовали со мной об этом деле, не смог этого подтвердить. Однако письмо, которое я обнаружил среди бумаг, предоставленных мне Хосе Мануэлем Санчесом Роном, не оставляло сомнений. Клочок бумаги, исписанный рукой дона Эрмохенеса Молины и прояснявший эти события, — это было предпоследнее письмо из тех, что библиотекарь написал из Парижа, — не слишком изобиловал подробностями. Возможно, существовало другое письмо, более содержательное; в таком случае оно было уничтожено, предположил я, чтобы избежать ответственности и непредвиденных последствий. Что касается сохранившегося документа, сперва я подумал, что плохо разбираю затейливый почерк дона Эрмохенеса, однако после повторного прочтения стало совершенно очевидно: дуэль состоялась. В своем письме, написанном уже после того, как адмирал и Коэтлегон сразились на шпагах, о ней говорилось очень уклончиво; с другой стороны, осмотрительность вполне логична в том случае, когда речь идет о происшествии, которое как во Франции, так и в Испании Карлом Третьим объявлено тягчайшим преступлением:

*Неприятное происшествие, причиной коего стала оскорбленная честь, повлекло за собой соответствующие последствия, которые угрожают жизни моего товарища и ставят нас обоих в крайне двусмысленное положение...*

Вот, собственно, и все. Точнее, почти все. Восстановить мизансцену, описать все подробности события, происшедшего в тот трагический день в Париже, его преамбулу и развязку, предстояло мне самому. Прежде чем взяться за это дело, я обратился к нескольким текстам и освежил старые познания об искусстве фехтования, которое неплохо изучил двадцать с чем-то лет назад, когда писал роман «Укол шпагой». Парочка старинных трактатов, таких как, например, известнейшее сочинение маэстро Гусмана Роландо, — мой экземпляр книги до сих пор хранит карандашные пометки, которые я оставлял во время тогдашней работы, — позволили мне вновь применить базовые знания этой непростой науки. Что же касается протокола дуэли, я рассчитывал на пособия восемнадцатого века, имеющиеся у меня в библиотеке, включая «Итальянский рыцарский кодекс» Джелли; несмотря на то что все они появились позже эпохи, во времена которой развивались события моего романа, средства, применяемые для решения вопросов чести, за столетие изменились мало. Кроме того, я перечитал Казанову, Ретифа де ла Бретонна, Шодерло де Лакло — было забавно представить автора «Опасных связей» в роли секунданта. Все это позволило мне напитать повествование привкусом той эпохи. Таким образом, техническая сторона вопроса была решена — от этикета и протоколов до развития самых драматических событий этой дуэли, точное место которой я разыскал в дневнике «*Flagrants délits sur les Сhamps Élysées* »[[81]](#footnote-81), принадлежавшем перу швейцарца Фердинанда Федеричи, который за свою скромность и опытность в подобных делах был назначен дуэлянтами главным наблюдающим.

Сопутствующими мелочами, как то: диалоги персонажей, их реплики и замечания, а также противоречие между осуждением поединков со стороны сторонников просвещения и реальным положением дел в тогдашней Франции и Испании — пришлось заниматься отдельно. Взгляд на события глазами адмирала, библиотекаря и аббата Брингаса требовал точности, которой невозможно было добиться, отталкиваясь от понимания современности. Уверенность в том, насколько опасно судить о прошлом с эстетических позиций настоящего, заставила меня еще до того, как я сел за изложение диалогов и ситуаций, разобраться в психологии дуэлянтов и в целом общества той эпохи. И тут мне вновь помогли книги. Одной из них была «Дуэль в истории Европы» Киернана; несмотря на свою несколько путаную структуру и излишний англоцентризм, она навела меня на верные мысли, которые я затем вложил в уста дона Эрмохенеса и аббата Брингаса. Также в высшей степени мне пригодилось эссе «Дуэль в произведениях просвещенных академиков» моего приятеля по Королевской академии Сантьяго Муньоса Мачадо; в этом труде я с приятным удивлением обнаружил упоминание о доне Эрмохенесе Молине — точнее, имелась в виду брошюра «Устаревшее понятие чести и прочие размышления о нравственности», которую библиотекарь написал вскоре после своего возвращения из Парижа. Что касается размышлений о нравственности, а также противоречий с доном Педро Сарате, которого можно признать примером человека, не чуждого интеллектуальной притягательности просвещения, но не отказавшегося при этом от традиций и побуждений, берущих начало в старинном понимании чести, эту задачу я решил с помощью размышлений, которым другой просвещенный испанец, Гаспар де Ховельянос — одна из трех теней, реющих над этой книгой (две другие — Кадальсо и Моратин), — предавался на протяжении всего своего творчества, особенно в театральной пьесе «Благородный преступник», где описываются душевные муки человека либеральных убеждений, пойманного в ловушку чести и вины.

Однако, чтобы взяться за описание дуэли между доном Педро и Коэтлегоном, мне предстояло уточнить одну первостепенную вещь, а именно: способен ли физически здоровый мужчина шестидесяти двух — шестидесяти трех лет — не нынешний, а из последней трети восемнадцатого века — сразиться на шпагах с молодым противником. Понимая причины, побудившие адмирала отказаться от пистолета как орудия дуэли — в самом деле, в неверном свете зари зрение шестидесятилетнего человека может стать причиной смертельной ошибки, — следовало проверить, как будет чувствовать себя человек этого возраста со шпагой или кинжалом в руке. В этой связи я обратился к моему доброму другу, писателю, журналисту и опытному фехтовальщику Хасинто Антону и попросил его помочь мне сдуть пыль с моих ржавых клинков — вот уже двадцать пять лет я не переступал порога фехтовального зала — и помериться силами. Точнее сказать, измерить возможности адмирала Сарате. Потому что я собирался наделить моего героя своими собственными силами.

Хасинто разбил меня в пух и прах. Восемь батманов в первых же атаках! Все это происходило в галерее маэстро Хесуса Эсперансы, расположенной в точности позади Королевской академии. Придя после подобного вступления к неутешительному выводу, что атака мне не по зубам, поскольку разница в возрасте мигом все расставила по местам, я решил занять классическую оборонительную позицию, то есть отражать атаки, а не атаковать противника самому. Дальше дело пошло лучше, я более-менее владел ситуацией, почти не рисковал и уставал гораздо меньше; в конце концов Хасинто, напористый и нервный, как всякий фехтовальщик в отличной форме, нанес пару не слишком удачных ударов, которые, вероятно, дорого стоили бы Коэтлегону в поединке чести. Поэтому я снял маску, весьма довольный собой. Практика показала, что возможности адмирала в сравнении с более юным противником были вполне удовлетворительны.

Хасинто принадлежал к исключительной породе: преданный друг, бывалый путешественник, начитанный и образованный. Его природная доброта, оттененная благородной отвагой — он специалист по авантюристам и искателям приключений от Лоуренса Аравийского до Руперта де Хенцау и прочих знаменитых книжных драчунов, — могли бы отлично послужить для образа дона Эрмохенеса. С фехтовальной маской в одной руке и рапирой в другой он осведомился, доволен ли я. Лицо его было покрыто капельками пота.

— Еще как, — ответил я. — Ведь я жив!

— Если твой персонаж собирается выйти из поединка живым и невредимым, он должен выбрать оборонительную тактику, — сообщил он. — В твоем возрасте, нападая, человек быстро теряет силы и выдыхается.

Я был полностью с ним согласен, поскольку только что убедился в этом на личном опыте.

— Ты прав. На первых же минутах рука у меня так затекла, словно шпага была из свинца. — Я коснулся груди, скрытой нагрудником. — Своими последними батманами ты меня буквально изрешетил!

— Серьезно? А выглядишь ты неплохо! А что твой адмирал, тоже ничего себе?

— Более-менее. Учитывая преклонный возраст, можно сказать, что он отлично сохранился.

— Я бы предпочел пистолет, если он хороший стрелок.

— Думаю, стрелок он неплохой, но его беспокоило зрение. Утренний свет и все такое, сам понимаешь.

Хасинто согласно кивнул.

— Ладно, пусть будет так... А знаешь ли ты, что Бласко Ибаньес, писатель, участвовал в дуэли на пистолетах?

— Понятия не имел.

— Представь себе. В двадцатые годы. В двадцати пяти шагах и *a outrance*[[82]](#footnote-82), как тогда говорили... Ты же наверняка в курсе, что Бласко был республиканец и как-то раз у него вышла размолвка с военным, закончившаяся дуэлью. Они сделали два выстрела, и соперник попал ему в живот, однако писателю повезло: пуля угадила в ремень. Тем все и кончилось.

Не снимая нагрудников, мы отправились умыться. Скрупулезного Хасинто в первую очередь интересовали технические подробности.

— Твой академик дрался на шпагах, клинках или рапирах?

— На шпагах, скорее всего. На тех тонких и легких шпагах, которые использовали в то время.

— Отлично... Значит, шпага. Шпага с гардой и треугольным сечением стала популярной на дуэлях чуть позже. По сути дела, это была рапира: восьмидесятисантиметровый клинок. Думаю, вполне сгодится для твоего адмирала... А чем закончилась эта дуэль?

Я улыбнулся, вытирая лицо салфеткой.

— Пока не решил.

— Да? В таком случае надеюсь, что он победит.

Я представил себе адмирала, худого и высокого, с рапирой в руке. На лугу раннем утром. И дона Эрмохенеса, печально взирающего на своего друга.

— Я тоже надеюсь, что все кончится хорошо.

Несмотря на то что сейчас всего только полдень и дело идет к обеду, дон Педро Сарате, который по сложившейся традиции платит из своего кошелька, хладнокровно и с черным юмором назвал этот обед «последним ужином». Вместе с доном Эрмохенесом и аббатом Брингасом адмирал занимает стол на нижнем этаже трактира «Алигр», расположенного в самом сердце Сент-Оноре: это помещение из двух залов, оформленных в стиле испанской таверны, которое, с одной стороны, предлагает публике богатый выбор французских блюд — виднеются прилавки с сырами и ветчиной, судки с горчицей, сосиски, подвешенные гирляндами чуть ли не с художественной изысканностью, — с другой — изысканный ресторан, рассчитанный на публику, которая может позволить себе платить по двенадцать франков с человека. Но это особенный день, и трое участников застолья не ведают, сколько еще дней осталось в запасе у адмирала. Меню, которому они отдают предпочтение — сдобренное бутылочкой шамбертена и лафита, — соответствует обстоятельствам: паштет из пулярки с трюфелями Ле-Саж, форель из Женевского озера, рыжая куропатка по-керсийски и страсбургские сосиски — последние аббат Брингас нахваливает особенно рьяно, поскольку, как он утверждает, они предотвращают цингу, очищают кровь и оздоровляют гуморы.

— В семь часов утра, за площадью Звезды, в двухстах шагах от кофейни, расположенной в конце Елисейских полей, — сообщает дон Эрмохенес. — Коэтлегон с секундантом прибудут в фиакре, взятом напрокат, а мы выедем им навстречу в своем экипаже.

— Заметьте: у каждого противника будет двое секундантов, — уточняет адмирал.

— Да-да, разумеется: с вашей стороны — аббат и я. С его — Лакло и тот, второй их приятель... Мы решили все обставить как можно скромнее, чтобы, по возможности, избежать пересудов.

Адмирал сдерживает ироничную улыбку.

— Вы все отлично предусмотрели, дорогой дон Эрмес... Всякий бы подтвердил, что вы пытаетесь обеспечить мне положительный exitus всеми законными способами.

Библиотекарь возмущенно роняет на тарелку вилку с сосиской, которую только что нес ко рту.

— Как вы можете так говорить? Я...

— Да ладно вам, я пошутил. Не сердитесь и ешьте дальше.

— Как же мне не сердиться? И как продолжать ужин, услышав такие речи? Если это шутка, то она вовсе не смешная, сеньор адмирал. Ни в малейшей степени!

— Ладно-ладно, простите меня. — Все еще улыбаясь, адмирал делает глоток вина. — А в посольстве про это знают?

— Надеюсь, что нет... Хотя мне бы больше всего хотелось, чтобы им стало известно и чтобы они предотвратили это безумие.

Адмирал посерьезнел. Сейчас он смотрит на дона Эрмохенеса почти сурово.

— Сделайте все возможное, чтобы этого не случилось.

— Не беспокойтесь. — Дон Эрмохенес сглатывает слюну. — Я же дал вам слово. Об этом будем знать только мы, непосредственные участники.

Дон Педро поворачивается к Брингасу:

— А вы, аббат?

— Мой рот запечатан наглухо, не беспокойтесь, — обещает аббат, уписывая ужин за обе щеки. — Могу ли я лишить себя такого зрелища? Да ни за какие коврижки!

Библиотекарь смотрит на него с осуждением.

— Такое впечатление, что вас только обрадует, если адмирал и Коэтлегон поубивают друг друга... При этом я сам слышал однажды, как вы критикуете дуэли.

— Ничего личного, — ответствует Брингас, ни капли не смутившись. — Я, разумеется, очень ценю сеньора адмирала, а Коэтлегон, по моему мнению, пижон и дурак. Мое удовлетворение объясняется причинами более глубокими, чем личная приязнь или неприязнь.

— Понимаю, — кивает адмирал.

Сбитый с толку, дон Эрмохенес смотрит то на одного, то на другого.

— А я совершенно ничего не понимаю, — признается он.

— Сеньор аббат имеет в виду концептуальную сторону дела, — поясняет адмирал. — С этой точки зрения забавляет то, что мы, глупцы, становимся жертвами собственной глупости. И он прав.

Брингас протестует, прижав руку к заплатке на камзоле, которая располагается аккурат на уровне сердца.

— Да я никогда бы не осмелился...

— Ничего, забудьте. — Адмирал поворачивается к дону Эрмохенесу: — Кто еще собирается присутствовать?

— В третьем экипаже прибудет доктор и распорядитель дуэли. Для этой роли Лакло пригласил мсье Бертанваля, энциклопедиста, которому можно доверять. Мне показалось, что это правильное решение.

— И мне так кажется. Этот господин был очень любезен, согласившись участвовать.

— Он сказал, что не может отказать коллеге-академику.

— Еще бы, — недобрым голосом добавил Брингас. — А заодно отказать себе в удовольствии увидеть, как вы выпустите друг другу кишки.

Дон Эрмохенес смотрит на него с неприязнью. Затем переводит глаза на свою тарелку, опустошенную наполовину, и отодвигает ее с видом человека, потерявшего аппетит.

— Особое внимание следует уделить обуви, — скромно говорит он. — В этот час трава на лугу мокрая. Можно поскользнуться.

— Я позабочусь об этом, — заверяет его адмирал, не изменившись в лице. — А что у нас с оружием?

— Два офицерских эспадрона, абсолютно одинаковые. Оба являются собственностью Коэтлегона. Он знает, что у нас нет оружия, и готов одолжить свое. Я на всякий случай раздобыл точно такую же шпагу, во всяком случае, очень похожую, чтобы сегодня вечером вы могли немного поупражняться... Вы просто обязаны прислушаться к моему совету и посетить какой-нибудь фехтовальный зал, чтобы как следует размяться. Вспомните атаки, батманы и прочие старые трюки.

— В этом нет необходимости. Время от времени я тренируюсь в Мадриде, в Военном кружке, чтобы немного поупражняться. И старые трюки, как вы изволили выразиться, я все отлично помню. Особенно самый главный, наиболее подходящий для моего возраста: защищаться, терпеливо дожидаясь, когда противник допустит ошибку.

— А я лично уверен, что вы заколете этого типа, — заявляет Брингас, не прекращая жевать. — Его самого, а также надменность и разврат, которые он собой олицетворяет...

— Если вас это так беспокоит, — упрекает его дон Эрмохенес, — могли бы и сами вызвать его на дуэль.

Вилка на секунду застывает в руке Брингаса: откинувшись на стуле, он презрительно смотрит на библиотекаря.

— Мое дело — не шпага и не пистолет, дорогой сеньор. Мое дело — предупредить, пока что лишь метафорически, о том, что тиранов и их приспешников в ближайшем будущем ожидает эшафот. Скоро мы услышим страшный грохот Истории! А мое орудие — это сила моего пера: *Longa manus calami!*[[83]](#footnote-83) Про это вы уже слышали... Да, чуть не забыл: сосиски превосходные!

Дон Эрмохенес его не слушает. Он повернулся к адмиралу, на лице его написана искренняя печаль:

— Вы думаете, у нас все будет хорошо?

Дон Педро вновь улыбается, на этот раз теплее и мягче.

— Спасибо вам за это множественное число, дорогой дон Эрмес. Но, признаться, я не знаю. В таких делах приемы и ловкость решают далеко не все: удача должна подкинуть козырного туза.

— Главное — быть хладнокровным. А еще меня беспокоит, что вас будто бы не заботит предстоящая драка!

— Очень даже заботит. У меня нет ни малейшего желания завтра на рассвете испустить дух. В первую очередь я думаю о моих сестрах... Тем не менее есть вещи, которые невозможно предусмотреть. Существуют определенные правила.

— Нелепые, абсурдные правила, адмирал! Дело в том, что понятие чести...

— Я говорю не об этой разновидности правил. Я имею в виду вещи более личные. Более интимные.

Наступает тишина, нарушаемая лишь жеванием аббата. В ресторане приятно пахнет — специями, копченостями и соленьями, — этот запах бодрит и усиливает аппетит. Несмотря на это, адмирал едва притрагивается к своему блюду, да и дон Эрмохенес не слишком усердствует в поедании пищи. И только Брингас, как всегда, старается за всех. Этот ресторан, пояснил он, когда они делали заказ, не имеет ничего общего с нищим пансионом на улице Мове-Гарсон, где он обычно кое-как перекусывает бок о бок с работягами и торговцами рыбой. Да и то лишь в тех случаях, когда может себе это позволить за шесть чертовых сольдо.

— Да, вот еще что, — говорит библиотекарь с таким видом, словно тщательно все обдумал, прежде чем обсуждать с остальными. — Понадобятся два письма, одно подписанное Коэтлегоном, другое — вами. Они пригодятся, если... В общем, в них вы поясните, что полученные повреждения нанесли себе сами и никого не надо в них винить.

Адмирал слушает его равнодушно.

— Напишу сегодня вечером.

Дон Эрмохенес кладет руку ему на плечо.

— Вы понимаете, что, если вы... гм... если случится несчастье, тот, кто прочтет это письмо, сочтет, что вы покончили с собой?

— И что?

— Это не христианская кончина, дорогой друг!

— Никогда не мечтал о христианской кончине.

На миг Брингас отвлекается от еды, поднимает глаза на адмирала и согласно кивает.

— Это делает вам честь, сеньор. Иного я и не ждал.

Дон Эрмохенес отнюдь не разделяет восторгов аббата.

— Печально от вас это слышать. Но, быть может, в последний час...

Адмирал смотрит на него с непривычной холодностью.

— Печально, но придется. Если завтра я получу дырку в груди, мне не хотелось бы тратить последние силы на то, чтобы послать к черту исповедника, если вы его вдруг приведете... Я понятно выражаюсь?

— Понятнее не бывает...

Их беседу прерывает Понталье, хозяин заведения: он приносит письмо, запечатанное сургучом. Прибыл лакей в ливрее, объясняет он, и передал для мсье это послание. Точнее, для одного из них: адмирала дона Педро Сарате. Посыльный сперва направился в гостиницу «Кур-де-Франс» на улице Вивьен: там ему и объяснили, где обедает адресат.

— Дайте взглянуть, — требует адмирал.

Брингас и библиотекарь с любопытством смотрят на адмирала, пока тот разламывает сургуч и читает письмо, однако его непроницаемое лицо не выражает ровным счетом ничего. В конце концов дон Педро складывает листок пополам и прячет за обшлаг рукава. Затем достает из жилетного кармана часы, открывает крышку и смотрит, который час.

— Прошу прощения, сеньоры, но, как только мы закончим обед, мне придется отлучиться по одному делу.

— Неприятному? — нервничает дон Эрмохенес.

— Не знаю.

— Сугубо личному?

Взгляд адмирала непроницаем.

— Похоже на то.

Улицу Сент-Оноре не сравнить с Версалем, однако чем-то они похожи, думает Педро Сарате, шагая по улице Сент-Оноре. Здесь есть своя собственная стоянка экипажей всех типов, прогуливаются прилично одетые господа, а дамы то и дело выныривают из магазинов, чтобы вновь исчезнуть в их недрах. Такое впечатление, что эта оживленная артерия Парижа и прилегающие к ней улицы созданы исключительно для торговли. В лабиринте модных пассажей, парфюмерных лавочек, кофеен и роскошных бутиков можно встретить чуть ли не половину города: Сен-Жермен, Шоссе-д'Антен; Монмартр, Марэ, — по словам Брингаса, за день их буквально опустошают. Добрая часть завсегдатаев прибывают сюда пешком, в фиакре, в берлинке, в кабриолете, не чтобы купить что-то заранее намеченное, а чтобы прошвырнуться по магазинам, пообедать, выпить кофе, людей посмотреть, себя показать.

Внимательно изучая номера домов и вывески магазинов, адмирал попадает в нужное место: оно расположено между лавкой, торгующей цветной бумагой, и магазином перчаток. Вывеска вызывает у него улыбку: «*Mlle. Boléro, chapeaux à la mode* »[[84]](#footnote-84). Возле дверей — витрина с лентами, помпонами, перьями, куфиями и шляпками разнообразных форм и расцветок. Дон Педро толкает дверь, которая приветствует его звоном колокольчика, снимает шляпу и проходит внутрь. Колокольчик привлекает внимание двух хорошеньких девушек, которые сидят возле прилавка, подшивая шляпки для кукол, — эти куклы, адмирал уверен, в скором времени отправятся во все столицы Европы, от Мадрида до Константинополя или Санкт-Петербурга, одетые по последней моде, в роскошных шляпках от мадемуазель Болеро.

— День добрый.

Навстречу ему выходит дама среднего возраста и с приятным лицом. На ней скромное платье из темного атласа, волосы убраны на испанский манер.

— Я — дон Сарате... Думаю, вы меня ждете.

Марго Дансени сидит в маленьком патио, покрытом стеклянной крышей, за садовым столиком, окруженным растениями в цветочных горшках. На столике — чайный сервиз тончайшего фарфора.

— Спасибо, что пришли, сеньор.

Дон Педро садится в одно из кресел. Когда он вновь поднимает глаза и смотрит на дверь, оказывается, что встретившая его дама уже исчезла.

— Это моя близкая подруга, — объясняет мадам Дансени. — Испанка, как мы с вами. Шьет мне шляпки много лет подряд. Я полностью ей доверяю.

Адмирал рассматривает свою собеседницу. Платье, зауженное в талии, пышная юбка, серый шелк, расшитый мелким цветочком, и муслиновый платок, завязанный на уровне декольте. Волосы забраны сеткой, которая очаровательно сочетается с соломенной шляпкой с широкими полями, без сомнения, изготовленной в мастерской мадемуазель Болеро. Большие темные глаза смотрят на адмирала с беспокойством.

— Мне нужно было увидеть вас перед тем, что произойдет завтра.

Адмирал мягко улыбается.

— Я в вашем распоряжении.

— Не подумайте, что Коэтлегон — забияка, который только и делает, что ищет с кем бы подраться... На самом деле он вовсе не плохой человек.

— Я никогда так не думал.

Она открывает и снова складывает перламутровый веер, чья родина ясно обозначена в очертании цветов и птиц.

— Но он безумно ревнив.

На губах дона Педро проскальзывает улыбка.

— У него нет ни малейших оснований для ревности, — сухо ответствует он.

— Ни малейших.

Некоторое время оба молчат. Наконец мадам Дансени нетерпеливо пожимает плечами.

— То, что произойдет завтра, — безумие. Я хочу помешать этому.

Вновь повисает молчание. Адмирал ищет и не находит ответа и вместо этого рассматривает руки мадам Дансени: красивые, ухоженные, с синеватыми жилками, выдающие в ней особу изысканных кровей.

— Коэтлегон слишком горд, — внезапно произносит она. — Он уверен, что его обидели. Вы его выставили заносчивым обманщиком.

— Но он в самом деле солгал, — невозмутимо отвечает адмирал.

— Он был взбешен.

— Даже в бешенстве люди ведут себя по-разному... Он вел себя недопустимым образом.

Мадам Дансени смотрит на него капризно и одновременно умоляюще.

— Неужели нет никакого выхода?

— Боюсь, что я вас не понимаю, мадам Дансени.

— Пожалуйста, зовите меня Марго.

— Мне кажется, я не понимаю вас, Марго.

Она берет чайник и разливает дымящуюся жидкость по чашкам. Когда она склоняется ближе, он различает запах ее духов. Нежный, словно розовый бутон.

— Не могли бы вы как-то иначе удовлетворить его уязвленную гордость, отменив дуэль? Извиниться или что-то в этом роде?

Адмирал меланхолично улыбается.

— Это невозможно, сеньора.

— Просто смешно, что гордость двоих мужчин...

— Мне жаль, но я ничем не могу помочь, мадам Дансени.

— Я просила звать меня Марго.

— Ничем не могу помочь вам, Марго.

Она делает глоток чая и ставит чашку на блюдце, задумчиво открывая и закрывая веер, словно пробуя его на прочность.

— Причина во мне, — чуть слышно говорит она.

— Да, но я здесь ни при чем.

— Мы оба при чем. Вы действительно ни в чем не виноваты. Вы совершенно невинны. Дело во мне. И еще в том, что Коэтлегон безумно ревнив.

— Но ведь я не подавал ни малейшего повода!

Мадам Дансени закрывает веер и подносит его ко рту.

— Честно говоря, не уверена.

Она поднимает лицо и заглядывает адмиралу прямо в глаза.

— Я попросила вас прийти, сеньор, потому что чувствую свою ответственность.

Он тянется за чашкой, но отдергивает руку, так и не коснувшись ее.

— Выбросьте это из головы, — говорит он. — Это глупость.

— Вовсе не глупость. И еще хочу добавить, что ценю вашу деликатность. Ваше редкое благоразумие.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

Марго Дансени снова смотрит на веер.

— Значит, я совсем ничего не могу сделать, чтобы предотвратить этот кошмар?

— Ничего.

— Видите ли, он... Я не хочу вас обидеть, сеньор адмирал... Но ваш соперник...

— Что, молод?

Наконец дон Педро берет свою чашку и подносит ее к губам. Он замечает, что его собеседница в отчаянии качает головой.

— Все будет так, как должно быть, — произносит он, ставя чашку на стол.

— Боюсь, вы неверно истолковали мои слова. Вы не... Слово *старый* не очень-то вам подходит.

Последнее она произнесла с очаровательной улыбкой, способной растопить весь шоколад на улице Сент-Оноре. Дон Педро чувствует неловкость. То, что он услышал, прозвучало необычно. Он не привык такое слышать. Вот уже очень давно он не слышал ничего подобного.

— Так вы действительно участвовали в битве при Тулоне? — внезапно спрашивает она.

— Участвовал.

— И это была ужасная битва?

— Лучше сказать, сложная.

— Должно быть, грандиозное зрелище.

— Я не видел зрелища. — Адмирал опустил веки, словно его ослепила далекая вспышка. — Я был на нижней палубе, командовал второй батареей корабля. И ничего не видел, кроме пушек и дыма. Крики, шум, адская жара... И ни малейшего зрелища.

Она подносит веер к подбородку.

— А эта отметина у вас на лице, вы ее получили в тот день?

Адмирал машинально касается пальцами шрама.

— Да.

— Картечь?

— Осколок.

— Боже мой. — Она выглядит испуганной. — Вы могли ослепнуть!

— Вы преувеличиваете.

— Было бы очень жаль — у вас очень необычные глаза, сеньор. Они всегда такими были? Такими светлыми, влажными и холодными?

— Не могу сказать.

На этот раз пауза затягивается. Оба пьют чай молча.

— Совсем забыла, — говорит в конце концов мадам Дансени — спокойно, словно ей трудно было закончить разговор, который они вели мгновение назад. — Мой супруг, который отбыл в наше поместье в Версале, чтобы заняться неотложными делами, оставил для вас послание.

Адмирал смотрит на нее с удивлением.

— Он знает о завтрашнем поединке?

— О, конечно, нет! Мы сделали все возможное, чтобы ему ничего не стало известно. Он бы очень расстроился.

— Понимаю... И что это за послание?

— Умер один его друг, адвокат Эно: неисправимый библиофил, подобный ему, такой непременно держит про запас «Энциклопедию». Мой муж знаком с его вдовой, которая, к слову сказать, никогда не разделяла страсти покойного супруга. Он уверял, что как только библиофил умрет, библиотека в ближайшие же дни последует на улицу через ту же дверь, через которую вынесли тело... В общем, он написал рекомендательное письмо для вас на тот случай, если вы захотите с ней связаться.

— Очень вам признателен, сеньора. Передайте от меня благодарность мсье Дансени.

— Полагаю, в ближайшее время вас вряд ли будут интересовать энциклопедисты и все, что с ними связано. Но, так или иначе, возможность есть. Если завтра все будет хорошо...

— Для кого? — шутит дон Педро. — Для сеньора Коэтлегона или для меня?

Она с деланой беспечностью обмахивается веером.

— О, я имею в виду обоих. Разумеется, обоих! Я не хочу, чтобы кто-то из вас был ранен. Мне сказали, что поединок будет продолжаться до первой крови, так вот, пусть он закончится пустяковой царапиной!

— Я тоже на это рассчитываю. В любом случае, знайте, что для меня было большой честью познакомиться с вами. Я очень рад нашей встрече.

Мадам Дансени становится серьезной. Она закрывает веер и кладет его на колени.

— Мне жаль, что все это произошло при мне.

— Любая мелочь, связанная с вами, перестает таковой быть.

Она смотрит на него с притворным простодушием.

— А вы женаты, сеньор?

— Нет. И никогда не был.

— И о вас никто не заботится?

— У меня есть две сестры. Они тоже не замужем.

Глаза мадам Дансени искрятся любопытством. Она смотрит на него почти с нежностью.

— Это просто восхитительно.

Они смотрят друг на друга. Губы Марго Дансени чуть приоткрыты, словно ей трудно дышать. Ровная белая линия ее шеи продолжается под муслином выреза, напоминая шею прекрасного лебедя. В следующее мгновение она касается пальцами чайника и недовольно убирает руку, словно на ее вкус он слишком прохладен.

— Когда «Энциклопедия» будет у вас, вы, я полагаю, покинете Париж. Вместе с вашим другом.

— Именно так все и произойдет. В том, разумеется, случае, если мне позволит здоровье.

— Что вы такое говорите! — В темных глазах вновь блеснул огонек, на этот раз чуть иначе. — Не надо так говорить. Я уверена, что...

— Мне будет жаль, что я вас больше не увижу.

— Вы серьезно? Вам будет жаль, что вы меня больше не увидите?

Она явно смущена. Дон Педро не отвечает. Он лишь выдерживает ее взгляд.

— Ну и ну, — шепотом говорит она.

Затем снова берет в руку веер. Открывает его и энергично обмахивается.

— Сделаем вот что, сеньор адмирал. Когда вся эта досадная неприятность останется позади, приходите ко мне в гости, позавтракаем вместе.

— Не понимаю вас. — На этот раз смущен адмирал. — Но боюсь...

— Не бойтесь ничего. Я приглашаю вас позавтракать, это самое обычное приглашение на свете. Вы ведь знаете, я часто приглашаю своих друзей. Мы читаем философские книги и смеемся. Мне бы хотелось видеть вас у себя.

— Это для меня честь, — все еще сомневается он. — Однако столь интимная обстановка...

— О, сеньор. Не разочаровывайте меня. Я знаю, что в Испании нет такого обычая, но я все равно в вас верила, несмотря ни на что... Я-то думала, вы кровожадный дуэлянт, а вы, оказывается, святоша.

Адмирал от души хохочет.

— Да, вы правы. Что мне нужно сделать, чтобы реабилитироваться?

— Как что? Принять мое приглашение!

— В таком случае я согласен.

— Отлично, договорились... Если все получится, а я очень на это надеюсь, жду вас у себя в ближайшие дни. Позавтракаем вместе.

При свете масляного фонаря в комнатенке пансиона «Король Генрих» Паскуаль Рапосо ставит подпись и посыпает письмо песком, чтобы высохли чернила. Затем перечитывает содержание, уделяя особое внимание одному из параграфов:

*Мои местные агенты сообщили, что затронут вопрос чести между одним из путешественников и французским кабальеро. Все выяснится в ближайшие часы известным способом. Трагический исход был бы нам очень кстати* ...

Опасаясь, что его не поймут, — разумеется, компрометировать себя, упоминая имена и подробности, также не стоило, тем более в письмах, которые неизвестно в чьи руки в итоге попадут, — Рапосо вновь обмакивает страусиное перо в чернила и одной чертой подчеркивает слово «выяснится». Затем складывает листок пополам, пишет адрес, снова сыплет песок, растапливает на огоньке свечи кусок сургуча и роняет несколько капель на край листа с обратной стороны получившегося конверта. Затем, оставив конверт на столе, прикуривает от свечи сигару, встает и открывает окно. Печка греет слишком сильно, и в комнате жарко. В одной рубашке, сложив руки на груди, он курит, глядя на улицу, где здания и лачуги лепятся к изгороди кладбища Невинных, смутно проступая в уличных сумерках. Над ними, едва просвечивая сквозь низкие облака, в небе, которое окончательно еще не почернело, брезжат ранние бледные звезды.

В дверь стучат. Рапосо смотрит на часы и удивляется, поскольку не ждал Генриетту так рано. Воспоминание о молодом и жадном теле, таком горячем и нежном под рубашкой, обжигающих бедрах и соблазнительной прохладе юных девичьих грудей мгновенно распаляет воображение. Однако плотоядная улыбка, которая все отчетливее появляется на его губах по мере того, как он приближается к двери и открывает ее, мигом исчезает, когда вместо Генриетты он видит на пороге ее папашу. Хозяин гостиницы надел фрак и повязал галстук — нечто весьма необычное для человека, который целыми днями в сюртуке и рубашке сидит у входа и курит свою трубку, — и теперь выглядит на редкость официально, что лишь подчеркивает мрачное выражение физиономии, когда он смотрит на Рапосо и после недолгого колебания осведомляется, могут ли они поговорить. Рапосо отходит в сторону, пропускает его в комнату и, зажав сигару в зубах, наблюдает за тем, как мсье Барбу озирается, осматриваясь: запечатанное сургучом письмо на столе, висящая на стене сабля, портрет Людовика Пятнадцатого, прилепленный к стене хлебным мякишем. В конце концов хозяин останавливается возле кровати, устремив на нее грустный, почти страдающий взгляд.

— Неприятное дело, мсье, — говорит он. — Очень неприятное.

Рапосо пододвигает ему стул, и тот присаживается, в то время как Рапосо садится поверх сбитых простыней своего ложа.

— Я пришел поговорить с вами как отец, а не как владелец этого заведения.

Его тон полностью соответствует выражению лица. Неприятный, напыщенно-мещанский. Даже, пожалуй, торжественный.

— Речь идет о Генриетте.

Рапосо прикрывает глаза и глубоко затягивается сигарой.

— Слушаю вас, — говорит он.

Хозяин мнется. Если бы Рапосо не прожил в пансионе «Король Генрих» пару недель, он бы решил, что тому стыдно.

— Это наша единственная дочка, — решается наконец хозяин.

Множественное число звучит красноречиво, соображает Рапосо. Оно говорит о многом. Люди, приходит он к выводу, вновь затягиваясь сигарой, редко обращают внимание на множественное или единственное число. А затем случается то, что случается.

— И что?

— Ее мать и раньше намекала, мсье. У нее были кое-какие сомнения... И вот... Мы допросили Генриетту. И она во всем призналась.

Сидя на кровати, Рапосо посасывает свою сигару. Он невозмутим.

— И в чем же она призналась?

— Видите ли... Думаю, вы меня понимаете, мсье.

— Как бы не так. Я ничего не понимаю.

Повисает тишина. Барбу снова осматривает комнату. На сей раз его внимание привлекает портрет покойного короля, словно в нем он находит достоинство, которого ему так не хватает, чтобы продолжать то, что пришел высказать.

— Видите ли, честь... — начинает он и снова смолкает.

— Что не так с моей честью?

— Я имею в виду не вашу честь, мсье. Я говорю о дочери. Честь Генриетты.

Хозяин вновь умолкает, смутившись. Взгляд его становится почти умоляющим, словно он просит хитроумного Рапосо о помощи, дабы преодолеть непростой участок беседы. Ему явно не по себе. Однако Рапосо по-прежнему смотрит на него молча, как и раньше, чуть прикрыв глаза, с дымящейся во рту сигарой.

— Вы лишили невинности нашу дочку, — выдавливает из себя Барбу.

Снова множественное число. Рапосо, который едва сдерживает смех — всему свое время, — представляет, как мадам Барбу стоит в коридоре, накинув на плечи вязаную шаль и прижав к двери ухо, в ожидании исхода беседы.

— А чего вы хотите от меня? — лениво спрашивает Рапосо.

Хозяин рассматривает свои руки, словно в чем-то сомневается. Свет масляной лампы освещает его лицо и делает щеки темными и впалыми, отчего кажется, что он по-настоящему страдает.

— Я требую удовлетворения.

На сей раз Рапосо не выдерживает: вынимает изо рта сигару и заходится искренним, бесстыжим хохотом.

— И что вы собираетесь защищать?

— Честь моей дочери Генриетты.

— Про честь я уже слышал. Что еще?

— Как утверждает ее мать, она в положении...

— Вы кому сказки рассказываете? Я в Париже пятнадцать дней!

Смутившись, хозяин снова прячет взгляд.

— Я в этом мало что смыслю, мсье... Это больше по женской части.

— По женской, вы говорите?

— Да, мсье.

— А в чем заключается это ваше «удовлетворение»? Вы ведь не станете требовать, чтобы я на ней женился?

— Нет, что вы, мсье... Речь не об этом... Мы с ее матерью уже все обсудили. На самом деле...

— А ваша дочь? Что обо всем этом думает Генриетта?

— Она еще совсем ребенок, мсье. Она вообще мало о чем думает. А вы, мсье, путешественник. Вы тут у нас проездом.

— Так вы что, денег хотите?

Напряженное лицо хозяина светлеет.

— Мы могли бы все обсудить... Я уже говорил жене, что вы, по всему видать, человек рассудительный и настоящий кабальеро...

Рапосо молча рассматривает сигару, которая уже почти погасла. Затем преспокойно встает, подходит к окну и выбрасывает в него докуренную сигару, видя, как оранжевый огонек прочерчивает дугу и исчезает в темноте. Некоторое время он стоит спиной к собеседнику, глядя на улицу, на старинное кладбище, погруженное во тьму, на угольно-черное небо, в котором звезды робко поблескивают меж рваных облаков, плывущих так низко, будто вот-вот заденут крыши домов. Затем, все с тем же спокойствием, поворачивается к Барбу.

— Ваша дочь — потаскуха, каких мало, — произносит он, не повышая голоса.

Хозяин смотрит на него разинув рот, словно ему туда засунули что-то очень горячее или, наоборот, очень холодное.

— Что, простите? — бормочет он.

Рапосо делает три шага в его сторону, в результате оказываясь напротив, так близко, что тому приходится поднять голову, чтобы смотреть ему в лицо. Заметно, что такое положение дел его совершенно не устраивает. Он беспокойно моргает.

— У вашей дочки девственны разве что барабанные перепонки, — тем же тоном говорит Рапосо. — И она была такой задолго до того, как вы с вашей женой подсунули мне ее в постель, посмотреть, что из этого получится.

— Я вам не позволю...

Бесстрастно, не торопясь, не вкладывая в это больше жестокости, чем оно того заслуживает, Рапосо отвешивает Барбу пощечину, от которой тот сползает со стула на пол. Затем склоняется над ним, ставит колено ему на грудь, хватает за галстук и дергает так, что тот едва не хрипит.

— В Париже тысячи потаскух, не считая содержанок, девчонок из Оперы и шалав с постоялых дворов вроде твоей... И ты осмеливаешься требовать с меня денег?

Хрипя под коленом Рапосо, полузадушенный ручищей, рвущей на нем галстук, оглушенный внезапным нападением, которого он никак не мог предвидеть, Барбу таращит глаза, вне себя от ужаса.

— Я сам не раз проделывал этот трюк в Испании с проезжими простофилями, — говорит Рапосо, усмехаясь и скаля зубы, как волк. — Мы, испанцы, называем это дело «починить сеньориту». И мне приходится ехать в Париж лишь за тем, чтобы со мной провернули такую же штуку? Так дело не пойдет!

Выпустив добычу, Рапосо поднимается на ноги. Он снова смеется, на этот раз от души. Его кореши в Мадриде не поверят, когда он им расскажет! На секунду он задумывается. Ведь это ж надо, разыграть его, Паскуаля Рапосо, словно он желторотый птенец! Его, который всех их на одну ладонь положит, а другой прихлопнет!

Барбу тоже встает с пола, потирая шею. Глаза его вылезают из орбит, а на лице все еще написаны ужас и унижение.

— Полиция... — растерянно бормочет он.

Рапосо смотрит на него с некоторым удивлением и неожиданным интересом. Взглянув ему в лицо, хозяин осекается.

— Полиция, идиот, это мои кореши. Слышал когда-нибудь про Мило? Сходи к нему. Поплачься в жилетку.

Проговорив это, Рапосо подходит к хозяину, который, заметив его намерение, делает шаг назад.

— Видишь эту саблю? — добавляет Рапосо, указывая на стену. — Не забывай про нее, Барбу... Потому что чуть что — я тебе отрублю башку, понял? А твоей жене и дочке всажу ее куда надо.

В гостинице «Кур-де-Франс» стоит глубокая тишина. Уже поздно. В ночном колпаке, халате и тапках, с горящей свечой в руке дон Эрмохенес возвращается из уборной. Проходя мимо комнаты адмирала, он нерешительно замирает. Затем тихонько стучится. Услышав «войдите», открывает дверь, не запертую на ключ. При свете двух свечей, горящих на подсвечнике, дон Педро сидит в кресле, все еще одетый, в замшевых брюках и рубашке, и заводит часы. Ноги его вытянуты и покоятся на табурете; на столике под рукой лежит обложкой вверх открытая книга.

— Я думал, вы спите, — говорит библиотекарь.

— Пора бы уже, — соглашается адмирал.

Дон Эрмохенес ставит подсвечник на стол рядом с бумажным конвертом, перевязанным шнурком и запечатанным сургучом.

— Можете посидеть со мной?

— С удовольствием.

Бросив подозрительный взгляд на пакет, библиотекарь усаживается на стул возле неубранной кровати. Поверх одеяла лежит рапира, которую дон Эрмохенес раздобыл утром, чтобы адмирал потренировался.

— Ну как, воспользовались?

— Нет.

— Напрасно, дорогой друг.

— Не было настроения фехтовать.

Оба умолкают. Дон Эрмохенес с нежностью смотрит на своего друга.

— Как вы себя чувствуете?

— Своеобразно.

Адмирал умолкает. Затем кладет часы рядом с книгой, склоняет голову и задумчиво улыбается.

— Устал я, честно сказать.

— Вот я и говорю: пора вам ложиться спать.

— Не в том дело. Это усталость другого рода.

Запечатанный конверт по-прежнему притягивает внимание дона Эрмохенеса.

— Что там внутри, простите мое любопытство?

Адмирал смотрит на конверт, словно позабыв, что он здесь.

— Два письма и последние распоряжения, — просто отвечает дон Педро. — Одно письмо адресовано моим сестрам, другое — директору нашей Королевской академии. В последнем — мои извинения.

— Думаю, это не понадобится...

— Я прибыл в Париж, как и вы, с миссией, которую надлежит исполнить; а теперь есть риск, что сделать это не удастся. Единственное, что мне остается, — это принести извинения.

— Вам не требуются извинения, — протестует растроганный дон Эрмохенес.

— Вы ошибаетесь. То, что ожидает меня завтра, — невероятная глупость, которая противна всему, что я защищал большую часть моей сознательной жизни.

— Так не делайте ее! Откажитесь от этого безумия.

Адмирал молча смотрит на него. Затем возвращается к окну, будто бы ответы поджидают его снаружи.

— Все в природе существует в равновесии. И подчиняется компенсаторным законам.

— Господи... Вас никогда не утомляет ваше собственное сердце, так крепко связанное с головой, будто стрелка часов — с маятником?

— У меня нет выбора.

Библиотекарь касается подбородка, на котором уже виднеется небольшая борода.

— Я вас не понимаю.

— Это не важно, дорогой друг.

— Что значит не важно? Если у вас есть совесть, есть разум, отвергающий это безумие, подчинитесь им... Знаю, что у вас имеется достаточно мужества, чтобы никому ничего не доказывать. Если они воспримут ваше поведение как-то иначе, им же хуже.

— Скажем так: это роскошь, которую я себе позволяю.

— Как вы сказали? Драться за сомнительную честь — по-вашему, роскошь?

— Я бьюсь не за свою честь, дон Эрмес. Моя честь никогда меня особенно не беспокоила. По крайней мере то, что обычно понимают под этим словом.

Библиотекарь смотрит на корешок книги, раскрытой и лежащей обложкой вверх — «*Morale universelle* »[[85]](#footnote-85), читает он — рядом с запечатанным конвертом. Эту книгу адмирал купил несколько дней назад в лавке на улице Сен-Жак вместе с «*Système de la nature* »[[86]](#footnote-86) барона Гольбаха.

— Это письмо для ваших сестер... — произносит дон Эрмохенес. — Вас не беспокоит, что они останутся одни? Вы представляете себе, что они почувствуют, если...

— У них есть кое-какие сбережения, на которые можно прожить, и акции компании в Карракасе.

— Но они будут тосковать по вас. Я говорю о чувствах.

— О да. Скучать они будут очень сильно. Мы рано остались сиротами, и одна из причин, по которым я оставил море, была забота о них. А они, в свою очередь, так и не вышли замуж, чтобы заботиться обо мне. Мы все эти годы прожили вместе, и, конечно, они будут скучать, если я... Сестры — единственный укор совести, который я чувствую. Только он мешает мне быть в гармонии с этим миром.

— Что же касается Академии...

— Тут я спокоен. Вы обо мне позаботитесь, я в этом не сомневаюсь. И все устроите надлежащим образом: «Адмирал сразился за честь своей родины и достоинство Королевской армады...» Безупречный аргумент, который всем покажется убедительным. В мою честь устроят внеочередное заседание, секретарь Палафокс напишет протокол, вот и все... Кстати, еще кое-что. Сделайте все возможное, чтобы меня не отпевали. А не то вернусь с того света и дерну вас ночью за ногу.

— Вы неисправимы!

— Честно сказать, староват я для всякой ерунды.

Дон Эрмохенес снова чувствует мучительное беспокойство. Он протягивает руку, чтобы коснуться рукоятки рапиры: позолоченная гарнитура, узкий и острый клинок, забранный в черные кожаные ножны.

— До чего же абсурдна и противоречива Франция, — говорит библиотекарь. — С одной стороны, светоч разума и просвещения, с другой — родина всех этих дуэлей... Этот ужасный обычай — то и дело чувствовать себя оскорбленным и во всем видеть обиду...

Адмирал бросает на него взгляд, не лишенный юмора.

— Будем откровенны, дон Эрмес. Я действительно оскорбил Коэтлегона.

— Он сам виноват: вел себя вызывающе. Вы еще долго сдерживались. Я имею в виду здешнюю склонность биться на шпагах или стреляться из-за таких глупостей... Проигрался в картах? Дуэль. Кто-то посмотрел на тебя косо? Снова дуэль. Твоя жена или возлюбленная с кем-то кокетничает? Дуэль, на которой ты позволяешь себя убить. Бесчестно обошелся с мужчиной, отняв у него женщину, и он обозвал тебя негодяем? Дуэль, и если тебе удается, то ты этого мужчину убиваешь... Хорошо еще, что большинство дуэлей до первой крови.

Дон Педро безразлично качает головой.

— Этому есть объяснение, — говорит он, подумав. — В Италии или Испании люди не так щепетильны в отношении этикета. Дуэль означает, что они своему сопернику выпускают кишки, да еще и не без удовольствия. Возможно, именно по этой причине в Испании дуэль — дело нечастое... Зато во Франции, где общество беззаботно и ко всему относится легкомысленно, большая часть дуэлей продолжаются до первой крови, как моя. После первого же ранения соперники останавливаются, чтобы потом вернуться к этому делу еще раз двадцать, если возникнут разногласия. Французы в подобных вещах люди не слишком серьезные.

— Но не думать о смерти невозможно, — возражает дон Эрмохенес. — Первая рана может быть в сердце. Или внесут инфекцию, и через пару недель человек окажется в могиле.

— Значит, не повезло.

— Зачем призывать ее? К чему устраивать этот маскарад?

На этот раз пауза затягивается. Адмирал убирает ноги с табурета и устраивается поудобнее. Некоторое время он сидит неподвижно, словно прислушиваясь к какому-то звуку или ожидая знака, который лишь он может уловить на расстоянии.

— Незадолго до прорыва Тулонской блокады, — неторопливо произносит он, — в феврале сорок четвертого года состоялась личная встреча английского адмирала с французским, который должен был прикрыть своей эскадрой наш выход к порту... Уговор состоял в том, что французы продолжат путь и не откроют огонь, если англичане будут стрелять только в нас, а не в них... У мыса Сисье тридцать два английских корабля выступили против двенадцати испанских, в то время как шестнадцать французских кораблей преспокойно шли своим курсом, ни во что не вмешиваясь, прочь от битвы.

Он прерывается и пристально смотрит на пламя свечи.

— И бились мы семь с половиной часов подряд, не давая себя окружить, — добавляет он.

— Это, несомненно, была одна из величайших побед, — улыбается дон Эрмохенес.

Адмирал смотрит на него с некоторым удивлением, словно не ожидал таких слов.

— Это не было победой, — сухо отвечает он. — Это была всего лишь великолепная тактика выживания.

Он встает, неторопливо вытягивая свою длинное тело, словно у него затекли конечности. Огонек свечи отбрасывает на стену его увеличенную тень. Дон Эрмохенес берет книгу, которая лежала на столе обложной вверх, переворачивает ее и читает, щуря глаза:

*Тот, кто хорошо знает свои обязанности и выполняет их как должно, заслуживает истинного счастья в течение всей жизни, которую затем оставляет без страха и сожаления. Жизнь, украшенная добродетелью, непременно будет счастливой и спокойно приведет нас к конечной точке, где уже никто не сможет раскаяться в том, что следовал путем, предназначенным самой природой.*

— В тот день мы вышли в море, заранее зная, что произойдет, — говорит адмирал, когда дон Эрмохенес возвращает книгу на место. — Мы знали, что французы нас бросят... И тем не менее мы вышли.

— За честь и флаг Испании, разумеется.

— Нет. Потому что у нас был приказ. Понимаете? Мы все с огромной радостью остались бы в порту. Никто не хотел погибнуть или получить увечье.

Несколько секунд дон Педро смотрит на рапиру, лежащую на кровати, затем берет ее и убирает в гардероб.

— Речь идет всего лишь о том, чтобы действовать в соответствии с правилами, — говорит он, прикрывая дверцу. — В конце концов, именно из них и состоит жизнь. С ними соглашаются, их выполняют, и точка... Без всяких красивых жестов. И без малейшего драматизма.

— Вы никогда... — начинает библиотекарь.

Но адмирал будто бы не слышит его.

— Сейчас я знаю, что все мы — все, кто тогда сражался и, я уверен, наилучшим образом сделал все, что от него зависело — дрались не ради чести, не во имя родины или достоинства... Мы сражались, потому что нам отдали приказ. Мы действовали по правилам, вот и все.

— Тем не менее Божья воля...

— Пожалуйста, дон Эрмес. — Простодушная, искренняя улыбка адмирала стала шире. — Давайте не будем приплетать сюда Бога. Оставьте его на Синае: пусть себе диктует Скрижали Завета.

— Вы мне напоминаете того холодного геометра, который, прослышав о «Дон Кихоте», решился в конце концов его прочитать; а закончив первую главу, спросил: «И что это доказывает?»

— В некотором роде он был прав.

Библиотекарь безнадежно пожимает плечами.

— Так вот, оказывается, за что вы собираетесь завтра драться: ни за что. Лишь потому, что вас вынудили.

Улыбка еще не стерлась с лица адмирала, и он отвечает не торопясь, абсолютно спокойно:

— Да, только поэтому. Вы совершенно правы. Ни за что, но при этом за все... потому что меня вынудили. Другой причины нет. И потому что никто не живет вечно.

— Приехали, — говорит Мило, постучав тростью в потолок фиакра.

Паскуаль Рапосо и полицейский выходят из экипажа: первый закутан в шинель, второй — в рединготе, застегнутом на все пуговицы до самого подбородка. Воздух не слишком остыл, но влажность окутывает лес и покрывает росой траву. Солнце еще не вышло, и легкая дымка словно прилипла к верхушкам деревьев, в то время как двое мужчин шагают вниз по склону, оставляя позади Елисейские поля.

— В общем, все зависит от тебя, — рассуждает Мило. — Если хочешь, я хоть сейчас прерву поединок и задержу этого типа. Передадим его Федеричи, шефу охраны, и пусть себе оформляет. Нет ничего проще. Но ты знаешь, что до того момента, как прольется кровь, за дуэль грозят всего лишь увещевание и штраф. Завтра или послезавтра твой дуэлянт выйдет на свободу... Выиграешь максимум пару дней.

— Посмотрим, как пойдет дело. Вдруг его тяжело ранят или даже убьют.

Мило хохочет.

— Тебе это было бы как нельзя более на руку. Решило бы все дело или, по крайней мере, половину... Если же убийцей окажется он, его можно будет задержать уже на более веских основаниях. В этом случае ему не отвертеться.

— Вот я и говорю. Посмотрим пока что издалека.

— Дело твое, приятель.

Подножье склона пересекает канава, которую двое друзей преодолевают одним прыжком, а за ней открывается ровное поле, ведущее до самой опушки леса, где виднеется поляна или небольшой луг. По ту сторону луга деревья становятся гуще, но сейчас их очертания размыты туманной дымкой, придающей рассвету блеклый сероватый оттенок. Под деревьями возле изгороди стоят два экипажа.

— Вот хорошее место, — говорит Мило.

Заметно, что полицейский знает окрестности, потому что бывал здесь и раньше. Он шагает прямиком к толстому стволу упавшего дерева, едва заметному среди кустов, стряхивает с него росу и усаживается, подоткнув под себя полы редингота. Этот луг, рассказал он Рапосо, когда они еще сидели в экипаже, — обычное место для подобных мероприятий: тихое, укромное, менее чем в получасе езды от площади Людовика Пятнадцатого, чуть в стороне от Елисейских полей: там тоже есть подходящие полянки, но швейцарские стражники Федеричи осложняют жизнь дуэлянтов.

— Садись поудобнее, — советует он Рапосо.

Тот садится на бревно и убеждается в том, что кусты полностью скрывают их от посторонних взоров, позволяя при этом отлично видеть луг и все, что на нем происходит. Места первого класса, удовлетворенно бормочет Рапосо. К тому же бесплатно. По его мнению, спектакль можно начинать.

— Не найдется у тебя лишней петарды? — спрашивает полицейский.

— Ясное дело...

Рапосо достает две сигары, огниво и фитиль, и после нескольких неудачных попыток, связанных со всепроникающей сыростью, они молча закуривают.

— Взгляни-ка, — Мило показывает Рапосо часы. — Начинают вовремя. Думаю, все уже собрались.

Рапосо, который достал из кармана складную подзорную трубу, также осматривает луг. К опушке леса подкатывает третий экипаж и не спеша останавливается. В это время из двух других экипажей выходят несколько человек. Трое из них поворачиваются спиной к подъехавшему третьему экипажу, двигаясь к центру луга. Двое — в черном, на них камзолы, плащи и треуголки, третий — в бурых кальсонах, белых чулках и в рубашке, отделанной кружевом по воротнику и на манжетах. Он без шляпы, волосы завиты и уложены на висках и, несмотря на ранний час, напудрены белой пудрой. С виду он в отличной форме. Шагает неторопливо, уверенно, беседуя со своими сопровождающими, затем останавливается и неподвижно стоит, глядя издали на подъезжающий экипаж.

— Это Коэтлегон, — замечает вскользь Мило, указывая сигарой на человека в рубашке.

Рапосо смотрит на третий экипаж. Он притормозил возле остальных, где уже поджидают двое субъектов в черных плащах, и из него высаживаются трое мужчин. Один из них — аббат Брингас, чей живописный облик не спутаешь ни с каким другим: потрепанное серое пальто, накинутое на плечи, помятая шляпа. Второй пониже ростом, чуть полноватый: дон Эрмохенес Молина. Дон Педро Сарате — долговязый, худой, высаживается из фиакра последним, смотрит по сторонам и устремляет взгляд на соперника, ожидающего на лугу, снимает камзол, складывает его и оставляет на сиденье. Затем, оставшись в одной рубашке, пожимает руку обоим мужчинам, которые поджидают его, завернувшись в плащи.

— Это распорядитель дуэли и хирург, — сообщает Мило, когда Рапосо передает ему подзорную трубу. — У которого под мышкой футляр со шпагами — Бертанваль, он из Французской академии.

Все они с достоинством делают несколько шагов по направлению к ожидающим. На полпути адмирал останавливается, его спутники подходят к секундантам Коэтлегона, которые также движутся им навстречу. Таким образом, группа из шести человек располагается в центре луга — секунданты, распорядитель и хирург, они переговариваются, в то время как двое дуэлянтов в двадцати шагах один от другого стоят на соответствующих местах, ожидая, когда объявят заключительные условия.

— Держится твой земляк неплохо.

— Еще бы: морской офицер как-никак.

— Да, вероятно, причина в этом. — Мило возвращает Рапосо подзорную трубу. — В таких ситуациях люди, как правило, нервничают.

Рапосо с большим интересом рассматривает дона Педро. Волосы академика собраны в хвост и перевязаны лентой, на нем простая рубашка с черным галстуком, узкие черные брюки и черные же чулки. Невозмутимый, почти безразличный, сложив за спиной руки, он рассеянно смотрит на туман, стелющийся среди лесных деревьев. В отличие от своего оппонента, который периодически делает пару шагов в одном или другом направлении, что выдает нетерпение или желание размяться, адмирал все это время стоит неподвижно, не шелохнувшись, пока собравшиеся в центре и беседующие между собой мужчины не делают знак, что они о чем-то договорились. Затем секунданты расходятся парами, каждая из которых направляется к своему дуэлянту и ведет его к тому месту, где поджидают хирург и распорядитель.

— Ты дрался когда-нибудь на дуэли?

— Никогда. — Рапосо усмехается. — Идиотское развлечение. Лучшая дуэль — это когда в дело идет наваха, которой внезапно ударяют в пах — вот сюда, где бедренная кость.

— Их не переубедишь, — кивает Мило. — И нет силы, которая бы их остановила.

— Мы, испанцы, называем это «удар тореро».

— Правда? Звучит забавно.

Рапосо критически рассматривает стоящую на лугу группу. На его губах застыла хищная волчья улыбка.

— А эта свистопляска с протоколом и свидетелями вообще смех, — заключает он.

Он снова затягивается сигарой и сквозь зубы выплевывает желтоватую слюну подальше в кусты.

— В том, что касается таких дел, — произносит он, поразмыслив, — чем меньше свидетелей, тем лучше.

— Помните, — говорит Бертанваль, протягивая дуэлянтам шпаги, — вы не имеете права пользоваться левой рукой, чтобы отстранять или задерживать шпагу противника.

Все происходящее так сильно угнетает дона Эрмохенеса, что ему хочется убежать в лес и вытошнить весь кофе, который он выпил на завтрак, — завтракать ему пришлось в одиночестве, поскольку адмирал заявил, что на всякий случай предпочитает драться натощак. Библиотекарь с недоумением спрашивает себя, как удается его приятелю не терять в столь сложных обстоятельствах свой безмятежный покой и принять из рук распорядителя шпагу твердой рукой, в то время как рука самого дона Эрмохенеса, окажись тот на месте адмирала, тряслась бы как осиновый лист.

— По моему сигналу вы обязаны в тот же миг прекратить поединок.

В то время как Бертанваль перечисляет последние условия, оговоренные для проведения битвы, Коэтлегон, лица которого не покидает презрительное выражение, пробует гибкость шпаги и убеждается в том, что та в хорошем состоянии и безукоризненно прямая, затем делает пару движений в воздухе, что выглядит несколько театрально. Звук разрубающего воздух лезвия напоминает свист хлыста. Адмирал неподвижно стоит в трех шагах от Коэтлегона, держа в правой руке шпагу, чье острие касается влажной травы. Задумчивый и отрешенный, словно душа его находится где-то очень далеко отсюда. Коэтлегон наконец перестает ходить туда-сюда, опускает руку со шпагой и впервые смотрит в лицо противника. Словно почувствовав на себе его взгляд, дон Педро тоже медленно поднимает голову, и его водянистые голубые глаза, которые будто бы сливаются с утренним туманом, пристально смотрят на шпагу противника, затем устремляют взгляд выше, пока не сталкиваются с его глазами.

— По местам, — приказывает Бертанваль, отступая на пять шагов.

Как распорядитель дуэли, он держит в руке длинную трость, чтобы вовремя прервать поединок в том случае, если один из соперников допустит ошибку или будет ранен. Заслышав его голос, дон Эрмохенес, хирург и секунданты отходят подальше от дуэлянтов, которые в этот миг поднимают шпаги. Библиотекарь замечает, что Коэтлегон первый, приветствуя адмирала по правилам этикета, подносит гарду к лицу; однако адмирал ограничивается тем, что лишь приподнимает свое оружие повыше, прижав локоть к груди.

— За дело, господа, — приказывает Бертанваль.

Сердце дона Эрмохенеса так сильно колотится, что он слышит его удары; будто бы ему самому, а не адмиралу, думает он, пришлось оказаться в центре луга с клинком в руке. У библиотекаря прямо-таки душа уходит в пятки, когда он видит, как Коэтлегон облизывает губы, сгибает ноги в коленях, ставит левую руку на бедро и принимает эффектную позу фехтовальщика, напоминающую рисунок на гравюре. Адмирал поднимает свободную руку, сгибает ее под прямым углом и чуть расслабляет предплечье, клинок его шпаги сейчас находится чуть выше обычного, а острие — на уровне лица, словно он хладнокровно целится сопернику в лоб. Можно подумать, что ничем иным в жизни он и не занимался. Зачарованный, несмотря на охвативший его ужас, чувствуя в отдалении свирепый оскал аббата Брингаса, дон Эрмохенес замечает, что Коэтлегон не сводит глаз со шпаги противника, в то время как адмирал, ни на что вокруг не обращая внимания, пристально смотрит ему в глаза, словно реальная опасность заключена именно в них, а не в каком-то глупом куске железа, полностью подчиненном воле этого взгляда. Так они стоят несколько секунд, которые для библиотекаря тянутся нестерпимо долго, неподвижно изучая друг друга. Их шпаги застыли в нескольких дюймах одна от другой. Коэтлегон не выдерживает первый и чуть приближается, одновременно наклоняя тело вперед, словно проверяя реакцию противника. Но вот клинки наконец сближаются, и звон металла, серебристый и тонкий, плывет в сыром утреннем воздухе.

Полное отсутствие мыслей, освобождение от всего, что не является концентрацией тела, удивительное внутреннее спокойствие. Странная отрешенность от происходящего. Вот что испытывает адмирал, сжимая рукоять шпаги и наблюдая за действиями противника, за связью человеческого взгляда с движениями клинка, которая обнаруживает себя секундой позже. Связь между глазами Коэтлегона, на сей раз уже не презрительными, а сосредоточенными и тревожными, и острием шпаги, которую дон Педро чувствует в трех или четырех пядях от своего тела. Ранения, смерть, жизнь. Сейчас, когда вражеское орудие переходит в наступление, совершая обманные маневры и норовя преодолеть защиту, которую, не размышляя, выставляет адмирал, движимый исключительно инстинктом выживания, он чувствует угрозу гораздо ближе, он физически улавливает вероятность контакта клинка со своей плотью, которая отзывается едва уловимым холодком где-то в паху. Обманчивым и коварным.

Он отступает на несколько шагов, не опуская оружия, и вновь принимает защитную стойку. Острия клинков опять соприкасаются, примериваясь друг к другу с неторопливой осмотрительностью. Трава все еще слишком скользкая, внезапно осознает адмирал, но мысль мгновенно улетучивается с той же скоростью, с какой зародилась, остается утешать себя тем, что в мыслях противника происходит то же самое. И вновь — пустота в голове, внимание, прикованное к глазам человека напротив. В них он снова читает, не меняя оборонительной стойки, что скоро, очень скоро его соперник перейдет в решительную атаку. Два тщательнейшим образом рассчитанных шага вперед, обмен уколами, который заканчивается парированием в четвертый сектор, глубокий и решительный бросок, жаждущий вовсе не первой крови, а гораздо большего — пронзить адмиралу грудь насквозь, от чего тот сумел уберечься, отскочив вправо за пределы условного поля, нанеся низкий ответный укол, не отличающийся изяществом и довольно-таки нескладный, царапнувший правое колено Коэтлегона и заставивший его отпрыгнуть назад, закусив губы от ярости.

— Прошу вас, господа, — слышится голос Бертанваля, доносящийся словно за тысячу миль от этого места.

Дон Педро поднимает руку, требуя краткой передышки, и его противник останавливается.

— Сожалею, мсье, — говорит адмирал. — Это произошло случайно.

Тот нетерпеливо кивает, оба снова принимают стойку. Досада Коэтлегона выражается в быстрой атаке, заставившей адмирала вновь отступить для защиты. Противник упорствует, следует быстрый перезвон клинков, из-за которого дон Педро теряет из виду вражескую шпагу, у него случается приступ отвратительного головокружения, перерастающий в панику. В конце концов адмирал вслепую наносит два защитных удара, делает резкий полуоборот, чтобы увернуться от встречного укола, чуть не поскальзывается, вновь защищается. Как раз вовремя, чтобы успеть парировать новую вражескую атаку. Он начинает уставать, и рука, которая сжимает рукоять шпаги, тяжелеет, будто бы наливаясь свинцом. Однако покрасневшее лицо Коэтлегона, на щеках которого брызги росы кажутся капельками пота — а может быть, наоборот, — придает ему новые силы. В этих решительных атаках противник истратил большую часть своих ресурсов. А вернейшее правило фехтования, не изменившееся за последние шестьдесят лет, которое адмирал усвоил от своих старых учителей, состоит в том, чтобы загнать противника, чтобы тот, от усталости или излишней прыти, совершил какую-нибудь ошибку.

И все же ошибку совершает он сам. Отступив назад, чтобы укрепить свои позиции, он неожиданно поскальзывается на траве. Его секундное замешательство позволяет сопернику атаковать, шпага не достигает груди адмирала всего на дюйм, но, когда тот парирует, клинок царапает ему рубашку на уровне плеча, и он чувствует яростный ожог вражеского острия. Адмирал отступает на два шага, его плечо горит от боли, он машет рукой, чтобы немного ее размять. Секунданты и распорядитель дуэли делают еще одно замечание, и адмирал торопливо возвращается на исходную позицию.

— Стоп! Рана, господа! Остановитесь и позвольте мне ее осмотреть.

Адмирал смотрит на него так, будто удивлен, что кроме них на лугу есть кто-то еще; ему приходится сделать усилие, чтобы вспомнить: они с Коэтлегоном не одни. Рядом с Бертанвалем и хирургом он замечает вытаращенные от ужаса глаза дона Эрмохенеса, который заламывает руки, белый как полотно, слышит взволнованные голоса других секундантов, Лакло и того второго господина, а также видит восторженную, безумную улыбку Брингаса. Касаясь здоровой рукой поврежденного плеча, дон Педро замечает, что рубашка промокла от крови. Ее не так много, она перемешалась с влагой и потом. И все-таки это — первая кровь. Достаточно, чтобы дуэль завершилась.

— Я готов продолжить, — слышит он свой голос, будто издалека, глядя в лицо противника.

Самодовольная улыбка сползает с физиономии Коэтлегона.

— Ваше право, — говорит он, принимая стойку.

Острия сближаются, касаясь друг друга почти с нежностью. Замерев в оборонительной позиции, адмирал экономит силы, старясь прийти в себя. По плечу текут капли крови, иногда целый ручеек сбегает по коже и впитывается в ткань рубашки, расплывается под мышкой. Кровопотеря, вопреки ожиданиям, приносит ощущение глубокого покоя и необычайную ясность ума. Впрочем, последняя может сослужить плохую службу, быстро соображает адмирал: ложная уверенность в собственной безопасности может привести к тому, что сталь на полпяди войдет ему в легкие. Он понимает, что доверять ей нельзя, все время надо быть начеку, пристально глядя в глаза противника. «Так или иначе, — думает он, наступая, касаясь клинком клинка и вновь отступая на шаг, — слишком я стар для этого».

Стальная молния в глазах Коэтлегона, яростный взгляд человека, который готов убить. Не задумываясь о том, что делает, дон Педро отступает, парирует, поднимает клинок, будто бы целясь в лицо противнику, и, когда тот инстинктивно отворачивается и атакует, адмирал, вместо того чтобы отступить, опускает шпагу в обманном маневре, напряженно следит за его движениями, затем делает резкий выпад, от которого болит запястье — острие шпаги, должно быть, задело кость бедра, — и видит, как противник будто бы сам себе всаживает в правый бок направленное на него острие. Отступая, резко согнув руку в локте, адмирал освобождает свою шпагу. С яростным проклятием Коэтлегон делает несколько беспорядочных шагов, бешено рассекая клинком воздух.

— Остановитесь, господа! — приказывает Бертанваль. — Разрешите мне осмотреть ваши раны...

Коэтлегон гневно перебивает.

— Я в порядке! Продолжаем!

Свободной рукой он касается раны, из которой течет кровь, окрашивая брюки в багровый цвет. На самом деле он сказал неправду: он не в порядке. Краем глаза адмирал замечает, что лицо Коэтлегона пожелтело, сделавшись воскового цвета, а губы сжаты так плотно, что почти не видны, превратившись в яростно сомкнутую полоску. Взгляд ненавидящих глаз словно бы помутнел.

— Продолжим, — повторяет Коэтлегон, принимая стойку.

— Дуэль до первой крови, господа! — протестует Бертанваль. — Я должен осмотреть ваши раны.

— Не хочу раскисать. Продолжим!

Коэтлегон снова бросается в атаку, выставив шпагу перед собой и сосредоточенно подготавливая укол, который пронзит грудь дона Педро. Однако у того было время, чтобы принять меры предосторожности, он парирует четвертой защитой, отбивает вражеский клинок сильным ударом и увеличивает дистанцию, отступив на три шага.

— Думаю, этого достаточно, мсье, — говорит он как ни в чем не бывало.

Коэтлегон смотрит на него так, словно не разбирает слов, встает в позицию и вновь атакует. Однако, не доведя маневр до конца, бледнеет еще больше, шатается и роняет шпагу. Красное пятно на брюках расползлось, достигнув паха.

— Зато я так не считаю... — произносит он заплетающимся языком.

Он выпускает шпагу и медленно оседает, падая на колени. Все бегут к нему, адмирал — первый, он подхватывает противника на руки, чтобы тот не рухнул на землю. Глаза Коэтлегона смотрят на него будто бы издалека.

— Да, вероятно... Достаточно, — бормочет он.

— Приношу свои извинения, мсье, — говорит дон Педро, удерживая его. — Я был чрезмерно резок в тот день.

Коэтлегон смотрит на него помутневшими глазами и чуть заметно кивает. Адмирал пытается оторвать рукав свой рубашки, чтобы зажать им рану Коэтлегона, однако появление хирурга избавляет его от этой необходимости. Вдвоем они укладывают его на влажную траву, Лакло подстилает плащ.

— Рана не слишком серьезная. Главное, чтобы не загноилась, — осмотрев раненого, говорит хирург, чтобы успокоить собравшихся. — Кость не дала острию войти глубже.

Поднявшись на ноги, дон Педро замечает, что все еще сжимает в руке шпагу. Он протягивает ее Брингасу, который берет оружие с видимым удовольствием.

— Отличный укол, сеньор, — говорит аббат, довольный и одновременно язвительный. — Просто чудо, что за укол!

Библиотекарь смотрит на дона Педро с уважением, перерастающим в благоговение. Тот преспокойно зажимает рукой рану на плече, стараясь унять на сей раз свою собственную кровь.

— Глубокая рана? — с беспокойством спрашивает дон Эрмохенес.

— Нет.

В этот миг утреннее солнце поднимается из-за горизонта над клочьями тумана, которые обволакивают деревья. Первый солнечный луч освещает голубые глаза адмирала, делая их почти прозрачными.

## 10. Завтраки у мадам Дансени

Я всего лишь прошу меня извинить.

Впервые слышу о подобных проявлениях сластолюбия.

Маркиз де Сад. «Философия в будуаре»

Вдова Эно проживает в очаровательном домике в Маре, неподалеку от Пляс-Рояль и от Бастилии. Район, как сообщил аббат Брингас, пришел в упадок, однако в нем по-прежнему ощущается достоинство былых времен и атмосфера *grand siècle*[[87]](#footnote-87), оставшаяся от эпохи Людовика Четырнадцатого, что усиливается за счет аккуратно посаженных деревьев, широких улиц и нарядных фасадов старинных особняков. Для визита, который намечен на второй день после дуэли, дон Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина оделись соответствующим образом: строго, в сдержанные темные тона, как они чаще всего одевались, подчеркивая свою респектабельность, и даже аббата Брингаса с собой не взяли, несмотря на то что тот, как обычно, набивался в попутчики. Предстоящая миссия крайне важна, и академики не хотят, чтобы какая-нибудь бестактность, допущенная мятежным аббатом, погубила все предприятие.

Единственная помеха — дождь. Со вчерашнего вечера на Париж обрушиваются потоки воды, и улицы города практически непроходимы. Сперва падали редкие капли, которые вскоре обернулись градом, крупным, будто картечь, а затем широкой густой пеленой хлынул ливень. Экипажи перегородили улицы и мосты, водосточные желоба обрушивают тяжелые потоки на головы пешеходов, которые, стараясь укрыться от дождя и обойти экипажи, пробираются вдоль стен домов. Площади представляют собой сплошные лужи, по которым барабанит вода, по улицам несутся бурные реки. Таким образом, фиакр, везущий адмирала и библиотекаря, ползет от улицы Вивьен до улицы Сент-Антуан чуть ли не битый час, то и дело застревая в пробках. Город в запотевшем окошке экипажа, откуда с любопытством выглядывают академики, заметно отличается от того, который они знали до сегодняшнего дня: их взорам открывается грязный городской лабиринт, обшарпанный и серый.

— Чай или кофе?

Вдова Эно принимает их в обществе одного из своих сыновей. Это уже совсем пожилая женщина — ей вряд ли меньше семидесяти, — худощавая, с высохшим лицом и вытянутым подбородком, с зелеными глазами, которые, несомненно, в иные времена были прекрасны. На ней траурное платье, седые волосы убраны под черный чепец. У сына такой же подбородок, как у матери. Он тоже весь в черном, в парике с локонами, уложенными на висках, и черном камзоле традиционного кроя с обильными кружевами вокруг шеи. Он похож на адвоката, юриста или кого-то еще из этой области, а кабинет его располагается неподалеку от дворца Правосудия.

— Для моего мужа, — рассуждает вдова, — книги представляли всю его жизнь. Он тратил на них кучу денег, а в последние годы, уже совсем больной, почти не выходил из библиотеки. Книги были его единственным утешением, так он говорил. И лучшим лекарством.

— Сколько же книг ему удалось собрать? — интересуется дон Эрмохенес.

Они сидят в маленькой гостиной, украшенной статуэтками из розового и голубого фарфора, стены оклеены крашеной бумагой и увешаны гравюрами с изображением птиц, выполненными с большим вкусом. Когда-то это, несомненно, было уютное место, но сейчас здесь пахнет затхлостью, недавней торопливой уборкой, а полуприкрытые ставни впускают в комнату, скупо освещенную свечами или масляной лампой, серый грязноватый свет, который делает помещение еще печальнее. Пожилая неопрятная служанка приносит поднос с сервизом.

— Точное количество нам неизвестно, — отвечает сын. — Если прикинуть на глаз, тысячи четыре, не меньше... Главным образом это труды по ботанике и истории, а также заметки о путешествиях, которые были его главной страстью.

— Вы ее не разделяли?

Сын вежливо улыбается. Заметно, что ему неловко.

— Моя работа связана с другими вещами, — отвечает он, рассеянно поглаживая руку матери. — Меня больше интересует право, и все, что имелось у отца по этой теме, я уже забрал.

— Жаль разорять такую чудесную библиотеку.

— Это очень, очень печально, — говорит мадам Эно.

— Да, мама. Но вы же знаете, что ни в моем доме, ни в доме моей сестры для нее попросту не хватит места. — Сын поворачивается к академикам. — Матушка хочет оставить этот дом и жить с нами, так что эта библиотека для всех нас — обуза... Кроме того, средства, которые матушка за нее получит, окажутся для нее совсем не лишними.

— К вам уже приходили покупатели с предложениями?

— Да, кое с кем мы уже ведем переговоры, — кивает сын. — Но вы же сами понимаете. Перекупщики книг — это, как правило, вороны, которые ничем не брезгуют: делают вид, что дорогие книги ничего не стоят, приговаривают «это ерунда, и мне будет сложно ее продать» и норовят все, что возможно, скупить за безделицу. Скажите, мсье, в Испании дела обстоят так же?

— Абсолютно.

— В любом случае, мама хотела бы продать все это оптом. Только дружба моего покойного отца с мсье Дансени и письмо, которое мы от него получили, позволяют нам сделать для вас исключение... Если мы придем к взаимному согласию, «Энциклопедия» ваша.

— Хотите взглянуть на нее? — спрашивает вдова.

— Разумеется.

Они ставят чашки на столик, проходят по коридору, уставленному по обе стены стеллажами, и оказываются в соседней комнате, представляющей собой просторный кабинет, стены которого также заставлены книжными шкафами, окно же выходит на Пляс-Рояль, где по-прежнему идет дождь.

— Как я уже говорил, здесь много трудов по ботанике. — Сын отдернул занавеску, чтобы стало светлее. — И по истории: взгляните на эту «*Histoire militaire de Louis le Grand* »[[88]](#footnote-88) в семи томах. Великолепное издание... Вся ботаника стоит в этом ряду. Взгляните: труд Плюмье о растениях Америки и первый том «*Voyages dans les Alpes* »[[89]](#footnote-89) Cоссюра, который мой отец очень ценил.

Дон Эрмохенес и дон Педро внимательно, том за томом, осматривают библиотеку. Плечо адмирала перевязано бинтом после вчерашнего ранения, он едва заметно морщится от боли, когда сын вдовы Эно вкладывает ему в руки увесистый том Линнея.

— Вы в порядке, мсье?

— Да, не беспокойтесь... Небольшой приступ ревматизма.

— Это понятно. — Сын возвращает книгу на полку. — Все из-за дождя. Влажность просто ужасная.

Он указывает на дальний угол библиотеки, и дон Педро останавливается, не веря своим глазам. Там, в сером свинцовом свете, проникающем с улицы, видны позолоченные корешки двадцати восьми томов гран-фолио, переплетенных в светло-коричневую кожу: «Энциклопедия», гласит надпись на красных и зеленых библиотечных карточках.

— А полистать можно? — спрашивает дон Эрмохенес.

— Конечно.

С благоговейным трепетом, словно священник, готовящийся принять чашу со Святым Причастием, библиотекарь надевает очки, достает с полки первый том, кладет его на стоящий рядом стол и осторожно открывает. *Discours préliminaire des éditeurs*[[90]](#footnote-90), — вдохновенно читает он. — *L’Encyclopédie que nous présentons au Public, est, comme son titre l’annonce, l’ouvrage d’une société de gens de lettres*[[91]](#footnote-91).

— Переплет, как видите, безупречен, — замечает сын мадам Эно. — Что касается сохранности, она тоже отличная.

— Мой покойный супруг собственноручно натирал их воском, — добавляет вдова. — Он посвящал этому занятию много часов.

— Есть даже последние тома с гравюрами, — говорит сын. — Полное собрание. Мой отец подписался на нее с самого начала, когда выходили первые книги. И часто их читал... Нам известно, что сейчас найти это издание крайне сложно.

— Да, непросто, — осторожно соглашается дон Эрмохенес.

От дона Педро не ускользнул быстрый взгляд, которым обмениваются мать и сын.

— Нам следует обсудить цену, — замечает последний.

— Разумеется, — соглашается дон Эрмохенес. — За этим мы и пришли. Надеемся, она будет в разумных пределах.

— Что вы имеете в виду? — подозрительно спрашивает адвокат.

— Наши средства, — поясняет дон Педро. — Они достойны, но не бесконечны.

Адвокат задумчиво улыбается, возвращая том на место. Пора, говорит его жест, поговорить о делах серьезно.

— Итак... Начальная подписка, которую оформил отец, стоила двести восемьдесят ливров, там на столе лежат все чеки, однако конечная цена на тома с гравюрами поднялась до девятисот восьмидесяти... Поскольку это первое издание, его рыночная стоимость, вероятно, очень возросла. Сейчас мы ее оцениваем приблизительно в восемьдесят луидоров.

Дон Эрмохенес растерянно моргает, как всякий раз, когда речь заходит о числах.

— Сколько же это в ливрах?

— Почти тысяча девятьсот, — быстро прикидывает дон Педро. — А если точнее, тысяча восемьсот шестьдесят четыре.

— Верно, — соглашается адвокат, удивленный быстротой, с которой адмирал произвел подсчеты.

— Продавцы книг, — говорит дон Эрмохенес, — говорили нам приблизительно о тысяче четырехстах.

Адвокат смотрит на мать и пожимает плечами.

— Как вы изволите убедиться, все двадцать восемь томов находятся в отличном состоянии. Думаю, наша цена окончательная.

— Разумеется, — отзывается дон Эрмохенес. — И все же, принимая во внимание...

— Мы можем заплатить тысячу пятьсот ливров, — перебивает его адмирал.

Библиотекарь смотрит на дона Педро, тот — на адвоката, а последний — на свою матушку.

— Мало, — говорит она.

— Да, пожалуй, — кивает сын. — Но, возможно, мы могли бы сойтись на тысяче семистах.

— Вероятно, я плохо объяснил, — равнодушно говорит дон Педро. — Дело в том, что сумма, которой мы в данный момент располагаем, равняется тысяче пятистам ливрам. И ни единого сольдо за пределами этой суммы. Мы готовы заплатить золотом и с платежным векселем на имя банка Ванден-Ивер. Это весь наш капитал.

Мать и сын вновь переглядываются.

— Позволите нам на несколько минут отлучиться?

Он выходят из кабинета, оставив академиков наедине друг с другом. Адмирал и библиотекарь с любопытством рассматривают книги, касаются одних, листают другие. Дона Педро привлекают «Путешествия» Кука в восемнадцати томах. Но в конце концов, словно притянутые магнитом, они вновь оказываются возле «Энциклопедии».

— Думаете, они согласятся на наши условия? — шепчет дон Эрмохенес.

— Понятия не имею.

Библиотекарь достает коробочку с нюхательным табаком, берет щепотку, чихает и сморкается в платок. Он нервничает.

— Но ведь это единственное полное собрание, которое мы нашли, — продолжает он, понижая голос.

— Я знаю, — отвечает адмирал таким же тоном. — Однако мы ограничены в средствах.

— Неужели ничего нельзя сделать? А если поторговаться?

Дон Педро смотрит на библиотекаря. Взгляд его очень серьезен.

— Мы не на базаре, дон Эрмес. Мы — академики Испанской королевской академии! Кроме того, платим за жилье и еду, за возницу с берлинкой. А это уже черт знает сколько.

— Вы правы. — Библиотекарь с нежностью поглаживает корешок первого тома «Энциклопедии». — Но каково будет ее лишиться?

— Не будем забегать вперед.

Адвокат возвращается один. Словам его предшествует снисходительная улыбка:

— Принимая во внимание, что книги предназначаются для важнейшей испанской институции, моя мать согласна на тысячу пятьсот ливров... Как мы узаконим сделку?

Дон Эрмохенес испускает вздох облегчения, получив за это укоризненный взгляд дона Педро.

— Мы готовы в ближайшее же время выплатить вам всю сумму и забрать книги, — сдержанно заявляет он.

— Вероятно, вам понадобится чек.

— Да, непременно.

Адвокат выглядит довольным. Тем не менее после секундного раздумья он поднимает палец:

— Вы готовы оставить залог?

Дон Эрмохенес открывает рот, однако адмирал успевает первым:

— Разумеется, нет, мсье.

Адвокат неуверенно делает шаг назад. Ситуация перестает ему нравиться.

— Вот как... Но ведь обычно...

Однако взгляд дона Педро превратил бы в лед даже дождь, который поливает за окном с прежней силой.

— Я не знаю, что делают обычно, мсье, потому что покупка и продажа книг никогда не были моим занятием. А торговаться я и вовсе не умею. Однако я готов дать вам слово.

На губах адвоката появляется извиняющаяся улыбка.

— Конечно, конечно... Я с вами согласен. Жду вас у себя в кабинете через два дня, если вас это устраивает, чтобы все завершить.

— Да, мы придем. Можете не сомневаться.

Три поклона и две улыбки: адвоката и дона Эрмохенеса. Когда дон Педро выходит за дверь, лицо его все так же непроницаемо.

— Я очень рад знакомству с вами, господа, — любезно говорит адвокат.

— Мы тоже очень рады, — отзывается адмирал. — Передайте матушке, что мы с ней прощаемся.

Уворачиваясь от потоков воды, падающих с крыш, Паскуаль Рапосо доходит до Гревской площади и останавливается на углу. Словно собираясь пересечь гласис под огнем неприятеля, он пережидает, собираясь с духом, нахлобучивает шляпу поглубже, поднимает воротник шинели, а затем бежит со всех ног, перескакивая через лужи, под сплошным ливнем до дверей кабака «Образ Богородицы».

— Ты мокрый как мышь, приятель, — говорит ему Мило вместо приветствия.

Рапосо ворчит, соглашаясь, и отряхивается, как вымокший пес. Затем швыряет шинель и шляпу на стул и садится к печке, вытягивая ноги, пока Мило подает ему стакан горчего вина.

— Новости есть?

— Так, кое-что.

Пахнет вином и сыростью, мокрыми опилками на деревянном полу, затхлым помещением с закрытым окнами. Бочки, бутылки, эстампы на военную тематику, приклеенные к стенам, длинная, засаленная стойка, потолок, закопченный печной сажей и дымом бесчисленных сальных свечей и подсвечников. В это время народу в заведении немного. Плотной комплекции служанка обслуживает швейцаров из ратуши, грузчиков и лодочников с ближайшей пристани, пока хозяйка за стойкой подсчитывает монеты и чистит ногти. В углу двое солдат в синей форме городских гвардейцев, окосевшие от вина, спят, развалившись на скамейке, а руку одного из них, бессильно свисающую чуть ли не до пола, облизывает кошка.

— Сегодня утром, — сообщает Мило, — твои академики наведались к мадам Эно, которая недавно овдовела. У нее в библиотеке среди прочего имеется «Энциклопедия».

Рапосо настораживается, вытянувшись, как змея.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Мои люди, которые проследили за ними до самого дома вдовы, знают свое дело. Как только академики вышли за дверь, они немедленно разузнали, есть ли в доме слуги... Оказалось, одна-единственная служанка, но этого вполне достаточно: с ней поработали, когда она отправилась за покупками.

У Рапосо, несмотря на вино, пересох рот.

— И что?

— Такое впечатление, что вдова продает свой экземпляр.

— Дьявол!

Мило пожимает плечами и спокойно пьет вино. Рапосо опрокидывает стакан залпом.

— Они уже заплатили? — спрашивает он, хмурясь.

— Пока нет, но я бы сказал, что дело к тому движется... Из дома на Сент-Антуан — это тут неподалеку — твои клиенты отправились в гостиницу на улице Вивьен, а оттуда — в отделение банка Ванден-Ивер, расположенное на той же улице, где предъявили платежное письмо на сумму две тысячи ливров. Насколько мне известно, письмо подтверждено и находится на рассмотрении.

— Так они уже забрали деньги или нет?

— Я же сказал: письмо на рассмотрении. Тут без бюрократии тоже не обойтись. Нужно время, подписи, печати и все такое. Они договорились вернуться завтра.

Рапосо снова вытягивает ноги к огню, пододвигает пустой стакан, и Мило наполняет его из дымящегося кувшина.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — говорит полицейский. — И я с тобой согласен. У тебя два варианта: добыть сегодня платежное письмо или завтра деньги.

Рапосо греет руки, прижав их к стакану.

— А ты бы что выбрал?

— Видишь ли, украсть платежное письмо проще. Наверняка сейчас оно валяется где-нибудь у них в гостинице. Остается просто пойти и забрать.

В глазах Рапосо вспыхивает искорка любопытства.

— А это возможно?

Мило криво усмехается.

— Все возможно, если владеешь техникой... Неудобство заключается в том, что письмо твое не пригодится никому, даже тебе самому, потому что платежное письмо требует подписи, удостоверения личности и прочей возни.

Рапосо пристально рассматривает свой стакан, отпивает из него глоток и снова подносит к глазам.

— Да, но бумажку легче выкрасть и уничтожить, если нужно, — говорит он, поразмыслив.

— Несомненно. — Мило заговорил тише. — Но действовать надо сегодня вечером или ночью, пока их нет в комнате... Дело непростое и рискованное.

— Ясно. А звонкая монета?

— Это дело другое. Ловкость рук, и денежки тут как тут. К тому же они безымянны: кто взял — тот и хозяин. Звонкая монета тебе совсем не помешает, да и мне тоже, — подмигивает он Рапосо. — Разделим пополам. Как тебе такой вариант?

— Годится. Остается вычесть то, что я тебе уже заплатил.

— По-моему, справедливо, — замечает полицейский. — Мне, разумеется, больше по сердцу второй вариант: напасть на них, когда они заберут деньги и отправятся за книгами.

— Кража в центре Парижа средь белого дня?

— Ну да.

— Вот так запросто?

Мило переходит на шепот:

— Завтра наверняка тоже будет лить дождь, и это упрощает дело. Кроме того, здесь повсюду моя территория, не забывай... Другой плюс заключается в том, что две тысячи ливров или та часть этих денег, которую они собираются заплатить вдове, не занимает много места. Обычно в банке Ванден-Ивер расплачиваются золотыми луидорами. А это восемь или девять запечатанных картонных свертков по десять монет в каждом: такую сумму можно запросто унести в двух карманах.

Мило внимательно смотрит на Рапосо. Тот пьет медленно, небольшими глотками, не отрываясь, пока стакан не пустеет.

— Годится, — кивает он в следующий миг.

— Будем идти по следу и, как только они выйдут из банка, нападем на них. На улице Вивьен есть несколько подходящих мест.

— А если они возьмут экипаж?

— Разницы никакой. Остановим посреди улицы — и дело с концом.

— Мы сами — ты и я?

— Ты никак спятил? — Мило смотрит на спящих солдат, словно те могут их подслушать. — Ты забыл, с кем имеешь дело! Это же я, старина Мило! У меня есть подходящие люди.

— И людям этим можно полностью доверять?

Мило хохочет.

— Обижаешь, дружище. Повторяю: ты имеешь дело с Мило... Мы все время будем рядом, все произойдет на наших глазах. И как только все кончится, сразу же заберем луидоры.

Повисает тишина. Рапосо поворачивает в руках пустой стакан. Он думает о завтрашнем дне, об ожидании под дождем где-то в неизвестной точке города. Об академиках, застигнутых врасплох. Их возможных действиях, неведомой опасности.

— В общем, решать тебе, — заключает полицейский.

Наконец Рапосо соглашается. Мило его убедил.

— Договорились. Отложим все на завтра.

— За это стоит выпить глоток. А то и несколько. — Мило подзывает служанку. — Так уж устроен мир: деньги дураков — добыча умников.

Ночь только что опустилась на землю, и полосы дождя рисуют узоры в желтоватом свете уличных фонарей. Дон Педро, дон Эрмохенес и аббат Брингас торопливо шагают по улице. Адмирал и библиотекарь прячутся от дождя под зонтиком из тафты, пропитанной воском, аббата спасают только насквозь промокшие шляпа и плащ. К счастью, неприятная прогулка длится недолго, кофейня, где они поужинали, находится неподалеку от улицы Вивьен и гостиницы, где остановились академики. В этот миг они минуют улицу Кольбер, неподалеку от Королевской библиотеки, старательно уворачиваясь от потоков воды, обрушивающихся с крыш. Заметив проезжающий по немощеным улицам экипаж, из-под чьих колес и копыт вылетают брызги грязи, они прижимаются к стене, и сверху их поливает целый водопад.

— Мокрые, зато сытые, — шутит Брингас, шлепая по лужам.

Он шагает по ним, как расшалившийся ребенок: башмаки так отчаянно хлюпают и пузырятся, что ему уже все равно. Кроме того, за ужином он довольно много выпил и встал из-за стола, как обычно, под мухой. Сегодня они поужинали в трактире «Бовилье» на улице Ришелье: изящная обстановка, порционные блюда. Цены высоки; однако, по наущению Брингаса, академики решили отпраздновать обретение «Энциклопедии» еще одним памятным ужином. И вот втроем, с явным лидированием аббата, хотя дон Эрмохенес на этот раз не слишком от него отставал, они провели пару приятнейших часов, поедая деликатесные блюда, приправленные уксусом и горчицей, паштет из тунца по-тулонски, фуа-гра из Перигора и дуврских вальдшнепов, сопровождая все это великолепие двумя бутылками анжуйского вина.

— Париж в дождливую погоду представляет собой уникальный гидравлический спектакль, — с издевкой сообщает Брингас. — Судите сами: вода с высоты пятьдесят футов обрушивается на землю из двадцати тысяч водостоков, увлекая за собой всю пыль и весь мусор городских крыш, прибавьте сюда лошадей и экипажи, взметающие целые фонтаны: все вместе превращает улицы в скользкие грязевые потоки... Вот уж благодать, Господи помилуй!

— По крайней мере, улицы становятся чище, — возражает дон Эрмохенес.

— Ценой жизни беззащитного пешехода, задохнувшегося в этой клоаке? Нет уж, увольте. Дождь — худшее, что я видел на этой земле обетованной... Вот почему предпочитаю пыль и пух изнывающего от жары Мадрида. Там, по крайней мере, подохнешь и сразу же высохнешь, все лучше, чем гнить!

Проезжает еще один экипаж, они опять прижимаются к стене и получают новую порцию воды, льющейся сверху. Высоким и звонким голосом, перекрывающим шелест и бульканье дождя, Брингас принимается осыпать извозчика проклятьями, называя его мерзавцем и другими куда более крепкими ругательствами. Затем все трое прячутся в открытом портале, где горит фонарь, чтобы немного передохнуть. Брингас отрясает свой плащ, дон Педро открывает и закрывает зонтик. Вскоре каждый из них оказывается стоящим в луже, растекающейся по полу.

— В котором часу отправимся завтра в банк? — спрашивает дон Эрмохенес.

— Открывают обычно в девять, — сообщает Брингас.

— Значит, можно не торопиться, — отвечает адмирал. — Встреча с сыном вдовы Эно назначена на двенадцать.

— А можно ли такую крупную сумму денег таскать с собой по улице? — беспокоится дон Эрмохенес.

— Вот и я говорю, — соглашается с ним адмирал, — нельзя разгуливать по Парижу с тысячью пятьюстами ливрами в кармане!

— Вы собственными глазами видели, господа, что Париж — город абсолютно безопасный, — возражает аббат. — Хоть какая-то польза должна быть от всех этих бесчисленных полицейских, стражников, охранников и прочих захребетников тирании. Нападет бандит на прохожего, а тот, оказывается, тайный агент.

— Все равно, — настаивает адмирал. — Лучше спокойно позавтракать, а потом около половины одиннадцатого отправиться в Ванден-Ивер. — Он поворачивается к Брингасу. — Вам знаком квартал, где расположен кабинет Эно?

— Да, это напротив кофейни «Парнас», у Нового моста, неподалеку от Лувра. Если придем пораньше, можем перекусить в «Парнасе». Это безопасное место, которое посещают адвокаты и юристы из Дворца правосудия.

— Отлично. Встретимся у нас в гостинице в половине девятого. Вас устраивает это время?

— Вполне.

— Боюсь, — беспокоится дон Эрмохенес, — не слишком ли рано для вас, сеньор аббат: от вашего дома до улицы Вивьен немалое расстояние. А что, если опять будет дождь?

Брингас снимает шляпу и парик и отряхивает их. Его череп обрит кое-как, лицо все еще забрызгано каплями.

— Не беспокойтесь. Причина уважительная, и я с удовольствием встану пораньше.

— Не знаю, как благодарить вас за все то, что вы для нас сделали, — говорит растроганный дон Педро.

Неверный свет, проникающий с улицы, делает едва различимой довольную улыбку аббата.

— Мне было приятно вам помогать. И ни о чем не беспокойтесь. Благодаря вам мне перепадали прямо-таки пантагрюэлевские обеды! Не помню, когда последний раз так плотно набивал брюхо, да еще такой отборной едой.

— Это не считается, — настаивает адмирал. — Мы отняли у вас много времени и доставили массу беспокойства. Наш долг...

— Не будем больше об этом.

— Нам бы хотелось...

Брингас пристально смотрит на адмирала, затем раздраженно пожимает плечами.

— И что же вы предлагаете, сеньоры?

— Только не обижайтесь, дорогой аббат. Но мы бы хотели как-то отблагодарить вас за время, проведенное с нами. И за вашу любезность.

Аббат таращится на них так, будто ушам своим не верит.

— Вы имеете в виду деньги?

— Я говорю лишь о том, — адмирал осторожно подбирает слова, — чтобы как-то отблагодарить вас за ваши услуги.

Повисает тишина, все чувствуют себя неловко. Брингас пристально изучает свой парик. Затем нахлобучивает его на голову и мгновенно преображается — становится более значительным, более важным.

— Сеньор адмирал... Вы, как и дон Эрмохенес, вероятно, заметили, что моя финансовая ситуация оставляет желать лучшего. Не так ли?

— Впечатление именно такое, признаться. Раз уж вы спрашиваете.

Теперь аббат рассматривает свою шляпу, еще раз встряхивает ее, протирает рукавом и осторожно надевает поверх парика.

— Живу как придется. Когда наступает темная полоса — а это, честно сказать, случается довольно часто, и мне не стыдно признаться в этом, — я голодаю... Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Более-менее, — отвечает адмирал с некоторой неуверенностью в голосе: он не знает, куда клонит Брингас.

— Но голодом своим я распоряжаюсь сам.

— Как, простите?

— Именно так, как вы слышали. Свободное время, которого у меня бывает предостаточно, я заполняю тем, чем желаю. И в этот раз я решил посвятить его вам.

— Но...

— И никаких «но». — Брингас на мгновение умолкает и изучает их поочередно своими жесткими стальными глазами. — Вы — достойнейшие люди, занятые благородным делом. Я никогда не буду членом ни испанской, ни нашей здешней академии... Но мне бы очень хотелось верить — или даже быть уверенным — в том, что эта «Энциклопедия» просветит нашу дикую отчизну, которую я некогда вынужден был покинуть. Изменит ее, сделает лучше: более просвещенной, культурной, достойной... Вот в чем заключается лучшее вознаграждение!

— Вы — человек исключительной самоотверженности, — замечает дон Эрмохенес после краткого уважительного молчания, в продолжение которого слышен шум дождя за окном.

На губах Брингаса появляется снисходительная улыбка.

— Возможно. Впрочем, день на день не приходится. — Он поворачивается к адмиралу: — А кстати, сколько вы собирались мне заплатить? Спрашиваю чисто из любопытства.

Адмирал недоуменно моргает. Вопрос аббата застал его врасплох.

— Не знаю, — признается дон Педро. — Честно говоря, я...

— Говорите, сеньор! — напирает Брингас. — Между нами давно уже сложились доверительные отношения.

Адмирал с надеждой смотрит на дона Эрмохенеса, но тот обескуражен не меньше его.

— Пожалуйста, — настаивает аббат. — Давайте проясним этот вопрос!

— Ну, раз уж вы так настаиваете... — Адмирал неопределенно разводит руками. — Может быть, сто ливров... Или сто пятьдесят. Около того.

В свинцовом полумраке портала Брингас негодующе трясет головой.

— А вам не пришло в голову, что вы меня оскорбили?

— Умоляю, простите меня, сеньор аббат. Я сожалею...

— Адмирал прав, — вмешивается дон Эрмохенес. — Он бы никогда не отважился...

— Две сотни ливров, как минимум! Это уже вопрос принципа!

Академики переглядываются и вновь смотрят на Брингаса.

— Вы хотите сказать... — произносит адмирал.

Брингас величественно поднимает руку, давая понять, что разговор окончен.

— Вы меня убедили, сеньор... Раз уж вы так настаиваете, не без определенного этического отвращения с моей стороны, я все же готов принять эту сумму!

К гостинице «Кур-де-Франс», величественному строению из белого камня, выделяющемуся в сумраке, едва подсвеченном фонарями, со стороны улицы Вивьен ведут широкие ворота для экипажей, за которыми открывается мощеный внутренний двор, по его брусчатке яростно лупит дождь. Двое академиков и их сопровождающий, насквозь мокрые, входят в вестибюль, где адмирал предлагает Брингасу что-нибудь выпить, чтобы немного прийти в себя, прежде чем отправиться домой.

— Не следует вам уходить, сеньор, не отдышавшись. К тому же вода с вас течет, хоть выжимай. Так что располагайтесь, отдохните немного, а тут, глядишь, и этот проклятый ливень утихнет.

— Во всем виновата моя немилосердная доля, сеньор, — важно отзывается Брингас. — Злодейка-судьба.

— Я в этом не сомневаюсь, дорогой друг. Однако небольшая передышка, теплое питье и чуточку бодрости пошли бы вам на пользу... Проходите, прошу вас, и снимите с себя этот мокрый плащ.

В конце концов аббат принимает приглашение, и вскоре все трое рассаживаются в небольшой гостиной, чьи стены украшены охотничьими сюжетами, которые мягко освещает камин. Их мокрая одежда дымится, а ночной слуга приносит напиток, заказанный Брингасом: агуардиенте с яичным желтком. На подносе лежит конверт, запечатанный сургучом, он предназначен дону Педро. Адмирал берет конверт в руки и смотрит на него, не распечатывая. Все вежливо слушают аббата, который, согревшись в натопленном помещении, снял парик и теперь жестикулирует, размахивая им в воздухе.

— Если бы не климат, который в тех краях еще хуже, клянусь вам, я бы жил в Лондоне, а не здесь, — утверждает Брингас. — Клянусь Ньютоном и Шекспиром: стоял бы сейчас на берегу Темзы, приветствуя воздух свободы, которым дышит народ, сумевший отрубить голову королю...

— Вы считаете, что это нормально? — мигом заводится дон Эрмохенес.

— Разумеется, сеньор. Абсолютно нормально. Обычная гигиеническая процедура. Благодаря этому замечательному примеру на следующих королей смотрели уже по-другому; сей остров, ныне известный своими гражданскими свободами, доказывает, что народ может иметь достойных правителей — есть среди них короли или же нет.

— А вы что скажете, адмирал? — спрашивает дон Эрмохенес. — Сдается мне, англичане нравятся вам куда меньше, чем нашему дорогому другу.

Дон Педро уселся в старое обтянутое кожей кресло, которое привлекло его близостью к горящему камину, кладет ногу на ногу и склоняет голову, с кроткой, задумчивой улыбкой глядя на запечатанный конверт.

— Как гражданам, торговцам и морякам, им, разумеется, нельзя не позавидовать... Мне кажется, что англичане — воинственный, предприимчивый, восхитительный народ. Но, на свое несчастье — или, наоборот, на счастье, — я родился испанцем, а потому могу лишь ненавидеть их, как извечных врагов моей родины.

— Как все-таки по-разному складываются судьбы народов, — разглагольствует Брингас: он все еще стоит спиной к огню, в одной его руке — стакан с агуардиенте, в другой — парик. — Англичанин — крепкий, сытый — радостно пожинает плоды своих усилий и своей отваги. Француз печален: он не смеется ни в поле, где работает как вол, ни в городе, где любуется роскошью, в которой купаются богачи, думая при этом только о том, как расплатиться с долгами... Итальянец изредка пробуждается от своего летаргического сна, чтобы внять призывам любви, страсти или музыки. Немец работает, пьет, храпит и жиреет. Русский охотно дает себя поработить и пашет землю, как скот...

— А наш соотечественник? — нетерпеливо перебивает его дон Эрмохенес.

— Испанец? Не говорите мне об испанце! Закутанный в свой плащ и в свои химеры, презирающий все, чего не знает, а этого тьма-тьмущая, он спит себе сиесту в тени какого-нибудь раскидистого дерева, дожидаясь, когда Божественное Провидение пошлет ему пропитание или вытащит из передряг.

— Неплохо, — смеется библиотекарь.

— Главное — похоже. Из всех литераторов, которые мне известны, я единственный, кто знает народ, потому что я и сам — часть народа... Я не клянчу крошки хлеба со стола богачей, как, например, этот Бертанваль или низкопробные философы из кофейни «Прокоп».

Дон Эрмохенес пристально смотрит на конверт, который дон Педро все еще держит в руках.

— Вы должны прочесть, адмирал. Ведь это могут быть важные известия.

— Да-да, — соглашается Брингас. — Будьте любезны.

Дон Педро кивает, извиняется, ломает сургуч и вскрывает конверт. Затем читает, и только высочайший контроль над собственными эмоциями помогает ему справиться, чтобы они немедленно не отразились у него на лице.

*Поздравляю Вас с тем, что происшествие окончилось без серьезных последствий и спешу выразить мое восхищение. Напоминаю о приглашении позавтракать вместе, которое я сделала Вам в нашу прошлую встречу. Жду у себя дома завтра в девять утра.*

Марго Дансени

— Очередная скверная новость? — нетерпеливо спрашивает дон Эрмохенес, обеспокоенный молчанием друга.

— Ни в коем случае, — мгновение поразмыслив, отвечает адмирал. — Однако у меня появилось неотложное дело... И завтра вам придется отправиться в банк за деньгами без меня.

Библиотекарь бросает на него обеспокоенный взгляд.

— Вот оно как... Что-то серьезное?

— Да, но не в отрицательном смысле. Так что, если вы ничего не имеете против, мы встретимся позже в кофейне, о которой говорил сеньор аббат.

— В «Парнасе», — уточняет Брингас.

— Отлично. — Дон Педро кивает, невозмутимо складывает письмо и прячет его в рукав камзола. — Увидимся в кофейне без четверти двенадцать и вместе отправимся к адвокату.

После двух недель исследований я вернулся в Париж с уже практически готовым романом, в котором недоставало лишь заключительных глав. Мне предстояло заняться самой сложной и наименее увлекательной работой: придать роману цельность от начала до конца, неустанно исправляя и переделывая уже написанное, и впереди меня ожидал еще год работы. Но основная фабула — история о двух ученых мужах, дальняя дорога и приключения, которые ожидали их в пути, — была готова. К этому времени я знал об этом деле все, что было необходимо; а остальное — лакуны, темные места, которые невозможно было заполнить с документальной точностью, — мог воссоздать или выдумать, придав им черты достоверности.

Частный визит, который дон Педро Сарате нанес мадам Дансени, не слишком меня беспокоил. Я предполагал, что адмирал попадет в непростое положение; однако истинный кабальеро, каким он оставался всю свою жизнь, разумеется, не оставил никаких упоминаний об этой встрече ни в своей переписке, ни в воспоминаниях о путешествии в Париж, написанных позже по просьбе коллег из Академии. Так что у меня не оставалось иного выхода, кроме как представить себе все то, что происходило во время того знаменательного завтрака. К счастью, изобилующая описательными подробностями книга Мэри Саммер «*Quelques salons de Paris au XVIII siècle* »[[92]](#footnote-92), изданная в 1898 году, а также исчерканный пометками и замечаниями «*Tableau de Paris»* Мерсье позволили мне добыть массу бесценных сведений об обычаях мадам Дансени, которые позже я сумел дополнить благодаря обширной статье, которую любезная Шанталь Керодрен, букинист с набережной Сены и преподаватель истории, прислала мне после того, как, по ее словам, совершено случайно обнаружила в старом номере «*Revue des Deux Mondes»*. В этой статье, написанной в 1991 году Жераром де Кортанзом и посвященной куртуазной литературе, описывающей предреволюционную Францию, дважды упоминалась мадам Дансени.

Свой материал я дополнил с помощью еще одного важнейшего источника, который на сей раз мне пришлось изучать с лупой в руках: это был портрет четы Дансени, написанный их подругой — Аделаидой Лабиль-Жиар. Мне посчастливилось достать приличную копию этого портрета. Для меня было особенно важно изучить характер мадам Дансени через ее внешность и понять, каким образом эта необыкновенная, свободная в своих привычках и пристрастиях женщина воплотила в себе чувства, идеи и свободы, свойственные ее времени. Портрет, безусловно, льстил мадам Дансени, и не только в смысле физической красоты. По контрасту с мирным домашним обликом супруга ее английский прогулочный костюм, жакет для верховой езды и шляпа амазонки придавали всему ее облику оттенок спокойной уверенности, а еще — свежесть, независимость, раскованность. С томика Руссо, лежащего у нее на коленях, взгляд зрителя перемещался вверх, к ее глазам, выразительным и темным, обрамленным завитками черных волос без пудры, которые выбивались из-под шляпы с небольшими полями и фазаньим перышком. Этот взгляд заключал в себе все: ум, безмятежность, тайные страсти. Именно по этим глазам, рассуждал я, можно воссоздать все то, что произошло в то утро во время завтрака с адмиралом.

И вот, вооруженный всеми этими сокровищами, уже в Мадриде, за письменным столом и клавиатурой моего компьютера, я наконец-то смог всерьез заняться развязкой моей истории, а заодно при помощи карты Парижа, составленной Алибером, Эно и Рапийи, воссоздать события того утра, когда дон Педро Сарате, миновав галерею и некоторое время постояв под ремонтными лесами Пале-Рояль, укрываясь от дождя, пересек улицу Сент-Оноре, проник за кованую, черную с позолотой ограду элегантного особняка четы Дансени и ровно в девять утра, позвонив в колокольчик, вручил свою карточку мажордому.

— Не могу решить дилемму: какой оттенок кармина использовать сегодня? Правильной выбор цвета — вопрос в высшей степени важный. Актрисы выбирают rouge, чтобы лучше смотреться при ярких свечах; роскошная куртизанка едва наносит на щеки румяна, чтобы не выглядело слишком заметно; простая баба, наоборот, мажется, как жена лавочника... Вся парижская жизнь, мсье, вращается вокруг красного цвета.

Прекрасные волосы только что причесаны, тонкие черты лица едва тронуты косметикой, сочетание серого дневного света, проникающего в открытые ставни, и зажженных свечей радует глаз. Каждая мелочь несет на себе печать живого ума и хорошего вкуса, потому что мадам Дансени знает толк и в обстановке, и в атмосфере. Она принимает адмирала, сидя в постели с ногами, укрытыми одеялом, обложенная подушками. Легкий пеньюар не скрывает, а лишь подчеркивает ее формы, которые угадываются сквозь атлас. Рядом с ней на одеяле стоит поднос с завтраком и приборами на двоих из серебра и фарфора; рядом лежит открытая книга обложкой вверх; а на расстоянии вытянутой руки — три флакончика с кармином: именно с них мадам Дансени начала разговор.

— Садитесь, адмирал. — Она указывает на обитое бархатом кресло, стоящее около кровати. — Хотите кофе?

— Да, пожалуйста.

— С молоком?

— Если можно, по-испански.

— Одну секунду...

Она сама наливает кофе и подает дымящуюся чашку адмиралу. Наклонившись к ней, дон Педро различает аромат нежнейшего парфюма, напоминающего запах жасмина. Поднося к губам чашку, он потихоньку осматривается. Альков украшен открытками, силуэтами, вырезанными из бумаги, акварелями и изысканными мелочами, подобранными на парижский манер: статуэтка китайского мага, обнаженная мужская фигура Клингштедта, выполненная черной тушью, фарфоровые фигурки персонажей из комедии дель арте — Октавио, Лусинда y Скарамуша, а также полдюжины лаковых шкатулок различных форм и размеров. Ковер, украшающий изголовье кровати, — куртуазная сценка полдника на природе, — стоимостью никак не менее десяти тысяч ливров.

— Мадам Танкреди тоже была приглашена на завтрак, но, к сожалению, не придет: лежит в постели с приступом мигрени, насколько мне известно. А Де Вёв, мой парикмахер, только что ушел, приведя в порядок мои волосы. Надеюсь, вас это не слишком огорчает, сеньор.

— Ни в коем случае.

— Коэтлегон тоже иногда заходит выпить кофе. Он его безумно любит! Но сегодня он, разумеется, прийти не смог.

Она держится раскованно и спокойно. Искоса посматривает на дона Педро с легкой улыбкой в уголках рта. Не произнося ни слова, адмирал с невозмутимым видом выдерживает ее взгляд и делает еще один глоток кофе. Свет в комнате, продуманный и обустроенный, как на картине, выгодно оттеняет достоинства мадам Дансени: делает невидимыми легчайшие отпечатки возраста, смягчает следы сна, подчеркивает выражение внимательных черных глаз, изгиб шеи и белизну кожи. И, разумеется, очертания ее тела, которые угадываются под пеньюаром. Она похожа на прекрасную Диану после сна или купанья.

Кажется, она угадывает его мысли. А может, читает их полностью и безошибочно.

— В Париже каждой светской даме полагается начинать утро с туалета, — говорит она с улыбкой. — Первый туалет — тайный, во время него не могут присутствовать даже любовники. Они входят не ранее условленного часа: лучше бросить женщину, чем застать ее врасплох... Затем наступает время второго туалета: это что-то вроде кокетливой игры. Соскальзывающий пеньюар, довольно откровенное дезабилье... Прибавьте к этому пудру на туалетном столике, марлю или тончайший тюль, недочитанные письма и открытую книгу, лежащую поверх одеяла, — как, например, эта... Я, можно сказать, образец светской дамы, сеньор!

На этот раз улыбается адмирал.

— Я и не сомневался. Отменный вкус и красота полнее проявляются именно в таких условиях, а не на официальных приемах... Ваш облик, сеньора, редкий дар судьбы.

— При чем тут судьба. — Она невесело усмехается. — Это слово всего лишь синоним невежества. Труд, интуиция, терпение, расчет — вот что на самом деле обогащает природу, чтобы раскрылись ее самые бесценные сокровища.

— Не будьте к себе несправедливы. Расчеты вам ни к чему. Вы такова, какова есть.

Он проговорил это поспешно, не слишком задумываясь о словах. Можно даже сказать, страстно. Марго Дансени смотрит на него молча, она до странности задумчива.

— Благодарю вас, — отзывается она наконец. — По утрам только мой песик Вольтер и близкие друзья имеют право входить сюда. Окна все еще полуприкрыты, и день начинается не раньше полудня. В Париже многие женщины встают очень поздно, а ложатся на рассвете. По крайней мере, так они утверждают.

Иногда она на секунду умолкает между двумя фразами или двумя словами, внимательно глядя на адмирала. Тщательно изучая каждый его жест, взвешивая каждое слово. И всякий раз дон Педро подносит чашку к губам, стойко выдерживая ее пристальный взгляд.

— Когда есть кормилицы, управляющие, наставники, школы и монастыри, — продолжает мадам Дансени, — многие женщины забывают даже о том, что они матери. Я имею в виду этих красавиц с нетронутыми грудями... В прежние времена увядшая грудь считалась прекрасной: ею вскормили детей, и это украшало. А сейчас... К сожалению, мне не довелось познать счастье материнства. У меня детей не было, и, думаю, уже не будет. Очень скоро моя внешность...

Она оставляет фразу незаконченной, и эта хорошо рассчитанная пауза вызывает у адмирала легкую улыбку.

— Я уверен, сеньора, что вы всегда будете выглядеть наилучшим образом. С детьми или без детей.

— По крайней мере, увядшая грудь пока что мне не грозит.

Вновь повисает непродолжительная пауза, мадам Дансени сосредоточенно накручивает на палец бахрому, которой обшито покрывало.

— Поскольку беременность мне не угрожает, я иногда сказываюсь больной, просто чтобы казаться интересной... Болеть в Париже — самое, знаете ли, обычное дело. Такая сырость кругом!

— *La mollesse est douce, et sa suite est cruelle*[[93]](#footnote-93), — говорит адмирал.

— Что я слышу! — Она смотрит на него с изумлением. — Вы читали Вольтера?

— Конечно. И в этом нет ничего особенного.

Изящно поднеся руку к шее, она смеется нежным, мелодичным смехом.

— Ну, знаете, читать Вольтера по-испански — это именно нечто особенное!

— Вы бы, вероятно, удивились, сеньора, если бы узнали, сколько испанцев его читают.

— Вы имеете в виду Академию?

— И не только. За ее стенами тоже читают Вольтера.

— Несмотря на запрет?

— Несмотря ни на что.

— Мой отец, конечно же, не читал. И никто из его друзей не читал. И в моей монастырской школе никто не оценил *безбожного философа*. Даже имени его не смели произнести! Тебя бы просто заклевали...

— А вас когда-нибудь клевали? — интересуется дон Педро, не обращая внимания на то, что вопрос звучит довольно-таки резко.

Она улыбается чуть надменно, однако настолько загадочно, что неясно, что означает ее улыбка.

— В детстве — ни разу.

— Вам повезло. — Адмирал обеспокоенно ерзает в кресле, не зная, как выйти из неловкого положения. — Я только хотел сказать... Времена меняются.

— Там, в Испании, слишком многому, боюсь, предстоит измениться. Хотите еще кофе?

— С удовольствием.

Он протянул чашку, довольный тем, что неловкость осталась позади, а Марго Дансени вновь наливает ему из кофейника темный напиток, успевший уже остыть.

— В любом случае, — продолжает она, вновь беря в свои руки нить разговора, — принцип угадан верно: слабость украшает женщину, и мы это знаем. Мы любим казаться существами хрупкими, нуждающимися в заботе мужчин.

— Это льстит самолюбию тех, кто становится свидетелем этой непритязательной хрупкости, — соглашается адмирал.

Она вновь смотрит на него с интересом.

— Но не эта ли хрупкость делает нас смертельно скучными? Женщина, страдающая от уличной сырости, занята только тем, что дни напролет бродит от туалета к уборной и от уборной к оттоманке. Плестись в карете в долгой и утомительной веренице других экипажей, заехать в лавочку где-нибудь в Сент-Оноре — вот что мы здесь, в Париже, называем прогулкой. Кое-кто связывает женственность с самой постыдной немощью и ленью.

Она протягивает руку и дергает шнурок, висящий у изголовья, чтобы вызвать служанку. В отличие от привычного испанского колокольчика, замечает адмирал, парижские дома вдоль и поперек обвязаны шнурками под названием *sonnettes*[[94]](#footnote-94), которые считаются последним писком моды.

— Мы, парижанки, все, как на подбор, стройны, — продолжает мадам Дансени. — Нас приводит в отчаяние мысль, что после тридцати многим предстоит растолстеть, вся надежда на корсеты да китовый ус. А есть и такие, кто пьет уксус, чтобы сохранить талию! Вот почему у них кислые лица.

Хорошенькая юная служанка, одетая к тому же весьма изящно, входит в спальню, поправляет подушки госпожи и уносит поднос с остатками завтрака.

— У вас очаровательная служанка, — замечает адмирал, когда она удаляется.

— Служанки не страдают пороками, присущими лакеям. Часто они перенимают манеры дам, которым прислуживают, и через некоторое время их не узнать... Когда они выходят замуж за мелких буржуа, выглядят они так благородно, что производят сильное впечатление на людей своего класса, а не слишком опытный глаз нередко принимает их за женщин высшего света: *demoiselles* и *madames*.

— Я заметил, что в Париже несколько злоупотребляют этим обращениями.

— *Demoiselle* называют всех девушек, которым не говорят «ты». А «мадам» — это вообще все женщины от герцогини до прачки или цветочницы. Но скоро мы и к девицам начнем обращаться «мадам», потому что столько развелось пожилых мадемуазелей, что запутаться можно... Кстати, как вам парижанки?

— Даже не знаю, что сказать... Они, конечно, привлекают внимание. Раскованные, иной раз до развязности... В Испании такое и представить невозможно.

— Здесь женщины привыкли посещать общественные места, общаться с мужчинами, у них своя гордость, отвага и свои собственные взгляды... Мещанки, посвящающие себя мужьям и детям, а также домашним заботам, экономны, рассудительны и трудолюбивы... Женщины света пишут по десять-двенадцать писем в день, рассылают ходатайства, осаждают министров... Пристраивают своих любовников, мужей, сыновей...

— Руссо писал очень резкие вещи о парижанках...

Марго Дансени моргает: она вновь удивлена.

— Так вы и Жан-Жака читали?

— Немного.

— Да вы просто кладезь познаний, сеньор! Так или иначе, Руссо во многом был прав. Мы, парижанки, расточительны, кокетливы и легкомысленны. Дни мы тратим на то, чтобы требовать, ночи — чтобы позволять. По логике вещей, это муж должен влиять на жену, но, поскольку три четверти мужчин страдают отсутствием воли, энергии и достоинства, за дело берутся жены... И тут даже скромное происхождение не имеет значения: прелесть хорошенькой гризетки или цветочницы может притянуть к себе герцога, маршала Франции, министра и даже самого короля. И командовать уже через них.

— В Испании это невозможно, — замечает адмирал.

— Вы говорите так, будто вас это радует.

— Меня это действительно радует. Со всеми нашими недостатками, королями и грандами, мужчины у нас все-таки не забывают, что такое чувство собственного достоинства, потому что этого от них требует сам народ... И любовницы у нас не лезут в политику. Это считается неподобающим. И даже неприличным.

Он умолкает. Она продолжает пристально его рассматривать.

— Вы, вероятно, думаете, что я кокетка.

— Ни в коем случае.

— Я не кокетка. — На ее лице появляется осторожная, чуть заметная улыбка. — Однако я знаю, что интерес к женщинам делает мужчин более остроумными и изобретательными. Даже храбрыми. Вот почему я позволяю себя любить. Несмотря на свой возраст. Вы задумывались о том, сколько мне лет, сеньор?

Адмирал вздрагивает и выпрямляется в кресле.

— Я бы никогда не осмелился... Впрочем, сам я уже в том возрасте, когда можно осмелиться на что угодно, не опасаясь показаться неучтивым.

Она приоткрывает рот, польщенная.

— О, вы, сеньор, истинный дворянин.

— Вы преувеличиваете, моя дорогая.

Дон Педро рассматривает открытки с черными силуэтами, которыми украшена спальня. В одной из фигурок, нарисованных тушью, без труда угадывается хозяйка дома. Ее очертания не спутаешь ни с чем: точеная фигурка, высокая прическа и зонтик в руках. Мадам Дансени следит за направлением его взгляда и вновь улыбается.

— Так и быть: можете дать мне сорок лет или около того, только не преувеличивайте, прошу вас!

Дон Педро качает головой, мягко отказываясь.

— Красивой женщине не может быть сорок: ей либо тридцать, либо шестьдесят.

— Ну и ну, сеньор! Да у вас просто талант! Или, скорее, то, что мы называем esprit — на испанский такое не переведешь.

— Это всего лишь здравый смысл, сеньора.

Они умолкают, но молчание их не тяготит. Она рассматривает свои белые ухоженные руки с аккуратными ногтями. Затем кончиками пальцев касается книги, лежащей поверх покрывала, чуть заметно вздыхает и снова поднимает глаза на адмирала, который все еще рассматривает открытки.

— Вам нравится этот силуэт?

— Очень.

— Его нарисовала моя подруга Аделаида Лабиль-Жиар.

— Тонкая работа. Она очень точно передала ваш облик, сеньора.

Мадам Дансени грустно улыбается.

— Для всякой женщины, — говорит она, — еще недавно возбуждавшей желание мужчин и ревность других женщин, однажды наступает тяжелый момент: зеркало говорит ей, что она уже не столь хороша, как прежде.

Дон Педро осторожно кивает, соглашаясь.

— Да, вероятно... Уверен, это тяжелый удар.

Лицо мадам Дансени темнеет, словно свет, идущий из окна, в сочетании со светом свечей внезапно перестали ее украшать.

— Вы представить себе не можете, до какой степени. Они страдают гораздо сильнее министра, который в один прекрасный день обнаруживает, что лишился власти или милости короля. И существует лишь два способа смягчить эту боль: религиозное благочестие или искусство стареть с достоинством. Познав достаточное количество любовников, женщина считает себя счастливицей, если сумела превратить одного из них, самого умного, в верного и надежного друга.

— Что ж, на мой взгляд, это разумное решение.

— Вы правы. Потому что, когда уходят иллюзии любви и страсти, разум становится более совершенным... Женщина сорока лет может стать прекрасной подругой, она привязана к мужчине, чьей дружбой дорожит, и готова оказать ему тысячу услуг.

— Это вполне естественно, — отвечает адмирал. — Есть же достойнейшие женщины, привыкшие думать самостоятельно. Умнейшие дамы с независимым разумом, которые ставят себя выше предрассудков и умеют сочетать свойственную мужчинам твердость духа с чувствительностью, присущей своему полу.

— Верно подмечено. Вот почему талантливые женщины любят своих старых друзей нежнее, чем юные любовницы... При случае они могут обмануть и мужа, и любовника. А вот друга — никогда.

Мадам Дансени умолкает. Она вновь рассматривает книгу, чье название на корешке дону Педро никак не удается прочитать.

— Кстати, мое письмо к вам было таким коротким, потому что я боялась сделать орфографическую ошибку... Мой испанский испортился из-за редкого использования и совершенно не годится для переписки с академиком.

— Женщина, подобная вам, может допустить грамматическую ошибку, но ей никогда не изменяет чувство стиля.

Улыбка мадам Дансени делается просто ослепительной. Она способна растопить не только весь шоколад на улице Сент-Оноре, думает дон Педро, но и весь лед Арктики.

— Вы мне нравитесь, сеньор. Иногда вы улыбаетесь вместо того, чтобы ответить. Вы не стараетесь быть остроумным или продемонстрировать *esprit*. Вы из тех, кто позволяет говорить другим людям и умеет выслушать. Или, по крайней мере, делает вид.

Не зная, что ответить на этот комплимент, дон Педро лишь внимательно смотрит на свою собеседницу. Марго Дансени чуть изменяет положение тела, устраиваясь в подушках поудобнее, и ее формы отчетливее обозначаются под пеньюаром и легким атласом рубашки.

— Проницательная женщина, — продолжает она, — угадывает педанта уже на третьей фразе и способна разглядеть талант даже в человеке, хранящем молчание.

Она берет с кровати книгу и показывает ее адмиралу, словно делится тайной.

— Каждое утро приблизительно полчаса я читаю и только потом встаю, — добавляет она. — Сейчас читаю эту книгу. Вам она знакома?

Адмирал берет у нее из рук томик ин-октаво в кожаном переплете, с иллюстрациями. «*Thérése philosophe»*, читает он на обложке. Автор — Буайе д'Аржан.

— Ни разу не слышал.

— Это как раз то, что у нас называют «философским чтивом»... Или куртуазным.

— Развратная книга? — удивляется дон Педро.

— Пожалуй, — смеется она. — Так будет вернее.

Адмирал переворачивает несколько страниц. К его удивлению, рисунки, сопровождающие текст, представляют собой чистейшую порнографию.

Он поднимает глаза на мадам Дансени и замечает, что она с живейшим любопытством следит за выражением его лица.

— Есть куртуазные книги вполне приличного качества. Даже по-своему невинные. Например, «*Paméla»*, «*Clarisse Harlowe»* или «*La Nouvelle Héloïse»...*[[95]](#footnote-95) Однако это несколько чересчур...

Слишком чересчур, соглашается дон Педро, переворачивая страницы и делая усилие, чтобы казаться по-прежнему невозмутимым. Одна из иллюстраций, абсолютно откровенная, представляет собой обнаженную женщину, лежащую в простынях, и овладевающего ею мужчину.

— Есть женщины, убежденные в том, что книга — то же, что коробочка с пудрой или лента для шляпы, — без малейшего стеснения рассуждает мадам Дансени. — Их притягивает цвет или переплет. А потом они утверждают, что предпочитают Расина Корнелю или наоборот... По-настоящему достойные женщины отказались от этого всем надоевшего *femmes savantes*[[96]](#footnote-96), которое было в моде лет тридцать назад, чтобы предоставить женам академиков право защищать репутацию своих мужей и судить о таланте молодых или уже не очень молодых авторов... А эти романы не только увлекательны, но позволяют лучше себя узнать. И стать более свободным.

Дон Педро продолжает перелистывать страницы. На следующем рисунке молодая женщина с обнаженной грудью ласкает спину мужчины, который глубоко вошел сзади в другую женщину, стоящую на коленях. Дойдя до третьей гравюры — трое монахов внимательно изучают анатомию обнаженной девушки с задранной юбкой — адмирал закрывает книгу и молча кладет ее на покрывало.

— В Париже, — продолжает Марго Дансени, — любовь — всего лишь удовлетворение похоти, обычное действо, которое занимает чувства, не затрагивая разум, не требуя каких-либо обязательств. Хрупкая в силу своего непостоянства, она не требует жертв, которые обходятся нам слишком дорого. Соблазнить можно только ту женщину, которая желает быть соблазненной, истинная же добродетель обычно не страдает. Любовь невесома, легка, а когда ей все наскучит, она испаряется. Понимаете, что я имею в виду?

Повисает пауза, которой хватает для того, чтобы адмирал с завидным присутствием духа мог сглотнуть слюну, прежде чем ответить. Точнее, пытается сглотнуть, потому что рот у него пересох.

— То есть вы хотите сказать, — отвечает он, кое-как придя в себя, — что любовь настолько поверхностна, что ранит только те сердца, которые хотят, чтобы их ранили?

Мадам Дансени делает вид, будто бы неслышно аплодирует.

— Вы абсолютно правы. Вот почему, пока все ведут себя разумно и осмотрительно, муж ни за что не отвечает и никто над ним не смеется. В высшем свете муж не является хозяином своей супруги и она также не обязана ему подчиняться. У каждого из них своя жизнь, свои друзья, увлечения. Они относятся друг к другу с уважением. Следить за женой, обвинять ее в чем-либо считается признаком дурного тона. Понимаете?

— Разумеется.

— В конечном итоге добродетель годится лишь для холодных, спокойных живописных полотен. Только страсть и порок по-настоящему вдохновляют поэта, художника, музыканта. Которые, в свою очередь, поощряют дерзкого любовника.

— То же самое вы говорили в прошлый раз, во время ужина.

— У вас хорошая память.

— Пожалуй.

Они снова умолкают. На этот раз тишина кажется такой многозначительной и напряженной, что дон Педро, неподвижно и прямо сидящий в кресле, чувствует, как ноют мышцы в спине.

— А вы дерзки, адмирал?

На лице дона Педро обозначилась печальная улыбка.

— Пожалуй, нет. И уже довольно давно.

— А благородны?

— Стараюсь таковым быть.

— Мне чудится в вас какая-то печаль, — спокойно и задумчиво произносит мадам Дансени. — И мне кажется, что это не связано с возрастом.

Он уже полностью взял себя в руки — как ни странно, намек на возраст его взбодрил — и с величайшим презрением пожимает плечами.

— В юности я изъездил полмира, всюду таская за собой свою меланхолию, как ручную кладь... Будто бы заранее был уверен в том, что жизнь отнимет у меня все то лучшее, что мне достанется. А может, это было предчувствие...

— Что же вам досталось в итоге, сеньор?

— Так сразу ничего не приходит в голову, — отвечает он.

— Вы уверены?

— Да, сеньора.

Опершись на локоть, обложенная со всех сторон подушками, Марго Дансени смотрит на него требовательно и очень внимательно, но в улыбке ее чувствуется сострадание. Ее шея и руки выглядят теплыми, нежными, притягательными. Она прекрасна, внезапно думает адмирал — уже не в первый раз. Именно здесь, с этим светом она ослепительно хороша.

— Руссо утверждал, что человек пробуждается во время путешествия, — говорит она.

— Я этого не отрицаю. — Адмирал вновь обрел свое обычное хладнокровие. — Когда-нибудь я попытаюсь познакомиться с ним поближе. Узнать получше.

Марго Дансени снова берет книгу и перелистывает страницы, бегло и равнодушно рассматривая гравюры. Затем неожиданно поднимает глаза, словно желая застать адмирала врасплох.

— Но кое-что можно о вас сказать с уверенностью, адмирал: вы — красивый мужчина, — говорит мадам Дансени.

— Не знаю, что вы под этим понимаете, — растерянно моргает дон Педро. — В моем возрасте...

— Красивый мужчина — это тот, в ком сама природа предусмотрела два важнейших свойства: личная сохранность, подразумевающая много всего, даже способность выжить в войну, и сохранение вида, которое сводится всего-навсего к... Вы целовали хоть одну женщину в Париже, сеньор?

На этот раз адмирал действительно теряется. Это уже не просто растерянность, это чуть ли не паника.

— Не думаю, что... Ради бога, сеньора... Разумеется, нет!

— Разумеется? В отличие от Испании, в Париже целуются очень охотно. Нет ничего естественнее этого выражения привязанности и взаимной симпатии.

Она настойчиво протягивает адмиралу книгу, тот берет ее снова.

— Почитайте мне немного, сеньор. Очень вас прошу. Мои друзья часто читают мне вслух.

— Я не знаю, имеет ли смысл это делать, — извиняется дон Педро, смущаясь. — Она по-французски.

— Так что же? Вы отлично говорите по-французски. Переводите на испанский. Мне бы хотелось услышать, как все это звучит на нашем с вами языке.

Книга уже открыта на какой-то странице, которую мадам Дансени, передавая ее адмиралу, заложила пальцем. Адмирал читает вслух, делая паузы в нужных местах и стараясь произносить слова как можно отчетливее.

*У них те же потребности, что и у мужчин, и сделаны они из того же материала, но ведут себя совершенно иначе. Мысли о чести, боязнь столкнуться с бестактностью и невежеством, опасение зачать ребенка не позволяют им испытывать чувства, свойственные мужчинам...*

— Продолжайте, прошу вас, — умоляет Марго Дансени, когда дон Педро поднимает глаза от страницы и смотрит на нее. — Будьте любезны, еще несколько строчек.

— Как вам угодно...

*Кровь, желание, нервное возбуждение распалили его клинок и сделали твердым. Оба, не сговариваясь, принимают наилучшую позу: стрела любовника вдета в колчан возлюбленной, семя закипает, разогреваемое взаимным трением телесных членов. Избыток наслаждения устремляет его прочь, и божественный эликсир вот-вот готов извергнуться* ...

Дон Педро прерывает чтение. Смущение, думает он — и думать об этом ему неприятно, — наверняка отражается у него на лице. А мадам Дансени все замечает!

— Как вам книга? — спрашивает она.

Он колеблется, подбирая слова.

— Возбуждающее чтение, — заключает он. — Полагаю...

— Полагаете, сеньор?

— Да.

Улыбка Марго Дансени становится шире.

— Философская литература, чего же вы ожидали!

Адмирал не отвечает. Между ее губ, которые она еще не успела накрасить, виднеются острые резцы — белоснежные и блестящие. Глаза ее тоже блестят, но по-другому.

— В таком случае продолжайте, пожалуйста. Читайте с той страницы, где я отметила значком.

Дон Педро смотрит на нее уже сдержаннее. Хладнокровие вновь при нем.

— Вы уверены, сеньора? Вам это кажется уместным?

— Да, вполне.

Он продолжает читать вслух, четко проговаривая все слова и разделяя фразы. Перевод дается ему без труда.

— *À l’ instant vous tombâtes entre mes bras*[[97]](#footnote-97), — читает он.

*В этот миг вы пали в мои объятья. Я без колебаний схватила клинок, который до этого мгновения казался мне преисполненным страха, и сама пристроила его в отверстие, которому сей клинок угрожал. Вы погрузились в меня, однако от ваших яростных толчков и ударов я не издала ни единого крика; мое внимание, сосредоточенное исключительно на удовольствии, не позволяло мне прислушиваться к боли... Страсть уже стерла философское отношение к человеку как хозяину себя самого, как вдруг вы произнесли, обращаясь ко мне и едва выговаривая слова:*

— *Я не смогу, Тереза, воспользоваться всеми правами, которые вы мне предоставили; вы можете понести, а я хочу этого избежать. Величайшее наслаждение уже близко, поднесите вновь вашу длань к своему победителю в тот миг, когда он оторвется от вас, и помогите ему ритмичными движениями... Этот миг настал, дочь моя... Я... умираю... от наслаждения...*

— *Ах, но ведь и я умираю, — воскликнула я. — Я не могу более терпеть... Я... теряю... рассудок...*

*Тут я схватила клинок и легонько сжала его в руке, служившей мне в этот миг неким подобием футляра, который он использовал, чтобы достичь наивысшего пика.*

Дойдя до этого пункта, адмирал медленно закрывает книгу, поднимается с кресла и несколько мгновений стоит неподвижно, серьезный и сосредоточенный. Затем, неторопливо приблизившись к Марго Дансени, словно бы давая ей возможность остановить его словом или взглядом, он преодолевает, так и не встретив препятствия, пространство, отделяющее его от блаженства.

Над улицей Вивьен дождь раскинул свое серое покрывало. Его непрозрачная пелена временами делает невидимыми здания, которые тянутся по обе стороны улицы. Прижавшись спиной к мокрой стене и защищая себя от воды лишь с помощью шинели и шляпы, Паскуаль Рапосо издали следит за доном Эрмохенесом Молиной и аббатом Брингасом, которые поспешно шагают по мостовой, взявшись под руку и укрывшись от ливня большим черным зонтом. Скосив глаза направо, Рапосо убеждается в том, что Мило, сопровождаемый двумя парнями, — «шутниками, которым он полностью доверяет», как сам полицейский ему объяснил, — также следует за ними по пятам по другой стороне улицы, зоркий и сторожкий, как ястреб-перепелятник, ловко обходя струи воды, падающие с крыш и из водостоков. Улицы почти безлюдны: изредка проедет экипаж, обдав все кругом грязью. Редкие пешеходы пробираются поспешно, почти украдкой, а то и вовсе бегут со всех ног, чтобы не промокнуть насквозь. Бледный сероватый свет едва проникает в сумрачные порталы, витрины некоторых магазинов подсвечены горящими свечами. Все вокруг кажется холодным, мокрым, сиротливым и бесприютным.

Рапосо что-то прикидывает в уме, выбирая удобный момент. В районе Нёв-де-Пети-Шан, неподалеку от Пале-Рояль, тихая, темная улица Вивьен совсем замирает. Пять минут назад аббат и академик вышли из банка Ванден-Ивер и движутся в направлении Сены. Остается предположить, что они несут с собой деньги, предназначенные для покупки «Энциклопедии» у вдовы Эно, эти деньги, как утверждает Мило, мастер такого рода расследований, должны передать сыну вдовы, адвокату, чей кабинет располагается рядом с Дворцом правосудия. Этот путь предполагает несколько точек, где можно осуществить задуманное, о чем Рапосо размышляет сейчас с хищной и зловещей улыбкой. Они обговорили и обсудили все, кроме подходящего места, где приведут в исполнение свой план. Однако по мере того, как аббат и библиотекарь приближаются к реке и центру города, шансов становится все меньше. В окрестностях Лувра даже в дождь много людей и экипажей, а в районе Нового моста нет-нет да и прошагает патруль французских гвардейцев. Вот почему все должно произойти раньше, в квартале, чью воображаемую границу Мило обозначил в районе Сент-Оноре. Это, по словам полицейского, крайняя точка. Последняя возможность напасть и убежать.

Единственное, что удивляет, — размышляет Рапосо, с яростной бранью уворачиваясь от очередного ледяного потока, низвергающегося с крыши, — это отсутствие дона Педро Сарате. Несмотря на то что Рапосо, Мило и двое головорезов шли за библиотекарем и аббатом с того момента, как они покинули банк Ванден-Ивер, проведя внутри битый час, адмирал так и не появился. В принципе, это не так важно, поскольку все равно понятно, в чьих руках находятся деньги, полученные в обмен на вексель, предъявленный академиками; однако Рапосо — человек щепетильный: он не любит идти по жизни дальше, не завершив начатого. Скорее всего, адмирал движется им навстречу, размышляет Рапосо. Возможно, еще не решено, где произойдет встреча — в кабинете адвоката или в Марэ, где живет вдова. Последняя мысль его тревожит. Надеюсь, подозрительно говорит он себе, этот тип не появится прямо сейчас, а упаковывает где-нибудь двадцать восемь томов проклятой книги.

Аббат и библиотекарь дошли до угла. Строительные леса преграждают им путь к садам и галереям Пале-Рояль, которые сейчас ремонтируют, и Рапосо убеждается в том, что они повернули налево. Он ускоряет шаг, чтобы не потерять их из виду, шлепает по лужам, сокращая расстояние. Он замечает, что идущие по правой стороне Мило и прочие также ускорились. Дойдя до перекрестка, Рапосо высовывается из-за угла и убеждается в том, что двое мужчин сворачивают на улицу Бон-Занфан и постепенно удаляются. Эту улицу они с полицейским упоминали в числе прочих, подходящих и не очень, планируя сегодняшнее предприятие. Для их плана она подходит идеально — темная, узкая, с примыкающим к ней переулком. Рапосо поднимает руку, чтобы предупредить Мило, но понимает, что тот оценил положение вещей, потому что уже дает инструкции своим агентам, которые бегут, разбрызгивая воду, проносятся под лесами Пале-Рояль и исчезают из виду. Затем Мило поворачивается к Рапосо и делает знак, что все в порядке, после чего тот вновь ускоряет шаг, поворачивает за угол и видит двоих преследуемых, которые по-прежнему, взявшись под руку, шагают под зонтиком, не ведая, что происходит у них за спиной. Они уже в двадцати шагах, поэтому Рапосо движется еще быстрее, стремительно сокращая дистанцию, дождь хлещет его лицо под промокшей шляпой, стекает по фалдам шинели, ноги промокли насквозь до самых бедер, несмотря на гамаши, надетые сверху, — собранный, как пружина, целеустремленный, яростный, слыша, как бешено бьется пульс в ушах и в сердце. Неплохо, думает он, вспомнить время от времени старые привычки и уснувшие инстинкты. На мгновение он оборачивается, чтобы проверить, следует ли за ним Мило, и видит, что тот тоже преспокойно сворачивает за угол, чтобы следить за происходящим издали, как условились. На случай, если что-то пойдет не так или кто-нибудь позовет полицию. В конце концов, рассуждал Мило накануне, усадив по шлюхе на каждое колено, пока они пили пиво в старом трактире на Рампоно, полиция — это он сам и есть.

Ни разу в жизни дон Эрмохенес не видел такого ливня! Несмотря на зонт, укрывающий его и аббата Брингаса, который с самоотверженной решимостью сжимает рукоятку, обе ноги и половина тела библиотекаря промокли насквозь, а испанский плащ пропитался водой. Да и Брингас в своем пальто, застегнутом до самого подбородка, чувствует себя не лучше. Фиакр поймать не удалось, свободные экипажи все до единого словно бы растворились в хлещущей со всех сторон воде. И вот пешком они торопливо шагают плечо к плечу, кое-как защищаясь от дождя.

— Дойдем до Лувра и спрячемся под колоннадой, — ободряет библиотекаря Брингас. — Там есть крытая галерея.

Дон Эрмохенес кивает, не очень-то рассчитывая на эти посулы: галерея Лувра кажется ему сейчас такой же далекой, как рудники Перу. Левой рукой он сжимает плечо аббата, несущего зонтик, а правой, опущенной в карман, беспокойно ощупывает свертки с монетами, которые они получили в банке Ванден-Ивер в обмен на платежное письмо, выданное Испанской академией. В каждом кармане дона Эрмохенеса лежат для равновесия по три свертка: тысяча пятьсот ливров отличного французского золота с выбитыми на них портретами Людовика Пятнадцатого и Людовика Шестнадцатого. Слишком много золота, чтобы преспокойно разгуливать по городу в сопровождении одного лишь аббата. Несмотря на то что люди на улице почти не попадаются, а может, как раз поэтому, на душе дона Эрмохенеса скребут кошки. Ему не хватает сноровки и чувства безопасности. Ни разу в жизни не держал библиотекарь в руках такую кучу денег. Да что там не держал — он ни разу их даже не видел! Это золото, с досадой думает он, будто цепь на шее, как приговор, который вот-вот приведут в исполнение... Или угроза. Вот почему дождь и связанные с ним неудобства — не единственные причины, из-за которых дон Эрмохенес умоляет своего попутчика прибавить шагу, чтобы как можно скорее дойти наконец до кофейни, где они увидятся с адмиралом и вместе отправятся к адвокату, чтобы завершить дела.

Они прошли улицу до половины, как вдруг библиотекарь слышит за спиной топот, перекрывающий шелест дождя. Он готов обернуться, чтобы взглянуть, кто там, как вдруг из узкого темного переулка справа появляются две тени, которые стремительно приближаются. Внезапно серый дневной свет становится зловещим, будто вода, падающая с неба, превратилась в пепел, а озноб тревоги и паники, не ведомые библиотекарю до сего дня, сковывают ноги. В животе у него холодеет, а сердце будто бы остановилось.

— Бегите, аббат! — кричит он.

Неожиданное самообладание, несвойственное человеку домашнему и мирному, такому, как он, оказывается бесполезным. Не успевает он произнести эти слова, топот за его спиной становится быстрее и громче и страшный звонкий удар обрушивается ему на череп, от чего перед глазами — или, точнее, внутри них — взрывается облако сияющих искр. Шатаясь и все еще силясь удержаться за руку Брингаса, чтобы не упасть на мостовую, дон Эрмохенес чувствует, как тот внезапно содрогается, испускает стон и роняет зонтик, накрывающий библиотекаря черным куполом, внутри которого все еще мелькают искорки света — вспыхивают и гаснут, царапая мозг.

— Бандиты!.. На помощь! Скорее! — доносятся до него крики Брингаса.

Голос звучит словно издалека. Дон Эрмохенес судорожно машет руками, стараясь сбросить с себя проклятый зонтик, накрывший его с головой, широко открывает рот, чтобы отдышаться, потому что воздух будто бы разом покинул легкие. Колени слабеют, сильные руки хватают и поднимают его в воздух, и в конце концов, когда ему удается приоткрыть глаза и всмотреться в беспорядочную пляску огней, заволакивающую взор, он различает большие темные пятна — трое неизвестных беспощадно избивают аббата на фоне узкого темного проулка, куда его, библиотекаря, тащат. Затем ему наносят новый удар, на этот раз в верхнюю часть желудка, от этого удара библиотекарь весь сжимается, как испуганное животное, падает на мостовую и неподвижно лежит на боку, переполненный болью и страхом, и, когда он внезапно мочится — горячая струйка заливает ему пах, но от этого делается даже немного приятно, — он чувствует, что где-то далеко, словно в кошмарном сне, чьи-то жадные руки обшаривают его карманы и вытаскивают свертки с золотыми монетами.

## 11. Хозяин особняка «Монмартель»

Тьма рассеется в новом веке просвещения. Сияние рассвета ослепит нас после долгого пребывания в сумерках.

Жан Лерон д’Аламбер

Парики белого цвета, камзолы сдержанных темных оттенков. Близость ко Дворцу правосудия придает обычным клиентам кофейни «Парнас» серьезный, даже торжественный вид. В воздухе плавает табачный дым и сдержанный гул разговоров, пахнет людьми, сырыми опилками, разбросанными по полу, влажной одеждой. В гардеробной висят пальто и плащи, с закрытых зонтиков, прислоненных у входа, капает вода; а внутри кофейни, вокруг столиков, заваленных папками и бумагами и заставленных чашками с кофе, законники всех сортов и мастей пишут, читают, курят и разговаривают.

— Страшный удар, — подытоживает дон Педро. — Катастрофа.

Все трое сидят за столиком в глубине заведения, рядом с дымящей печкой. Над ними на стене висит довольно безвкусная картина, изображающая сцену на охоте. Сидя напротив адмирала, уперев локти в стол и закрыв ладонями лицо, дон Эрмохенес рассказывает подробности недавнего происшествия. Он в грязной одежде, все еще мокрой, несмотря на жар раскаленной печки, на плече камзола зияет дыра. Весь его вид выражает раскаяние, а на лице виднеются следы недавних событий: опухшие веки, один глаз заплыл, и роговица его покраснела, взгляд затравленный и угнетенный. Сидящий рядом с ним аббат Брингас выглядит не лучше: он снял парик, и меж кое-как остриженных волос виднеется налитая кровью шишка. Кроме того, на скуле заметен фиолетовый синяк, да и движется он с трудом, болезненно морщась, как человек, которого только что нещадно поколотили.

— У нас украли все, — в отчаянии бормочет дон Эрмохенес. — Абсолютно все. У меня даже часы сняли. И табакерку вытащили.

— Уверен, что за нами шли от самого банка, — морщится аббат.

— Да, но как им удалось узнать, что у вас с собой такая сумма?

— Не знаю. — Библиотекарь качает головой. — Не нахожу объяснений.

— Ладно, главное — вы живы.

— Только избиты, как собаки, — ноет Брингас.

— Однако тяжелых повреждений, к счастью, нет. И надо себя с этим поздравить. Все могло бы кончиться гораздо хуже... Вы сопротивлялись?

Библиотекарь ворочается в кресле, подавляя вздох.

— По мере сил. Сеньор аббат отбивался решительнее, чем я. Я слышал, как он сражается с грабителями и как яростно защищается.

— Насчет сражения вы преувеличиваете, — с досадой уточняет Брингас. — У нас просто не было шансов... Ах, если бы я заметил их раньше! В прежние времена... Дело в том, что эти трое мерзавцев действовали быстро и решительно. Они знали, что делают.

— Их было всего трое? — вздохнул дон Эрмохенес. — Меня отдубасили так, словно их было не меньше тридцати!

Они умолкают, хмуро и нерешительно поглядывая друг на друга.

— Что нам теперь делать? — спрашивает дон Эрмохенес.

Адмирал качает головой.

— Понятия не имею.

— Надо написать заявление в полицию.

— Вряд ли это нам поможет. Наше золото, должно быть, уже далеко.

— В любом случае, напишем официальную жалобу в посольство, — предлагает Брингас.

— Да, но основную проблему это не решит, — отвечает адмирал. — Самое главное сейчас — «Энциклопедия» вдовы... А Эно ждет от нас денег.

— Скажите им, что возникла непредвиденная задержка. Пара дней, не больше.

— Пара дней ничего не изменят. У нас нет запасных тысячи пятисот ливров.

— Ни денег, ни возможности их достать, — уточняет дон Эрмохенес.

— Вот именно.

Библиотекарь вновь закрывает лицо руками.

— Невозможно поверить, что с нами такое могло произойти. Чудовищное невезение!

— Это моя вина, — пытается утешить его адмирал. — Мне нельзя было вас оставлять.

— Ничего бы не изменилось, дорогой друг... Вместо двоих было бы трое избитых... А золото исчезло бы точно так же.

— Втроем мы бы имели больше шансов.

— Уверяю вас, защититься от них было невозможно, — настаивает Брингас. — Они набросились на нас, как бенгальские тигры.

Аббат и дон Эрмохенес пристально смотрят на адмирала, словно на его безмятежном лице написан ответ, как быть дальше. Вместо ответа тот пожимает плечами.

— У нас осталось шестьсот ливров, которые были отложены на расходы в последние дни в Париже и на обратный путь. Сюда включено содержание слуг, берлинка, стойло и корм лошадям.

— Этого все равно не хватит, — замечает библиотекарь. — А мы помрем с голоду.

— Да, вы правы.

— Можно отдать Эно половину суммы авансом, чтобы он подождал несколько дней.

— Сколько бы он ни ждал, собрать остаток суммы не удастся.

— Напишите в Мадрид, объясните случившееся, — предлагает Брингас. — Пусть Академия что-нибудь придумает.

Адмирал кивает, но выражение лица у него скептическое.

— Придется, конечно. Однако ответ потребует времени, и, ожидая его, мы рискуем потерять «Энциклопедию»... С другой стороны, не так просто объяснить то, что произошло, и перечислить все сложности в прошлом и настоящем в одном небольшом письме. Я не уверен, что коллеги из Академии все поймут как надо.

— Боже мой, — в отчаянии хнычет дон Эрмохенес. — Какой стыд... Какое бесчестие!

Брингас хмурится, будто в голову ему пришла какая-то мысль, и смотрит на дона Педро.

— А вы не думаете, сеньор, что кто-то из ваших знакомых, например, Дансени, могли бы...

Адмирал откидывается в кресле, лицо его непроницаемо и холодно.

— Об этом не может быть и речи.

Все молчат, глядя друг на друга.

— Мы в тупике, — подытоживает дон Педро. — Следует признаться в этом.

Брингас задумчиво крутит парик в руках. Затем ощупывает пальцами шишку и осторожно надевает парик на голову.

— Я говорил, что хорошо бы написать жалобу в посольство.

— Непременно напишем, — отзывается адмирал. — Это вполне логично.

— Есть и другие вопросы, которые также можно решить в посольстве.

Дон Педро смотрит на него с любопытством.

— Какие же?

— Вы все-таки не люди с улицы... Вы — академики Испанской академии.

— Избитые академики, — уточняет дон Эрмохенес. — Куда ни притронусь — всюду болит.

Однако адмирал по-прежнему внимательно смотрит на аббата.

— На что вы намекаете?

Брингас улыбается уголком рта, чуть заметной хитрой улыбкой.

— Посол Испании герцог де Аранда, с которым мы земляки, не может отказаться вас принять. И не просто принять, а вникнуть в ваше положение. Кроме того, он обязан что-то вам посоветовать. И в случае необходимости прийти на помощь.

— Вы имеете в виду деньги?

— Разумеется... Человек, официально тратящий двести тысяч ливров в год, и это не считая неподотчетных сумм, которые он разбазаривает потихоньку, вполне может прийти вам на помощь. Если вам, конечно, удастся его убедить... Поговаривают, что он тот еще скупердяй.

Несколько секунд адмирал сидит молча, обдумывая услышанное, а дон Эрмохенес выжидающе смотрит то на одного, то на другого.

— В конце концов, терять нам все равно нечего, — говорит он. — Вы думаете, он согласится снова принять нас? В прошлый раз он уделил нам не слишком много времени.

Брингас важно машет рукой.

— Примет, даже не сомневайтесь. Был бы настоящий скандал, если бы после всего, что случилось, посол Испании не поинтересовался, как дальше сложится пребывание в Париже двоих ученых мужей, его земляков... Но главное — заставить его раскошелиться.

Дон Эрмохенес согласно кивает, по-прежнему глядя на адмирала.

— А почему, собственно, нет? Мы действительно ничего не теряем, если попытаемся.

Брингас устраивается поудобнее, глаза его блестят.

— В общем, нужно добиться приема... Однако прислушайтесь к моим словам, уж я-то знаю наших чиновников: ни в коем случае нельзя скромничать, прося аудиенции обычным путем. Идемте прямо сейчас, в посольстве вы оба должны громко топать, хлопать дверьми, возмущаться, требовать от секретаря Эредиа немедленной аудиенции у герцога. Дескать, дело огромной важности и все такое.

— Хлопать дверьми это, знаете ли... — сомневается дон Эрмохенес.

— Это всего лишь фигура речи. И поверьте: с нашим дипломатическим корпусом подобное поведение — просто чудодейственное средство!

— Если вы так говорите...

— Не только говорю, но и утверждаю! Меня самого, как вы знаете, принимают в посольстве с некоторыми привилегиями. И уверяю вас...

— Отлично, договорились, — резко обрывает его адмирал.

Брингас моргает, удивленный его решительным тоном.

— Вы уверены, сеньор?

— Вполне. Вы совершенно правы: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Тем более в Париже, под этим ливнем.

В любой книге есть второстепенные персонажи, с которыми приходится повозиться. В этой книге одним из таких персонажей является герцог де Аранда, посол Испании в Париже. Достигнув этой точки в приключениях академиков, я понял, что мне нужны сведения о дипломатической миссии де Аранда в предреволюционной Франции, а также кое-какие детали из биографии самого герцога. Посвященный в дела реформистов и энциклопедистов, переписывавшийся с Вольтером и другими философами, Педро Пабло Абарка де Болеа, герцог де Аранда был мне знаком по целому ряду причин, одна из которых — важнейшая роль, которую он сыграл в изгнании из Испании иезуитов, происходившем за несколько лет до этих событий; обо всем этом рассказывается в моем романе «Тайный меридиан». Таким образом, в моей библиотеке скопился обширный материал, касающийся герцога де Аранды, включая три важных биографических исследования, например, монументальный труд «Герцог де Аранда» Олaэчеа и Феррера, богатый деталями и посвященный десяти годам, в продолжение которых дон Педро Пабло возглавлял посольство в Париже; кроме того, мне удалось добыть несколько портретов, которые позволили мне получить представление о физическом облике моего героя. Всем этим я воспользовался для того, чтобы как можно точнее воссоздать личность этого персонажа, который уже появлялся в пятой главе этой книги — шестьдесят пять лет, отчетливо отпечатавшиеся на лице, сутулый, косоглазый, глуховатый и практически беззубый, — и, таким образом, отчасти документально, отчасти с помощью воображения описать вторую и последнюю встречу, состоявшуюся у дона Педро Сарате и дона Эрмохенеса Молины с послом Испании в особняке Монмартель, испанском дипломатическом представительстве, затем переехавшем в здание, которое в настоящее время занимает отель «Крийон» на площади Согласия. Ту самую встречу, которую дон Эрмохенес упомянул в отчете, позже представленном в Академии, чей оригинал, хранящийся в архивах, мне удалось раздобыть, чтобы с максимальной точностью воспроизвести сцену, описанную доном Эрмохенесом следующими словами:

*По отношению к нам он вел себя поначалу любезно, однако рассеянно. Он держался с видом человека, чья голова занята делами куда более неотложными и важными*.

Несомненно, такие дела у него и в самом деле имелись. Как раз в те дни герцог де Аранда был занят не только отношениями между Мадридом и Версалем, поддержкой тесных связей с миром просвещения, помощью американским колониям, взбунтовавшимся против Англии, поддержкой французов в вопросах Гибралтара и Менорки и другими серьезными государственными делами, но и вовсю плел интриги, чтобы выкосить траву под ногами своих политических врагов в Испании, прежде всего госсекретаря Флоридабланки и инспектора Совета Кастилии Кампоманеса. В тот период, когда двое ученых мужей находились в Париже, герцог по-прежнему оставался сторонником просвещения и реформизма, временно удаленным от испанского двора, однако не утратившим своего влияния. Имелся у него и вес в обществе, и множество нужных знакомств, и полезные связи в Европе, а по возвращении в Испанию его ждала блестящая карьера; однако симпатии к прогрессивным идеям, благодаря которым уже совсем скоро во Франции разразилась революция, десятилетием позже привели его к полному политическому краху.

И вот герцог де Аранда, человек все еще весьма влиятельный, в тот пепельный дождливый день, когда по окнам барабанил дождь, а огромный пылающий камин делал температуру воздуха в кабинете почти невыносимой, принял дона Педро Сарате и дона Эрмохенеса Молину, сидя с противоположной стороны заваленного книгами и бумагами стола, после того как академики — главным образом непреклонный и решительный адмирал — объяснили секретарю Эредиа, что не покинут посольство до тех пор, пока их не примет сам сеньор посол по делу величайшей, можно сказать, государственной важности. Так и случилось: они добились своего.

— Прискорбно, — говорит герцог Аранда. — То, что с вами произошло, в высшей степени прискорбно.

Складывается впечатление, что определение ему нравится, потому что он все еще бормочет его, доставая щепотку нюхательного табака — не предлагая его, надо заметить, визитерам, — из эмалированной золотой табакерки, украшенной гербом испанской короны.

— Очень прискорбно, — вновь добавляет он, громко высморкавшись в кружевной платок.

Грязноватый уличный свет делает еще более серыми его глаза, из которых один, правый, немного косит. Белый парик завит безукоризненно, отлично гармонируя с шелковым зеленым камзолом, расшитым золотом на манжетах и лацканах, на одном из которых висит французский орден Святого Духа.

— Что же вы думаете делать?

Адмирал неуверенно смотрит на своего компаньона. Вопрос герцога де Аранды был продиктован правилами вежливой беседы, а не действительным любопытством. Время от времени посол бросает осторожный, быстрый взгляд на бумаги и газеты, лежащие на столе в ожидании его внимания, занятого в данный момент прибывшими гостями, которых секретарь Эредиа впустил в кабинет, бормоча что-то о делах чрезвычайной важности.

— Нам нужны деньги, — коротко произносит адмирал.

Левый глаз де Аранды моргает чуть раньше правого. Деньги — одно из немногих слов, которые человека, сражающегося, подобно ему, на всех возможных фронтах, могут заставить моргнуть. Его тугоухость дает ему право на несколько секунд передышки.

— Как вы сказали? Деньги?

— Да, ваша милость.

— Хм... А сколько?

— Видите ли, их украли... Тысяча пятьсот ливров.

Аранда чешет нос, словно его все еще щиплет частичка нюхательного табака. Нос у него крупный, с горбинкой, он заметно выделяется на желтоватой коже физиономии. Ничего не произнеся в ответ, Аранда пристально смотрит на двоих мужчин, сидящих возле его стола: глаза адмирала Сарате спокойны; взгляд библиотекаря Молины ясный, добродушный, полный надежды. Тысяча пятьсот ливров — сумма по нынешним временам громадная. Даже для посольства Испании. Посол досадливо морщится.

— Так вы что же, желаете, чтобы я возместил вам эти убытки?

Дон Эрмохенес, который до сих пор не пришел в себя, снова смотрит на своего друга. Тот сидит в своем кресле прямой, серьезный и молчаливый, не сводя глаз с посла, который, в свою очередь, также рассматривает лицо адмирала, серые, убранные в хвост волосы, тщательно выбритый подбородок, скромный синий камзол, который придает адмиралу суровый, почти воинственный вид, контрастирующий с неряшливым обликом библиотекаря. Бригадир Армады, говорит про себя де Аранда, опуская взгляд. Один из тех вышколенных, надменных морских офицеров, которых нельзя не узнать даже в крестьянском платье. Даже жара, царящая в комнате, не слишком его удручает.

— Видите ли, наши средства ограниченны, — говорит посол. — Жизнь в Париже обходится в четыре раза дороже, чем в Мадриде. Представлять достойным образом Его Величество короля — это целое состояние. Знаете ли вы, сколько тратит представительство только на кухню, освещение, отопление и конюшни? Вообразите себе — шестьдесят тысяч ливров в год! Я уже не говорю обо всем остальном... В этом городе куется политика всего континента, и расходы просто ужасающие.

— Нам нужны эти деньги, ваша светлость, — сухо отзывается дон Педро Сарате.

Вероятно, последняя фраза воспринята его собеседником как бесстыдство. «Они меня как будто не слышат», — с досадой думает де Аранда. Он надменно поднимает голову.

— У нас здесь не банк, уважаемые сеньоры. Боюсь, что в денежном плане я ничем не смогу вам помочь.

Адмирал не отвечает. Он рассеянно рассматривает экземпляры «*Courier de l’Europe»* и «*La Gazette d’Amsterdam»*, лежащие среди прочих бумаг на столе.

— Позвольте рассказать вам одну историю, сеньор посол.

Посол косится на стрелки позолоченных часов в силе барокко, стоящих на камине, в котором бушует пламя.

— Сегодня вечером король назначил мне встречу в Версале, — заявляет он. — А путь туда... гм... утомителен и неблизок... Я не уверен, что у меня найдется время.

— Надеемся, его окажется достаточно, ваше великодушие.

Аранда подносит руку к правому уху.

— Что, простите?

— Великодушие, ваша честь.

Светлые, ясные глаза адмирала выдерживают досадливый взгляд посла. Заметно, что тот неохотно, но все же идет на попятный.

— Так и быть, говорите.

И дон Педро начинает рассказ. Почти семьдесят лет назад, говорит он, одиннадцать добрых людей, которые собирались каждый четверг, чтобы поговорить о литературе, решили обогатить испанский язык словарем, как ранее это сделали англичане, французы, итальянцы и португальцы. На самом деле Испания обогнала всех их на целый век, когда одноязычный словарь романского языка Себастьяна Коваррубиаса получил всеобщее признание. Но прошло время, Коваррубиас устарел, а в Испании не было надежного инструмента, чтобы передать богатство кастильского языка во всем его совершенстве.

— Все это мне отлично известно, — перебивает посол, раздраженно пожимая плечами.

Но адмирал не сдается.

— Мы знаем, что вашей светлости все это известно, — продолжает он, не меняясь в лице. — Именно к вашей осведомленности мы и апеллируем... Потому что вы, без сомнения, знаете, что эти предшественники, первые одиннадцать академиков, назначили своим директором маркиза де Вильену и были взяты под покровительство Филиппом Пятым.

— Это мне также известно.

— Вне всяких сомнений... Как и то, полагаю, что Его Величество поручило им *создание точного и наиболее полного словаря испанского языка*: первый словарь в шести томах постепенно начал выходить в однотомнике, над которым работает Академия. Сейчас мы ожидаем новое издание, которое, надеемся, увидит свет через год или два.

Теряя терпение, де Аранда вновь раздраженно смотрит на часы.

— Куда вы клоните?

— Минуту терпения, сеньор. В том, что касается словарей, мы, испанцы, долгое время краснели от стыда, ибо мы были первые, но не лучшие... Именно над этим трудится сейчас нынешняя Академия. Добиться того, чтобы первое издание содержало цитаты из признанных классиков, чтобы второе вышло, сократившись до одного тома и с ним было проще работать, чтобы третье, которому суждено выйти в ближайшем будущем, было как можно полнее. Для своего времени это были совершеннейшие словари... Вот почему на этот раз мы не можем повернуться спиной к самым авангардным идеям Европы, которые наилучшим образом объединяет в себе «Энциклопедия». Мы уполномочены самим королем, сеньор посол. Как для подданных короля, это для нас долг, как для испанцев — большая честь.

— Я все очень хорошо понимаю, и в целом я... э-э... согласен, — кивает Аранда. — Однако вопрос денег...

— Деньги — жертва, мы понимаем. Вам говорят это двое скромных ученых мужей, которые в жизни своей не видели тысячи пятисот ливров, собранных воедино. На нас обрушился удар судьбы, и это величайший позор перед нашими коллегами из Академии, перед королем и всей страной... Но мы не заслуживаем позора, сеньор. Даю вам слово чести, позора мы не заслуживаем! Возможно, нам досталась задача превыше наших сил, но мы согласились выполнить ее из лучших побуждений... Именно поэтому сегодня мы пришли за помощью к вам как к испанцу и человеку чести.

— Я всего лишь посол, — уклончиво отвечает Аранда, пожимая плечами.

Адмирал улыбается уголком рта, словно прислушиваясь к каким-то своим мыслям или размышляя вслух.

— Для того, кто оказался на чужбине, посол его страны — отец, а посольство — единственное убежище... Возвращение в Испанию без «Энциклопедии», которую нам велено было доставить, для нас невозможно.

— Дьявол. — Де Аранда откидывается в кресле. — А вы красноречивы, сеньор!

— Мы с моим другом доном Эрмохенесом — люди в отчаянном положении.

Услышав свое имя, дон Эрмохенес скромно кивает, одновременно вытирая носовым платком пот с шеи. Повисает тишина, в продолжение которой дон Педро пристально смотрит де Аранде в глаза.

— Я тоже человек, который видел сияние путеводной звезды, — тихо добавляет он.

Изумление дона Эрмохенеса, который после этих слов поворачивается к своему другу, невозможно сравнить с тем, что отразилось на лице посла. Поморщившись, как человек, тугой на ухо, он широко открывает глаза — как правый, так и левый. Затем склоняется над столом в сторону адмирала, оторопело рассматривая его. Наконец, соединив средний и указательный палец, касается ими левого лацкана своего камзола.

— Каменщик? — спрашивает де Аранда почти шепотом.

— Ложи Трех Лучей.

— Градус?

— Третий.

Асимметричные глаза Аранды по-прежнему не отрываясь смотрят на адмирала.

— В таком случае вам известны...

Он умолкает, не сводя с него глаз. Адмирал спокойно кивает. Затем, сложив пальцы точно так же — указательный и безымянный, — касается правого лацкана.

— Поразительно, — бормочет Аранда.

— Не слишком. — Дон Педро неопределенно пожимает плечами, намекая на время и расстояние. — Перед тем как стать академиком, я был морским офицером... Было время, когда я посещал Францию и Англию.

Посол с заметным беспокойством поглядывает на дона Эрмохенеса.

— А ваш приятель тоже?

— Ни в коем случае. Но он порядочный человек и умеет молчать.

Аранда вздыхает, доставая табакерку. Дон Эрмохенес растерянно смотрит то на одного, то на другого. В конце концов посол открывает табакерку и протягивает ее адмиралу, однако тот отрицательно качает головой. Приподнявшись в кресле, библиотекарь берет шепотку табака и засовывает в нос.

— Непросто быть каменщиком в Испании, — замечает Аранда, пока дон Эрмохенес достает платок и шумно сморкается.

Последние слова посол произносит, глядя на дона Педро с выжидательным любопытством. Тот улыбается мягкой, печальной улыбкой.

— Вероятно, — отвечает он. — Но я этим почти не занимаюсь... Моя связь была не такой уж прочной. К тому же все это было много лет назад.

— Вы хотите сказать, что вы не активный каменщик?

— Нет, и уже давно. Хотя мои воспоминания, пароли и симпатии по-прежнему живы.

Повисает долгая тишина. Посол и адмирал смотрят друг на друга с сочувствием и участием, в то время как дон Эрмохенес по-прежнему не понимает, что происходит. Наконец де Аранда берет гусиное перо и задумчиво проводит им по тыльной стороне левой руки. Затем открывает кожаную папку с золотым гербом и достает листок бумаги.

— На чье имя выписывать платежное письмо?

— На имя вдовы Эно, — говорит адмирал, не меняясь в лице. — Так будет надежнее.

Посол окунает перо в чернильницу и неторопливо пишет. В продолжение минуты слышен только шорох пера, царапающего бумагу.

— Мне понадобится вексель, подписанный вами. С обещанием того, что Академия обязуется вернуть долг. — Посол поднимает глаза и по очереди заглядывает в лицо каждому. — Вы готовы взять на себя такую ответственность?

— Разумеется, — холодно кивает дон Педро. — Однако отвечать за это буду я сам, а не Академия. Пусть будет за моим именем и подписью.

— И моим, разумеется, тоже, — добавляет дон Эрмохенес, задетый тем, что дело решается без него.

Де Аранда благодушно смотрит на них.

— У вас в Мадриде найдется такая сумма?

Адмирал кивает.

— У меня имеются собственные сбережения, которых хватит, чтобы покрыть долг... Моей личной ответственности будет достаточно. Подпись моего друга не обязательна.

— Не болтайте глупостей, дорогой друг, — протестует библиотекарь. — Я не позволю, чтобы это обязательство легло только на ваши плечи.

— Мы обсудим это позже, дон Эрмес. Здесь не место, да и не время.

Посол подписывает бумагу, открывает песочницу и посыпает песком чернила. Затем машет листком в воздухе.

— Значит, мы все решили.

Он берет бронзовый колокольчик, который также обнаруживается среди бумаг. На звон его в дверях появляется секретарь Эредиа.

— Дон Игнасио, будьте добры, отнесите этот приказ Вентуре, казначею, который выдаст этим сеньорам то, что там обозначено.

Эредиа берет бумагу, читает и смотрит на посла. Рот его кривится, словно от зубной боли.

— Тысяча пятьсот ливров, ваша светлость?

— Там указана именно эта сумма, не правда ли? Веди наших гостей за деньгами, да поторапливайся, у них срочное дело.

— Разумеется, — послушно кивает секретарь, больше не возражая.

Де Аранда поднимается с кресла и одергивает камзол. Академики следуют его примеру.

— Надеюсь, все кончится хорошо. Дон Игнасио — человек надежный, он обо всем позаботится... По возвращении в Мадрид передайте от меня привет маркизу де Оксинага, это мой старый друг. А когда опубликуете новое издание «Толкового словаря», пришлите мне экземпляр. — И Аранда подмигивает адмиралу своим косым глазом. — Думаю, я заслужил.

— Несомненно.

— Ах да, чуть не забыл... Там у меня на столе лежит отчет о неприятном инциденте, в котором несколько дней назад оказался замешан некий испанский гражданин, он в Париже проездом. Дуэль, насколько я понимаю... Я не ошибаюсь, дон Игнасио?

— Нет, ваша светлость. — Секретарь поднимает брови. — По крайней мере, так говорится в отчете.

Аранда поворачивается к академикам.

— Сеньоры, вам, случайно, ничего не известно об этом деле?

— Так, кое-что, — невозмутимо произносит адмирал.

— Кое-какие слухи до нас дошли, — подтверждает дон Эрмохенес.

— Так вот. — Правый косой глаз смотрит на дона Педро с той же проницательностью, что и левый. — Дуэль произошла с господином, носящим красную ленту, тот, видимо, серьезно пострадал... Есть отчет полиции с просьбой о том, чтобы посольство провело расследование и наказало виновного в неприятных последствиях этого дела...

— И что собирается делать ваша светлость? — хладнокровно спрашивает адмирал.

Посол несколько мгновений смотрит на него, не отвечая, словно не расслышав вопрос. Затем поднимает и роняет руки с комично-бессильным видом.

— Честно говоря, я ничего не собирался делать, поскольку дел у меня и так под завязку. Не так ли, сеньор секретарь? Например, уже очень скоро я отправлюсь в Версаль.

Он умолкает и, повернувшись к столу, что-то ищет, пока не находит нужную бумагу. С подчеркнуто равнодушным видом он пробегает бумагу глазами, затем легонько трясет ею в воздухе.

— Я собирался обсудить кое-что с вами... Впрочем... Если раньше это дело мне было безразлично и я хотел отправить бумагу в архив без дознания, после нашего разговора я ее с большим удовольствием порву... Всего доброго, господа.

Аббат Брингас громко сморкается в носовой платок, проклиная погоду и Париж. Все трое, насквозь мокрые, прячутся от дождя под арками Лувра возле прилавков с книгами, эстампами и аляповатыми картинами. Глядя, как идет дождь, они отряхивают плащи и зонт. Пахнет мокрой бумагой, заплесневелыми книгами, уличной грязью. В слабом пепельном свете, льющемся снаружи, дон Эрмохенес краем глаза посматривает на адмирала.

— Я и вообразить не мог ничего подобного, — говорит он наконец.

Словно возвращаясь откуда-то издалека, дон Педро неторопливо поворачивается к приятелю и смотрит на него, не произнося ни слова. Брингас с недоверчивым любопытством изучает содержимое своего носового платка, складывает его и убирает в карман.

— О чем это вы? — спрашивает он академиков.

Библиотекарь не отвечает, продолжая смотреть на адмирала. На его лице обозначено смутное, болезненное напряжение, которое выражает лицо человека, преданного или незаслуженно забытого.

— Вы мне про это не рассказывали, — произносит он наконец.

— Не было повода, — отвечает дон Педро.

Оба молча смотрят друг на друга, и некоторое время слышится лишь шелест дождя.

— Такое впечатление, что я пропустил что-то важное, — замечает Брингас.

Никто не рассеивает его сомнений. Внимание дона Эрмохенеса по-прежнему приковано к адмиралу.

— Мы столько времени провели вместе, — с горечью говорит библиотекарь. — И оказывается, есть вещи...

Он не заканчивает фразу, голос его дрожит от огорчения. Брингас смотрит то на одного, то на другого, и любопытство его с каждой секундой возрастает.

— Можете объяснить мне, черт бы вас подрал, о чем вы?

— Дон Эрмес только что узнал, что я масон, — говорит адмирал. — Точнее, был им некоторое время.

Аббат застывает с открытым ртом.

— Вы?!

— Давняя история. Дело было еще в юности... Мне довелось пожить в Англии. Потом я познакомился с морскими офицерами, масонами.

— Ах, вот оно, значит, как. — Брингас засовывает палец под парик и энергично скребет череп. — Я восхищаюсь вами, сеньор!

— С чего бы это? — Дон Педро равнодушно пожимает плечами. — Юношеская глупость... Дань моде, как и у всех остальных. Ничего серьезного.

— Но вас посвятили и все такое?

— Да, разумеется. Посвящение я прошел в Лондоне. Затем в Кадисе подтвердил инициацию — это было уже с друзьями из обсерватории Армады.

Брингас облизнул языком пересохшие губы, чуть ли не дрожа от возбуждения.

— Так, а потом?

— А потом ничего особенного. Я же сказал, все это было всего лишь увлечением. И со временем оно иссякло. Сейчас все уже в прошлом.

— Однако с послом эта штука подействовала, — настаивает дон Эрмохенес, который все еще страдает.

— Не может быть! — Брингас прямо-таки подскакивает от удивления. — Так вот почему он вам...

Дон Педро кивает.

— Посол — масон, это очевидно. Или был таковым. По крайней мере, к другим масонам он относится с симпатией. Я подумал, что на это и следует сделать ставку. И все получилось, как я рассчитал.

Аббат разевает рот от изумления.

— Вы хотите сказать, что все это было спланировано? И вы таким образом обработали самого герцога де Аранду?

— Ах нет, что вы, — с несвойственным ему сарказмом вмешивается дон Эрмохенес. — Просто он использовал секретный код. Знаете, все эти тайные знаки, которыми они обмениваются друг с другом.

Адмирал примирительно машет рукой.

— В наше время их знает каждый, и даже ребенок мог бы изобразить нечто подобное. Так или иначе, у меня получилось.

— От вашей самоуверенности я лишился дара речи, — упрекает его дон Эрмохенес.

— Это был всего лишь выстрел вслепую.

— Однако он обошелся им в тысячу пятьсот ливров, — уточняет Брингас. — Притом речь шла о герцоге де Аранде, который экономит больше, чем турецкий султан на катехизисе... Вы многим обязаны своему другу, дон Эрмохенес.

Однако библиотекарь продолжает упорствовать.

— Меня это нисколько не радует. — Он утыкает подбородок в грудь. — Не за такую цену.

— Цену?

Повисает неловкое молчание, нарушаемое лишь гулкими голосами книготорговцев под арками. Снаружи по-прежнему идет дождь.

— Я многое могу понять, адмирал, — говорит дон Эрмохенес. — Но масонство вне моего разумения. Даю вам слово.

— Почему же? — любопытствует адмирал.

— Оно запрещено двумя папскими буллами. И наказывается отлучением от причастия.

— Поэтому вы недовольны? Вы не шутите?

— Ни в коем случае.

— Веская причина, чтобы стать масоном, — отзывается Брингас.

— Не говорите чепухи, — выходит из себя дон Эрмохенес. — Франкмасонство пагубно и для церкви, и для государства. Оно лишает человека послушания Богу и монарху.

— Об этом послушании можно много чего сказать, — заявляет Брингас.

Не обращая на него внимания, дон Эрмохенес поворачивается к адмиралу.

— Не представляю вас на всех этих секретных собраниях при свете канделябров, где обсуждают Великого Архитектора и прочие нелепости.

Дон Педро смеется. Смех у него искрений, беззлобный.

— Сдается мне, вы слишком много внимания уделяли трудам падре Фейхоо.

Уязвленный библиотекарь моргает.

— Единственное, что я читал — «Часовой против франкмасонства» падре Торрубиа.

— Еще лучше. Я не сомневаюсь, что есть ложи, страдающие различными излишествами. Однако в той, к которой принадлежал я, все было гораздо проще. Одни предпочитают встречаться с друзьями в кофейне, другие выбирают ложу. Моя ложа представляла собой что-то вроде английского клуба: там были и военные, и вполне обеспеченные деловые люди, и парочка аристократов... Говорили о книгах, о науке, о братстве образованных людей, которое выше наций и флагов. Атмосфера была довольно приятная. А оккультизм был скорее игрой.

Но дон Эрмохенес не сдается.

— А все эти клятвы и заговоры?

— Глупости все это. Сплетни, которые распускают простецы и старые девы. — Адмирал указал на себя пальцем: — Разве я похож на человека, который собирается расшатывать троны или алтари или использует средневековые магические ритуалы?

— Да, но в ложах полно фанатиков, — настаивает библиотекарь. — Это люди крайних взглядов и разрушительных устремлений.

— Таких можно встретить всюду, дон Эрмес... И в ложах, и вне их. Но уверяю вас: тайный мировой заговор — не более чем миф.

Они снова умолкают, глядя на дождь. Дон Педро улыбается, погрузившись в воспоминания.

— В любом случае, я уже очень давно не имею с ними ничего общего. Сегодня все это лишь забавное воспоминание.

— Которое неожиданно пришлось вам на руку, — замечает Брингас.

— Все воспоминания таковы... Все, что мы прожили, так или иначе идет нам на пользу. Исключение составляют лишь фанатики и дураки.

Паскуаль Рапосо убирает руку с бедра полураздетой блондинки, сидящей у него на коленях, и одним глотком опустошает стакан.

— Открывай еще одну бутылку, Мило.

Оттолкнув женщину, которая досталась ему на этот вечер, Мило, пошатываясь, поднимается на ноги, достает из корзины, стоящей на столе, бутылку и откупоривает ее, напевая какую-то игривую песенку.

— Держи, приятель, — говорит он, наполнив стаканы.

Полицейский заходится пьяным хохотом, женщины ему вторят. Вот уже несколько часов оба приятеля развлекаются с ними в борделе на Шоссе-д’Антен, в районе на севере города, пользующемся дурной славой.

Победу празднуют по всем правилам: хорошее вино, добрая стряпня, широкая кровать и две девахи приемлемой наружности, и все это за тридцать ливров. Праздник есть праздник.

— За успех, — говорит Мило, поднимая стакан. — За тысячу пятьсот ливров!

— Слишком много болтаешь, — упрекает его Рапосо, искоса поглядывая на женщин.

— Не беспокойся. Им можно доверять.

— В жизни не видел шлюхи, которой можно доверять.

Женщина, сидящая у него на коленях, недовольно шевелится, услышав знакомое слово. Рапосо жестко и холодно смотрит ей в глаза.

— Да, ты все верно поняла, — говорит он. — *Putain... Salope...*[[98]](#footnote-98) Все вы шлюхи — и ты, и шалава, которая тебя родила...

Оскорбленная женщина делает попытку встать и тянется за платьем. Рапосо хватает ее за волосы и обездвиживает.

— Не будешь сидеть смирно, я тебе голову оторву. Свинья.

Мило подливает еще вина, произносит несколько фраз на жаргоне, который Рапосо едва понимает, и обстановка разряжается. Женщина, сидящая на коленях у Рапосо, смягчается и в конце концов снова хихикает.

— Что ты им сказал?

— Что мы им набьем золотыми монетами одно место.

Рапосо мрачно смотрит на приятеля.

— Нет, все-таки сегодня ты слишком много болтаешь.

— Успокойся, дружище, — хохочет полицейский. — Мы на моей территории. И с нами хорошие девочки. Они умеют молчать, особенно если ты не скупишься.

Рапосо недоверчиво ухмыляется, рассеянно поглаживая груди женщины, сидящей у него на коленях. Он думает об академиках: как просто оказалось отобрать у них деньги! Но какие шаги предпримут они дальше? В том, что касается денег, дело выглядит завершенным. Выглядит, мысленно повторяет он, снова и снова произнося про себя это слово. Сейчас предстоит выяснить, покинут ли адмирал и библиотекарь Париж или останутся в городе, пытаясь раздобыть книги каким-либо иным способом. Однако Рапосо не представляет, что это может быть за способ. Тысяча пятьсот ливров на дороге не валяются. Сейчас задача состоит в том, чтобы в ближайшие часы не терять их из виду, и агенты Мило позаботятся об этом.

— Сделай лицо попроще, приятель, — говорит ему полицейский. — Дело сделано. Разве нет?

— Про такие дела точно никогда не знаешь.

— Что верно, то верно. Но академикам твоим придется несладко.

— Все равно: точно все никогда не знаешь.

— Насчет «не знаешь» касается, мой дорогой, тебя одного. Мне-то кое-что известно.

— Да? И что же?

— А то, что завалю-ка я еще раз эту чертову потаскуху ногами кверху и засажу ей хорошенько сзади и спереди. С твоего позволения.

— Это пожалуйста...

— Смотри хорошенько и учись!

Рапосо выпивает еще вина. Блондинка засовывает ему в ухо теплый мокрый язык, шепотом приглашая присоединиться к первой паре, но он с досадой спихивает ее с колен. Чертовы академики не выходят у него из головы. Что они теперь намерены предпринять? Инстинкт нашептывает ему, что дела обстоят вовсе не так просто, как кажется. И дело не сделано, несмотря на заверения Мило. Адмирал Педро Сарате, этот долговязый худой тип, который так ловко орудовал шпагой на Елисейских полях, а до того хладнокровно палил из пистолета в разбойников, напавших на них в лесу у реки Риасы, не из тех, кто сдается без боя. Несмотря на свой возраст. Мысль о том, что, потеряв деньги, они тем самым выбывают из игры, кажется Рапосо ошибочной. А он не любит совершать ошибки, особенно когда ему платят деньги за то, чтобы он их не совершал.

— Пойдем к ним, — настаивает шлюха, кивая на кровать, где Мило и ее товарка уже переплелись телами.

Рапосо качает головой, одновременно с любопытством наблюдая, с каким пылом трудится полицейский. Наконец, мгновение поразмыслив и вроде бы придя в себя, одной рукой он расстегивает ширинку своих штанов, другой нагибает женщину.

— Вставай на четвереньки, — приказывает он.

В этот миг стучат в дверь. Стучат настойчиво, все громче и громче, так что даже Мило вынужден прервать свои упражнения в постели, а Рапосо, оттолкнув женщину, которая уже склонилась к его расстегнутой ширинке, бормочет проклятья, встает и шагает к двери, на ходу кое-как заправляя рубашку.

— Какого черта нам мешают? — спрашивает Мило, лежа в постели.

Тем не менее это один из людей полицейского, обнаруживает Рапосо, выглянув за дверь: перед ним стоит мелкий невзрачный агент, личиком похожий на лесного хорька, Рапосо неоднократно видел его. Его шляпа вымокла от дождя и потеряла форму, с плаща капает, сапоги заляпаны грязью. Увидав его, Мило, как был голый, поднимается с кровати, яростно расчесывая пах — тело у него круглое, волосатое, ножки коротенькие, — пересекает комнату по направлению к двери и выходит в коридор, в то время как Рапосо внимательно следит за ними из комнаты. Человечек-хорек о чем-то шушукается с Мило, после чего тот с озабоченным видом трет затылок и переводит взгляд на Рапосо, по-прежнему внимательно прислушиваясь к тому, что шепчет ему агент. Наконец Мило прощается с ним, возвращается в комнату и запирает дверь. Ведет он себя так, будто бы моментально протрезвел.

— Они были в посольстве. Твои академики.

Рапосо спокойно кивает.

— Так я и думал.

— А оттуда прямым ходом отправились к адвокату Эно.

У Рапосо пересыхает рот. Он недоверчиво смотрит на Мило.

— Думаешь, им в посольстве дали деньги?

Мило смотрит на женщину, ожидающую его в постели, и снова чешет в паху.

— Этого я не знаю... Но, выйдя из кабинета, они взяли фиакр, и потом все вместе, прихватив с собой адвоката, отправились к его матери. И Брингас этот тоже с ними.

У Рапосо темнеет в глазах.

— Когда это было?

— Часа полтора назад.

— А где они сейчас?

— У вдовы. По крайней мере, они были там, когда мой агент решил сообщить мне об их передвижениях.

Они умолкают. Полицейский смотрит на проституток, а Рапосо смотрит на него.

— Все ясно, — сдавленным голосом бормочет он. — Деньги у них.

Полицейский недоверчиво кривит рот.

— Ты хочешь сказать, что в посольстве им выдали тысячу пятьсот ливров за красивые глаза?

— Они — члены Испанской академии. Уважаемые люди... Ничего удивительного.

— Дьявол, — чертыхается Мило. — На это мы не рассчитывали.

Светловолосая проститутка забралась к своей товарке в постель, обе укрылись одеялом и со скучающим видом разглядывают мужчин. Мило смотрит на них в последний раз, мысленно прощаясь с незавершенным праздником. Затем с неохотой наклоняется, подбирает с пола рубашку и надевает на себя.

— И что ты собираешься делать?

Рапосо бессильно машет рукой:

— Понятия не имею.

— Если у них есть деньги и они готовы расплатиться, от нас уже ничего не зависит. Книги вот-вот перейдут к ним. В Париже мы ничего сделать не сможем.

— А нельзя чего-нибудь подстроить? Как-нибудь отобрать у них эти книги?

Полицейский хмурится, качая головой.

— Так далеко я зайти не могу, приятель. Двадцать восемь томов не могут раствориться в воздухе. У всего есть свои пределы. Если они эти книги купили, значит, они их законные владельцы.

— А ложный донос или что-то в этом роде, что может им помешать?

— Ты всего-навсего выиграешь несколько дней, тем более если у них теперь связи в посольстве... Если книги у них, сделать уже ничего не удастся.

— А их нельзя конфисковать?

— Нет повода. Тем более продавец — адвокат, это почтенное семейство. Все будет легально и безупречно... С этой стороны точно не подкопаешься!

Одевшись, Мило о чем-то размышляет. Наконец в голову ему приходит какая-то идея, потому что внезапно он улыбается.

— В любом случае, — с недобрым видом уточняет он, — обратный путь неблизок. Вспомни, о чем мы говорили в прошлый раз.

Он заговорил тише, чтобы женщины его не слышали, склоняясь к самому уху Рапосо.

— Много дней, большое расстояние, — добавляет Мило. — А на дорогах между Францией и Испанией много всяких опасностей: волки и бандиты так и кишат, сам знаешь. Обычное дело для наших широт.

— Тоже верно, — соглашается Рапосо, улыбаясь вслед за Мило.

— Даже если бы я не знал тебя так, как знаю, всегда подвернется удобный случай, когда что-нибудь да произойдет... Какая-нибудь досадная неприятность.

Рассуждая в этом духе, Мило приближается к столу, на котором стоит бутылка, наполняет стаканы доверху, подмигивает проституткам и возвращается к Рапосо, протягивая ему стакан.

— Книги — штуки по-своему хрупкие, не так ли?

— Еще бы, — с готовностью отзывается Рапосо.

— Боятся мышей, моли.

— Точно!

— Да и время к ним беспощадно, не говоря уже об огне или воде. Если я не ошибаюсь.

Улыбка Рапосо сменяется хохотом.

— Нет, ты ни в коем случае не ошибаешься!

Мило тоже смеется, поднимает стакан и чокается со своим подельником.

— В таком случае, я уверен, что ты сумеешь обделать это дело, как только подвернется возможность. А может, сам же эту возможность подстроишь, если она вдруг не появится... Как сказал бы один из этих философов, самое ценное из твоих добродетелей — внутренняя цельность.

Дождь прекратился пару часов назад, и фонари через равные промежутки тьмы освещают берега Сены, роняя желтое отражение на черную воду и мокрую землю набережной Конти. Чуть в отдалении заметен освещенный сторожевой кордон, горящий фонарь на Новом мосту подсвечивает возвышающуюся над ним конную статую.

— До чего же прекрасный город, — говорит дон Эрмохенес: держа шляпу в руке, он поправляет плащ. — Даже уезжать жалко!

Они только что вышли из ресторана, где в обществе аббата Брингаса отпраздновали свой последний вечер в Париже. Все уже готово, чтобы выехать завтра с первыми лучами солнца: двадцать восемь увесистых томов «Энциклопедии», увязанные в семь тюков, заботливо упакованы в солому, картон и вощеную ткань. Их погрузят на крышу берлинки. Возница Самарра также готов к отъезду, и лошади стоят в стойле наготове. Дон Эрмохенес и дон Педро решили попрощаться с аббатом Брингасом со всеми почестями, отблагодарив его за помощь наилучшим образом: памятным ужином в трактире на левом берегу. Трактир «Корти», выбранный самим Брингасом, известен своими морскими деликатесами, и на стол подали устриц из Бретани и рыбу из Нормандии, а также камбалу, вызвавшую у аббата слезы благодарности, появлению которых способствовали также бутылки «Шамбертена» и «Сен-Жоржа», которые они регулярно опустошали в продолжение всего вечера. В итоге дон Эрмохенес выпил немного больше, чем обычно, а смуглый оттенок лица адмирала стал чуточку темнее.

— Великолепный ужин, — замечает Брингас, совершенно счастливый, вальяжно посасывая сигару, тлеющую между его пальцев.

— Вы этого заслужили, — отзывается дон Эрмохенес. — Вы были верным товарищем!

— Я был всего лишь тем, кем должно... К тому же двести ливров на дороге не валяются.

Все трое останавливаются у парапета пристани, вдыхая свежий сырой воздух. Небо над их головами становится все более чистым, высыпают звезды. По старой профессиональной привычке адмирал поднимает глаза и отмечает, что Орион уже низко, вот-вот исчезнет, зато сверкающий Сириус хорошо виден на темном небосклоне.

— Хорошая примета, — говорит Брингас, запрокинув голову и тоже глядя на небо. — Во сколько вы собираетесь выезжать?

— В десять утра.

— Я буду по вас скучать.

После этих слов они молча рассматривают реку и далекие огни. Аббат со вздохом бросает докуренную сигару в воду.

— Однажды этот город станет другим, — задумчиво произносит он.

— Мне он нравится таким, как есть, — мечтательно отзывается дон Эрмохенес.

Брингас переводит на него взгляд. Над узким пальто с поднятым воротом далекий свет фонаря высвечивает лицо аббата, бледное среди окружающих его теней, подчеркивая худобу и изможденность, особенно заметные в сочетании с заношенным свалявшимся париком. В беспокойных глазах отражается этот далекий желтоватый свет.

— Вы живете здесь уже много дней, и все это время я был для вас своего рода Вергилием... Неужели вы в самом деле не замечаете того, что таится за всем этим? Неужели я был так неуклюж, что за фасадом этого Парижа, который вам так полюбился, не сумел обозначить зловещую силу, пробуждающуюся день ото дня, силу, которая в один прекрасный день сотрет в порошок эту обманчивую безмятежность? Выходит, мало было моих рассуждений и доводов, чтобы убедить вас в том, что и этот город, и мир, который он собой представляет, приговорены к смерти?

Повисает напряженная тишина. Повернувшись к Брингасу, адмирал терпеливо ждет, чтобы тот продолжил свою речь; дон Эрмохенес, застигнутый врасплох, растерянно кивает. Библиотекарь никак не ожидал, что безобидный разговор устремится в столь неожиданное русло.

— Целебный яд, — напирает Брингас, — спасительная отрава, которая прикончит этот мир лжи и несправедливости, эту ветхую театральную декорацию, завтра отправится с вами в путь. И я горжусь, что был причастен к этому... Вообразить нельзя более благородной задачи, нежели доставить «Энциклопедию», а точнее, то, что она собой представляет, в самое сердце темной и дикой Испании, отправившей меня в изгнание.

Дон Эрмохенес немного успокаивается.

— Вы, сеньор аббат, человек редкого благородства...

Брингас ударяет ладонью по каменному парапету:

— Дьявол! Не произносите в моем присутствии это слово, отравленное теми, кто использует его как титул.

— В таком случае редкой чистоты чувств, — поправляет сам себя библиотекарь.

— Тоже не годится.

— Ладно, тогда так: ваша любовь к человечеству...

Брингас воздевает руки, подобно пастырю на паперти, словно призывает в свидетели саму Сену.

— Я был уверен, что все эти дни изъяснялся доходчиво. Мной движет вовсе не любовь к человечеству, а презрение!

— Уверен, вы преувеличиваете, — вздрагивает дон Эрмохенес. — Вы...

— Ничего я не преувеличиваю! Человеческое существо — тупая тварь, и к действию понуждают ее не благие помыслы, а исключительно чей-то хлыст. Чтобы воспитать нового человека, который превратит мир в гармоничное и приемлемое для жизни место, необходим промежуточный, переходный этап, когда рыцари высоких идей и решительных мер, подобные мне, заставят мир увидеть то, что видеть он категорически отказывается.

— Для этого существуют школы, дорогой аббат, — любезно прерывает его адмирал. — Я имею в виду воспитание нового человека.

— Школы не помогут, если прежде них не возведут эшафоты.

Дон Эрмохенес мгновенно выходит из себя.

— Бог с вами, что вы такое говорите!

Его слова вызывают у Брингаса приступ гомерического хохота.

— Вот уж кто не имеет к этому никакого отношения, если он вообще имеет отношение хоть к чему-то! Вы апеллируете к Богу, чьи министры до сих пор не признают прививок против оспы, потому что это противоречит Божьему замыслу! Они норовят вмешаться даже в это!

— Давайте оставим в покое Бога и его министров.

— О, именно этого я и хотел бы. Потому что менять знаки времени — дело не Бога, а человека. Именно за этим вы прибыли в Париж, и с этим же связана ваша бесценная поклажа, которую вы увезете с собой в Испанию. Ох уж эта Испания... Ей потребны лишь хлебная корка да коррида. Она ненавидит все новое и терпеть не может, когда тревожат ее праздность, лень и нелюбовь ко всякому труду.

— Наше путешествие в Париж доказывает, что не все так плохо, — возражает дон Эрмохенес.

— Нескольких книг недостаточно, чтобы пробудить нашу несчастную родину, сеньоры. Требуется нечто большее. Хорошая встряска, которая пробудит от летаргического сна этот жалкий народ, достойный сострадания, которому Европа ничем не обязана за истекший век. Такой же никчемный для мира, как и для себя самого.

— Снова вы про вашу революцию, — вздыхает библиотекарь.

— Естественно. А про что еще? Здесь необходимо тотальное потрясение, чудовищный шок, революция, которая потрясет основы мира. Безнадежная испанская глухота не из тех недугов, которые излечиваются цивилизованным способом. Нужен огонь, чтобы прижечь гангрену, разлагающую ее заживо!

— Значит, вы считаете, что нашу родину спасут эшафоты?

— А как иначе? Что еще может изменить страну, где при получении профессии лекарь или хирург клянутся в том, что обязуются защищать непорочное зачатие Девы Марии?

Они двинулись вдоль парапета в направлении моста.

— Я провожу вас, — говорит Брингас. — Ведь это наша с вами последняя прогулка.

Они шагают в тишине, размышляя о том, что только что обсуждали. Луна, восходя над крышами домов, освещает русло реки между двумя берегами и подсвечивает вдали фантастические очертания Нотр-Дам.

— В конечном итоге, — внезапно говорит Брингас, — путешествия, подобные вашему, не имеют ни малейшего смысла до тех пор, пока все остается таким, как есть. Пока не разрушена сама система нашего образования и всего того, что является наиболее темной и никчемной особенностью, присущей человеческой породе.

— Сильно сказано, — ободряет его адмирал.

— Звучало бы еще сильнее, если бы моя рука могла заставить услышать эти слова.

— Вы говорите о массовых убийствах?

— Поверьте, в них нет ничего плохого! Массовых, а главное — быстрых и беспощадных. И только после этого школы, где будут учиться дети, разлученные со своими матерями, как в древней Спарте. Этих детей научат быть гражданами с самых ранних лет. Со всеми добродетелями и со всей жестокостью, которые подразумевает это слово. А тот, кто не...

— А вы не считаете, что всякое человеческое существо можно воспитать гуманными методами? В конечном итоге культура — источник радости, потому что именно она пробуждает народное сознание.

— Сомневаюсь. По крайней мере, это касается не всех и не на первом этапе. Сброд не создан для того, чтобы думать.

Раздался тихий, едва различимый и, как всегда, завораживающий смех адмирала.

— По-моему, вы зашли не туда, сеньор аббат. Противоречите сами себе. Насчет сброда имел обыкновение порассуждать Вольтер, которого вы не слишком почитаете.

— Видите ли, этот лизоблюд и любитель роскоши кое в чем прав, — живо соглашается Брингас. — На самом деле, человеческое существо, которое, по сути, не более чем жалкое порождение низменных страстей, воспитывают лишь просвещение и страх... Или, лучше сказать, боязнь последствий в том случае, если он не подчинится велениям разума, или тех, кто является его воплощением... Вспомните, что у великого Жан-Жака — а уж он-то действительно велик — тоже имелись свои сомнения, и сомнения вполне обоснованные — в положительном влиянии массовой культуры.

— Да, но Руссо не говорил о массовых казнях и прочих дикостях.

— Ну и что? Мы уже достаточно выросли, чтобы быть чуточку жестокими.

— Вы намекаете на то, что без му*́* ки нет науки?

— Именно так, сеньоры.

У подножия статуи Генриха Четвертого они поравнялись с патрулем французских гвардейцев. Фонарь на ограде освещает синюю форму и солдат, дремлющих прямо на ступеньках. Один из них, вооруженный ружьем со штыком, подходит к ним, бегло осматривает всех троих и возвращается на свой пост, не произнеся ни слова. «Добрый ночи», — успевает сказать ему адмирал, поднеся руку к треуголке.

— Вы искренне верите, — продолжает Брингас, — что достаточно доставить «Энциклопедию» в Академию, напечатать словари и все прочее, и народ, получив эти книги и все то, что они символизируют, постепенно станет счастливым?

— У адмирала, может, и есть сомнения, — соглашается дон Эрмохенес, — однако я в этом убежден полностью.

— А вот я нисколько! Нация, у которой есть свои ремесла, искусства, философы и книги, не обязательно удостаивается при этом лучших правителей. Она бы и дальше отлично просуществовала под той же самой пятой. Просвещенная тирания, какой бы просвещенной она ни была, не перестает быть тиранией... Нам предстоит покончить с этим, уничтожить на корню. Стереть с лица земли противников прогресса. Поотрывать им всем головы!

— Правда? А как? — с холодной вежливостью любопытствует адмирал.

— Сперва привлечь на свою сторону нынешних членов правящего класса, просвещенных по велению сердца или ради моды, а затем, добившись свержения монархии, устранить их.

— Ух ты! А это как?

— Да очень просто: истребить, и дело с концом.

Дон Эрмохенес в ужасе крестится:

— Боже...

— Вы этого желаете Франции? — любопытствует адмирал. — И Испании, я полагаю, тоже?

Брингас неумолим.

— Я желаю этого всему миру. И Франции, и Китаю... Единственная дорога к общественному процветанию — кровавая баня, которая предшествует омовению истиной.

— Вы хотите сказать, что тех, кто не пожелает быть счастливым, заставят с помощью хлыста?

— Приблизительно так. Хлыст — отличный способ донести истину.

— А в чьих руках будет этот хлыст?

— В руках справедливых и просвещенных законодателей... Неподкупных и безукоризненных.

— По-моему, вино ударило вам в голову, сеньор аббат.

— Напротив. *Vinum animi speculum* ... Никогда я не был так трезв, как в эту ночь!

В середине моста Брингас останавливается и энергичным жестом указывает на рассеянные огоньки, обозначающие берег:

— Посмотрите вон на те фонари: как они сделаны, как установлены. Вот он, символ прогресса. Символ будущего.

— Действительно, — соглашается дон Эрмохенес, довольный тем, что разговор перешел на другую тему. — Удивительное изобретение. Это масло, которое всюду жгут...

— Я не это имею в виду, друг мой... Там, где вы замечаете масло и комфорт, я вижу подходящие места для того, чтобы вздернуть на виселицу врагов народа. Повесить тех, кто противится прогрессу... Можете представить себе город, где на каждом фонаре висит дворянин или епископ? Вот было бы славное зрелище! А уж какой урок всему миру!

— Вы опасный человек, сеньор аббат, — говорит адмирал.

— Да, вы правы. И я этим горжусь. Быть опасным человеком — мое единственное призвание.

— Вот они, худые беспокойные люди, страдающие бессонницей... Как у Шекспира в «Юлии Цезаре».

— Верно: Брут и Кассий. Все мы, люди с открытыми глазами, принадлежим к этой достойной породе. Не поздоровится королям и тиранам, если мы однажды встретим кого-нибудь из них под статуей Помпея! Уверяю вас, республиканский кинжал не дрогнет в моей руке!

Он вновь устремляется в путь с такой решимостью, словно вожделенный кинжал поджидает его в конце моста. Академики едва поспевают за ним.

— Вы были хорошим другом, — говорит дон Педро, поравнявшись с аббатом. — Несмотря на то что принадлежите к тому сорту людей, которые обычно бывают отзывчивыми друзьями, а затем становятся безжалостными врагами... Главное, думается мне, не прозевать момент, когда случается эта перемена.

Брингас обиженно вскидывает голову.

— Вас двоих — ни за что в жизни...

Внезапно он смолкает и продолжает путь, более не возражая. Через некоторое время сбавляет шаг.

— В любом случае для меня было честью познакомиться с вами, — говорит он, пожимая плечами. — И быть вам полезным в этом деле... Вы — достойные люди, так и знайте.

Улыбка адмирала едва различима во мраке.

— Надеюсь, вы вспомните об этом, когда начнете вешать людей на мадридских фонарях.

— До этого еще есть время. Хотя намного меньше, чем думают.

Шаги гулко падают на булыжную мостовую пустынной площади. Сейчас они шагают по направлению к громоздким и сумрачным стенам Лувра. Вокруг — ни единого светлого окна. Мерцает лишь одинокий фонарь, и тьма делает здание еще более мрачным.

— Вы не вернетесь в Испанию? — спрашивает дон Эрмохенес. — Домой?

— Домой, вы сказали? — Голос аббата звучит презрительно. — Я не верю тем, у кого есть — или они только думают, что у них есть — дом, семья, друзья... Кроме того, ничего хорошего в Испании меня не ждет. В лучшем случае — тюрьма... Я достаточно прожил на свете, чтобы знать, что в этой стране собственное мнение и независимость вызывают ненависть.

Брингас умолкает и озирается, словно тени могут ему ответить.

— Я обречен блуждать по этим берегам, словно призрак из «Энеиды».

При свете ближайшего фонаря адмирал видит, как дон Эрмохенес кладет руку на плечо аббата.

— Возможно, когда-нибудь... — начинает библиотекарь.

— Если когда-нибудь я вернусь, — угрюмо перебивает его Брингас, — то исключительно на одном из коней Апокалипсиса.

— Свести счеты, я полагаю?

— Вы угадали.

Они вновь останавливаются. Луна поднялась выше, разливая серебристое сияние над высокими крышами, покрытыми темной черепицей. Силуэты двоих мужчин, сливаясь в одну большую тень, смутно вырисовываются на мостовой.

— Желаю вам, чтобы вы наконец обрели то, что ищете, дорогой аббат, — произносит адмирал. — Если же это буря, желаю, чтобы вы в ней уцелели.

Он умолкает. На этот раз Брингас отвечает не сразу.

— Выжить во время всеобщего катаклизма в некотором роде аморально, — произносит он глухим, упавшим голосом. — Не знаю, как вы, а я, когда встречаю какого-нибудь выжившего, нет-нет да и подумаю, на какие унижения пришлось ему пойти, чтобы выжить. Если мне доведется потерпеть поражение, пожелайте мне остаться тем, кто я есть, и не выжить... Меня уже ничто не удержит в этом мире, останется только освободить место.

— Не говорите так, — умоляет тронутый дон Эрмохенес.

Брингас качает головой.

— Когда-нибудь наступит рассвет. Придет новый день. Найдутся люди, которые ему обрадуются, с благодарностью закроют глаза, почувствовав на лице первый луч солнца... Однако нас, тех, благодаря кому это солнце взошло, здесь уже не будет. Мы не переживем ночи или же предстанем перед рассветом бледными, обессиленными, измотанными битвой.

Аббат умолкает. После продолжительного молчания раздается голос адмирала:

— Что ж, желаем вам встретить этот рассвет, дорогой друг.

— Пожелайте мне лучше достойно умереть, когда придет момент быть непреклонным в вере — так, чтобы крик петуха меня не устыдил... Иными словами, ни от чего не отрекаясь.

Он подходит к дону Педро и протягивает ему руку. Адмирал снимает шляпу. Рука у Брингаса ледяная, словно ночная прохлада просочилась в его вены. Затем он поворачивается к дону Эрмохенесу и также пожимает ему руку.

— Для меня было честью помогать вам, сеньоры, — сухо произносит аббат.

После этих слов он поворачивается спиной и удаляется, сливаясь с сумерками, подобно трагической тени, уносящей на своих плечах непомерную тяжесть предчувствия и самой жизни.

## 12. Волчье ущелье

Несмотря на предпринятые меры, французские книги миновали все преграды и проникли на территорию Испании.

Николас Бас Мартин. «Иллюстрированная почта»

Приступив к заключительной главе моей книги, я столкнулся с очередной проблемой. Один из важных эпизодов, описывающий приключения академиков и упомянутый мельком — хотя и с любопытными подробностями — в отчете, который дон Эрмохенес Молина после возвращения в Испанию написал для Академии, был изложен довольно кратко, к тому же с географическими неточностями, которые сбили меня с толку, поскольку упоминался «*участок, близкий к испанской границе* », который библиотекарь обозначил названием, соответствовавшим месту, достаточно удаленному от указанного участка. Пришлось потратить некоторое количество времени и сил, изучая старинную карту Франции, а также справочники дорог и постоялых дворов, пытаясь определить точку, где произошли решающие события, о которых мне только еще предстоит рассказать.

К этому моменту моей истории двое академиков, сидя в берлинке, управляемой возничим Самаррой, со всем своим багажом, а также двадцатью восемью томами «Энциклопедии», притороченными к верхнему багажнику экипажа, проделали большую часть пути от французской столицы к Байонне и далее — к испанской границе. Путешествие, как можно сделать вывод из лишенного красочных подробностей повествования, содержащегося в итоговом отчете, протекало без осложнений, достойных упоминания. Экипаж двигался по королевской дороге из Парижа в Орлеан, оттуда проследовал вдоль реки Луары без каких-либо происшествий, за исключением тех, что обычно сопутствуют подобной разновидности длительных путешествий — поскрипывание рессор, вездесущая пыль и неудобства, присущие ночевкам на постоялых дворах и почтовых станциях отнюдь не высшей категории. Нам известно, что дон Эрмохенес перенес небольшой рецидив простудной лихорадки, которая ранее уже случалась с ним в Париже, это заставило их пересидеть пару дней в Блуа, дожидаясь, пока библиотекарь поправится, и что поднявшаяся в реке вода и поломка деревянного моста, ставшие следствием продолжительных ливней, а также непролазная грязь на дорогах заставили их сделать изрядный крюк чуть ли не до самого Тура, и таким образом они потеряли еще два дня. В любом случае это были обычные помехи, свойственные всякому путешествию той эпохи, и академики встречали их со смирением, привычным для тогдашних путешественников. И вот, сменяя на почтовых станциях лошадей, читая, задремывая, пробуждаясь и беседуя с предельной дружеской откровенностью, которая благодаря этой поездке установилась между ними, дон Эрмохенес и дон Педро преодолевали запланированные отрезки пути за вполне приемлемые промежутки времени. Остались позади Пуатье, Ангулем и Бордо, и на четырнадцатый день пути путешественники наконец углубились в лесистые равнины, тянущиеся вдоль Гаронны.

Тут-то и возникла загвоздка, о которой я упоминал ранее. Рассказ библиотекаря, грешивший неточностью деталей, заставил меня в первый момент поверить в то, что события, которые ожидали академиков чуть позже, произошли в ущелье в предгорьях Пиренеев. Однако, изучив более подробно его отчет, а также путеводители и географические карты той эпохи и выстроив таким образом весь маршрут, я пришел к выводу, что милейший дон Эрмохенес был так потрясен происшедшим, что перепутал названия и точки на карте, перенеся их намного ближе к границе, чем это было на самом деле. Но описание решающего момента этого происшествия и, главное, — его мизансцены дало мне кое-какие зацепки, которые с помощью современных карт и снимков с воздуха я смог успешно использовать для своего повествования. Так, характеристика одного из участков пути — «*мы миновали замок, пересекли мост, а затем справа от нас, возле реки, появилась средневековая церковь с высокой колокольней, окруженная соснами, осинами, огородами и фруктовыми садами* » — почти точь-в-точь соответствовала спутниковому снимку, который я обнаружил в Гугле. Деревья, упомянутые доном Эрмохенесом, все еще росли на своих местах, однако их сильно потеснил город, в который за два с половиной столетия, промелькнувшие с той поры, преобразился «*поселок с населением в триста душ* ». Библиотекарь упомянул *lgorge des Loups* — Волчье ущелье, расположенное у реки, однако не сумел правильно указать, где именно располагалось это место, которое, скорее всего, исчезло вместе с лесами, вырубленными под современную застройку. Зато замок — или скорее роскошное поместье какого-то дворянина — по-прежнему был там; за излучиной реки я обнаружил мост, а справа от него высилась колокольня готической церкви, четко обозначавшая старый центр небольшого городка, который ныне окружает его со всех сторон. Городок называется Тартас, и я пришел к выводу, что, скорее всего, это и есть то самое место, которое описывал библиотекарь.

То, что произошло в этом поселке и его окрестностях, было крайне важно: оно сыграло в этой истории решающую роль. Приняв решение завершить свою книгу как можно правдоподобнее, я отправился в Тартас, вооружившись географическими картами, моими записями и копией отчета, переданного доном Эрмохенесом в Академию. Я выехал на автомобиле, взятом напрокат в Сан-Себастьяне, пересек границу и достиг берегов реки Адур, вдоль которой следовал по второстепенным трассам до слияния этой реки с рекой Мидуз, где располагался Тартас. Разумеется, окружавший меня пейзаж сильно отличался от того, что видел перед собой путник XVIII века, однако основные приметы сохранились и выглядели так же до сих пор. Мне повезло: одна из *messageries,* или почтовых станций для карет и дилижансов, расположенных по дороге, связывающей Париж с Андаем, была подробно описана маркизом де Уренья в его «Путешествии». Таким образом, мне удалось установить, что, с большой вероятностью, «*славное, опрятное, на сорок или пятьдесят человек, а также принадлежащих им животных* » заведение и было тем самым постоялым двором, перед которым дождливым вечером остановилась берлинка академиков, проделав пять лиг от Мон-де-Марсан. Дон Педро и дон Эрмохенес, усталые, голодные и вконец измотанные дорожной тряской, вылезли из заляпанного грязью экипажа, намереваясь хорошенько отдохнуть и еще не догадываясь, что предстоящая ночь и следующий за ней день сулят им самые драматичные потрясения.

Паскуаль Рапосо решил сделать все возможное, чтобы потрясения произошли как можно скорее. Держась за седельную луку, подняв воротник шинели по самые уши, а шляпу натянув до бровей, одинокий всадник издали смотрит на берлинку, остановившуюся на постоялом дворе в захудалом городишке Тартас. Солнце опустилось уже совсем низко, задевая брюхом горизонт, тучи вдалеке сливаются с лесом, окружающим это место со всех сторон, и тени ползут по серым полям, превращенным дождями в сплошное месиво, постепенно окутывая мраком притаившийся с той стороны реки городишко, от которого в этот час осталась лишь едва различимая в темном небе высокая башня колокольни.

Вдоль русла реки Мидуз тянется плоская однообразная равнина, и неопрятный, пепельный свет вечерней зари, исчерканный мелким, бесконечным дождем, от которого все вокруг пропиталось водой — шинель Рапосо насквозь вымокла, а шерсть его коня жирно лоснится, — окрашивает ртутным блеском лужи и параллельные колеи, оставленные экипажем на расползшейся дороге, той самой, что забрызгала грязью ноги усталого коня и сапоги всадника.

Помедлив в раздумье, Рапосо вонзает шпоры в конские бока и устремляется рысью по дороге до самого постоялого двора, слыша вокруг себя лишь шлепанье копыт по мокрой глине. Подъехав ближе, он, не останавливаясь, бросает взгляд на стоящую напротив крыльца берлинку, которую возница в наглухо застегнутом плаще как раз собирается отогнать под навес, где стоят остальные экипажи. Академики уже исчезли в дверях постоялого двора, огромной и одиноко стоящей домины с дымящейся трубой, которая заставляет Рапосо, утомленного долгой дорогой и всепроникающей сыростью, позавидовать жаркому очагу, перед которым наверняка уже уселись академики, чтобы побыстрее согреться в ожидании сытного ужина. Ослабив поводья, всадник с величайшим вниманием осматривает конюшню с лошадьми, а также навесы, под которыми ночью размещают экипажи постояльцев; затем легонько пришпоривает коня и устремляется к каменному мосту, виднеющемуся вдалеке сквозь завесу дождя. Не в первый раз приходится Рапосо проделывать этот путь — вот почему он выбрал именно это место, — и теперь он без труда узнает небольшой одинокий замок, возвышающийся чуть в отдалении рядом с дорогой и отгороженный каменной стеной, из-за которой виднеются купы деревьев.

Цокот подков звучит по-другому — более гулко и отчетливо, — когда конь ступает по булыжникам моста. Вода под его сводами течет бурная, мутная, среди пены можно разглядеть ветки деревьев. Оставив реку позади, Рапосо направляет коня по дороге, уходящей вправо, постепенно приближаясь к городку: полсотни домишек, затерянных в сумерках, предшествующих глухой ночи, сквозь которые лишь кое-где проглядывает тусклый огонек. Ориентируясь на церковь, чья остроконечная колоколенка виднеется поодаль, Рапосо отыскивает центральную площадь, где, как ему известно, расположена ратуша. Город почти полностью погружен во мрак, когда он спешивается с коня, привязывает поводья к железному кольцу, вделанному в стену, и осматривается, стараясь сориентироваться среди домов, окружающих темную площадь. Затем стряхивает дождевую воду с шинели и направляется к одному из них, на чьей притолоке висит маленький фонарь, освещающий намалеванную кое-как табличку, висящую над входом: «*Aux amis de Gascogne* »[[99]](#footnote-99), гласит надпись. Подойдя вплотную, он толкает дверь и входит в трактир.

— Черт подери, Рапосо! Это ты или твой призрак? Сколько лет не виделись!

Хозяин трактира, сидевший перед камином с трубкой в зубах, завидев Рапосо, вскакивает и вынимает изо рта трубку. Изумление на его лице сменяется радушной улыбкой. Он протягивает руки к вошедшему, и становится заметно, что на правой не хватает указательного пальца. Имя хозяина — Дюран; это худощавый малый с густыми, уже наполовину седыми волосами. Печальные глаза старой собаки. Такие доверяют не всем и не во всяком деле. Испанец из Валенсии, женатый на француженке, обосновавшийся здесь уже давным-давно. Старинный приятель странника, который сейчас снимает мокрую шинель, присаживается к огню и стягивает заскорузлые сапоги, чтобы согреть окоченевшие ноги. В трактире уютно, стены увешаны охотничьими трофеями, в середине стоит длинный стол, основательный и чистый, вдоль которого расставлены скамейки. В зале находятся только хозяин и какой-то безразличный ко всему тип, мирно спящий возле кувшина с вином в противоположном конце стола, подперев руками голову.

— Откуда ты?

— Из этого чертова дождя, откуда же еще.

В мире, привычном Паскуалю Рапосо, лишние слова произносятся, как правило, редко. Они только мешают. Лучше прикинуться, что ты ничего не знаешь, или рассказывать только самое необходимое, особенно если ты — старый приятель, который появляется без предупреждения, по сложившемуся обычаю занимает лучшее место напротив огня и тянет руку, чтобы в нее вставили стакан с подогретым вином. Так или иначе, Дюран не задает вопросов, за исключением самых простых, а Рапосо отвечает лишь то, что ему выгодно или удобно ответить. Пока одежда только что прибывшего гостя дымится от жара — на несколько минут он замирает, повернувшись к камину спиной, чтобы высохнуть побыстрее, они обмениваются обычными вопросами и ответами: как поживают общие друзья, как дела в знакомых местах, после чего некоторое время оба предаются воспоминаниям. Именно такие беседы смазывают заржавелые шестеренки старой дружбы.

— А Николя Оже повесили.

— Да что ты? Быть такого не может!

— Да, вот так. В прошлом году.

— А его брат?

— Таскает железный шар с цепями на Тулонской каторге.

У Рапосо кривится рот, когда он слышит эти слова.

— Не повезло парню.

— Да уж.

— С другой стороны, нельзя же все время выигрывать.

— В том-то и дело... А кое-кому и по первому разу не везет.

Гость искоса посматривает на забулдыгу, дремлющего у стола; Дюран, перехватив его взгляд, небрежно машет рукой.

— Ты чего приехал сюда?

— По делам.

— А что за дела?

Рапосо снова косится на спящего. Дюран, поразмыслив секунду, встает, подходит е нему и трясет за ворот.

— Допивай, Марсель, я закрываюсь. Ступай домой и проспись хорошенько. Ну-ка, давай...

Человек послушно поднимается на ноги и позволяет хозяину довести себя до дверей. Когда они остаются одни, Дюран подливает вина Рапосо, который садится на место.

— Может, чего-нибудь съешь?

— Позже. — Рапосо проводит рукой по бакенбардам и небритым щекам, чья жирная кожа лоснится при свете огня. — А сейчас ответь-ка мне на пару вопросов.

Хозяин смотрит на него с вновь проснувшимся любопытством.

— Выглядишь ты так себе.

— Ужасно устал. Пять лиг тащился верхом, в такую собачью погоду.

— Видимо, на то имелись причины. — Дюран выжидающе улыбается.

— Еще бы.

Рапосо делает глоток вина, затем еще один. Плотно обхватив стакан руками, согревает ладони.

— Хочу задать тебе несколько вопросов.

Дюран подмигивает, вновь раскуривая погасшую трубку с помощью тлеющей головешки, которую вытаскивает из очага.

— Надеюсь, ответы мне известны...

— Они тебе, безусловно, известны.

Рапосо засовывает пальцы в карман жилета, достает три золотых луидора и трясет их в кулаке, от чего те мелодично звякают, затем прячет обратно. Хозяин задумчиво кивает, выпуская изо рта целое облако дыма с такой задумчивостью, словно слушает музыку.

— Говори. Я слушаю.

— У тебя хорошие отношения с местными властями?

— Отличные. Мэр — мой приятель, он сюда частенько приходит. Его зовут Руйе, и он крестный моей дочери. Мы тут, в нашем городе, все меж собой знакомы... Нас всего-то триста восемьдесят человек, если заодно сосчитать и дома в окрестностях.

— А как тут у вас с полицией?

Дюран смотрит на своего собеседника недоверчиво, долго затягиваясь трубкой. В следующее мгновение хмурится.

— Сержант и четверо солдат сельской гвардии, у нас ее называют *мaréchausséе* ... Охраняют посменно дежурный пункт на той стороне реки, а заодно поглядывают и на проезжих. Но я бы не сказал, что они из кожи вон лезут.

— Ясно... А где у них казарма?

— Прямо здесь, в ратуше... Возле церкви.

— Гвардейцы подчиняются мэру?

Дюран вновь выпускает облачко дыма.

— Выходит, что так. Они приписаны к гарнизону Дакса, но на самом деле все родом из нашего города, даже сержант.

Рапосо криво улыбается уголком рта. Улыбкой хищной и опасной.

— А как ты думаешь, как они себя поведут, если узнают, что на постоялом дворе остановились двое английских шпионов?

— Что за чушь ты несешь! — восклицает Дюран.

Открытые чемоданы стоят на большом деревянном ларе, но вещи никто не доставал, а библиотекарь и адмирал беседуют, как обычно, прежде чем отправиться спать. Ужин был сытный — жаркое из зайца, колбаса, сыр и немного местного вина, — и академики долго не спешили покидать гостиную, сидя перед огнем и обмениваясь впечатлениями. Сейчас дон Педро и дон Эрмохенес уже у себя в комнате, которую делят пополам: это просторное помещение с двумя кроватями, разделенными тростниковой ширмой, обтянутой раскрашенной тканью, и с железной печуркой, от которой толку мало, несмотря на то что они только что заложили в нее несколько крупных поленьев. Путешественники не спешат улечься в кровать и продолжают беседу, сидя в креслах напротив печки при свете свечи, стоящей на грубом сосновом столе, где высится стопка книг и лежит отчет о путешествии, который дон Эрмохенес подготовил для Академии. Оба отдыхают после утомительной дороги, на адмирале жилет и рубашка, библиотекарь накинул на плечи одеяло. Беседуют о зоологии, математике, о новом ботаническом саде, который вот-вот откроется в Мадриде под протекцией самого короля, о том, что в Испании необходимо создать Академию наук, которая объединит под своим крылом самых талантливых геометров, астрономов, физиков, химиков и ботаников. Друзья, по обыкновению, ведут искренний и теплый разговор, как вдруг на лестнице слышатся шаги, а в дверь раздаются мощные удары.

— Что такое? — беспокоится дон Эрмохенес.

— Понятия не имею.

Адмирал поднимается с кресла и отпирает дверь. На пороге четверо в синей форме с алой подкладкой и белой портупеей. Вид у них отнюдь не любезный. Штыки отражают свет фонаря, который один из вошедших держит в высоко поднятой руке. На лацкане камзола виднеется нашивка сержанта, вторая рука покоится на наконечнике сабли, вставленной в ножны.

— Одевайтесь и следуйте за нами.

— Что, простите?

— Я говорю, чтобы вы одевались и шли за нами.

Дон Педро обменивается изумленным взглядом с доном Эрмохенесом.

— А можно узнать, что...

Не дав закончить фразу, сержант кладет руку на грудь адмирала и толкает его, отстраняя от двери.

— Что за произвол? — спрашивает оскорбленный дон Педро.

Ему никто не отвечает. Сержант стоит перед ним с угрожающим видом, в то время как трое гвардейцев врываются в комнату и осматривают все углы, переворачивают бумаги и роются в чемоданах. Пораженный дон Эрмохенес отступает к кровати, жалобно поглядывая на адмирала.

— Я требую объяснить, что здесь происходит, — повторяет тот.

— Происходит то, — хамским тоном отвечает сержант, — что вы задержаны.

— Но это безумие!

Сержант стоит перед ним, хмуро глядя ему в глаза. Это старый солдат, сухой и жилистый, с грубой и бессмысленной физиономией и седыми усами.

— Одевайтесь, я сказал. Или пойдете прямо так.

— Пойдем? Куда? И с какой стати?

— Скоро узнаете. У нас впереди много времени.

По знаку сержанта один из гвардейцев целится в дона Педро острием своего штыка. Все еще растерянный, беспомощный, с побагровевшим от стыда и унижения лицом, дон Педро неохотно натягивает на себя камзол, берет плащ и шляпу. Пока он одевается, дон Эрмохенес в отчаянии наблюдает за тем, как гвардейцы конфискуют все бумаги, находящиеся в комнате, и засовывают их в парусиновый мешок.

— Вы не имеете права, — бормочет библиотекарь. — Это частные документы, а мы... мы — уважаемые люди... Я решительно протестую против такого произвола!

Сержант не обращает на него внимания.

— Протестуйте сколько влезет... Объяснять будете в протоколе, а сейчас — на выход. — Он кивает на дверь.

Они спускаются по лестнице вслед за сержантом, сопровождаемые тремя гвардейцами. Внизу стоит хозяин постоялого двора, топчутся слуги и несколько постояльцев, полуодетые, в ночных сорочках; все они смотрят на адмирала и библиотекаря удивленно и подозрительно. Возница Самарра сидит за столом в углу под присмотром другого гвардейца. Его допрашивает какой-то тип в длинном сером рединготе. Заметив адмирала, Самарра бросает на него беспомощный взгляд.

— Это наш кучер, — говорит дон Педро сержанту. — И, насколько нам известно, он не сделал ничего дурного.

— Это мы проверим, — сухо замечает сержант.

Они выходят в темноту улицы, где их немедленно окружают сырость и холод. Сержант шагает впереди с фонарем в руке, сопровождая их до экипажа, в который усаживаются все по очереди.

— Куда нас везут? — спрашивает адмирал.

Ему никто не отвечает. Экипаж катится в темноте, сначала пересекает мост, затем движется вдоль стоящих рядком домов, которые в этот час почти не видны. Наконец прибывает на площадь, где также царит непроглядный мрак, сквозь который можно разглядеть очертания старой церкви. В полусотне шагов они останавливаются у здания, расположенного по соседству с ратушей, и академики выходят из экипажа. Входят внутрь здания и попадают в грязную комнату, кое-как освещенную масляным фонарем, где обнаруживаются стол, несколько стульев, высокие часы, пирамида для ружей и два открытых шкафа, заставленных папками с документами, а над всем этим царит цветная гравюра с изображением Людовика Шестнадцатого. По ту сторону приоткрытой двери виднеется железная решетка тюремной камеры.

— Мы в тюрьме? — в ужасе вопрошает дон Эрмохенес.

— Похоже на то, — с тревогой в голосе вторит ему адмирал.

Сержант пододвигает стулья и ставит их возле стола.

— Присаживайтесь... И рта не открывайте, пока я вам не прикажу.

— Вы грубиян и злоупотребляете властью. — Дон Педро не подчиняется приказу, пока один из гвардейцев не усаживает его силой. — Объясните мне, что здесь происходит. Я настаиваю!

Сержант склоняется к нему и насмешливо смотрит ему в глаза:

— Как вы сказали? Настаиваете?

— Именно, мсье. Я понятия не имею, что происходит, но вы зашли слишком далеко.

— Да что вы говорите! Так-таки слишком далеко?

— Дальше, чем позволяют честь и порядочность.

Сержант перестает улыбаться, глаза его мутнеют от ярости. Он усаживается на углу стола и складывает руки на груди.

— Потерпите, скоро вам все объяснят, — насмешливо отзывается он. — А пока ждем, сидите спокойно и помалкивайте, вот вам мой совет.

— Ждем? И кого же?

— Представителя власти.

Упомянутый представитель власти появляется четверть часа спустя. Это тот самый господин в сером рединготе, который допрашивал кучера Самарру, когда академиков уводили с постоялого двора. Он без шляпы, плохо выбрит, хмурое и неприветливое выражение лица усиливают тонкие, почти невидимые губы под маленьким курносым носом, узкий лоб, темные, недоверчивые глаза. Он появляется в сопровождении писаря — пожилого, лысого, в очках, который приносит с собой стопку бумаги и какое-то письмо. Оба входят, не поздоровавшись с задержанными и даже не взглянув в их сторону, представитель власти садится за стол, расстегивает пальто, неторопливо развязывает папку, полную каких-то бумаг, и только потом долго смотрит на задержанных, не произнося ни слова.

— Назовите ваши имена, — наконец приказывает он.

— Назовите сначала ваше имя, — возражает адмирал. — И объясните, что мы здесь делаем.

— Я — Люсьен Руйе, мэр города. И вопросы здесь задаю я. Ваши имена?

Адмирал кивает на кучу бумаг, которые гвардейцы выгрузили на стол, рядом с протоколом, куда писарь уже заносит все происходящее.

— Педро Сарате и Эрмохенес Молина. Там, на столе, все наши документы, мсье.

— Подданство?

— Испанское.

Услышав эти слова, человек по имени Руйе обменивается многозначительным взглядом с сержантом, который поднялся при его появлении и сейчас прислушивается к разговору, стоя рядом со своими подчиненными.

— Что вы делаете в Тартасе?

— Следуем из Парижа в Мадрид через Байонну.

— С какой целью?

— Везем книги, приобретенные в Париже. Среди документов вы найдете письма, подтверждающие, что мы являемся членами Испанской королевской академии.

— Членами чего?

Дон Педро чуть склоняется над столом, прямой и осмотрительный.

— Мсье мэр, раз уж вы утверждаете, что такова ваша должность, я требую, чтобы нам объяснили, зачем нас сюда привезли.

Не обращая внимания на слова адмирала, Руйе пробегает глазами кое-какие бумаги, лежащие на столе. Он делает это с безразличным видом, словно содержание бумаг не слишком его волнует.

— Кто-то из вас говорит по-английски?

— Я говорю, — произносит дон Педро.

— Насколько хорошо вы им владеете?

— Довольно прилично.

Руйе на секунду поворачивается к писарю, чтобы убедиться в том, что тот все записал. Затем с неприязнью смотрит на дона Эрмохенеса.

— А вы? — с любопытством спрашивает мэр.

Испуганный библиотекарь мотает головой.

— Ни слова не знаю, мсье.

— Надо же. Странно.

Дон Эрмохенес моргает, удивленно приоткрыв рот.

— А почему это кажется вам странным?

Мэр не удостаивает его ответом. Он вновь поворачивается к адмиралу.

— Значит, вы утверждаете, что вы подданные Испании?

— Не только утверждаю, — оскорбляется дон Педро, — но мы и есть испанцы. Я бригадир Королевской армады в отставке.

— Бригадир, ишь ты!

Кровь мгновенно ударяет в лицо адмиралу. Дон Эрмохенес замечает, как сжимаются его кулаки — даже костяшки белеют.

— Признаться, мы не привыкли к такому обращению, — возмущается дон Педро приглушенным от гнева голосом.

Физиономия Руйе выражает полнейшее бесстыдство.

— Что ж, придется привыкать.

Адмирал делает резкое движение, будто порываясь встать, но остается сидеть на стуле, потому что сержант делает к нему шаг, а один из гвардейцев наклоняет ружье так, что штык упирается ему в грудь. Потрясенный библиотекарь замечает, что на лбу адмирала выступили капельки пота. Он ни разу не видел у своего друга такой реакции. Уперев локти в стол, переплетя пальцы и уперев в них подбородок, мэр Руйе безучастно наблюдает за происходящим.

— Человек, который взят под стражу на постоялом дворе, ваш кучер?

Дон Эрмохенес берет слово, отчаянно желая смягчить ситуацию.

— Именно, мсье, — подтверждает он. — Он сопровождает нас от самого Мадрида, это слуга маркиза де Оксинага. И он сможет объяснить вам...

— О, ничего он не объяснит. — Руйе злорадно хихикает. — Слишком напуган. И, скорее всего, не спроста. Сейчас он утверждает то же, что и вы.

— Разумеется. Потому что нет ничего такого...

— Какие книги вы везете?

— Двадцать восемь томов «Энциклопедии», о которой вы, скорее всего, слышали. И еще кое-какие отдельные произведения, которые мы купили в Париже.

— И вы утверждаете, что везете эти книги в Испанию?

— Именно!

На лице Руйе изображается хитрая улыбка.

— «Энциклопедия» в Испании запрещена! — победно восклицает он. — Сомневаюсь, что вам разрешат переправить ее через границу.

— У нас есть особое разрешение, — поясняет адмирал, которому, похоже, удалось взять себя в руки.

— Вот как? — Руйе поворачивается к нему. — И чье же оно?

— Королевский приказ.

— Так-так. И что же это за король — Испании или Англии?

Думая только о том, что происходящее — вопиющая нелепица, дон Педро бессильно машет рукой.

— Все это полнейший абсурд, — заключает он, пожимая плечами. — Это просто смешно!

— Что же вы находите здесь смешного?

Адмирал указывает на самого Руйе, затем на сержанта и его подчиненных:

— Да весь этот разговор. Эти солдаты и их штыки... Мсье сержант и его хамское поведение на постоялом дворе.

Руйе скривился, и лицо его приняло недоброе выражение.

— Слышишь, Бернард? — обращается он к сержанту. — Этому господину ваше поведение показалось хамским!

Тот щелкает языком, нахально улыбаясь.

— Хм... Надо будет исправить дело, когда настанет момент.

Адмирал с презрением выдерживает его взгляд. Затем вновь обращается к мэру:

— Да и вы, мсье, с этой вашей манерой...

Он не заканчивает фразу, но гримаса на лице Руйе становится отчетливее. В его недоверчивых глазах явно заметно раздражение.

— Ах так? Значит, я тоже кажусь вам хамом, как и Бернард? А может, таким же смешным, как и весь разговор?

— Я этого не говорил. Я только хочу сказать, что вы с этим допросом...

— Знаете, мсье, что в самом деле смешно? Вы уверены, что мы, жители этого города, — дураки.

Адмирал и библиотекарь переглядываются, совсем сбитые с толку.

— Нет, мы ни разу... — начинает дон Эрмохенес.

— Да, это маленькое скромное местечко, — перебивает Руйе. — Но мы, его жители, верные подданные Его Величества короля... Мы люди порядочные и вполне разумные. — Он соединяет указательный и большой палец. — Кроме того, учтите: без нас тут и мышь не пробежит!

— Это какое-то недоразумение, — после секундного замешательства говорит дон Педро. — Скорее всего, вы нас с кем-то перепутали... Я не знаю, что происходит, мсье мэр, но в одном абсолютно уверен: вы совершаете большую ошибку.

— Это мы еще увидим. Пока во всей этой истории концы с концами не сходятся.

Адмирал кивает на папки, наваленные горой на столе.

— В этих документах вы найдете все объяснения и подтверждения.

Руйе пожимает плечами:

— Эти документы в свое время будут изучены, уверяю вас. Самым тщательным образом. А пока пускай полежат здесь, покуда все не прояснится.

— Что именно должно проясниться? Можете сказать нам, какого черта здесь происходит?

— Все очень просто: вы задержаны именем короля.

— Да что вы такое говорите? — возмущается дон Эрмохенес. — В такой культурной стране, как Франция, король должен быть отцом, который наказывает, когда это необходимо, а не хозяином-самодуром, хватающим людей ни за что ни про что!

— Не старайтесь, дон Эрмохенес, — замечает адмирал. — Этим людям явно не до риторических тонкостей.

— В камеру их, — приказывает Руйе гвардейцам.

— В камеру? Вы с ума сошли? — Адмирал вскакивает. — Повторяю, мы — ученые! Даю вам слово, что...

Его останавливает рука сержанта, бесцеремонно ухватившая за плечо. Униженный и уязвленный, дон Педро резким ударом инстинктивно сбрасывает с себя эту руку. Руйе пытается совладать с ним насильственным способом, однако адмирал с неожиданной энергией дает отпор, отбиваясь от навалившихся на него гвардейцев. Видя, что друг попал в переделку, дон Эрмохенес тоже вскакивает и пытается прийти на помощь, но удар кулаком отбрасывает его обратно на стул. Все смешалось: голосящий Руйе, усердствующие в глубине комнаты гвардейцы и академики, которых в конце концов силой загоняют в угол, прижав штыками, а потом, почти волоком, затаскивают в железную клетку, расположенную в соседнем помещении.

Ночь темна, глуха, беззвездна. Дождь прекратился, хотя земля по-прежнему представляет собой сплошную раскисшую глину, а фонарь над воротами постоялого двора отражается в лужах, покрывающих дорогу. Это единственный источник света, и Паскуаль Рапосо задумчиво останавливается перед ним. Его шинель застегнута на все пуговицы, а андалузская шляпа натянута до бровей. Огонек сигары освещает при каждой затяжке нижнюю часть физиономии Рапосо.

Внезапный шум за спиной заставляет его обернуться. Какая-то тень отделяется от моста и движется во мраке, пока не приобретает человеческие очертания. Мгновением позже трактирщик Дюран разражается бранью, потому что его сапог угодил в жидкую грязь, потом пожимает Рапосо руку.

— Как дела в городе? — спрашивает Рапосо.

— Все в порядке. Птички в клетке, а мэр довольно потирает руки.

— Что с ними будет дальше?

— Посидят под замком, а утром о происшедшем сообщат шевалье д’Эсмангару.

— Это еще кто такой?

— Бездельник, живущий в замке позади постоялого двора. Этот замок видно с дороги, если едешь со стороны Мон-де-Марсана. Дворянин, владеет половиной Тартаса со всеми его лесами и охотничьими угодьями, а заодно выступает префектом всего района: словом, официальная власть для всяческих местных разборок... Руйе пишет отчет, чтобы отвезти ему в замок.

— А когда этот шевалье приедет взглянуть на наших пташек или решит, что с ними делать?

— Не могу сказать. Бездельники вроде него обычно просыпаются поздно, за исключением случаев, когда выезжают на охоту. Не думаю, что он позволит тревожить себя раньше полудня.

Рапосо затягивается сигарой.

— Как вели себя эти двое?

— Думаю, так себе. Руйе рассказал, что птенчики полезли на рожон, пришлось применить силу.

В сумраке Рапосо улыбается, представив себе эту сцену.

— И много силы?

— Достаточно, чтобы они угомонились... Так мне сдается. Бернард, сержант гвардейцев, постарался от души. Они ему показались дерзкими наглецами, особенно тот, что повыше.

Рапосо делает последнюю затяжку и роняет докуренную сигару на землю, меж сапог.

— Ты знаешь гвардейца, который остался там, внутри?

— Да, его зовут Жарнак... Славный малый. Женат на дочке булочника, кузена моей супруги.

— Черт возьми... Вы тут все, как я погляжу, родственники и кумы.

— Почти все. И, как видишь, в этом есть свои плюсы.

— Раз так, давай потолкуем с этим твоим родственником.

— Как хочешь. — Двое мужчин пешком направляются к постоялому двору. — И кстати... Ты уверен, что эти двое старикашек в самом деле английские шпионы?

— Похоже на то.

— Надеюсь, это не слишком осложнит мне жизнь. Ты меня понимаешь.

— С какой стати? Ты всего лишь передал властям анонимное письмо, которое некто вручил тебе в трактире.

— Да-да, конечно... А если они спросят, кто это был?

— Если спросят, скажешь им, что какой-то человек оставил записку и ушел. И что ты ни за что не отвечаешь. Ты всего лишь исполнил свой долг жителя города и гражданина.

— Но ведь они действительно шпионы, верно?

— Видишь ли, Дюран... Думай лучше о луидорах, которые я сунул тебе в карман, и не хватай меня за яйца.

Они застали Жарнака в тот миг, когда он, сидя перед камином и прислонив ружье к стене, беседовал с хозяином постоялого двора. Гвардеец — мужчина среднего возраста и простецкой наружности. Он расстегнул камзол и жадно поглощает кусок сыра, прихлебывая из стакана вино. Дюран представляет Рапосо как старого знакомого и путешественника, который по пути остановился в их городке и теперь интересуется происшествием с двумя английскими шпионами.

Некоторое время все трое обсуждают подробности. Жарнак утверждает, что кучер, сопровождавший шпионов, заперт наверху в своей комнате, карета так и стоит под навесом вместе с прочими экипажами, а лошади распряжены и отдыхают в конюшне.

— А что с багажом? — любопытствует Рапосо.

— Пока ничего, — отвечает гвардеец. — Лежит у них наверху, кроме конфискованных бумаг, которые увезли мои приятели. А кое-что так и осталось в берлинке... Завтра мы им, скорее всего, займемся вплотную.

Они разговаривают еще некоторое время, ровно столько, чтобы трактирщик от души посетовал на сложные времена, на то, что люди проезжают через городок самые разные, на вероломство англичан и пользу таких людей, как, например, их приятель Жарнак, его гвардейцы и сержант, охраняющие закон и порядок. Несколько минут спустя, считая, что атмосфера полностью разрядилась, Рапосо встает, расплачивается за вино и предупреждает, что пойдет взглянуть на лошадь, оставленную в конюшне без корма. Обменявшись с ним многозначительным взглядом, Дюран вызывается его сопровождать. Застегнув шинель, Рапосо зажигает фонарь и в сопровождении трактирщика выходит прочь в ледяную сырость ночи, все еще темной и глухой, направляясь к конюшне и навесу. Последний представляет собой деревянную постройку, крытую черепицей, предохраняющую экипажи от капризов погоды. Сейчас под навесом виднеется только берлинка академиков, черная и неподвижная, снятые с осей оглобли приставлены к деревянному чурбаку.

— Чего ты здесь забыл?

— Молчи и наблюдай. А позже скажешь, что ничего не видел.

На багажнике, все еще укрытом парусиной, покоится багаж академиков. Взобравшись по приставной лестнице, Рапосо приподнимает парусину и фонарем освещает тюки.

— Эй, это нельзя трогать, — говорит ему трактирщик.

— Захлопни пасть, черт бы тебя подрал.

Свертков с «Энциклопедией» он насчитал семь — увесистых, надежно упакованных в вощеную ткань и обернутых прочной веревкой. Рапосо ощупывает их и что-то прикидывает в уме с едва заметной удовлетворенной улыбкой. На самом же деле он размышляет про вес и габариты. Как их увезти отсюда? Тут понадобится как минимум еще одна верховая лошадь. Два свертка на круп его коня, да еще пять на другое животное. Так или иначе, он уже запланировал, как действовать, хорошо знает местность, к тому же слишком далеко везти книги все равно не придется.

— Разыщи-ка мне мула, Дюран.

Светает. Сероватый свет, проникающий сквозь застекленное грязное окошко под потолком, освещает измученное лицо адмирала. Он ненадолго задремал, съежившись от холода, на тюфяке из кукурузной соломы, брошенном на каменную скамью, укрытый пальто и худым грязным одеялом. Совсем окоченев, силясь осознать, что происходящее с ним — реальность, а не ночной кошмар, дон Педро проводит рукой по небритым щекам, моргает и смотрит на дона Эрмохенеса, лежащего на другом матрасе под пальто и одеялом, таким же засаленным, как и то, которым укрыт адмирал, бледного, с воспаленными от бессонницы глазами.

— Давно не спите? — спрашивает дон Педро.

— Я и не засыпал.

С болезненным усилием адмирал откидывает одеяло и кое-как садится, сжав голову руками.

— Сколько продлится этот кошмар? — спрашивает дон Эрмохенес.

— Не знаю.

Сверху в дверь камеры врезана решетка, сквозь которую можно увидеть темный коридор и закрытую дверь. Дон Педро встает, разминает, как может, свои затекшие члены, приводит в порядок мятую одежду, осматривается и подходит к решетке. Он берется руками за железные прутья и зовет, но никто не откликается. В отчаянии оборачивается и встречает страдающий взгляд дона Эрмохенеса, который смотрит на друга так, будто в его руках или, по крайней мере, в его ведении лежит решение их зашедшей в тупик судьбы.

— Что случилось? — спрашивает библиотекарь.

— Очевидно, нас с кем-то перепутали.

— Чушь какая! Но с кем же?

— Этого я не знаю.

Камера представляет собой длинный, узкий пенал, влажные стены покрыты царапинами и непристойными надписями. В одном углу стоит жестяная посудина, чтобы заключенные справляли нужду. Оба пленника украдкой используют этот сосуд для малых отправлений, стыдливо избегая взглядов друг друга.

— Это неслыханно, — возмущается дон Эрмохенес.

Адмирал напрягает память, силясь восстановить картину событий. Вспомнить все обстоятельства, которые привели его сюда. Он путается в фактах и бесчисленных вопросах, силясь объяснить себе поведение гвардейцев, хамство сержанта, недоверчивость мэра Руйе.

— Да еще эти намеки насчет Англии, — бормочет он. — Все это очень и очень подозрительно.

— Но что все это означает?

— Франция находится в состоянии войны, как и Испания. Возможно, нас приняли за иностранных шпионов.

У дона Эрмохенеса открывается рот.

— Нас с вами? Что за безумие! И что нам теперь делать?

Адмирал садится на матрас, кутаясь в пальто, накинутое на плечи, и напряженно размышляет.

— Несчастья будто бы преследуют нас, — произносит он. — Сначала ограбление в Париже, теперь это.

— Господи, — вздрагивает библиотекарь, — не хотите ли вы сказать, что тут какая-то связь?

Дон Педро задумывается.

— Честно говоря, нет, я так не считаю, — заключает он. — Но такое количество злоключений, такое невезение просто удивляют.

— А что, если...

Скрежет дверной задвижки прерывает слова библиотекаря. Фонарь освещает коридор, появляются какие-то люди. Дон Педро узнает мэра Руйе, сержанта Бернарда и одного из гвардейцев, которого видел ночью. Они появляются в сопровождении высокого субъекта среднего возраста и своеобразной наружности. Его волосы, лишенные следов пудры, собраны в косицу, а костюм предназначен для упражнений на свежем воздухе или охоты.

— Вот они, эти птички, — с ходу хамит Руйе.

Незнакомец подходит к решетке и с любопытством и подозрительностью всматривается в лица академиков.

— Я — шевалье д’Эсмангар, исполняю должность префекта в этих местах, — сухо говорит он. — Как раз собирался на охоту, когда мне сообщили... Так кто вы такие?

— Бригадир Сарате и дон Эрмохенес Молина, — отвечает адмирал, — члены Испанской королевской академии.

Незнакомец смотрит на них в замешательстве. Дон Педро замечает, что глаза у него серые, спокойные и, кажется, умные.

— Это та, что занимается кодификацией испанского языка и находится в Мадриде? И, если не ошибаюсь, выпускает «Толковый словарь»?

— Она самая.

— А что вы делаете в Тартасе?

— Движемся в Байонну с грузом книг, купленных в Париже.

Шевалье д’Эсмангар размышляет о том, что только что услышал. Затем устремляет взгляд на мэра и вновь переводит его на академиков.

— Можете ли вы удостоверить свою личность?

— Разумеется, — невозмутимо отвечает адмирал. — Все наши документы, заверенные печатями французских властей, были конфискованы вместе с прочими бумагами... Вчера они лежали на столе. Там, снаружи.

Д’Эсмангар делает движение рукой, и к нему подходит сержант. Шевалье задумчиво смотрит на Руйе.

— Кто на них донес?

— Какой-то проезжий. В трактире Дюрана.

— А где он сейчас, этот проезжий?

— Я не знаю. — Мэр секунду сомневается. — Должно быть, отправился дальше своей дорогой... Однако оставил записку.

Он достает из кармана листок бумаги и протягивает его шевалье. Тот читает, хмурится и подает ее дону Педро, просунув сквозь прутья решетки. Письмо написано по-французски:

*Моя обязанность как добраго поданого сообщить что на постоялом дваре остановились двс англиских шпиона которые едут ис Парижа к граници. До здраствует Франция и до здраствует король*.

— Именно это мы и подозревали, дон Эрмес, — негодует адмирал, возвращая записку шевалье. — На нас донесли как на шпионов.

— Но как? Кто написал эту гадость?

— Не знаю. Подпись отсутствует. Это анонимка.

— Господи... Значит, с нами так обращаются из-за какой-то анонимки?

Сержант возвращается, неся в руках какие-то официальные бумаги, среди которых адмирал узнает паспорт и разрешение на командировку. При свете фонаря, который держит в руке мэр, д’Эсмангар обстоятельно изучает все, что написано в документах, затем переводит взгляд на пленников и вновь погружается в чтение. Наконец складывает бумаги, приказывает открыть темницу, и вскоре все переходят в кабинет, где дона Педро и дона Эрмохенеса допрашивали ночью. Им пододвигают те же самые стулья, шевалье занимает место у стола, а Руйе, сержант и гвардеец остаются стоять.

— Вы что-нибудь ели?

Тон префекта явно смягчился, и голос звучит вежливее.

— Ничего со вчерашнего дня, — отвечает дон Эрмохенес.

— Сейчас мы это уладим. — Д’Эсмангар отдает приказ гвардейцу, и тот приносит академикам две миски бульона, хлеб, кувшин с водой и полотенца, затем префект обращается к мэру: — Кто доставил вам это письмо?

— Дюран, я вам уже говорил... Как он сообщил, некий человек, бывший у нас проездом, узнал этих типов и счел своим долгом заявить на них.

Шевалье хмурится.

— А почему он отправился с этим письмом к Дюрану, а не сразу сюда?

— Не знаю, мсье.

— Приведите-ка сюда этого Дюрана.

— Мсье, этому человеку можно доверять. Это крестный моей дочери. Поэтому...

— Сюда его, немедленно!

Гвардеец подает завтрак, воду в кувшине и полотенце, которые д’Эсмангар любезно предлагает академикам. Те моют руки, крошат хлеб в миски и завтракают без лишних церемоний прямо за столом в кабинете, одновременно беседуя с шевалье. Этот провинциальный дворянин, производящий впечатление человека образованного и воспитанного, искренне удивляется, узнав, что задержанные везут в Мадрид первое издание «Энциклопедии», имея на то письменное разрешение короля и инквизиции. Рассказывая о своем пребывании в Париже, дон Педро и дон Эрмохенес то и дело упоминают эпизоды с участием какого-нибудь общего знакомого — например, энциклопедиста Бертанваля, которого д’Эсмангар знает лично и с которым его дядя, интендант Лилля, состоит в переписке. В разгар беседы появляется трактирщик Дюран. Явно застигнутый врасплох, он обеспокоенно отвечает на вопросы, которые шевалье задает ему ледяным тоном, встревожившим трактирщика еще больше. В конце концов трактирщик начинает путаться в своих показаниях и настаивает только на том, что едва рассмотрел лицо автора анонимки. Д’Эсмангар отпускает трактирщика с явным неудовольствием, печально смотрит на академиков и обращается к Руйе:

— Итак, мсье мэр: вы получили анонимную записку, которую вам, в свою очередь, доставил трактирщик, и решили засадить в темницу этих двоих почтенных людей, даже не потрудившись проверить их личность... Я доступно излагаю?

Краска бросилась в лицо Руйе.

— Такое дело, мсье шевалье, — бормочет он, — я думал, надо действовать срочно...

— Это я уже понял. — Д’Эсмангар барабанит пальцами по столу, задумчиво глядя на сержанта Барнарда. — С вами плохо обращались?

— В некотором роде, — отвечает дон Эрмохенес. — И словом, и делом.

— Так ведь это мэр распорядился, — оправдывается Бернард. — Я лишь выполнял приказы.

— У меня такое впечатление... — встревает Руйе.

Д’Эсмангар с досадой перебивает его:

— Все ясно как день, мсье мэр. Документы исправны, завизированы и скреплены печатями, все по правилам... И эти господа, несмотря на крайнее утомление, которое отпечаталось на их лицах после ночи, проведенной за решеткой, имеют наружность людей достойных и уважаемых. Полагаю, накануне вечером кто-то сыграл с ними злую шутку.

— Дело в том, что Дюран...

— Да, разумеется, он крестный вашей дочери, — д’Эсмангар испепеляет его взглядом свои серых глаз. — Вы нам уже это сообщили.

Он повернулся к академикам, которые заканчивают завтрак. Дон Эрмохенес с наслаждением жует последнюю корочку хлеба, а адмирал отодвигает от себя пустую миску из-под бульона.

— Есть ли у вас какие-либо объяснения тому, что произошло?

— Не знаю, что и сказать вам, мсье, — взволнованно отвечает дон Педро, вытирая губы мятым платком. — Дело в том, что это не первое странное происшествие, которое с нами произошло. Но я вообразить не могу, кому все это понадобилось...

Внезапно он умолкает, потому что в голову ему приходит некая мысль, и напрягает память: одинокий всадник, с которым они несколько раз пересекались по дороге из Парижа, — он замечал его в двух или трех трактирах, а также на постоялых дворах. Адмирал живо восстанавливает в памяти образ этого молчаливого человека с бакенбардами, в андалузской шляпе, одетого на испанский манер. И возможно, хотя он не взялся бы утверждать наверняка, они видели его как-то раз по пути в Париж.

— Где наш багаж? — спрашивает адмирал, ощутив внезапную тревогу. — Упакованные книги, которые остались в берлинке?

— Под навесом, где стоят все экипажи, — отзывается сержант Бернард под жестким взглядом шевалье. — На постоялом дворе.

— Кто-нибудь за ним присматривает?

— Мы там оставили гвардейца, не так ли? — отзывается Руйе.

— Верно, Жарнака, — подтверждает сержант.

Ко всеобщему — и даже дона Эрмохенеса — удивлению, адмирал поспешно вскакивает, чуть не опрокинув стул. Его бледное лицо искажает гримаса.

— Умоляю вас, мсье, идемте туда немедленно, — обращается он к д’Эсмангару. — У меня скверное предчувствие.

Жарнак приходит в себя не сразу. Его обнаружили в каретном сарае, после того как поспешно вышли из участка, пересекли мост и оказались на постоялом дворе. Очнувшись, гвардеец рассказывает, что он вышел проверить, все ли в порядке, и столкнулся с каким-то человеком, который суетился возле берлинки: этот тип и раньше ошивался на постоялом дворе в компании трактирщика Дюрана. Заприметив его, гвардеец спросил, что он забыл в каретном сарае, вместо ответа тот с улыбкой приблизился, будто бы собираясь что-то объяснить, но вместо этого ударил его хорошенько по черепу, отчего тот свалился, как мешок с мукой.

С этой минуты Жарнак уже ничего не помнит, кроме забулдыги, который его обработал: дорожное платье, густые бакенбарды, лицо грубое и хмурое. Но он представления не имеет, что делал незнакомец в сарае и каковы его намерения. Лучше спросить об этом Дюрана, потому что он сопровождал забулдыгу, когда тот появился на постоялом дворе. Если только...

— «Энциклопедия»!.. — в отчаянии голосит дон Эрмохенес.

Все смотрят в направлении, куда указывает библиотекарь. Парусина сорвана с багажника берлинки, она валяется на земле под колесами, и свертков нигде не видно.

— Значит, это и было их целью? — восклицает шевалье д’Эсмангар, не веря своим глазам. — Они хотели украсть у вас книги?

— Похоже на то, — отвечает адмирал, темнея лицом.

— Но что в них такого особенного?

— Не знаю... Даю вам слово, что мне это неизвестно.

Все смущенно переглядываются. Академики в отчаянии.

— Что вы собираетесь делать?

— Этого я тоже не знаю. — Дон Педро обозревает серый пейзаж, неприветливо раскинувшийся под низкими темными тучами. — Но первым делом мы должны отправиться на поиски.

Мэр выглядит растерянно. Он вообразить себе не мог, что вся эта история — донос и прочее — окажется фальшивкой. Его и трактирщика Дюрана связывает нечто большее, чем слова. Крестный дочки — это не шутка. А на поверку выходит вон что...

— Чувствую себя полным идиотом, — признается он.

Что ж, для этого есть основания, безжалостно заключает д’Эсмангар; но верно и то, что удар уже нанесен. Единственный выход — выяснить, существует ли способ настигнуть загадочного вора.

— Известно ли, в какую сторону он бежал?

После допроса посыльного, который вместе с хозяином постоялого двора явился осмотреть место происшествия, стало известно, что мальчишка, хоть и не знал, что случилось с гвардейцем Жарнаком, однако некоторое время назад видел удаляющегося всадника, тянущего за собой в поводу второго коня. Он следовал по берегу реки в сторону Волчьего ущелья. А проверив конюшню, посыльный обнаружил, что пропал мул.

— Ущелье находится в половине лиги отсюда, — говорит сержант Бернард, почесав затылок. — Если мы двинемся в этом направлении, мы их, может, и догоним.

Жарнак, чье чувство собственного достоинства уязвлено, предлагает себя добровольцем в предстоящей охоте на обидчика. В путь отправятся сержант и Жарнак, решает д’Эсмангар, посоветовавшись с мэром. И пока гвардеец ищет свое ружье, шевалье приказывает хозяину постоялого двора седлать лучших лошадей, какие найдутся в конюшне. У них есть четыре неплохих коня, подтверждает тот: два — для гвардейцев, остальные — для тех, кто пожелает их сопровождать.

— Я должен ехать, — говорит адмирал. — Я не могу это так оставить.

— Человек, избивший Жарнака, может быть опасен, — замечает мэр.

— Не важно. Это наши книги, и я должен выяснить, почему он их украл.

— Как вам угодно, — кивает д’Эсмангар. — У вас есть полное право участвовать в погоне... Вы хорошо ездите верхом?

— Да.

— Великолепно. А кто будет четвертым?

Все смотрят на дона Эрмохенеса, робко тянущего вверх руку.

— Об этом не может быть и речи, — горячо возражает адмирал.

— Не понимаю, с какой стати я не должен ехать, — возмущается библиотекарь. — Я так же в ответе за эти книги, как и вы. Это наше с вами общее дело!

— Риск очень велик, дорогой дон Эрмес.

— Именно потому я и еду! В Париже тоже было опасно, и мне досталось будь здоров. Как я потом расскажу в Академии, что бросил вас драться с бандитами один на один, а сам остался?

— А верхом вы ездите? — интересуется д’Эсмангар.

Библиотекарь важно кивает, на его лице появляется мрачное и героическое выражение.

— Кое-как держусь в седле, а это уже немало!

Адмирал по-прежнему категорически против, друзья спорят, а хозяин и посыльный уже ведут в поводу четырех оседланных лошадей. Жарнак возвращается, держа в руках ружье, а сержант, нахмурившись, сосредоточенно проверяет огниво у пистолета, висящего у него на поясе.

— Решайте быстрее, — говорит он, вскочив на одного из коней. — Не то мерзавец от нас уйдет!

На лице его явственно читается, что он не их тех людей, кто позволяет вот так запросто водить себя за нос или избивать младших по званию и что происшествие на постоялом дворе — вызов, брошенный ему лично. Жарнак садится на второго коня и вешает ружье через плечо; однако адмирал, стоя напротив упорствующего дона Эрмохенеса, все еще не может решиться.

— Вы напрасно упорствуете, — невозмутимо вступается за него д’Эсмангар. — Если ваш друг решил, пусть едет. Он имеет полное право.

— Да, имею, — тут же подхватывает упрямец.

Дон Педро внимательно рассматривает полное решимости лицо перед ним: небритый, темные круги и мешки под глазами после бессонной ночи, которую пришлось пережить им обоим. Дон Эрмохенес решительно сжимает зубы и мужественно выдерживает осмотр, которому неожиданно подверглась его усталая физиономия. Он выглядит постаревшим лет на десять, однако адмирал ни разу не замечал в его лице такой решимости. И такой уверенности в себе.

— Это ваше окончательное решение, дон Эрмес?

— Еще бы, конечно! Я постараюсь никому не мешать.

Не говоря больше ни слова, дон Педро согласно кивает, ставит ногу в стремя и поудобнее устраивается в седле. Дон Эрмохенес с помощью д’Эсмангара и мэра также вскарабкивается на коня и, оказавшись в седле, молодцевато закидывает за плечо край плаща.

— Погодите, но ведь у вас нет оружия, — спохватывается шевалье.

— У меня есть трость с клинком, — отзывается адмирал. — А приятелю моему никакое оружие не понадобится, уверяю вас.

— Очень надеюсь, — со вздохом соглашается дон Эрмохенес.

Д’Эсмангар подает дону Педро карманный пистолет типа качорильо, который вытаскивает из-под пальто.

— Прошу вас, возьмите, мсье... Он заряжен... Никогда не знаешь, как дело повернется.

— Вы очень любезны, — улыбается адмирал, поднося руку к треуголке. — Надеюсь, скоро вы получите его назад. И он так и не сделает выстрела.

— Мы останемся на постоялом дворе, будем ждать новостей... Будьте очень осторожны. — Д’Эсмангар обращается к сержанту: — А тебя, Бернард, я назначаю ответственным... Эти господа должны вернуться живыми и невредимыми.

— Не беспокойтесь, шевалье, — успокаивает его сержант. — Я прослежу.

И вот один за другим, под серым небом, все еще сочащимся промозглой сыростью, четверо всадников съезжают с королевской дороги и вдоль реки, среди деревьев, следуя по отчетливым отпечаткам, оставленным в раскисшей глине копытами, устремляются к Волчьему ущелью.

Река Мидуз, пенная и грязная, бежит справа от Паскуаля Рапосо: с яростным ропотом стремительная свинцово-серая вода временами выходит из берегов, подтопляя прибрежные деревья. Ближе к реке песчаное дно ущелья покрыто илом, и животные ступают с трудом, но дальше тропинка снова вьется среди тополей, покрытых светлыми зелеными листочками, а к верхним веткам все еще липнут последние клочья тумана. Иногда над травой неожиданно проносится сорока, задевая крыльями листья папоротника.

Чуть далее лес сгущается, а берег становится выше, заканчиваясь крутым обрывом. Рапосо не спеша осматривает окрестности, затем съезжает с тропинки и направляет животных в сторону обрыва. Спускается на землю, привязывает повод коня к ветке, затем проделывает то же самое с мулом. Он снимает мешки с книгами с крупа коня, затем еще пять мешков со спины мула и сваливает поклажу прямо в сырую траву. Мешки очень тяжелые. Рапосо и представить себе не мог, что книги столько весят. Он достает нож, перерезает веревку, перехватывающую один их свертков, вспарывает ткань и вощеную бумагу, в которые обернуты книги. С виду они хороши, признает Рапосо: большие, в кожаном переплете, с красивыми позолоченными буквами на корешках. «Энциклопедия» — сообщает название. Рапосо открывает первый попавшийся том и читает наугад: *Aussi fallut-il au genre humain, pour sortir de la barbarie...*[[100]](#footnote-100)

*Чтобы вырваться из варварства и отсталости, человеческому роду необходима революция, которая изменит облик всей земли: Византия рухнула, оплодотворив Европу теми немногими знаниями, которыми она все еще могла поделиться с миром; изобретение печати, покровительство Медичи и Франциска Первого оживили погасшие души, и свет просвещения забрезжил повсюду* ...

Захлопнув книгу, на чьи страницы с веток уже упали капли росы, Рапосо встает, идет к переметной суме, притороченной к спине его лошади, и достает курительные принадлежности. Мгновение спустя он уже стоит на краю обрыва, глядя на бурлящую внизу воду и преспокойно покуривая сигару. Подходящее место, прикидывает он. Вначале, накануне ночью, он думал, что проще всего было бы поджечь сарай, где стояла берлинка, тогда от книг осталась бы одна зола. Но разводить такую возню — все равно что стрелять из пушки по воробьям. В итоге все это привлекло бы к его персоне слишком много внимания. Бросить книги в реку — гораздо безобиднее, безопаснее и проще. Надо только решить, что лучше — бросать по одной или швырнуть свертки целиком, не распечатывая, чтобы они побыстрее утонули. Надо только вспороть упаковку каждого свертка, чтобы содержимое как следует пропиталось водой. Река под обрывом кажется достаточно глубокой; а вода в итоге все уничтожит.

Придя к этому решению, Рапосо с сигарой в зубах принимается вспарывать ножом ткань, в которую обернуты остальные книги, и тащит первый распакованный сверток по траве к краю обрыва. *Человеческому роду необходима революция, которая изменит облик всей земли,* вспоминает он, бросая последний взгляд на книгу, лежащую сверху. Жаль, неожиданно думает он, что нет времени еще почитать. Рапосо никоим образом не назовешь книжным человеком, если он что и читает, то разве что газеты в трактире, и уж точно не те книги, где говорится об опасных переменах в том мире, где он, Рапосо, обделывает свои делишки. Но эти строчки заставили его задуматься. Все верно, размышляет он, и лицо его искажает волчья гримаса. Лично он ничего во всем этом не смыслит, но, возможно, как смело утверждает книжка, время от времени человеческий род в самом деле должен отправиться ко всем чертям. Вот и пусть себе катится, а кто-нибудь даст ему хорошего пинка, чтобы дорога была короче. Это видение впервые наводит его на мысль о связи, существующей между содержанием этих книг, и людьми, у которых он их украл. Минуту назад, пока он еще не прочитал эти строки, «Энциклопедия» была для него всего лишь бессмысленным словом, а адмирал и библиотекарь — двумя престарелыми доходягами, которым Рапосо строит всевозможные козни, получая за это деньги. А тут вдруг, под впечатлением от прочитанного, от этих диковинных книг, которые он вот-вот бросит в воду, его жертвы неожиданно приобретают человеческие черты. Они превращаются в людей с мыслями и целями и, возможно, со своими идеалами. Людей особенных, самобытных, ставших помехой для других людей, которым не по вкусу потрясения, необходимые для того, чтобы преобразовать мир. Кто бы мог подумать про такое, глядя на этих двух замухрышек!

Ржание коня раздается как раз в тот миг, когда Рапосо собирается швырнуть в воду первый сверток. Он замирает, поднимает голову и недоверчиво смотрит на тропинку, петляющую у подножия холма, среди деревьев. Некоторое время Рапосо стоит неподвижно, склонившись над свертком и тревожно прислушиваясь. До него не доносится никаких звуков, за исключением шума реки да хлопанья крыльев какой-то птицы. Тем не менее опыт и интуиция не позволяют Рапосо расслабиться, и он все равно прислушивается, пока не различает в тишине посторонние звуки: эхо голосов и топот коней, пересекающих заболоченный участок поймы. Бормоча проклятия, он резко выпрямляется, последний раз затягивается сигарой и бросает ее в реку. Потом снимает шляпу и шинель, подходит к коню, роется в кофре, притороченном к задней луке седла, и достает двуствольный пистолет. Разворачивает одеяло, вытаскивает из него саблю, бросает одеяло на землю и отступает, стараясь не шуметь, к укрытию, образованному деревьями и высокими побегами папоротника, откуда удобно следить за тропой, проходящей шагах в тридцати вдоль подножия кручи. Оказавшись в укрытии, он озирает окрестности, убеждаясь в том, что выбрал подходящее место, вонзает саблю в землю, встает на колени позади поваленного дерева. Затем проверяет порох, убеждаясь, что он сухой, взводит курок, зажав оружие ногами, чтобы звук получился как можно тише... Совершая все эти действия, он дышит глубоко, стараясь взять себя в руки и успокоить пульс. Где-то в паху Рапосо чувствует знакомое с давних пор щекотание, обычно предшествующее битве. «А я успел по нему соскучиться», — признается он себе. Черт с ними, с революциями, меняющими облик земли, насмешливо думает он, щуря глаза, чтобы лучше видеть тропинку, однако человеческому роду очень не хватает, чтобы кто-нибудь всадил ему пулю в яйца.

— Смотрите, дальше следы исчезают, — говорит сержант Бернард.

Он произносит эти слова шепотом, подозрительно указывая на склон, покрытый деревьями и густыми зарослями. Затем дергает поводья и поворачивает коня, выразительно глядя на Жарнака. Следующие за ними дон Педро и дон Эрмохенес останавливают своих лошадей и замирают в ожидании — напряженные, чуткие — стремя к стремени.

— Поднимайтесь по склону, — добавляет сержант, спрыгивая на землю и не отрывая глаз от зарослей.

Жарнак спешивается, сжимая в руках ружье. Сержант подает знак академикам, чтобы те тоже слезали с коней. Пока библиотекарь и адмирал выполняют его команду, он дает указания гвардейцу, указывая на берег реки. Тот согласно кивает, делает несколько шагов в сторону и замирает возле дерева, приставив к плечу винтовку. Дон Эрмохенес замечает, что лацканы и алая подкладка его камзола ярким пятном выделяются среди зеленой листвы и туманной дымки, застилающей рощу.

— Не отходите отсюда ни на шаг, — шепчет Бернард, доставая из-за пояса пистолет. — Посмотрим наверху, там ли они.

— Я могу быть вам полезен, — говорит адмирал, решительно сжимая в руке трость-клинок и сквозь расстегнутый плащ нащупывая пальцами сверток с пистолетом, который шевалье д’Эсмангар сунул ему в карман.

— Сейчас самое полезное — не мешать, — грубовато отзывается сержант.

Он взмахивает рукой, делая молчаливый знак Жарнаку, чтобы тот поднялся по склону; гвардеец подчиняется приказу и, держа наготове винтовку, по пояс в папоротнике продвигается вперед до следующего дерева. Бросив беглый взгляд, Бернард убеждается в том, что академики не отходят от коней, взводит курок пистолета и начинает подъем по склону. Приоткрыв от переизбытка чувств рот, едва сдерживая дыхание, мертвой хваткой вцепившись в плечо адмирала, дон Эрмохенес наблюдает за тем, как сержант продвигается по лесистому склону, настороженно обозревая заросли, стараясь ступать как можно тише и посматривая на Жарнака, который продвигается в том же направлении в нескольких шагах справа. Библиотекарь едва различает прогремевший выстрел, точнее, мгновением позже слышит эхо выстрела в сыром воздухе рощи, уже после того, как сержант замирает неподвижно и прямо, словно что-то внезапно привлекло его внимание, и вдруг валится навзничь в заросли папоротника, а из его пробитого горла фонтаном бьет кровь.

Все остальное происходит настолько стремительно, что дон Эрмохенес с трудом успевает следить за событиями. На своей позиции Жарнак вскидывает ружье, и грохочет выстрел — на этот раз он гремит близко и громко, словно взрывается мокрый воздух, — пока адмирал, выскальзывая из-под напряженной руки дона Эрмохенеса, склоняется над распростертым телом и с помощью платка пытается унять кровотечение. Неподвижный, вне себя от ужаса, библиотекарь видит, как, несмотря на усилия его друга, алая жидкость неостановимыми потоками брызжет из горла сержанта, чьи глаза вылезают из орбит, а тело сотрясают сильнейшие судороги, и постепенно он задыхается, издавая влажный предсмертный хрип.

— Еще один платок, быстро! — кричит адмирал; стоя на коленях возле Бернарда, он пытается сдержать кровотечение, зажимая рану руками, перепачканными в крови. — Ради бога, платок!

Дон Эрмохенес суетливо и неуклюже приходит ему на помощь, как вдруг внимание его привлекает силуэт, быстро перемещающийся среди деревьев чуть ниже по склону: какой-то человек, выйдя из зарослей, приближается к Жарнаку, пока тот пытается перезарядить ружье. Будучи в трех или четырех шагах, не давая времени опомниться, человек стреляет, выстрел отбрасывает гвардейца назад, так что тот ударяется о ствол дерева и кубарем катится сквозь заросли вниз по склону, пропадая из виду.

По коже библиотекаря пробегает мороз. Кровь стынет у него в жилах, когда адмирал, услышав выстрел, отскакивает от Бернарда, быстро хватает выроненный им пистолет и выпрямляется, сжимая его в руках, и почти одновременно целится и стреляет в удаляющийся силуэт нападавшего, тот укрывается за стволом одного из деревьев, услышав грохот выстрела, — этот грохот оглушает дона Эрмохенеса, который зажимает руками уши, — а потом, все еще в пороховом дыму, плывущем в воздухе, проворно пускается бегом вниз по склону.

— Он уходит! — кричит библиотекарь, выходя из ступора. — Пресвятая Дева, он уходит!

Никогда — ни во время нападения бандитов на реке Риаса, ни на дуэли с Коэтлегоном — дон Эрмохенес не видел дона Педро Сарате таким решительным, как в этот момент. Секунду после того, как прозвучал выстрел, он стоит неподвижно, но глаза его — напряженные, внимательные, ледяные, словно сырость леса застыла в зрачках, — следят за беглецом, устремившимся вверх по склону. Остолбеневший библиотекарь видит перед собой совершенно иного человека, ставшего внезапно незнакомым, чужим. Годы словно бы разом покинули его: он хватает лежащую на земле трость, обнажает клинок и с неожиданной ловкостью распрямляется, затем выхватывает из-под пальто пистолет, взводит курок. С пистолетом в одной руке и клинком в другой взбегает по склону с таким решительным видом, словно весь мир вокруг перестал существовать. Тихий, приземленный библиотекарь пытается крикнуть, чтобы тот остановился, чтобы не двигался дальше, что человек, застреливший гвардейцев, может убить и их. Но когда он открывает рот, чтобы все это произнести, изо рта вылетает лишь неразличимое бормотание, и в конце концов он в тоске умолкает, уверенный в том, что слова сейчас ничего не значат, и глядя, как дон Педро движется по склону и исчезает среди деревьев. Внезапно устыдившись, что отпустил адмирала одного, дон Эрмохенес озирается и замечает в траве пистолет сержанта Бернарда, из которого адмирал только что промахнулся, стреляя в убийцу. Таким образом, не имея иного выхода, словно это никчемное оружие придало ему уверенность в себе или как-то ободрило, дон Эрмохенес ползет на четвереньках и подбирает валяющийся в траве пистолет. Он берет его в дрожащую от волнения руку и тоже взбирается на склон, держась за спиной у своего друга.

Оказавшись на верху склона, Рапосо выдергивает воткнутую в землю саблю и решительно сжимает ее в руке. Битва — его родная стихия: в рукопашной схватке он чувствует себя как рыба в воде и знает, что у него не будет времени перезарядить двуствольный пистолет, из которого он выпустит пулю. Поэтому лучше избегать лишних движений и воздержаться от волнения. Внизу остались еще двое, он насчитал четверых всадников, когда заметил их приближение, а теперь по звуку шагов он понимает, что они его ищут. Внезапно его осеняет, что один из них, тот, кто выстрелил из пистолета — пуля пролетела в дюйме от его уха, — не кто иной, как долговязый академик. Или, как его называют, адмирал. Мысль о том, что остались только эти двое, успокаивает его. Это не те враги, которых имеет смысл бояться, несмотря на меткость долговязого, которую Рапосо наблюдал издали на дороге, ведущей в Париж, во время стычки на реке Риаса. Разумеется, их нельзя считать серьезной угрозой для Рапосо, учитывая место и обстоятельства. Таким образом, поджидая неприятеля с саблей в руке за стволом дерева, сгорбленный и практически невидимый среди высоких побегов папоротника, Рапосо поздравляет себя: он, как положено, нанес удар первым и уже в первом туре уложил двоих вояк в синих камзолах, как раз тех самых, которых стоило опасаться. Потому-то он и выбрал их в первую очередь, целясь в алую подкладку их формы, которая наивной мишенью выделялась среди бурых и зеленых зарослей. С другой стороны, расстрел двоих гвардейцев из *мaréchausséе* не доставил ему никакой радости. По правде сказать, он бы лично предпочел этого не делать, но выхода не было: либо они, либо он. Когда об этом узнают приятели покойных, они могут устроить погоню по всем правилам; а потому сейчас надо немедленно прикончить двоих стариков, выбросить книги в реку и дать деру в сторону границы. И развязаться уже, наконец, с этим делом.

Где-то совсем близко раздаются шаги: ветки и кусты чуть слышно потрескивают. Кто-то поднимается по склону, он уже совсем рядом. Если у преследователей, особенно у адмирала, заряженные пистолеты, быстро соображает Рапосо, на таком расстоянии ситуация может принять серьезный оборот. Когда стреляют в упор, никогда не знаешь, как повернется дело. Так что лучше переждать, отсидевшись в укрытии, пока они не приблизятся настолько, чтобы можно было достать их саблей, его старым кавалерийским орудием с бронзовой гардой и кривым лезвием, широким и острым: одного хорошего удара хватает, чтобы всякого романтика отправить на тот свет.

Шум раздается ближе. Быстрые шаги, прерывистое от поспешной ходьбы дыхание, слышное даже Рапосо. Первый преследователь уже здесь, и Рапосо чувствует некоторое облегчение. Интуиция подсказывает: без сомнения, это и есть тот самый пожилой господин — худой, долговязый академик. Рапосо приседает, так что влажные листья папоротника щекочут ему лицо, делает пару глубоких вдохов и задерживает дыхание, сосредоточенно прислушиваясь к звукам, чтобы с точностью угадать место, где может находиться противник. Как бы стар ни был долговязый, если он вооружен, неудачная атака издалека может закончиться для Рапосо выстрелом в грудь. Когда речь заходит о пистолете — а этот тип, безусловно, владеет им будь здоров, — выиграть можно только благодаря близости и умению застать противника врасплох. Коротко говоря, сейчас самое время.

Рапосо встает на изготовку, подняв саблю, — приближающийся человек едва различим: темный силуэт среди кустов, утомленный подъемом и задыхающийся, — и наносит удар. Но нижние ветки дерева отклоняют оружие чуть в сторону и сабля ударяет противника плашмя в плечо. Чертыхаясь сквозь зубы, Рапосо успевает заметить удивление на лице академика — так и есть, это тот тип, высокий и худой, мгновенно соображает он, — встревоженного тем, что удар обрушился ему на плечо так внезапно, решимость в светлых упрямых глазах и почти одновременно с ней — грохот и вспышка пистолета, который он сжимает в руке, а также и сокрушительный удар в правый бок Рапосо, вырвавший из его уст болезненный стон и отбросивший назад с такой силой, что пришлось ухватиться за древесный ствол.

— Сволочь, — бормочет Рапосо, нанося удары саблей уже вслепую.

Удар — или попытка отклонить его — отбрасывает противника вниз, в заросли кустов. И пока Рапосо отступает на пару шагов, вновь занося саблю и ощупывая свободной рукой рану в боку, он видит, как поверженный адмирал в мокрой и перепачканной глиной одежде спокойно поднимается с земли. Колючие ветки поцарапали ему лицо, седые волосы растрепаны, хвост на затылке едва держится. Черт бы тебя подрал, машинально думает Рапосо, пока тот надвигается на него с хладнокровием, неожиданным для человека его возраста, обнаженная сталь трости-клинка поблескивает в его руке. Проклятый упрямец, что он смотрит на Рапосо своими ледяными, как иней, глазами? Вот уж сукин сын, каких мало.

— Не подходите, — приказывает Рапосо.

Он уже ощупал рану на боку, придя к утешительному выводу, что это всего лишь царапина, даже ребра не задеты, и крови не так уж много. Два дюйма ниже, и пуля размозжила бы ему бедро. Эта мысль пробуждает в нем вспышку необузданного гнева, желание сокрушить противника, а лучше — убить.

— Если сделаете еще один шаг, я приколю вас к этому дереву.

В этот миг он всей душой желает, чтобы долговязый старик сделал этот шаг. Дать волю гневу, всласть изрубить противника саблей, выместив ярость и обиду, отомстить за рану в боку и всю эту нелепую ситуацию. Смерть вам, старики! Как нелепо все поворачивается, соображает Рапосо. Никто из них, включая его самого, не должен был попасть в эту переделку.

— Вон отсюда, — говорит он, вне себя от злобы.

Но адмирал стоит неподвижно, пристально глядя ему в глаза, непреклонный и непроницаемый. Он будто бы не слышит того, что ему говорит Рапосо. Со стороны может показаться, что он впал в транс или перенесся куда-то совершенно в иное место: в неведомое время, в неведомый мир. Рапосо поднимает саблю и показывает ее адмиралу. «Видишь, что у меня есть, — сообщает весь его вид. — Этот тесак, которым мясо можно рубить, против твоей жалкой трости. Такой иголкой только подштанники штопать. Паршивый самоубийца, дурак».

В зарослях папоротника зашуршало. Где-то на склоне вновь слышатся шаги. Рапосо поворачивается вполоборота и с некоторым удивлением замечает другого академика, маленького толстяка, который, завидев их, останавливается. Толстяк выбился из сил после крутого подъема, платье вымокло от пота, дыханье сбито. Он переводит взгляд с одного на другого, и в глазах его сквозит ужас. Заметив, что толстячок сжимает в руке пистолет, Рапосо чувствует беспокойство. Надо отобрать у него эту игрушку, пока он не прицелился и не использовал ее по назначению; однако Рапосо быстро успокаивается: курок пистолета опущен, и вообще, не исключено, что он разряжен. Кто знает, может, именно из него была выпущена та самая пуля, которая просвистела мимо.

— Брось эту штуку, — приказывает Рапосо толстяку. — Давай, бросай на землю. А не то прикончу вас обоих.

Библиотекарь с сомнением смотрит на пистолет, словно не знает, что ему делать дальше, внезапно подчиняется приказу и роняет его на землю. Рапосо делает саблей знак, чтобы библиотекарь отошел в сторону и приблизился к своему другу, и толстяк вновь подчиняется.

— Слушайте меня внимательно, — после секундного раздумья говорит Рапосо. — Вам тут делать нечего... Так что прямо сейчас разворачивайтесь и вон отсюда. Катитесь туда, откуда пришли. Расстанемся добрыми знакомыми, а не последними свиньями.

— Значит, вы нас не убьете? — спрашивает потрясенный библиотекарь.

— Нет, если будете вести себя хорошо.

— Да, но гвардейцы...

— Этим парням не повезло. Но такая уж у них была работа. А у меня есть конь, и я неплохо знаю эти места. Сейчас главное для меня — не терять времени.

Академик указывает на свертки с книгами, лежащие на земле возле коня и мула, в нескольких шагах от обрыва.

— А с этим что вы собираетесь делать?

— Так, промочу немного.

— Что?

— Брошу в воду, если вы не возражаете.

Библиотекарь изумленно таращится на Рапосо.

— В воду? Но зачем?

— Уж это мое дело... Скажем так: приспичило мне.

— Это вы ограбили нас в Париже?

Рапосо зловеще усмехается сквозь зубы.

— Может быть.

Повисает тишина. Долгая, напряженная. Все еще отказываясь верить собственным ушам, библиотекарь смотрит на дона Педро, который молча сжимает в руке клинок. Затем вновь обращается к Рапосо:

— Я ничего не понимаю.

— И не нужно.

— Да, но вы убили этих бедняг гвардейцев... И все это лишь затем, чтобы украсть книги?

— Возможно.

— И чтобы уничтожить их?

Время истекает, думает Рапосо. Он и так потерял его слишком много, а ведь ему еще предстоит расправиться с книгами, к тому же в любой момент может появиться отряд гвардейцев, отправившийся на поиски своих товарищей. Надо завязывать с этим делом, по-хорошему или по-плохому. И очень вероятно, что в конечном итоге придется действовать по-плохому.

— Вас я тоже убью, как и обещал. Если вы немедленно не уберетесь отсюда.

— А почему мы должны убраться? — спрашивает адмирал, прерывая свое молчание.

Рапосо пристально смотрит на него. Тот по-прежнему стоит неподвижно, сжимая в правой руке клинок, чье острие касается травы, и глядя на Рапосо так, будто вокруг ничего другого не осталось. Он даже не взглянул на свертки с книгами, пока они говорили о них несколько мгновений назад.

— Потому что... — начинает Рапосо.

— Так вы нас убьете?

Он перебивает Рапосо холодно, без малейшего колебания. Словно всего лишь упомянул некую абстрактную возможность. Рапосо смотрит на него с любопытством, рот его кривится в недоброй усмешке.

— Все равно вы бессильны.

— Бессильны перед чем?

— Не можете ничего изменить.

Рапосо замечает, как академик склоняет голову и смотрит на клинок, словно размышляя над тем, что только что услышал. Или прикидывая, насколько вынослива или, наоборот, хрупка жизнь человеческого существа при столкновении с отточенным острием. Наконец вновь поднимает глаза и встречает взгляд противника. Адмирал подавляет вздох — легкий, покорный, едва различимый, приводящий Рапосо в замешательство, потому что тот внезапно сознает, что стоящий перед ним человек никуда не уйдет, пока держится на ногах. Пока уста его согревает дыхание, чтобы сжимать в руках эту смешную трость.

— Неужели эти книги стоят столько, что имеет смысл умирать за них? — спрашивает Рапосо.

Адмирал мгновение размышляет — или только делает вид.

— Умереть стоит не за них, а за то, что они содержат внутри себя, — отвечает он наконец.

— Неужели? И что же там такое?

— Истина. То, что поможет сделать так, чтобы однажды люди, подобные вам, перестали существовать.

Рапосо ухмыляется, однако неожиданно для него самого просыпается любопытство.

— Объясните, как это. Только покороче.

Тот отвечает, почти не задумываясь.

— Сомневаюсь, что вы поймете.

А затем, к изумлению своего приятеля, поднимает клинок и делает шаг вперед, не сводя ледяных глаз с Рапосо; тот, сбитый с толку, не уверенный, что предпочтительнее — ударить или отступить, делает шаг назад, угрожающе поднимая саблю и прочертив ею в воздухе полукруг, словно обозначая границу, последнюю точку, где слова безоговорочно уступят место отточенному железу, а угрозы превратятся в молчание и смерть.

— Ни шагу дальше, — предупреждает он. — Оставайтесь там. А не то...

Однако на сей раз вмешивается второй академик, библиотекарь: бледный, как мертвец, с дрожащим подбородком, заросшим щетиной, глядя с тоской на своего друга, он сглатывает слюну, переплетает пальцы рук, а затем поспешно делает шаг вперед, чтобы оказаться рядом с адмиралом. Чтобы предложить свое тело острию сабли, которая совершает свои мягкие круговые движения в воздухе прямо перед его носом.

— Вы оба с ума сошли, — говорит Рапосо, готовясь пронзить саблей людей, стоящих перед ним, и решая, кто из них будет первым.

И тогда, пораженный, он видит нечто такое, что менее всего ожидал увидеть: адмирал улыбается. Странная, смутная улыбка искажает его рот, собирает морщины вокруг голубых водянистых глаз, словно внезапное тепло растопило намерзший лед, придавая лицу бодрость и свежесть. Парадоксально, но эта необъяснимая эмоция совершает небывалое чудо — на одно-единственное мгновение она возвращает молодость лицу человека, стоящего перед Рапосо, вытеснив с этого лица следы лет, царапины, оставленные колючками и кустами, пометки и печати времени и судьбы, и одновременно с этой улыбкой в Волчьем ущелье, перекрываемые шумом речной воды, шелестом ветерка, перебирающего листья деревьев, слышатся, будто бы далекое эхо, отзвуки забытых сражений, голоса всех тех, кто завывал от страха, и молчаливое мужество других, кто выбрал своим уделом то великое, то грозное, что способно вместить человеческое сердце. В этом древнем ропоте веков, в пестрых картинках, которое он вызывает к жизни, бывший кавалерист будто бы узнает ту самую улыбку — печальную, усталую улыбку лейтенанта с седыми усами, который когда-то в иной жизни, которая теперь кажется ему невозможной или прожитой кем-то другим, бросился на врага в ущелье Ла-Гуардия, помчался вперед и скрылся из виду в пороховом дыму, сопровождаемый одним лишь юным корнетом, пока эскадрон за его спиной топтался в нерешительности. И внезапно, охваченный воспоминанием, которое столь непредвиденным образом воплотилось в настоящем, Паскуаль Рапосо остолбенело смотрит на двоих мужчин, стоящих напротив, затем переводит взгляд на лес, на последние клочья утреннего тумана, липнущие к ветвям деревьев, на первый луч солнца, пронзающий белесую дымку, на мутную воду, увлекающую за собой ветки и мусор, на вспоротые тюки, из которых высовываются корешки книг, каковые, возможно, когда-нибудь, как он только что слышал, сотрут с лица земли людей, подобных ему.

— Вы с ума сошли, — повторяет он, восхищенный.

Затем опускает саблю и разражается густым, раскатистым, счастливым хохотом, вспугнувшим стаю птиц, которые, хлопая крыльями, взмывают из зарослей папоротника в небеса.

## Эпилог

А теперь вновь задействуем воображение и представим себе еще одну сцену. Вечер, четверг, в Дом Казны, штаб-квартиру Испанской королевской академии, входят академики, чтобы провести очередное еженедельное заседание. Напудренные парики, седые волосы, камзолы сдержанных расцветок, церковные сутаны. Сегодня почти все члены уважаемой институции в сборе: двадцать один человек повесили свои пальто, плащи, сюртуки, шляпы на вешалку у входа. Кто-то достает табакерку с нюхательным табаком, где-то дымится сигара. В вестибюле собираются небольшими группами, вежливо беседуют, приветствуя друг друга и собираясь вот-вот переместиться в зал для общих собраний.

Нынешнее собрание особенное: высокие дубовые двери, ведущие из вестибюля в зал, затворены; входя в вестибюль, удивленные академики спрашивают друг у друга, что происходит.

Уже без одной минуты шесть, когда входит, а вернее было бы сказать, вносит себя, как на театральную сцену, директор институции, дон Франсиско де Паула Вега де Селья, маркиз де Оксинага. На нем парадный камзол, расшитый золотом, на лацкане — Большой орден Карлоса Третьего, его сопровождает адмирал дон Педро Сарате и библиотекарь дон Эрмохенес Молина. Внезапное появление этих двоих ученых мужей, явившихся после долгого отсутствия, вызывает целый шквал поздравлений и приветствий. Все подходят с объятиями и расспросами, как прошло только что завершенное ими путешествие. Мануэль Игеруэла и Хусто Санчес Террон тоже приветствуют их, с благопристойным выражением лиц и подчеркнутой вежливостью они присоединяются к общему ажиотажу, старательно избегая встречаться глазами друг с другом. Сопровождаемые директором, который улыбается, шествуя между ними, двое прибывших принимают горячее чествование своих коллег, которые восхищаются непривычной худобой библиотекаря и суровым оттенком дубленой кожи, оставленным странствиями и непогодой на лице адмирала. Все расспрашивают их о подробностях путешествия, о Париже, о людях, с которыми они познакомились, о необычайных событиях, о которых с предельной честностью, за исключением тех мелочей, относительно которых дон Эрмохенес и дон Педро решили ничего не сообщать, библиотекарь регулярно информировал Академию, отправляя письмо за письмом. И разумеется, все наперебой расспрашивают об «Энциклопедии».

— Внимание, сеньоры, — провозглашает директор.

Повисает тишина. В самых любезных выражениях, поддерживаемый со всех сторон коллегами, Вега де Селья приветствует путешественников и напоминает о решении Академии отправить их в Париж на поиски главного труда французских философов, обретение коего, подчеркивает он, совершенно необходимо для обновленного издания «Толкового словаря».

— И вот наконец наши друзья и коллеги возвратились, — добавляет он. — Их путешествие было не из легких, что делает их достойными вечной благодарности данного учреждения. А также нашей признательности и нашего уважения. Они пережили все трудности и лишения долгого, тяжелого и полного опасностей пути; однако верно также и то, что пребывание в Париже и знакомства, приобретенные в этом замечательном городе среди выдающихся представителей философского и научного мира, компенсируют изрядную часть перенесенных бедствий...

Его речь прерывают аплодисменты некоторых академиков, заставившие дона Эрмохенеса покраснеть, а адмирала — потупить взгляд. Вега де Селья улыбается, польщенный, смотрит вначале на одного, затем на другого и продолжает речь, подчеркивая, что, по его мнению, путешествие, окончившееся столь чудесным образом, может считаться гораздо более важным явлением, чем обычные академические достижения.

— Это был акт истинного патриотизма, — упрямо твердит он, — осуществленный честными, порядочными людьми, достойнейшими испанцами, жаждущими просвещения и счастья народов. — В этом месте он обводит взглядом собравшихся и останавливается, возможно по чистой случайности, на Игеруэле и Санчесе Терроне. — Поэтому я убежден, что все без исключения оценят их подвиг так, как он того заслуживает... Дорогой сеньор библиотекарь, дорогой сеньор адмирал: ваша Академия, ваш дом, прибежище благородного кастильского языка в моем скромном лице выражает бесконечную признательность вам за все, что вы для нас сделали... Добро пожаловать и сердечное спасибо!

Вновь со всех сторон раздаются аплодисменты, появляются улыбки и звучат поздравления. Участвуя в чествовании с таким видом, будто не кто иной, но именно он побывал в Париже, директор жмет руки и принимает поздравления. Великий, великий день, повторяет он. День славы и ликования.

— Да, но где же книги? — вопрошает кто-то.

Директор делает театральную паузу. Повисают мгновения тишины, в продолжении которых не слышно и жужжания мухи, и вот с победным видом он величественным жестом приглашает всех распахнуть запертые двери и проследовать в зал для общих собраний.

— Итак, «Энциклопедия» в вашем распоряжении, сеньоры академики!

Действительно, за дверями всех ожидает живая и невредимая цель их путешествия: под портретами основателя Академии маркиза де Вильены, а также ее первого покровителя, короля Филиппа Пятого, среди старинных бархатных портьер, мебели с потемневшим лаком и стеллажей с книгами и папками, покрытыми кирпичной пылью, которую нанесло со строительных работ в королевском дворце. Двадцать восемь тяжелых томов, переплетенных в нарядную кожу с золотыми буквами, оттиснутыми на корешке, с величайшей осторожностью разложены на старой скатерти из козлиной кожи, покрытой чернильным пятнами, свечным воском и маслом из светильников; в центре скромной комнаты, которая, по сути, представляет собой горнило, чистилище и светоч кастильского языка. Освещенная всеми источниками света, которые удалось собрать для этого торжественного события: свечами, канделябрами и лампой, подаренной королем Карлосом Третьим, — первое издание «Энциклопедии» выглядит великолепно: истинный памятник разуму и прогрессу, который заключают в себе ее страницы. Один из томов, а именно первый, открыт на Вступительном слове, где академики, владеющие французским, а таковыми являются почти все члены Академии, могут прочитать следующие строки:

*Люди, обладающие вдохновением, просвещают народ, тогда как фанатики заводят его в тупик. Однако препятствия, чинимые последними, даже когда их становится слишком много, ни в коей мере не должны помешать свободе, столь необходимой для истинной Философии*.

И вот, один за другим, включая небольшую группу, которая в определенный момент делала попытки воспрепятствовать тому, чтобы это произведение прибыло в библиотеку, пожилые академики не торопясь проходят мимо книг молчаливой благоговейной процессией. Вот идет дон Клименте Палафокс, секретарь Академии и переводчик Аристотеля; церковник дон Жозеф Онтиверос, комментатор Горация; дон Мельчор Лоигорри, автор «Доклада о новых технологиях в горном деле и сельском хозяйстве»; дон Филипп Эрмосилья, составитель «Каталога старинных испанских авторов»... Некоторые из них, расчувствовавшись, останавливаются. Другие напяливают очки и почти набожно тянут руки, чтобы прикоснуться к открытым страницам, над которыми склоняются седые головы, лица, подточенные временем, недугами и нелегкой судьбой. Все желают полюбоваться четким оттиском букв, красотой переплета, безукоризненной белизной страниц с широкими полями, отпечатанными на бумаге из тончайшего холста, которая не стареет, не мнется и не желтеет, не подвластная ни времени, ни забвению. Страниц, которые делают людей мудрее, честнее и свободнее.

— Мы проиграли, — говорит Мануэль Игеруэла.

— Не мы, а вы, — отзывается Санчес Террон. — Эта задумка с самого начала принадлежала вам.

Не сговариваясь, притянутые друг к другу инстинктивно и не нуждаясь в дежурных любезностях, они вместе направляются к выходу из Академии в желтоватом свете стеклянных фонарей.

— Экий вы молодец, — издевается Игеруэла, искренне забавляясь. — Как те коты, которые вечно приземляются на все четыре лапы... Сколько у вас жизней? — Он с любопытством косится на собеседника. — Семь? Четырнадцать?

Они бредут не спеша и выходят на площадь Сан-Хиль. На издателе — плащ и шляпа. Голова закадычного его приятеля не покрыта, английский плащ застегнут до самого ворота. На некотором расстоянии от них в ночных сумерках высится огромная бледная громада королевского дворца.

— Все с самого начала пошло не так, — печально произносит Санчес Террон.

— Что вы имеете в виду, поиски «Энциклопедии» или наш с вами договор?

Санчес Террон смотрит на него искоса, с осуждением.

— Договор? Вы преувеличиваете. Формально мы его не заключали.

— Тем не менее все это обошлось в приличную сумму. И вам, и мне... Кстати, хочу припомнить, что вы должны мне еще какое-то количество реалов.

— Я? За что?!

— За последний денежный перевод, который я сделал на имя этого Рапосо.

— Вы не получите от меня больше ни реала, — мигом выходит из себя Санчес Террон. — Ишь, шустрый какой!

Ближе к церкви Сантьяго улицы делаются заметно уже. Ночной сторож, стоя под портиком с пикой и фонарем, подносит руку к шляпе, приветствуя академиков, когда они проходят мимо.

— Что вам вообще известно об этом человеке? — спрашивает Санчес Террон.

— Вы имеете в виду Рапосо? Кормится своими делишками или выпрашивает деньги, когда оказывается в родных местах.

— Полагаю, у него не хватило наглости попасться вам на глаза?

— Отчего же? Очень даже хватило. Он не из тех, кто поджимает хвост... Явился прямиком ко мне и рассказал, как было дело: про стычку с гвардейцами возле границы и прочее. Говорит, сделал все, что было в его силах.

— И вы ему поверили?

— Наполовину.

— Он хотя бы вернул вам деньги?

— Ни единой песеты.

— Каков мерзавец! — возмущается Санчес Террон. — Вы обязательно должны принять надлежащие меры!

— О каких мерах вы говорите?

— Не знаю. Но как-то же надо его прищучить. Например, донести куда надо.

Услышав эти слова, Игеруэла энергично чешет ухо под париком. Затем смотрит на своего собеседника с сочувствием, словно тот слабоумен.

— Не смешите меня... Здесь не на что доносить. — Издатель молча делает несколько шагов, после чего изображает на лице покорную гримасу. — К тому же никто не знает, как повернется дело.

— Вы о чем?

— В этот раз у нас ничего не вышло, однако все возвращается на круги своя. Всегда полезно иметь под рукой такого человека, как Рапосо. Тем более в нашей с вами Испании.

Санчес Террон убыстряет шаг, словно желая ускользнуть от неприятных мыслей и воспоминаний.

— Меня ни в малейшей степени не интересуют ни ваши планы, ни людишки, подобные этому пройдохе. Я больше не хочу иметь с вами ничего общего!

Игеруэла догоняет его, подстраиваясь под шаг и бесстыдно хихикая.

— Кое-что общее у нас с вами точно найдется! Как минимум — каждый четверг мы будем встречаться в Академии.

— Прошу вас, в будущем избавьте меня от разговоров такого рода.

Игеруэла окидывает его взглядом с головы до ног.

— Об этом не беспокойтесь, — произносит он с презрительной гримасой. — Должен признаться, что близкое общение с вами было для меня весьма своеобразным опытом.

— Не могу сказать того же о вас, клянусь!

Они уже пришли на Пласа-де-ла-Вилья, окруженную старинными зданиями, едва различимыми в сумерках. Мимо проезжает конный экипаж, копыта звонко цокают по булыжной мостовой, на козлах рядом с возницей теплится тусклый огонек.

— Знаете, дон Хусто, что отличает вас от меня? — Игеруэла смотрит на светлое пятнышко экипажа, удаляющееся в сторону Пуэрта-дель-Соль. — Я не отрицаю того, что перед тем, как делать яичницу, нужно разбить яйца, и прямо об этом заявляю. И действую тоже прямо. А такие люди, как вы, мечтают о яичнице, но не решаются разбить скорлупу, боясь осуждения. И даже пытаются посудачить с курицей, пока из нее готовят жаркое!

— Дичайший бред!

— Да что вы говорите? Что ж, время покажет.

На Пуэрта-де-Гуадалахара при свете далекого фонаря, они проходят вдоль стены, на которой наклеены афиши с объявлением комедий. Одна из них сообщает, что в театре «Каньос-дель-Пераль» вновь ставят «Маноло» Рамона де ла Круса, параллельно «с другим произведением». На губах издателя змеится недобрая улыбка.

— Кстати, раз уж вы упомянули о бреде... На следующей неделе я напечатаю в «Литературном цензоре» очерк об этой вашей семейной драме, столь новаторской и современной, чья премьера состоялась четыре дня назад в «Принце»... Знаю, вы не присутствовали из скромности, чтобы не краснеть под аплодисменты. Эти глупые лавры не для вас. Но я-то там был, разумеется. Я премьер не пропускаю.

Наступает тишина, нарушаемая лишь звуками их шагов. Игеруэла насмешливо поглядывает на своего спутника, который идет молча, глядя куда-то во тьму.

— И вы не спрашиваете, каково мое впечатление? И куда метит мое перо?

— Ваше мнение меня едва ли волнует, — сдержанно отвечает его собеседник.

— Верно. — Игеруэла бьет себя ладонью по лбу. — Совсем позабыл: вы же не читаете мою газету, и критику тоже не читаете, и «Энциклопедию», и вообще ничего вам не надо!

Санчес Террон собирается что-то возразить, но вместо этого вновь погружается в молчание, однако этим лишь подстегивает раздражение Игеруэлы.

— Простите, что забегаю вперед, — с явным наслаждением заявляет он. — «Благородный прелюбодей, или Естественное доказательство философии» — это название, от которого вы буквально должны облысеть: такой каштан никому не по зубам... Первая сцена, когда Раимундо объясняет лучшему другу, что он влюблен в кормилицу своего восьмимесячного сына, совершенно потрясла публику. Во второй, когда он признается супруге в своей постыдной страсти и говорит: «Боже мой! Сколько любви ты потратила на меня, жизнь моя!» — публика начала смеяться. Однако настоящее безумие началось, когда дело дошло до сцены на кладбище... Знаете, как будет называться мой очерк? «Сочинитель театральных сцен держит нас за идиотов». А? Каково?

Дойдя до зажженного фонаря, дон Хусто останавливается. Ярость искажает его голос, слова застревают в горле.

— Вы... Вы... Это омерзительно! Вы...

Безжалостно улыбаясь, Игеруэла поднимает руки и показывает восемь вытянутых пальцев.

— В следующую пятницу, дон Хусто... Ровно через восемь дней выйдет «Цензор». У вас впереди ровно восемь ночей, чтобы как следует помучиться, повертеться под одеялом без сна, кряхтя от досады и злости... Воображая подлость и низость этого ничтожного мира, всех этих философов-дилетантов, якшаться с которыми вас заставляет собственное тщеславие, пока моя газетенка, как вы не раз изволили выразиться, не начнет разгуливать по тертулиям и кафе... Кстати, чтобы быть объективным, в том же самом номере я хорошо отзываюсь о «Благородном преступнике» Гаспара де Ховельяноса, автора, которого вы так презираете, — вероятно, потому, что он действительно талантлив, и у которого вы украли половину произведения... Для пущего контраста Ховельяноса я на несколько дней превращу в настоящего кумира, хотя на самом деле ничего особенного в нем нет.

Физиономия Санчеса Террона искажается, глаза вылезают из орбит: это уже не лицо академика, а лицо убийцы.

— Я этого так не оставлю, — бормочет он, яростно выплевывая слова. — Вы с вашим диким обскурантизмом, с вашим... С этой свинской подлостью исповедален и ризниц... С этим реакционным брызганьем слюной... О, обещаю, что у вас еще будут от меня новости!

— Уж в этом я не сомневаюсь, — с циничным спокойствием соглашается Игеруэла. — Мы с вами, дон Хусто, обречены узнавать друг о друге новости еще пару веков, не меньше... И не только в печатном виде.

И вот двое уже немолодых людей, один — взбешенный, другой — преисполненный подлейшего злорадства, поворачиваются друг к другу спинами и удаляются каждый в свою сторону в тусклом свете фонаря, который отбрасывает на мостовую и вытягивает их тени, два темных пятна, слившиеся воедино, — враждебные и неразлучные.

Сняв шляпу, держа под мышкой трость, дон Педро Сарате открывает дверь своего дома, входит и расстегивает плащ. Он утомлен тяготами обратной дороги — они с доном Эрмохенесом прибыли в Мадрид накануне вечером, — а также нескончаемыми треволнениями дня. Вешая ключ на торчащий из стены гвоздь, он мельком замечает свое отражение в висящем в прихожей над подставкой для тростей зеркале, удваивающем огонек, горящий в масле над консолью под изображением Святого Сердца. Мгновение адмирал рассматривает человека, выглядывающего из глубины зеркала, словно с трудом узнавая его: высушенная непогодой кожа обтягивает исхудавшее лицо, на котором слабый свет лампы подчеркивает следы возраста, узкий шрам на левом виске, водянистая синева утомленных глаз.

Его сестры Ампаро и Пелигрос выходят в прихожую, услышав, что кто-то открыл дверь. Они в домашних халатах и тапочках, волосы убраны под накрахмаленные чепцы. Высокие, худые, с такими же светлыми, как и у адмирала, глазами — зеркало отражает три очень похожих лица, подчеркивая их семейственность и превращая всю сцену в милый домашний портрет.

— Как дела в Академии, Педрито?

Адмирал улыбается. Ласковое обращение подчеркивает, что сестры еще не пришли в себя от волнения, вызванного его приездом. Вчера они чуть не сошли с ума от радости, вскрикивали, как маленькие девочки, и едва не задушили в объятиях, на которые обычно не слишком щедр их замкнутый, сдержанный нрав. Приоткрыв рот от удивления и восторга, они смотрели, как он достает подарки, купленные для них во время путешествия: две одинаковые шелковые шали из Лиона, два аршина кружев, две низки агатовых четок, две камеи с изображением французской королевской четы и набор гравюр с видами Парижа. Потом они приготовили брату ужин из всего, что нашлось в доме — яйца и мясные тефтели, — и допоздна сидели с ним за столом, вытянув ноги к каминной решетке и прикрыв их юбками, и расспрашивали его обо всем, что приходило в голову. Затем проводили брата в спальню, и каждая нежно поцеловала его в лоб, после чего он повалился в кровать, совершенно обессиленный, и уснул, не разобрав багаж.

— Все прошло хорошо. Директор и коллеги очень довольны.

— Еще бы им не быть довольными! Такая поездка... А столько сил вы на нее потратили! Никаких благодарностей не хватит.

Дон Педро рассеянно улыбается. Пелигрос помогает ему снять камзол, а Ампаро указывает на дверь столовой:

— Ужинать будешь? У нас чего только нет.

Адмирал отрицательно качает головой. В полдень он обильно отобедал: директор Вега де Селья пригласил его вместе с доном Эрмохенесом в «Золотой фонтан», чтобы отпраздновать благополучное возвращение и подготовить вечернее заседание в Академии, на котором состоялась презентация «Энциклопедии» перед коллегами. Так что сейчас единственное, чего бы ему хотелось, — надеть халат, сменить сапоги на турецкие туфли и спокойно усесться в своем кабинете с одной из книг, приобретенных в Париже для личных нужд. Например, дочитать наконец «*Morale universelle* » Гольбаха, где осталось всего несколько страниц: благодаря охранным свидетельствам и официальным разрешениям, имевшимся у них с библиотекарем, двенадцать дней назад им без каких-либо затруднений удалось пройти Ирунскую таможню, спрятав Гольбаха в свертках с «Энциклопедией».

— Мы разобрали твой чемодан, — говорит Пелигрос, вешая камзол на вешалку. — Все лежит у тебя в спальне на кровати.

Адмирал, которому показалось, что сестры тайком обменялись понимающим взглядом, расстегивает жилет и проходит по сумрачному коридору, где тени будто бы оживляют корабли, изображенные на гравюрах в рамках, развешанных на стенах. Спальня, освещенная трехрогим канделябром, на котором горит всего одна свеча, высокий потолок с деревянными балками, платяной шкаф из ореха, комод, зеркало с мраморным подзеркальником, плетеная циновка, старый сундук на полу и табурет.

— Мы тут ничего не трогали, это же твои вещи, — говорит Ампаро.

Предметы, которые сестры достали из чемодана, разложены на кровати, отсутствует только грязное белье, унесенное в стирку, да чистая одежда, убранная в комод и разложенная в платяном шкафу. На покрывале из Дамаска адмирал обнаруживает кожаный футляр с гребнем из морской черепахи, ножницы и предметы личной гигиены; еще один футляр, а в нем — иголки, катушки с нитками, коробочка с лезвиями для бритья, французские книги, пару путеводителей, пригодившихся ему в пути; карту постоялых дворов, нанесенную на кусок ткани и сложенная вчетверо; нож на все случаи жизни, платяную щетку... И нарочно выложенную на самое видное место, поверх всего, — позолоченную рамочку с черным силуэтом мадам Дансени, полученную адмиралом в парижской гостинице за день до отъезда, после того как он отправил короткое и достаточно официальное прощальное письмо. Портрет был обернут в шелковую бумагу и перевязан лентой, к нему прилагалась книжечка «*Thèrèse philosophe* » и, в качестве ответа на прощальное письмо адмирала, краткая записка, начертанная от руки и прикрепленная на обороте:

*Есть мужчины, которые проходят по жизни, не оставив следа, но есть и другие, которые не забываются. Надеюсь, вы сохраните меня в своей памяти*.

Взяв портрет в руки, дон Педро долго любуется им, затем переворачивает и еще раз читает надпись. Его охватывает ощущение чего-то обретенного и потерянного, а также неизбежности смирения и беспощадной власти времени и расстояния. Книгу он умышленно оставил в Париже в отеле, а портрет забрал с собой. Этот портрет, аккуратно выполненный тушью, изображает очень красивую, изящную женщину с высокой прической и зонтиком в руках. Тонкие линии в точности передают очертания той Марго Дансени, какой она осталась в памяти адмирала.

— А она ничего, — замечает Ампаро, стоя в дверях.

Дон Педро оборачивается к сестрам, которые о чем-то шушукаются, а затем внимательно его рассматривают. Несмотря на обычную сдержанность, весь их вид выражает любопытство и едва уловимое осуждение, словно разобрав чемодан и обнаружив портрет с надписью на обороте, они только и думали о том, как отреагирует их брат, вновь увидев силуэт незнакомки среди вещей, разложенных поверх покрывала.

— Париж, должно быть, чудесный город, — вздыхает Пелигрос.

— Удивительное место, — вторит ей Ампаро.

— Да, — поразмыслив, отзывается дон Педро. — Именно таков он и есть.

Сестры смотрят друг на друга, улыбаясь, как когда-то в те времена, когда все трое были детьми и за спинами взрослых обсуждали свои секреты. Адмирал, полюбовавшись портретом, неторопливо подходит к комоду и ставит его, прислонив к зеркалу. После чего все трое с нежностью берутся за руки.

*Мадрид — Париж, январь 2015*

1. «Энциклопедия, или Толковый словарь» *(фр.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел, написано сообществом просвещенных людей, том первый, с разрешения и по королевской привилегии, 1751 год *(фр.)*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Король *(фр.).* [↑](#footnote-ref-3)
4. Тертулия — непереводимое слово, означающее «посиделки», «салон», ради которых испанцы собираются в кофейнях или барах и беседуют на различные темы — о литературе, музыке, политике, религии. [↑](#footnote-ref-4)
5. Никаких препятствий (*лат*.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Рапосо — лисица (*исп*.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Сайнета — небольшая пьеса испанского театра, написанная в прозе или в стихах. [↑](#footnote-ref-7)
8. Масть испанской карточной колоды. [↑](#footnote-ref-8)
9. Бастос — одна из разновидностей карточных мастей в Испании. Ее символ изображает дубинки. [↑](#footnote-ref-9)
10. «Новая карта почтовых станций Франции» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-10)
11. «Элементарные приемы морского сражения, посвященные Бонапарту» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-11)
12. «Посвящено его величеству светлейшему монсеньору герцогу Бернаром Жайо, королевским географом» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-12)
13. «Письма немецкой принцессе» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Иногда дремлет и Гомер (*лат*.). — Имеется в виду, «и на старуху бывает проруха». [↑](#footnote-ref-14)
15. Молись и трудись (*лат*.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Монарх высказался, дело закончено (*лат*.). [↑](#footnote-ref-16)
17. Политические авторитеты (*фр*.). [↑](#footnote-ref-17)
18. «Друг народа» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Отъявленный негодяй (*фр*.). [↑](#footnote-ref-19)
20. Чокнутый якобинец (*фр*.). [↑](#footnote-ref-20)
21. Весь Париж (*фр*.). [↑](#footnote-ref-21)
22. Свет (*фр*.). [↑](#footnote-ref-22)
23. «Журнал ученых» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-23)
24. «Записки об открытии животного магнетизма» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-24)
25. Собрано господином Дидро, энциклопедистом. Математическая часть — господином д’Аламбером. Третье издание. Издано в Женеве Жаном‑Леонаром Пеле. В Невшателе, Типографском обществе (*фр*.). [↑](#footnote-ref-25)
26. Тайные письма (*фр.*). Королевский указ о заточении без суда и следствия. [↑](#footnote-ref-26)
27. «Разоблаченное христианство» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-27)
28. «Проститутка» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-28)
29. Старый режим (*фр*.). [↑](#footnote-ref-29)
30. «Узнаем старый Париж» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-30)
31. «Париж через века» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-31)
32. «Новый дорожный план города Парижа и предместий» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-32)
33. «Путеводитель для любителей и путешественников‑иностранцев» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-33)
34. «Новый дорожный план» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-34)
35. Коробейник *(фр.).* [↑](#footnote-ref-35)
36. «Естественная девушка» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-36)
37. «Академия дам» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-37)
38. «Венера в монастыре» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-38)
39. «Анекдоты про мадам графиню Дюбарри» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-39)
40. «Год 2440‑й» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-40)
41. «Литургия для французских протестантов» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-41)
42. «Аррасская свеча» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-42)
43. «Плутовской Парнас» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-43)
44. «Бродячая шлюха» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-44)
45. Высший свет (*фр*.). [↑](#footnote-ref-45)
46. Проститутка (*фр*.). [↑](#footnote-ref-46)
47. «Метод производных» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-47)
48. Букинист (*фр*.). [↑](#footnote-ref-48)
49. Приносим тебе благодарность (*лат*.). [↑](#footnote-ref-49)
50. Где добродетель восхваляется и растет, пока венчаются пороки (*лат*.). [↑](#footnote-ref-50)
51. Букет чувств *(фр.).* [↑](#footnote-ref-51)
52. «Исследование о нетерпимости» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-52)
53. «Эпохи природы» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-53)
54. «Наслаждаясь уединением и учеными занятиями, автор сочинил сей сонет». *Перевод А. Косе.* [↑](#footnote-ref-54)
55. «Путешествие Джорджа Энсона» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-55)
56. «Путешествие де ла Кондамина» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-56)
57. «Историческое путешествие в Южную Америку» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-57)
58. «Письма о происхождении наук» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-58)
59. «Сводная таблица минералов» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-59)
60. «Журнал ученых» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-60)
61. «Европейский курьер» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-61)
62. «Политический и литературный журнал» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-62)
63. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-63)
64. «О состоянии философии в Европе» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-64)
65. «Антуан и сын, переплетчики» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-65)
66. «Бронированный газетчик» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-66)
67. «Философская и политическая история европейских учреждений в обеих Индиях» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-67)
68. Дерьмовый мерзавец (*фр*.). [↑](#footnote-ref-68)
69. Никакой разницы (*лат*.). [↑](#footnote-ref-69)
70. «Система природы» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-70)
71. «Математические начала натуральной философии» (*лат*.). [↑](#footnote-ref-71)
72. «Артистические и литературные кафе» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-72)
73. «Будни Людовика Шестнадцатого» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-73)
74. «Картины Парижа» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-74)
75. «Альманах муз», «Европейский курьер», «Парижский листок» *(фр.)*. [↑](#footnote-ref-75)
76. «Трактат о равновесии и движении флюкций» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-76)
77. «Общая теория ветра» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-77)
78. «Фелиция» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-78)
79. «Мемуары Сюзон» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-79)
80. «Тьерри‑философ» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-80)
81. «Места преступлений на Елисейских полях» *(фр.).* [↑](#footnote-ref-81)
82. До крайности (*фр*.). [↑](#footnote-ref-82)
83. Перо руку удлиняет (*лат*.). [↑](#footnote-ref-83)
84. «Мадемуазель Болеро, модные шляпки» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-84)
85. «Универсальная мораль» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-85)
86. «Система природы» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-86)
87. Великий век (*фр*.). [↑](#footnote-ref-87)
88. «Военная история Людовика Великого» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-88)
89. «Путешествие в Альпы» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-89)
90. Вступительная речь издателей (*фр*.). [↑](#footnote-ref-90)
91. Энциклопедия, которую мы представляем публике, является, как гласит ее название, произведением общества образованных людей *(фр.)*. [↑](#footnote-ref-91)
92. «Некоторые парижские салоны XVIII века» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-92)
93. Мягкость нежна, а ее продолжение жестоко (*фр*.). [↑](#footnote-ref-93)
94. Звонки (*фр*.). [↑](#footnote-ref-94)
95. «Памела», «Кларисса Харлоу» или «Новая Элоиза» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-95)
96. Ученые дамы (*фр*.). [↑](#footnote-ref-96)
97. В этот миг вы пали в мои объятья (*фр*.). [↑](#footnote-ref-97)
98. Сука… Шлюха… (*фр*.) [↑](#footnote-ref-98)
99. «Друзья Гаскони» (*фр*.). [↑](#footnote-ref-99)
100. Вот что еще нужно было роду человеческому, чтобы вырваться из варварства (*фр*.). [↑](#footnote-ref-100)